



Эрик Рюкер Эддисон



**Владычица из владычиц**  
Роман

*Первое издание: март 1935*

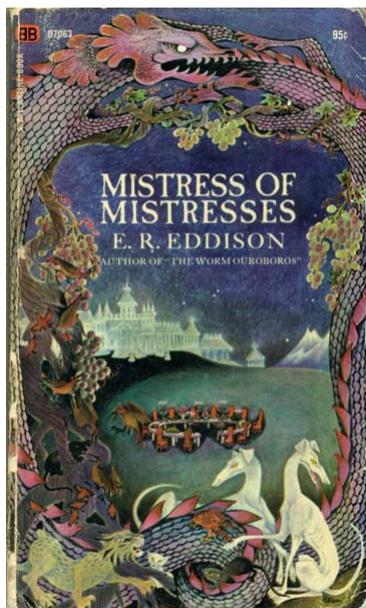
Перевод с английского:  
Nebehr Gudahtt © nebehr.blogspot.com



Выпуск №3

E. R. Eddison

## Mistress of Mistresses



# Оглавление

Комментарий.....	5
Вступление.....	9
I. Весенняя ночь в Морнагее.....	26
II. Герцог Зайанский.....	31
III. Мезрия: столы накрыты.....	38
IV. Зимиамвийская заря.....	55
V. Наместник Ререка.....	57
VI. Миссия лорда Лессингема.....	65
VII. Ночь на Амбремерине.....	81
VIII. Сферра Кавалло.....	100
IX. Луга Лоркана.....	110
X. Илкисский конкордат.....	127
XI. Габриель Флор.....	136
XII. Благородные родичи в Лаймаке.....	149
XIII. Королева Антиопа.....	165
XIV. Дорийский лад, совершенный каданс.....	191
XV. Риалмарский виноградарь.....	193
XVI. Наместник и Барганакс.....	217
XVII. Поездка в Кутармиш.....	224
XVIII. Риалмар в звездном свете.....	243
XIX. Молния из Фингисволда.....	262
XX. Гром над Ререком.....	277
XXI. Enn Freki Renna.....	293
XXII. Ночь в Зимиамвии.....	305
Действующие лица.....	311
«Властительница из властительниц».....	314
Перечень иллюстраций.....	317
Карты.....	318





## Комментарий

Имена собственные читатель вне сомнения будет произносить так, как ему заблагорассудится. Но, возможно, чтобы угодить мне, он станет выговаривать звуки и в слове *Зимамвия* коротко, делая ударение на третьем слоге, а в слове *Зайана* — на втором, с открытым а (как в «Гайана»). В слове *Мемизон* ударение приходится на первый слог, также как и в *Ререк*, рифмуящемся с «берег». Помните, что имя *Фьоринда* имеет итальянское происхождение, *Амори* и *Бероальд* — французское, а *Антиопа*, *Зенианта* и множество других — греческое.

В афоризмах Вандермаста последователи Спинозы распознают слова своего наставника, которые, несомненно, повлекут за собой следствия, изначально в высказывание не вкладывавшиеся. Читатели, словно на острове Амбремерин обретающие отдохновение, перечитывая немногочисленные сохранившиеся строки Сапфо, заметят, что я не постеснялся обогатить свое повествование отголосками ее творчества помимо собственно цитат, и поступил я так по той причине, что она, в отличие от всех прочих, воспевает не «эту загадочную Венеру, что живет под холмами»<sup>1</sup>, но величественную, златовенчанную, прекрасную Афродиту.

Что касается стихов, то все они мои, если в примечании не указано иное. Стихотворение Бодлера «*Балкон*», напечатанное на форзаце и служащее своего рода эпиграфом, оказалось для этой роли чрезвычайно уместно (вплоть до мельчайших деталей), хотя стоит пояснить, что я впервые прочел его уже после того, как была написана настоящая книга. Отсылка к нему Лессингема («*reine des adorées*» в главе *Риалмар в звездном свете*) была добавлена при окончательной переработке.

Все цитаты Сапфо за одним исключением даны по изданию Х. Т. Уортона (John Lane, 1898). Вместо искаженной третьей строки в пятой строфе *Оды Афродите* (гл. 22) я воспользовался исправленным текстом из *Loeb Classical Library*.

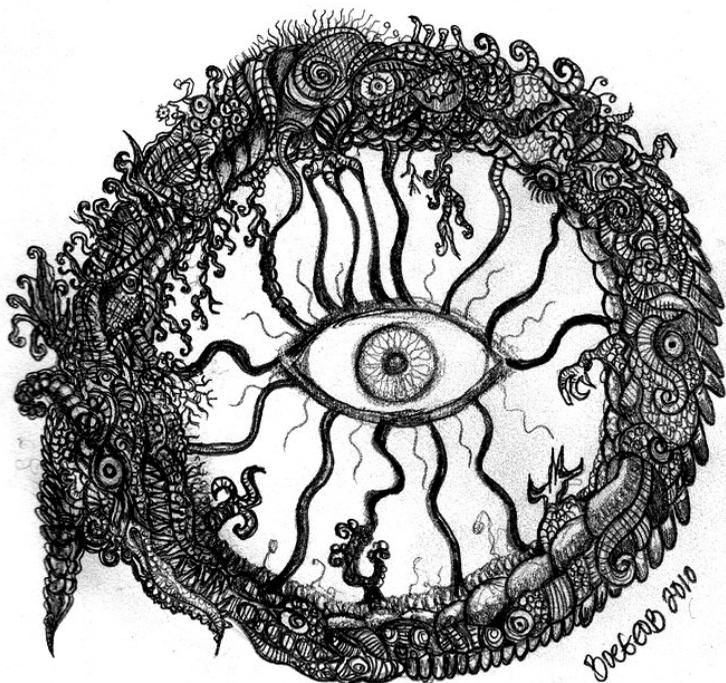
Троих друзей своих я никогда не смогу достойно отблагодарить: Кита Хендерсона за иллюстрации, обогатившие эту книгу и почти волшебным образом уловившие ее настроение и дух; Джорджа Ростривора Хэмилтона за вычитку рукописи и его деликатные суждения и конструктивную критику по сотне важных пунктов; Джеральду Рэйвенскорту Хэйсу за подобную же помощь, а также за изумительные карты, которые помогут читателям представить себе страну, где разворачивается действие. Наконец, я весьма признателен за разрешение, данное мне месье Хайнеманном на приведение отрывка (во *Вступлении*) из «*Баллады смерти*» Суинберна, мистером Клодом Коллиером Эбботтом и его издателями — на цитирование из его замечательной кол-

1 Отсылка к стихотворению А. Суинберна «*Ave atque vale* (памяти Шарля Бодлера)».

лекции «Французской лирики раннего средневековья» (Constable, 1932), а также Clarendon Press — на использование текста «Сонета» Марка Александра Бойда, напечатанного в «Оксфордском сборнике английской поэзии». При цитировании из Уэбстера я следовал тексту изумительного издания мистера Ф. Л. Лукаса (Chatto & Windus, 4 vols., 1927).

P. S. В двух небольших неточностях на картах виноват я, а именно: (1) ошибка в названии Табарейского Залива, и (2) неуказание маршрута, по которому адмирал двигался к востоку от Лошадиной Сопки, а также его атаки с востока на эту местность.

Э. Р. Э.



У. Дж. Э.,  
тебе, madonna mia,  
и моему другу  
Эдварду Эббе Найлзу  
посвящаю я  
это  
Видение Зимиамвии

*Мать воспоминаний, нежная из нежных,  
Все мои восторги! Весь призыв мечты!  
Ты вспомнишь чары ласк и снов безбрежных,  
Прелесть вечеров и кроткой темноты.  
Мать воспоминаний, нежная из нежных!*

*Вечера при свете угля золотого,  
Вечер на балконе, розоватый дым.  
Нежность этой груди! Существа родного!  
Незабвенность слов, чей смысл неистребим,  
В вечера при свете угля золотого!*

*Как красиво солнце вечером согреться!  
Как глубоко небо! В сердце сколько струн!  
О, царица нежных, озаренный светом,  
Кровь твою вдыхал я, весь с тобой и юн.  
Как красиво солнце вечером согреться!*

*Ночь вокруг сгущалась дымною стеною,  
Я во тьме твои угадывал зрачки,  
Пил твоё дыханье, ты владела мною!  
Ног твоих касался братскостью руки.  
Ночь вокруг сгущалась дымною стеною.*

*Знаю я искусство вызвать миг счастливый,  
Прошлое я вижу возле ног твоих.  
Где ж искать я буду неги горделивой,  
Как не в этом теле, в чарах ласк твоих?  
Знаю я искусство вызвать миг счастливый.*

*Эти благовонья, клятвы, поцелуи,  
Суждено ль им встать из бездн, запретных нам,  
Как восходят солнца, скрывшись на ночь в струи,  
Ликом освеженным вновь светить морям?  
— Эти благовонья, клятвы, поцелуи!*

Бодлер<sup>2</sup>



## Вступление

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ЗАКАТ — НЕЗНАКОМКА — У ОДРА — ПАСХА В МАРДЕЙЛ ГРИН —  
ЛЕДИ МЭРИ ЛЕССИНГЕМ — РАЗДУМЬЯ О СМЕРТИ — АФРОДИТА УРАНИЯ —  
ВИДЕНИЕ ЗИМИАМВИИ — ОБЕЩАНИЕ

**Н**АИ мне немного собраться с мыслями, пока я в последний раз сижу здесь с тобой, один, у выходящего на запад окна в выстроенном тобой много лет назад замке, что подобно гнезду морского орла нависает над водами Рафтсунда в кольце серых утесов. Нам повезло, что это случилось в самом разгаре лета, а не в одну из арктических зимних ночей, подвластных лишь троллям. По крайней мере, повезло мне. Ибо безмятежны эти июльские ночи в Арктике, когда заходящее солнце, едва касаясь горизонта, поцелуем пробуждает к жизни долгий рассвет. Безмятежность окутывает и меня, сидящего в оконном проеме на твоих расшитых золотом подушках и самаркандских коврах, сквозь которые не может пробраться холод гранита; безмятежность, подобная аромату этих зеленовато-желтых лилий в твоей вазе эпохи Мин<sup>3</sup>. Безмятежность — и вместе с тем мощь, и внутри замка и снаружи: безмятежность зеркальной поверхности залива, сияющей странным полночным сиянием, словно бледная расплавленная латунь или орихалк; безмятежность ущербной луны, необычайно большой и розоватой, что восходит в безмятных пространствах меж закатом и рассветом над низкой синеватой облачной грядой, укрывшей устье залива на северо-востоке, где, глубокий и спокойный, Трангстроммен струит свои воды среди мрачных гор. В них затаилась мощь: в Трольдтиндере, вздымающем свои голые утесы, что громоздятся один над другим, и — слева от него, как на виденных мною изображениях кавказской Ушбы<sup>4</sup>, — в гигантском двуглавом Рултене, высящемся на фоне закатного сияния над шпилями и бастионами помельче; Рултене, что отнял у нас девятнадцать часов, в течение которых мы с трудом взбирались на его вершину в пустяковые три тысячи футов высотой. О Боже, а ведь это произошло двадцать пять лет назад, когда ты был примерно того же возраста, что и я сейчас! По общепринятым меркам ты был стариком, но старания не отстать от тебя истожили не только меня, что был тогда в самом расцвете сил, но и твоих швейцарских проводников. Горы, неизмеримые глубины Рафтсунда с его бурными приливами, неземной сумеречный свет арктической летней ночи, комната, где смешиваются закатные лучи и неверное сияние свечей в твоих золотых подсвечниках, безмятежность и мощь на твоём лице.

Твои большие итальянские часы отмеряют тишину своим тиканьем: «Прошло! Прошло! Прошло!» Обычно я не выношу это столь ужасное для старика тиканье, это *memento mori*<sup>5</sup>, что ухмыляется в разгар праздника жизни.

3 Великая Минская империя — государство в Китае под властью династии Мин (1368 - 1644).

4 Ушба — горная вершина в центральной части Большого Кавказа.

5 *Memento mori* (лат.) — «помни о смерти».

Но сейчас (возможно, потому что шок притупил мои чувства), я почти сумел убедить свой рассудок в том, что все на свете и вправду вечно, обладает подлинной сущностью и бесконечной жизнью, хоть и представляется чем-то еще более мимолетным и нематериальным, нежели жизнь поденки, эфемерным и невесомым, будто пузырьки воздуха в стремительном потоке. Ты и твоё поместье — этот замок, что фантастичнее Фонтхилла Бекфорда<sup>6</sup>, — и вся твоё жизнь, канувшая в невозвратное минувшее, — все это теперь ничто. «Прошло! Прошло!» Секунды, годы или неизмеримые эпохи — какая разница? Я мог бы представить, будто этот проведенный с тобою в этой молчаливой комнате час столь же долгов, как вся вечность, или столь же короток, как те двадцать пять лет, прошедшие с того времени, когда мы впервые, такую же точно ночью, взирали на Лофотвегген<sup>7</sup> с тридцатимильного расстояния, огибая Ландегоде и права на север, к устью Вестферта.

Я все еще вижу тебя, когда закрывая глаза; в своих воспоминаниях я вижу тебя, взирающего на Рысью Стену, которую ты, как я знаю, вознамерился тогда (и вскоре исполнил свое намерение) сделать своим королевством: на сотни миль горных цепей, пиков и пропастей, гор по высоте и очертаниям подобных Альпам, но по шею погружившихся в воды Атлантики и превратившихся в необычайно неприветливые островки, рассыпанные столь близко друг от друга, что издали невозможно разглядеть меж ними ни пролива, ни судходного пути. Той ночью силуэты их на фоне розового сияния на севере, что было одновременно закатом и рассветом, выглядели столь иззубренными, столь невообразимо изрезанными и хаотичными, и на мгновение показалось, будто эти горы игрушечные, они вырезаны из дымчатого хрусталя и поставлены перед нарисованным небом. Но лишь на мгновение, ведь волны по-прежнему шептались под форштвем нашего судна, и дул в лицо ветер, и, хотя шло время, а пейзаж перед нами не менялся, громкий крик пролетавшей мимо чайки то и дело напоминал нам, что вокруг нас соленое море и безбрежное небо, а впереди — земля. И тем не менее сложно было поверить в реальность этой земли со всеми ее поселениями и повседневной жизнью в этом царстве света, где смена дня и ночи чудесным образом замедлена, будто сама природа очарована своей красотой, что отражается в этом бледном желтоватом свете. Отчетливо, словно с тех пор прошла лишь минута, а не четверть века, вижу я тебя, стоящего подле меня у гакаборта, и свет этот озаряет твоё худощавое и обветренное лицо. Твой горделивый, чуткий и пронизательный взгляд обращен на север, а вся фигура твоё и поза наполнены энергией, решимостью и властностью. И я слышу звук твоего голоса, произнесшего за все то

---

6 Фонтхиллское аббатство — замок, построенный английским писателем У. Бекфордом в конце XVIII в.

7 Рысья Стена или Лофотвегген — название Лофотенских островов. С моря архипелаг выглядит как цельная стена и очертаниями напоминает рысий след.

четырёхчасовое плавание только две вещи: сначала: «Побережье Демонланда», а затем, наверное, часом спустя, очень тихо и мечтательно: «Это первый глоток Вечности».

Твой голос, что все эти годы, все эти сорок восемь лет да еще пару месяцев с момента нашего знакомства обладал надо мною властью, какой, наверное, не обладает ничто другое на земле. А сегодня... но к чему говорить о сегодняшнем? Сегодня не существует, или же не существует тебя — я не уверен, как будет более точно. Вчерашний день определенно принадлежал тебе, как и все те двадцать пять лет, за которые ты своим гением и богатствами превратил эти острова в блистающую Элладу. Но сегодня... наверное, сегодня не имеет к тебе никакого отношения. Завтра четырнадцатое июля — дата, когда истекает ультиматум, который прислало тебе новое правительство в Осло; дата, когда они собираются вернуть себе свое суверенное право на Лофотенские острова, дабы вновь внедрить современные технологии рыбного промысла. Я знаю, ты был готов применить силу. До этого еще может дойти, ведь твои подданные, что выросли на островах в тех условиях, которые ты для них создал, могут безропотно и не сдаться. Но это все равно окончилось бы бедой. Здесь у тебя не было тех средств, при помощи которых ты тридцать пять лет назад завоевал Парагвай; тебе было бы ни за что не удержать эту горстку островов с несколькими тысячами своих людей против такой индустриализированной страны, как Норвегия. Как говорится, «Неужто погибелью моей станут эти мокрицы, сыновья Грима Бахромы?» Они разбомбили бы твой замок с воздуха.

И посему я считаю, судьба обошлась с тобой хорошо. Я рад, что ты умер этим утром.



**КОГДА** в комнату вошла сеньорита, я видимо был погружен в глубокие раздумья и воспоминания, так как не услышал ни шороха, ни звука шагов. Но

вот я отвернулся от окна, чтобы снова взглянуть на лицо лежавшего на смертном одре Лессингема, и увидел, что она очень тихо и неподвижно замерла у его ног, глядя туда же, куда и я. Она не замечала меня, а если и заметила, то не подавала вида. Должно быть, мои нервы были расшатаны событиями этого дня более, чем мне представлялось возможным: никак иначе не могу я объяснить охватившую меня при виде нее дрожь и непрощенные слезы, что заволокли мои глаза. Ибо, хотя чувства, вне всяких сомнений, могут в моменты потрясений играть с нами странные шутки, заставляя позабыть о воспитании и нормах поведения, которым подчинены даже наши самые сокровенные мысли, следует отметить, что охватившее весь мой разум и тело волнение не несло в себе ни одной ноты из тех созвучий, что повергают нас в трепет в присутствии женщины столь совершенной, столь прекрасной и, казалось бы, столь доступной. Сам я не плакал с детства. Да и только лишь возвращаясь в детство,

могу я припомнить что-либо, хотя бы отдаленно сравнимое с эмоциями, охватившими меня в то мгновение. Ни тогда, в детстве, ни теперь, разменяв седьмой десяток; тогда, слушая летним вечером в гостиной, как пела за пианино моя старшая сестра, — впоследствии я узнал, что это была шубертова «Куда?..», — ни теперь, при виде стоявшей у смертного одра моего друга сеньориты Аспазии дель Рио Амарго, я не ощущал страха в том трепете, что охватил меня, покрыв все мое тело гусиной кожей, и не от горя были те слезы, что хлынули из моих глаз. За мгновение до этого мой разум и впрямь блуждал в непроглядной тьме, а мысли мои наполняли тяжесть и скорбь о многолетней дружбе, угасшей, будто задутая ветром свеча. Но теперь меня словно схватили за горло и удерживали в ясном сознании, в состоянии ума, для которого я не могу подобрать названия — разве только назвать его абсолютным очищением, как будто пробуждаешься ранним утром и видишь мир заново родившимся.

Наверное, я много минут просидел совершенно неподвижно, если не считать моего участвовавшего дыхания и движений глаз, что металось от одной детали к другой, запечатлевая всю картину в моем мозгу, — и я абсолютно уверен, все прочие воспоминания и образы покинут меня прежде, чем эта сцена претерпит какие-либо изменения или поблекнет в моей памяти. Затем, несколько не удивившись, как не удивляются ничему во сне, я услышал голос (это был мой собственный голос), тихо декламирующий строфу из скорбной «Баллады Смерти» Суинберна<sup>9</sup>:

*Венера в эту ночь стоит у изголовья,  
Царицы чёрный плащ весь золотом расшит,  
Лик взору моему открыт,  
Бледны ланиты и печальны брови,  
А лоб покрыла смерти белизна.  
В кудрях её бурлит волна морская,  
Блестит руном златым.  
Голубкой раненой глядит она,  
Искристой пылью злато опадает,  
Агаты, жемчуг обратились в дым<sup>10</sup>.*

Последние строки пробудили меня к яви; точно так же зачастую слышишь, просыпаясь, как произнесенные во сне слова необычайно громко отдаются в твоих ушах. Я поднялся на ноги, кляня себя, и слова дежурного извинения готовы были сорваться с моего языка, но я вовремя его прикусил. Строки стихотворения, понял я, произнес не мой язык, но мой мозг, ибо выражение ее лица убедило меня, что она либо ничего не слышала, либо пропустила мимо ушей как некое высказывание, не требовавшее ни ответа от нее, ни объяснений или извинений от меня.

<sup>9</sup> А. Суинберн (1837 - 1909) — английский поэт.

<sup>10</sup> А. Суинберн, «Баллада смерти», пер. Э. Ермакова.

Она шевельнулась, повернувшись ко мне лицом. Ее левая рука была грациозно расслаблена и неподвижна, правая же покоилась на голове огромного золотого гиппогрифа, служившего столбом в изножье кровати Лессингема. Это ее движение, казалось, вновь погрузило меня в те раздумья о безмятежности и мощи, в которых я все эти последние часы находил некое утешение, и в то же время оно же удержало меня в состоянии ясности, что охватило меня в те несколько минут, пока я взирал на нее и Лессингема. Однако, подобно звезде с плотностью Земли и размерами Бетельгейзе, которая (как говорят) с неизбежностью притягивает к себе не только материю и звездную пыль, но и сами лучи неуловимого света, засасывая и поглощая саму ткань пространства, все окружающее, словно в точке, сошлось на ней. И когда она заговорила, меня посетило странное чувство, будто говорит сама безмятежность.

— Можете ли вы поведать мне о смерти что-нибудь новое, сэр? — спросила она. — Лессингем говорил мне, что вы философ.

— Все, что бы я вам ни сказал, было бы ново, донья Аспазия, — ответил я, — ибо смерть подобна рождению, она каждый раз новая.

— Вы полагаете, она имеет значение?

Звуки ее голоса — низкого, мягкого, бархатистого (какой должен бы быть, но редко бывает, у всех испанок, под стать их красоте) — казалось, парил в воздухе, как парит в небесах, едва шевеля крыльями, птица.

— Для меня имеет, — сказал я. — Полагаю, и вам тоже было бы себя жаль.

Ответ ее был неожидан:

— Мне нет. У меня нет «себя». Но ведь вы, — продолжила она, — не из тех велеречивых трепачей, что потчуют бедное человечество надеждами на некое метафизическое бессмертие (как у великого Цезаря, затыкающего собою щель<sup>11</sup>) взамен на бессмертие личностное, возможность которого начисто отрицают?

— Нет, — ответил я. — Если нет вина, лучше испытывать жажду, чем глотать морскую воду.

— А вина, стало быть, никакими молитвами не добиться? Вы в этом уверены?

— Мы не можем быть уверены ни в чем. Любой путь через лабиринт, если строго ему следовать, приведет в конечном итоге обратно к Гераклиту<sup>12</sup> — даже дальше, к философу, осудившему его за высказывание, будто никому

11 Аллюзия на «Гамлета» У. Шекспира, акт V (пер. Б. Пастернака):

*Истлевшим Цезарем от стужи  
Задельывают дом снаружи.  
Пред кем весь мир лежал в пыли,  
Торчит затычкой в щели.*

12 Гераклит Эфесский (544–483 гг. до н. э.) - древнегреческий философ, ставивший движение и изменение в основу Вселенной. Под вторым философом, вероятно, имеется в виду Зенон Элейский (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), отрицавший возможность движения.

не дано войти в одну реку дважды. Тот возразил, что было бы чересчур вольным допущением утверждать, будто можно и единожды туда войти.

— Так что же нового вы хотите мне поведать?

— То, — произнес я, — что я утратил человека, который сорок лет был моим другом, человека великого и непревзойденного в своем поколении. А эта смерть непохожа на обычные смерти.

— В таком случае очевидно, что хотя бы в одну реку вы входили не дважды, но много раз, — промолвила она. — Однако это никакой не ответ.

Она замолчала, пристально глядя мне прямо в глаза. Ее глаза, обрамленные длинными черными ресницами, были непохожи ни на одни из тех, что я когда-либо видел, и странно сочетались с ее южной смуглостью и иссиня-черными волосами; были они зеленые, полные огненных искорок и с огромными зрачками, и когда зрачки расширялись или сужались, сам ее взор словно загорался сверкающим пламенем. Первый неземной взгляд этих глаз был пугающим настолько, что мне тотчас вспомнились старые сказки о ламиях и вампирах, а также прекраснейшая из всех любовных историй, милое и ироничное сказание о любви Теофиля Готье<sup>13</sup>, о той, на чьей неосвященной могиле было написано:

*Ici git Clarimonde,  
Qui fut de son vivant  
La plus belle du monde<sup>14</sup>.*

А затем в один миг мои бешено скачущие мысли успокоились, и в благоговейном изумлении я различил где-то глубоко в этих удивительных сияющих глазах, на удалении в шестьдесят лет, взгляд моей матери, когда она (что была тогда прекрасна, а теперь уже много лет как мертва) наклонялась, чтобы поцеловать на ночь свое дитя.

Часы пробили половину двенадцатого ночи, вернув меня к действительности. При этом звуке часов она проплыла мимо меня, будто во сне, заняв мое место в оконном проеме, и, сидя у ее ног, я смотрел, как вырисовывается ее силуэт на фоне окна, за которым глухой полночный час имел не больше сходства с подлинным ночным сумраком, нежели капельки росы на алой розе рядом с настоящими слезами скорби, или слабое воспоминание о давно позабытом горе рядом с подлинной горечью переживания. Умиротворение низошло на мой разум подобно аромату цветка. Я взглянул на лицо Лессингема, обращенное к потолку и бледное в мерцающем свете свечей: на его греческий профиль, на короткие, волнистые и густые волосы, подобные волосам античного бога, на его пышную черную бороду. В этом году ему исполнилось девяносто лет, но

13 Т. Готье (1811 - 1872) — французский писатель.

14 Т. Готье, «Возлюбленная из мира теней»  
«*Лежит здесь Кларимонда —  
Та, что была при жизни  
Прекрасней всех на свете*».

волосы его оставались столь же черны, его голос (пока несколько часов назад он не откинулся в своем кресле и не уснул навеки) — столь же зычен, а глаза — столь же ясны, как и в самом расцвете его молодости.

Подобно лилии распустилась тишина, и слова сеньориты поплыли в воздухе, будто лилейный аромат:

— Расскажите мне что-нибудь из своих воспоминаний. Полезно иногда их освежать.

— Я вспоминаю, — ответил я, — как мы с ним впервые встретились при свечах. И было это сорок восемь лет назад. Подходящее освещение для встреч и подходящее — для разлук.

— Расскажите, — попросила она.

— Это было на пасху в Мардейл Грин, что в Камберленде. Я только-только окончил школу. Я приехал на каникулы к моей тете, у которой был большой дом в долине Эмонт. В пасхальное воскресенье, во время лазанья в одиночестве по холмам, я обнаружил себя на вершине Кидстай Пайк, взбирающимся вниз, на Мардейл и Хосуотер. Было уже далеко за полдень, а темнело еще рано. На вершинах холмов еще лежал снег. Долина под моими ногами была погружена в неясный пурпур, снизу напоздали ночные тени, тогда как в вышине тусклый свет дня еще цеплялся за горные хребты. Я сбегал вниз по длинному отрогу, что Кидстай Пайк простирает на восток, отделяя Рэндейл от Ригтиндейла. Я выдохся от быстрого спуска, а уши мои заложило, так как за двенадцать минут я спустился, наверное, на пятнадцать сотен футов, добравшись до ручья у фермы в Ригтиндейле. И за деревьями я увидел свет в окнах церкви. Я вспомнил, что Хосуотеру со всеми его строениями предстояло быть затопленным на глубине двадцати футов, дабы можно было подвести воду к какому-то муравейнику цивилизации, и решил, что зайду в эту церквушку на вечернюю службу, пока это еще возможно, пока в тисах на ее дворе вместо сов не завелись рыбы. И в сгущающемся мраке я проковылял по безмолвной аллее меж этими огромными тисами и прошел в эту крохотную церковь через занавешенные двери под квадратной башней. Мне, явившемуся из холода и темноты, она полюбилась с первого взгляда: ее тепло и неяркие свечи, ее скамьи из почерневшего от времени дуба, ее небольшие хоры в якобитском стиле, ее грубые покрытые побелкой стены, незатейливые стрельчатые окна, низкие и темные потолочные балки, то ослепительное величие, которое очаровывает ребенка, впервые видящего рождественскую елку. Я вспоминаю, как, пробираясь по проходу к месту у северной стены, думал о маленьких глиняных домиках-ночниках, белых, зеленых и розовых, в которые можно было ставить свечу. Я давно о них позабыл, но (вспомнилось мне) и у меня был такой домик много лет назад, в те благоухавшие лавандой и мускусом дни детства, казавшиеся мне тогда, в возрасте девятнадцати лет, более отдаленными, нежели теперь. Вероятно, эти домики привезли из Германии: был в них некий до-

брый старый немецкий дух, что-то от Степки-растрепки<sup>15</sup> и рождественской елки. Да, это об этих крохотных глиняных домиках думал я, сидя в церкви, наслаждаясь светом свечей и мечущимися тенями, которые отбрасывало их пламя: безопасными тенями, какие обитали в детской комнате, пока там оставалась няня, а не теми призрачными, что грозно стучались вокруг, когда она уходила ужинать и оставляла тебя одного. В этих тенях и в чарующем желтоватом сиянии свечей я рассматривал добрые и честные лица, совсем как у нее: старый крестьянин, сморщенный, сильный, ширококостный, с обветренной кожей, не в своем парадном воскресном костюме, а в тяжелых подбитых гвоздями и облепленных грязью ботинках — ведь ему пришлось пройти до церкви приличное расстояние, — и в грубом твидовом пальто и бриджах; трое или четверо крестьян, несколько рабочих с ферм, несколько женщин и девушек, старуха, один или два мальчика, пара человек на небольших хорах над входом — вот и все прихожане. Но что больше всего мне понравилось, так это старый пастор и то, как он вел свою службу. Его волосы были седые, а усы встопорщены. Он все делал самостоятельно: произносил молитвы, декламировал отрывки из писания, собирал пожертвования, играл на исполнявшей роль органа фисгармонии, читал проповедь. И все это он делал методично, без спешки или неловкости, будто прислуживал за ужином компании друзей в своем домике через дорогу. Проповедь его была кратка и полна добрых и чуть насмешливых упоминаний о присутствующих. Его объявления о предстоящих службах, венчаниях, крестинах и прочих вещах были пересыпаны детальными и безыскусными разъяснениями, даваемыми отнюдь не *ex cathedra*<sup>16</sup>, но как будто бы в разговоре за завтраком. Больше всего мне запомнилось, когда он объявил: «Гимн номер сто сорок; сто сороковой гимн: Жив Иисус! И ужас твой нас уж, смерть, не утрашит». Затем, прежде чем сесть за фисгармонию, он окинул весьма благожелательным взглядом свою немногочисленную паству поверх очков и добавил: «Я бы хотел, чтобы все постарались спеть гимн правильно. Некоторые допускают ошибку в первой строчке этого гимна, придавая ему совершенно неверное значение. Помните о паузе после «Иисус»: «Жив Иисус!» Не пойте, как поют некоторые, «Жив, Иисус, и ужас твой», это совершенно неверно, придает гимну совершенно неверное значение, превращает все в чепуху. Итак, «Жив Иисус! И ужас твой...» С этими словами он уселся за фисгармонию и начал играть.

Именно в тот момент, когда мы все встали, чтобы спеть этот нехитрый гимн с его сложной первой строчкой, я впервые и увидел Лессингема. Он стоял поодаль, справа от меня, у задней стены на южной стороне, и, когда прихожане поднялись, я обернулся и увидел его. Я вспоминаю, как годы спустя он

15 «Степка-растрепка» — детская книга немецкого писателя Г. Гофмана.

16 *Ex cathedra* (лат.) — здесь, «официальным тоном».

описывал мне эффект внезапно открывающегося тебе вида на Нангапарбат<sup>17</sup> из одной из долин Кашмира; ты часами едешь по поросшей густыми лесами местности, петляя по склону какого-то ущелья, и нет вокруг ничего по-настоящему крупного, лишь безмолвный утопающий в листве ландшафт изобилующий крутыми холмами и водопадами; и вдруг за поворотом открывается вид на всю долину, и ты едва не лишаешься дара речи при виде спящего великолепия исполинского горного склона с его увешанными сосульками уступами и вздымающимися ввысь гребнями, в шестнадцать тысяч футов высотой от вершины до подошвы, заполняющего собой добрую четверть неба, на расстоянии, наверное, какой-нибудь дюжины миль. И теперь, когда я восстанавливаю в памяти свою первую встречу с Лессингемом в той долине, в той маленькой церквушке, так много лет назад, я всегда думаю о Нангапарбате. Он был на целую голову выше самого высокого из присутствовавших, но не это, а само величие его позы привлекло мое внимание, будто был он неким прославленным лордом эпохи Возрождения, — величие, которое словно жило в каждом его движении, в каждой черте лица, и смотрелось в нем столь же естественно, столь непринужденно, как и простая старая норфолкская куртка и бриджи, в которые он был одет. Куртка его обветшала, была обтрепана на обшлагах и подшита кожаными заплатами на локтях, но ее, будто пламенем в роговом фонаре, словно освещало изнутри что-то от статуй героев из Парфенона. Я видел, его прекрасную руку, лежавшую на подоконнике, и рубин, что углем пылал в странном кольце на его среднем пальце. И, как на покрытой снегом горе все утесы вздымаются к одному заоблачному пику под небосводом, так соединились в нем все величие, красота и сила: в этом безмятежном челе, в лице, где словно смешались черты Аполлона и Ареса, во властной и благородной линии уст, видневшейся меж закрученными вверх усами и ниспадающей черной бородой, уст, в чьих уголках будто затаилось все его сумасбродство, остроумие, тоска, решимость и ужасный гнев. Наконец, его глаза нечаянно встретились с моими, но он смотрел сквозь меня, будто погрузившись в глубокую печаль, и мне пришлось отвернуться в замешательстве.

Я решил уже, что он не заметил меня и моего пристального взгляда, но когда мы вышли из церкви по окончании службы (уже светили звезды, и луна вышла из-за холмов), он догнал меня и пошел рядом, обронив, что мы с ним были в одинаковых галстуках. Не знаю, что было для меня более поразительно: то, что этот человек вообще снизошел до разговора со мной, или то, что уже через пять минут я шагал рядом с ним по дороге к озеру, ведущей в направлении моего дома, и беседовал с ним столь же непринужденно, как если бы это был мой близкий друг и ровесник, а не человек, достаточно пожилой, чтобы годиться мне в отцы; человек, который смотрелся бы более

---

17 Нангапарбат — высочайшая гора в Кашмирских Гималаях.

уместно в компании Чезаре Борджиа<sup>18</sup> или Гонсальво ди Кордова<sup>19</sup>. Лишь позже я узнал, что он вел свою родословную через многие поколения своих английских предков от короля Йоркского, Эйрика Кровавая Секира<sup>20</sup>, сына Харальда Прекрасноволосого<sup>21</sup>, этого Charlemagne<sup>22</sup> севера, а по материнской линии — от величайшего монарха Европы за все тысячелетие между правлениями Карла Великого<sup>23</sup> и Наполеона<sup>24</sup>: от императора Фридриха Второго<sup>25</sup>, о котором написано: «сила, что в большинстве видных и прославленных людей лишь просвечивает сквозь щели, изливается из него, словно из прорехи в самой ткани мироздания». В последующие годы я довольно часто помогал Лессингему в сборе материала для его десятитомного труда «История Фридриха Второго», которая ныне считается наиболее компетентным источником по истории того периода, а с литературной точки зрения на голову превосходит любой другой исторический труд, написанный со времен Гиббона<sup>26</sup>.

Сначала мы беседовали об Итоне<sup>27</sup>, затем о гребле и верховой езде, а затем о горах, ибо как раз в те времена меня вновь посетила страсть к скалолазанию, а в нем я нашел человека опытного в этом деле, хотя только через год или около того я узнал, что он был одним из лучших (и наиболее безрассудным) из всех тогдашних альпинистов. Не думаю, что мы касались темы недавней войны, в которой он добился высокого признания, в основном в восточно-африканской кампании. Наконец, под влиянием звездного света, размеренной ходьбы и той взаимной предрасположенности умов, которая только и является основой любой настоящей дружбы, крылья нашей беседы простерлись достаточно широко, чтобы затронуть более личные сферы; и вскоре я уже рассказывал ему, как впечатлило меня его присутствие в этой церквушке, и даже спрашивал, пришел ли он туда помолиться, как прочие люди, или только посмотреть, как и я. Это была пора расцвета моего пылкого неверия, когда необъяснимое юношеское amor mortis<sup>28</sup> готово увенчать пышным плюмажем шлем любого безбожия, когда книги наподобие «Восстания ангелов<sup>29</sup>» или «Долорес» Суинберна повергают тебя в такой трепет, какого столь же живо и

18 Чезаре Борджиа (1475 - 1507) — политический деятель, известный своими жестокостью, коварством и политическими способностями.

19 Гонсальво ди Кордова (1443 - 1515) — испанский флотоводец, прославившийся взятием Гранады (1492).

20 Эйрик I Кровавая Секира (885 - 954) — король Норвегии (930 - 934), крестившийся и живший в Йорке.

21 Харальд I Прекрасноволосый (ок. 850 - ок. 933) — первый король Норвегии (ок. 872 - 933).

22 Charlemagne — французский вариант имени Карла Великого.

23 Карл I Великий (747 - 814) — король франков (768 - 814), римский император (800 - 814).

24 Наполеон I Бонапарт (1769 - 1821) — французский полководец, первый император Франции (1804 - 1814, 1815).

25 Фридрих II или Фридрих Великий (1712 - 1786) — король Пруссии (1740 - 1786).

26 Эдвард Гиббон (1737 - 1794) — знаменитый английский историк.

27 Итонский колледж, частная школа для мальчиков, основанная в 1440 г.

28 Amor mortis (лат.) — «влечение к смерти».

29 Название романа А. Франса.

ярко уже не испытать, после того как годы и опыт научат нас всем подлинным ужасам того тоскливого, печального и бесславного погружения в небытие, что в конечном счете ожидает нас всех. Он ответил, что пришел помолиться. Этого я не ожидал, хотя и подивился выражению его лица в церкви: мне показалось, выражение это странно смотрелось на этом лице языческого бога или безбожного тирана Возрождения. Я пробормотал что-то неуклюжее в том смысле, что он не выглядел истовым прихожанином. От его хохота ночь будто заискрилась, затем он остановился, схватил меня за плечо одной рукой и развернул лицом к себе. Его улыбка в лунном свете напомнила мне об эссе Патера<sup>30</sup> о Моне Лизе. Он ничего не сказал, но чувство было такое, будто сам я вместе со всем своим неоперившимся безбожием беззащитно и бессильно съезился перед этой улыбкой: еще не возмужавший Капаней<sup>31</sup> перед Фивами, смехотворный крошка Аякс<sup>32</sup>, грозящий молнии игрушечным мечом. Мы шли мимо темного озера. Он ничего не говорил, молчал и я. Он уже столь прочно привязал меня к себе, что, окажись он анабаптистом либо мусульманином, я бы с готовностью принял его вероисповедание. Наконец, он заговорил, и слова его почему-то запечатлелись в моей памяти. «Несомненно», — промолвил он, — «мы оказались в этом месте по одной и той же причине. Благое, истинное, прекрасное: разве в этом треугольнике (или, вернее, в этой точке, ибо «истина» лишь утверждает, что красота и добро есть первоосновы реальности) не заключена вся многогранность Богов?» Довольно сомнительная философия, как я понял позднее, когда получше познакомился с метафизикой. Но она родилась из тех блуждающих огоньков, что зажигались в самых потаенных уголках его души (иногда, за все время нашей долгой дружбы, мне удавалось почувствовать это через мимолетные озарения и оговорки); это были его чертоги счастья, дом зова его сердца, кредо, миф, чисто поэтическое мировоззрение, однако, более цельное в своей структуре и более прочное в своих удивительных и прекрасных фантазиях и нелепостях, недоступных ни опию, ни безумию, нежели сам этот мир и эта жизнь, которую мы называем реальной. Более того, он придавал жизни форму своих грез; и, помимо его поэм и произведений, над которыми «не властно время», помимо картин и скульптур, за которые дерутся картинные галереи Европы, помимо прочих (возможно, наиболее изумительных) проявлений его гения — людских сообществ, на себе ощутивших стальную, но благую мощь его правления, как здесь, на Лофотенских островах, — помимо всего этого, я горячо убежден, в этой Иллюзии Иллюзий он обрел нечто, столь же могущественное, как и прославленное снадобье из вод Стикса, и никакая земная утрата, боль или горе не могли ранить его.

30 Уолтер Патер (1839 - 1894) — английский эссеист и искусствовед.

31 Капаней — в древнегреческой мифологии один из семи героев, принявших участие в походе против Фив.

32 Аякс (здесь, Аякс Оилид) — герой «Илиады» Гомера.

Только после многих лет дружбы я получил хоть какое-то представление обо всей силе утешения, которое это ему давало, ибо он никогда не раскрывал свое сердце полностью. О голых фактах он вскоре мне поведал: о своей женитьбе в возрасте двадцати шести лет на прекрасной леди Мэри Скарнсайд, которой тогда едва исполнилось двадцать, и о ее гибели пятнадцать лет спустя в железнодорожной катастрофе во Франции вместе с их единственным ребенком, девочкой. Эта трагедия произошла примерно за два года до нашей с ним встречи в Мардейской церкви. Лессингем никогда не говорил о своей жене. Мне стало известно, что вскоре после ее смерти он решительно сжег их милый старый домик в Уостдейле. Я никогда не видел ее изображений: некоторые из них, принадлежавшие его же кисти, погибли в огне; через много лет он рассказал мне, что впоследствии скупал все ее портреты или фотографии, какие только мог найти, и уничтожал их. Как и большинство людей, наделенных энергичным умом и развитым воображением, Лессингем за все время, что я его знал, оставался мужчиной чрезвычайно привлекательным в глазах женщин; мужчиной, для которого (как и для его величественного предка) женщины и женская красота были словно горный воздух и солнечный свет. Вид этой непрерывной вереницы женщин, что подобно драгоценным камням увенчивали все нараставшее великолепие и роскошь его жизни, заставлял меня считать его брак незначительным, а тот факт, что он никогда не говорил о своей жене, я приписывал тому, что он о ней забыл. Позднее, узнав о сожженных портретах, я изменил свое мнение, предположив, что он ее ненавидел. И лишь когда наша дружба дозрела до стадии глубинного взаимопонимания, на которой слова стали не столь уж важны для общения меж нашими умами, понял я, как обстояли дела на самом деле, понял, что лишь его всеобъемлющая и ребячливая вера в ее личностное бессмертие, как и в свое собственное, по ту сторону могилы, поддерживали его сквозь бури и затишья, в величии и высоких достижениях, все те (пятьдесят, как оказалось) лет, что он прожил без нее.

Ох уж эти прагматичные мыслители с их разнузданной психологией, дотошными поисками ответов на все вопросы и противоречивыми разглагольствованиями, выдаваемыми ими за метафизику! Я бы, пожалуй, позволил им заткнуть глотку правде и, словно осла, водить мир за нос, если бы только у них, как у этого человека, хватило воли подчинить свои ошибки и заблуждения столь же возвышенным фантазиям. Ибо очевидно: все, созданное человечеством было бы лучше, будь оно создано им для себя, ведь немногие способны холить и лелеять чужое потомство. Но этот человек, как я осознал за долгие годы наблюдений, смотрел на все *sub specie aeternitatis*<sup>33</sup>, и все его деяния (как и эта северная летняя ночь) неспешно двигались к совершенству, тогда как большинство людей делают все наспех, на скорую руку, и тем самым все портят. Если он и следовал в метафизике блуждающим огонькам, то в практиче-

33 *sub specie aeternitatis* (лат.) — «с точки зрения вечности».

ских вопросах они оказались для него надежными путеводными огнями. Его не вводил в заблуждение и не волновал идол толпы, Количество; он полагал, что если увеличить Маттерхорн<sup>34</sup> в достаточной мере, тот станет столь же незначителен, как и песчинка, ибо взгляду будет не дано охватить его, и что туманность, по сравнению с которой наша Земля — лишь частица в облаке табачного дыма, несет в себе меньше значимости (разве что, в роли затравки для воображения), чем сам этот дым, поскольку более оторвана от жизни. И потому со всей мудростью применял он все свои природные дарования, тот скипетр, что вручило ему его колоссальное состояние, не расточая их в мирской суете, но обращая их в достаточно четко очерченные сферы, чтобы достигнуть конкретного результата. И, несмотря на всю его безудержную энергию и жажду деятельности, он, как правило, держался в стороне от дел этого мира, за исключением случаев, когда ему предоставлялись условия, как в Парагвае, или впоследствии на Лофотенских островах, отличные от склада современной жизни. Ибо, думаю, он инстинктивно чувствовал, что современная жизнь разрушает в человеке личность. Хорошему скалолазу, говорил он, не применить свое искусство в трясине. И вот, наступила ночь, и не будет больше скалолазания.

Пока я не закончил говорить, я не понимал, что в некотором роде свалил дурака, позволив своим мыслям устремиться вслед за своим языком. На несколько минут воцарилась тишина, нарушаемая лишь глубокомысленным тиканьем часов и время от времени доносившимся снаружи одиноким криком морской птицы. Затем голос сеньориты вкрался в молчание, как крадется сквозь тьму метеор:

— Все проходит, все умирает, все, что для нас дорого: губы увядают, ясный рассудок тускнеет, засыпают «леди, роза и лоза<sup>35</sup>»; даже имена, даже названия и воспоминания обо всем пережитом, исчезают и забываются; и в конце концов не только они, но сами смерть и забвение растворятся в бесконечном холоде и безбрежном небытии пространства и времени: навсегда, навсегда, навсегда.

Я слушал, и мои мышцы попеременно то сжимались, то расслаблялись, как бывает во снах, где спящий неуверенно карабкается от одной картины к другой, что висят на стене чудовищной высоты, под которой разверзается бездна. Доселе концепция всеобщего уничтожения (которую я однажды вертел в своем воображении, бодрствуя как это иногда со мной случается, в одну из глухих ночей) повергала меня в такой ужас, что я едва смог удержаться тогда от вопля в своей постели. Но теперь я впервые осознал, что могу взирать с этого головокружительного обрыва спокойно и бесстрашно. Казалось удивитель-

34 Маттерхорн — горная вершина в Альпах.

35 Отсылка к поэме ирландского поэта Г. Тренча «Реквием по архангелам».

ным, что здесь, в присутствии очевидного проявления смерти, я в первый раз в жизни понял: я неспособен поверить в смерть всерьез.

Мои глаза были обращены к лицу Лессингема, лицу Озимандии<sup>36</sup>. Внутренний же взгляд мой блуждал в ночи, окунувшись в те пучины по ту сторону звездного света, где на расстоянии бесчисленных миллионов световых лет встречаются концы прямой линии, а лучи света замыкаются в кольца сами на себя; и то, что отсюда представляется моему взору едва заметным клочком тумана в россыпи подобных тысяче песчинок звезд в созвездии Льва, может на самом деле оказаться лишь другой проекцией того же самого неведомого космического островка солнц и галактик, который (такую же неприметной точкой) открывается моему ищущему взгляду в прямо противоположной области небосвода, у самого горизонта, в темном знаке Козерога.

А потом будто еще один метеор прополз по темному небу: она промолвила:

— Многие проклинали за это Бога, но, конечно же, беспричинно. Разве бесконечная Любовь, обладающая бесконечным Могуществом, должна подчиняться нашим требованиям? Куда спешить Богам, для которых ночь никогда не наступит? Что для Вечности «раньше» или «позже»? Думали ли вы вот о чем: вам привиделся дурной сон, вы побывали той ночью в аду, но проснулись и полностью его позабыли. Стали ли вы после этой ночи хоть на йоту несчастнее?

Казалось, она говорит о забытых вещах, которые я давным-давно знал, и, воскреснув в памяти, они принесли с собой все, что было утрачено, и исцелили всю грусть. У меня не нашлось слов ответить ей, но я подумал о стихах Лессингема, и в том состоянии ума, в которое она меня привела, они уподобились для меня теням в солнечном свете. Я достал с полки по левую руку от меня, возле окна, книгу из веленовой бумаги с золотыми застежками.

— Лессингем ответит вам в этой книге, — произнес я, глядя на ее профиль на фоне заката.

Книга открылась на его рондо об Афродите Урании. Я прочел стихотворение вслух. Голос мой дрожал и испортил все чтение:

*Между закатом и морем  
Буду я петь тебе славу.  
В волн мимолетном узоре  
Годы плывут величаво.  
Взгляд тебя ищет в просторе,  
Времени бездны пронзает,  
Землю вокруг обегает,  
Между закатом и морем!*

36 Озимандия (Озимандиас) — греческая транскрипция тронного имени египетского фараона Рамзеса II; также одноименная поэма П. Шелли.

*О госпожа Афродита!  
Счастье даруешь и горе.  
Все твои храмы разбиты,  
Но ты сама знаменита  
Между закатом и морем.  
Слава твоя не забыта<sup>37</sup>.*

Я читал, а сеньорита сидела неподвижно, глядя на Лессингема. Потом она бесшумно поднялась со своего места на подоконнике и встала там же, где я впервые увидел ее этой ночью, будто Королева Любви, скорбящая о своем усопшем возлюбленном. Часы все тикали, в том же ритме билось и мое сердце. Внезапно меня охватил необъяснимый страх, что Смерть вступила в комнату и сжала и мое сердце своей бесплотной ледяной рукой. Я уронил книгу и попытался встать, но колени мои подогнулись, будто у пьяницы. Но при мелодичных звуках ее голоса, когда она вновь заговорила, будто из межзвездных пространств, из-за туманов времени, одиночества и распада говорила сама любовь, сердце мое перестало трепетать и затихло, будто голубь в руках своей хозяйки.

— Уже полночь, — промолвила она, — Пора попрощаться, запереть покои и возжечь костер. Но сперва вам позволено взглянуть на картину и прочесть написанное.

В тот миг я не удивился ничему, но, как во сне, спокойно воспринял ее знание о тайном наказе, данном мне Лессингемом в запечатанных бумагах, запертых в огнеупорном сейфе, который я открыл лишь после его смерти, и содержимое которого, как он пару раз мне сказал, не видел никто, кроме него самого. В этом сейфе был золотой ключ, которым мне в полночь дня его смерти надлежало открыть дверцы шкафчика, встроенного в стену над его кроватью, а его оставить лежать на смертном одре под картиной, что находилась в шкафчике. Затем я должен был запереть комнату и сжечь замок Дигермулен вместе с ним и всем, что там было, так же, как он сжег свой дом в Уостдейле пятьюдесятью годами ранее. И он объяснил мне, что в шкафчике был написанный им самим портрет его жены, его шедевр, не виденный никем, кроме художника и модели, единственный из всех ее портретов, который он пощадил.

Встроенные заподлицо со стеной, дверцы шкафчика были покрыты черным лаком и украшены золотом. Я повернул золотой ключ и открыл их. В глазах у меня все поплыло, когда я увидел то прелестное изображение, что робко явило себя в неровном сиянии свечей и рассеянном розовом сумеречном свете. Мне стало ясно, что это чудесную картину он написал для себя одного. Ком встал у меня в горле, когда я подумал об этом последнем даре нашей дружбы, посредством которого, как было запланировало им много лет

---

37 Пер. А. Вироховского.

назад, он мог обратиться ко мне сквозь смерть, позволив моим глазам взглянуть на его сокровище, перед тем как оно вместе с его собственными бранными останками будет предано всепожирающему огню. И тут я увидел, что на внутренней поверхности дверец было (не сомневаюсь, его же собственными руками) выложено золотыми буквами следующее стихотворение, по шесть строф на каждой створке:

*ВИДЕНИЕ ЗИМИАМВИИ*

*Возьму золото красное я и возьму серебро,  
И полотна из шелка, золотную нитью расшитые.  
Мантикора и Гидра на них изогнутся хитро,  
Порожденные Ужасом Древним в эпохи забытые.  
И в прожилках колонны возьму неземной красоты,  
Те, что вырезал Фидий из глыб белоснежного мрамора.  
Амарант элизейский, непент и иные цветы,  
Безмятежные, с их капителей резных смотрят за море.  
Ночь возьму, и возьму вкус победы в жестоком бою,  
И на ложе, украшенном золотом и самоцветами,  
Преклонившись, тебя возложу, и тебя воспою,  
Ибо нет мне иначе Вселенной, и радости нету мне.  
Ты в цветеньи своем, что пьянит меня вечной весной,  
Неизменна пребудешь, презрев увядание брненное.  
Платье, к стройным ногам соскользнув белоенной волной,  
Явит взору твоей красоты совершенство нетленное.  
Этих бедер изгиб, что лилейно нежны и теплы,  
Эти дивные груди, будящие в сердце желание,  
Эти плечи, что столь соблазнительны и столь круглы,  
И волос золотоогненных пряное благоухание.  
О любимая... слепну, мне не совладать с языком,  
И внезапное пламя под кожей моею проносится.  
Сотрясает меня оглушительный внутренний гром.  
Я не слышу себя, лишь на волю мольба к тебе просится:  
Ленты жемчуга выплети ты из змеящихся кос,  
Расстegni и заколки с их граней бессчетных сиянием.  
Распусти золотой водопад своих пышных волос —  
Лишь они пускай будут туманным твоим одеянием.  
Трепетание крыльев, безумный галоп и прибой  
Замирают, и вновь воцаряется в мире безмолвие.  
Выпадает роса, освященная звездной твоей красотой,  
И луна над садами плывет сквозь мгновения долгие.  
Пусть нас двое, но наши тела и умы суть одно.  
Я к плечу твоему, словно в нем находя утешение,  
Смежив веки, прильнул, как ребенок в обители снов;  
Мне кольцо твоих ласковых рук дарит благословение.*

*О Владычица Мира, лишь ты мне приносишь покой,  
И в тебе лишь — любви обещание вечной и искренней.  
Изменяясь всегда, ты всегда остаешься собой.  
Все, что истиной ты назовешь, для меня — также истина.  
Возьму золото красное я и возьму изумруд,  
Гиацинт и рубин, и полотна, искусно расшитые.  
Мантукора и Гидра застынут на них и замрут,  
Порожденные Ужасом Древним в эпохи забытые.  
Возьму синее море, бездонный возьму небосвод,  
Воцарюсь над землею, пройду сквозь преграды и беды я,  
А закатной порой, от мирских утомившись забот,  
За тобою на жаркий костер погребальный последую.*

Почти ослепнув от слез, я прочел стихотворение и переписал его. Все это время я осознавал присутствие подле меня сеньориты, и в этом осознании я неким иррациональным образом обрел для себя необъяснимую поддержку, недоступную пониманию или сравнению. По здравом размышлении, все это было непозволительно видеть кому-либо еще, кроме меня. Но уместность (или, скорее, необходимость) ее присутствия наполнила меня такой жизненной силой, что я ничего ей не сказал и ничего не спросил. Закончив писать, я заметил, что она не шелохнулась, но так и осталась стоять неподвижно, изящно положив руку на столб в изножье его кровати, меж ушами большого золотого гиппогрифа. Я услышал ее слова, тихие, будто дыхание ночных цветов под звездами:

— Сказочная страна Зимиамвия. Как вы думаете, правда ли то, что поэты говорят нам об этой блаженной стране: будто бы ноге смертного не дано ступить туда, и населяют ее лишь благословенные души усопших, что оставили нас, несмотря на все свое земное величие и совершенные ими при жизни славные дела; тех, что ценили земную жизнь, ее радость и великолепие, но в то же время поступали справедливо и не были ни трусами, ни угнетателями?

— Кто знает? — ответил я. — Кто осмелится утверждать, будто знает?

Она продолжила, и голос ее был мягче сияния светлячков в розовых кустах посреди заброшенного сада, когда выпадает роса и восходит луна:

— Не тревожься. Я дала обещание, и я его исполню.

Я взирал на эту необычайную женщину, и, когда она смотрела на Лессингема, непостижимое выражение, казалось, появилось на ее лице, на ее созданных для смеха божественных устах, приоткрытых в печальном ожидании, — выражение бесконечного сострадания, бесконечного терпения и бесконечной доброты, что можно было бы увидеть у Афродиты Книдской Праксителя<sup>38</sup>.

38 Афродита Книдская — одна из наиболее известных работ древнегреческого скульптора Праксителя, погибла во время пожара в Константинополе.

## 1. Весенняя ночь в Морнагее

*ПОД УГРОЗОЙ — ТРИ КОРОЛЕВСТВА БЕЗ ПРАВИТЕЛЯ —  
ПРОИСКИ НАМЕСТНИКА — ОБЕЩАНИЕ УСЛЫШАНО В ЗИМИАМВИИ*

— По всеобщему мнению это только развязало ему руки, — сказал Амори. — Если бы король Мезенций был жив, этим же летом между ними началась бы война. И тогда он угодил бы в ту самую яму, которую вырыл для других; да и с сыном его ему будет нелегко совладать, хотя опасность уже и не столь велика. Похоже, в этом вам ваша рассудительность изменила, хотя, если не считать этой ошибки, я бы поклялся, что вы совершенны во всем.

Лессингем не ответил. Он был поглощен созерцанием до краев наполненного вином хрустального кубка в своей правой руке. Он поднял его, и стоявшие посреди стола свечи своим сиянием заставили нескончаемый поток пузырьков в нем вспыхнуть золотистым пламенем. Сидевший справа от него Амори искоса наблюдал за ним. Лессингем поставил кубок на стол и повернулся к нему с видом человека, только что пробудившегося ото сна.

— Ну вот, я вас рассердил, — произнес Амори. — Однако же, я лишь сказал все как есть.

Будто крапивник, что мелькает в зеленой ограде, легкая тень усмешки скользнула в серых глазах Лессингема:

— Что такое? Ты решил дать мне добрый совет? Прости, дорогой Амори, я утратил нить твоих рассуждений. Ты говорил о моем кузене и о великом короле, а также о своих домыслах насчет развития событий, однако я задумался и тебя не слушал.

Амори внимательно посмотрел на него, затем опустил глаза. Его густые брови соломенного цвета хмурились и топорщились, а загар на его гладком как у девушки лице не мог скрыть заливший его до самых ушей и корней волос румянец. Он сидел молча, насупившись, засунув руки за пояс и уткнувшись подбородком в воротник. Лессингем, облокотившись на стол, поглаживал черные завитки усов и медленно водил пальцем по изукрашенной драгоценностями ножке кубка. То и дело он поглядывал искоса на Амори, пока тот, наконец, не поднял глаза и не встретился с ним взглядом. Тут Амори расхохотался. Лессингем еще некоторое время изучал превосходную работу ювелира на сверкавшем закатными цветами кубке, затем отодвинул его и откинулся на спинку кресла.

— Довольно, — сказал он, — Хватит тебя изводить. Выкладывай, что там у тебя на уме, и, если это не идет наперекор моей натуре, я это обдумаю.

— Вот уж утешили, — протянул Амори. — Боюсь, как раз вашу натуру и следовало бы изменить.

— Ну, это тебе не удастся, — ответил тот.

— Господин мой, — промолвил Амори, — Не разъясните ли мне, зачем мы здесь? Чего ждем? Что собираемся делать?

Лессингем погладил бороду и усмехнулся.

Амори продолжал:

— Ну вот, вы не отвечаете. Ответьте тогда хоть на это. Опрометчивость не в вашей натуре, но лишь опрометчивый человек поступает безрассудно; тогда почему (после пяти лет, что я следовал за вами по всему миру, видя, сколь стремительно вы взбираетесь по лестницам могущества, и как при дворе или в армии любого властителя выглядите самым драгоценным из сокровищ) из всех уголков мира предпочли вы вернуться сюда, в Ререк, и продать свой меч наместнику — из всех лицемеров и чертей ада.

— Не продать, милейший Амори, — ответил Лессингем. — Одолжить. Одолжить в знак родства и дружбы.

Амори рассмеялся:

— Родства и дружбы! Держите меня! Хороши родичи: вы с ним, да сам Дьявол вместе с вами!

Он вскочил, перевернув стул, решительно подошел к камину и пнул поленья своим тяжелым башмаком для верховой езды. Пламя взревело, и в трубу взметнулся сноп искр. Резко отвернувшись от огня, широко расставив ноги и заложив руки за спину, он заговорил:

— По крайней мере, вы в хорошем расположении духа, хотя и излишне было бы надеяться на ваше благоразумие. И теперь вы меня выслушаете ради вашего же блага. Вы же меня знаете; разве сам я по своей природе не склонен к поспешным и опрометчивым действиям? Но именно я и удерживаю ваши поведья, ибо, если уж говорить серьезно и напрямик, вы идете на вполне очевидный риск, который, однако, не принесет вам ни малейшего преимущества. Три черные тучи стекаются к одной точке, где вы в самом разгаре и расцвете своей молодости вместе со своими восемью сотнями конных уже три дня выжидаете непонятно чего, и при этом (как вы только что прямо сказали) полны упрямой решимости подчинить себя целиком интересам наместника. Все эти три месяца вы были посвящены в его планы — я об этом не забываю. Не стану недооценивать и вашу политическую мудрость: вы играете в шахматы с самим Дьяволом и до сих пор оставались с ним в пате. Но по этой самой причине вы не можете не видеть нависшей над вами угрозы: если ему каким-либо образом удастся добиться своего, он избежит от вас, и вы останетесь ни с чем; если же, напротив, он сломает себе шею в своих честолюбивых устремлениях, вы-то восстановите против себя непримиримейших и могущественнейших врагов.

Подумайте о своем положении. Да, юный король Стиллис — еще мальчишка. Но не забывайте: он сын короля Мезенция, а в волчьем логове обычно обнаруживаются отнюдь не комнатные собачонки и не молокососы, которым корона и королевство Фингисволда достались просто по праву наследства. И на юг он явился вовсе не для того, чтобы принимать от регентов пустые клятвы верности здесь и в Мезрии, но чтобы захватить власть. Я бы на вашем месте не

стал рассчитывать на прохладное отношение герцога Зайанского к своему младшему брату. Действительно, во многих семьях побочные дети обладают более твердым характером; да и вы сами справедливо осуждали поведение юного короля в Мезрии, когда (с теплотой, которая могла лишь остудить чувства его брата) он, казалось бы, приблизил к себе господина адмирала, и в то же время отхватил у герцога своей царственной рукой значительный кусок земли, оставленной ему королем в наследство. И, хотя тому подобное обращение весьма неприятно, едва ли он пойдет против собственного родича или хотя бы останется в стороне, если дойдет до разрыва между королем и наместником. Кто его сейчас стесняет (помимо собственных лени и праздности), так это адмирал и прочие сторонники короля, что окружают его в Мезрии со всех сторон и держат там свои войска. Однако стоит только вспыхнуть раздору между королем и наместником, а герцогу Барганаксу — побряцать оружием и заявить, что он принимает сторону своего младшего брата, как все они, да и вся Мезрия, встанут под его начало. Тогда-то ваш кузен наместник попадет между молотом и наковальней, но где и в каком положении окажетесь тогда вы, господин мой? И это не фантазии и не академические рассуждения, это реальная опасность. Ведь разве уже которую неделю не чинит он под благовидными предлогами все и всяческие задержки и препоны, чтобы не давать юному королю прямого ответа на законное требование того передать в его руки власть в Ререке?

— Ну что ж, — вздохнул Лессингем, — Я слушал тебя весьма покорно. Ты сказал все как есть; нет ни одного слова, которое я бы оспорил. Нет, я восхищаюсь тем, как точно ты все изложил, ведь, по правде говоря, я сам рассказывал тебе все это прошлым вечером.

— Так почему, во имя небес, не прислушаться к моим словам? — воскликнул Амори. — Такое ощущение, будто вы опьянели, как мотылек, летящий на свет.

— Поддай мне карту, — велел Лессингем.

На какой-то миг что-то изменилось в мягком и шутовском тоне его голоса, как будто сверкнул вынутый и тут же спрятанный обратно в ножны клинок. Амори растелил пергамент на столе, и они оба склонились над ним.

— Ты мудрый человек, Амори, — в том, что касается конкретных ситуационных задач, но не абстрактного мышления. Бездействие пробуждает в тебе беспокойство, и тебе за каждым углом начинают мерещиться бесы и пугала. Неужто мне до сих пор нужно тебе объяснять, что я без опаски могу пойти на нечто такое, чего другие от меня никак не ожидают, на что-то, что по причине своей сложности тем самым окажется просто?

Указывая пальцем то в одну точку на карте, то в другую, Лессингем продолжал:

— Вот здесь юный король Стиллис стоит со своими основными силами: в лиге или чуть более к востоку от Рогового Озера. Именно сюда потребовал он от наместника явиться, дабы получить присягу от имени королевства Ререк, а также завладеть ключами от Кессарея, Мегры, Каймы и Аргьянны, где Король посадит своих военачальников. Покончив с этим, он полностью его обезвредит (во всяком случае, пока Барганакс не подпускает его близко), ибо на юге, в Марке, его в открытую недолюбливают и больше склоняются к Барганаксу, чье могущество даже в этих северных краях подкрепляется его дружбой с принцем Эркелем и с Арамондом, несмотря на все предполагаемые союзы, связи и родство, что делают их вассалами наместника.

Но перейдем к делу, ибо тебе необходимо знать, что нам следует спешно двигаться на север, и отправиться нужно этой же ночью. За прошедшие три недели мой благородный кузен, торгуясь с королем о месте и времени встречи, незаметно отворил дюжину шлюзов, и теперь к нему в Аудал тайно стекаются люди и оружие. Вооруженный столь сильными аргументами (как мне лишь прошлым вечером донесла разведка), он намерен завтра отозваться на призыв короля и прибыть к Роговому Озеру. И в довершение его замысла, на тот случай, если между правителями произойдет ссора и за дело примутся не политики, а воины, мне надлежит занять побережье между холмами у Болотного Гребня и Стреловым Заливом и преградить им дорогу домой в Фингисволд.

— Преградить дорогу домой? — переспросил Амори. — Но ведь это война и неприкрытый мятеж.

— Это уж как будет угодно королю. Так что, Амори, за дело. Мы должны быть в седлах за час до полуночи.

Амори глубоко вздохнул и выпрямился:

— Час на сборы и приготовления к маршу. За час до полуночи ваш конь будет у дверей.

С этими словами он вышел. Лессингем еще некоторое время изучал карту, затем позволил ей скататься обратно в рудон. Подойдя к окну, он широко распахнул его. Воздух дышал весной и ароматом нарциссов; Сириус висел над горизонтом на юго-западе.

— Все необходимые распоряжения отданы, — произнес внезапно оказавшийся подле него Амори. — Сейчас, пока еще есть время поговорить и подумать, не позволите ли мне высказаться?

— Я думал, ты уже высказался, — обернулся к нему Лессингем. — Или это все была основная тема, а теперь мне предстоит услышать контрапункт?

— Послушайте меня внимательно всего две минуты, господин мой. Вы знаете, что я останусь с вами, даже если вы направитесь к илистым берегам Ахерона<sup>39</sup>. Одумайтесь же, вы словно одурманены. Это же еще хуже — от-

39 В др. греч. мифологии одна из рек в царстве мертвых.

резать королю путь на север перед лицом столь грозной опасности, со столь малыми силами, да еще и Эркель на вашем фланге в любой момент может наброситься на нас из своего замка в Эльдире и сбросить нас в море.

— Насчет этого приняты нужные меры, — отозвался Лессингем. — На этот раз с ним заключены дружественные отношения. Кроме того, они с Арамондом — псы герцога, а не короля, и это в Мезрию, в Зайану, тянутся их поводки; северный же ветер приносит им только кашель. Их не опасайся.

Амори подошел и тоже облокотился на подоконник, касаясь левым локтем руки Лессингема. Помолчав, он тихо сказал, и слова его были подобны камням, которые с трудом выворачивают из застывшей глинистой почвы один за другим:

— Клянусь небесами, я люблю вас, и мне невыносимо видеть, как ваше величие служит лишь орудием в руках этого человека.

Клонясь к горизонту, Сириус коснулся кроны ясеня, потух, будто задутая свеча, скрывшись за веткой, а в следующий миг вновь засиял: средоточие бриллиантового сияния и сапфирового, изумрудного и аметистового, и ослепительной белизны. Лессингем ответил таким же тихим и задумчивым голосом, но слова его лились легко:

— Это мой кузен. Он для меня — пища и питье. Я жажду риска.

Они молча стояли у окна, вбирая в себя крепкий как вино воздух; глаза их были прикованы к многоцветному мерцанию этой звезды в бархатных недрах тьмы, что подчиняло и влекло к себе их существо, как влечет сладостная близость женщины, недостижимо прекрасной и неопишимо глубоко желанной. Очень медленно, Лессингем заговорил:

— Станный то был трюк моего рассудка, когда я недавно позабыл о тебе, да и о себе самом тоже, созерцая эти поднимающиеся вверх пузырьки, чье значение состоит не только в том, чтобы вспыхнуть искрой в свете свечей, но и в напоминании, что человек рожден для счастья. Ибо показалось мне, что в моих ушах в тот миг прозвучал голос: Я дала обещание, и я его исполню. И еще мне показалось, что голос этот мне знаком, знаком, как нечто дорогое и безвозвратно утраченное. Но все же я готов поклясться, что никогда прежде не слышал этот голос. И тут он пропал, будто потухла звезда.

Тихая ночь словно ворочалась во сне. С юга донесся неясный звук, похожий на отдаленный топот конских копыт. Амори распрямылся, подошел к столу и снова принялся рассматривать карту. Стук копыт усилился, а затем вдруг снова затих. Стоявший у окна Лессингем заметил:

— Этот кто-то очень спешит. Сейчас он спускается к броду в Килларийской Лощине — потому звук и стал тише. Какими бы ни были его вести, удержи его и приведи ко мне.

## II. Герцог Зайанский

ПОРТРЕТ ЛЕДИ — ДОКТОР ВАНДЕРМАСТ — ФЬОРИНДА: «ГОРЬКО-СЛАДОСТНАЯ» — ЛИРА, ПОТЯСАЮЩАЯ МИТИЛЕНУ<sup>40</sup>

**Н**А третье утро после прибытия гонца в Морнагей на севере герцог Барганакс рисовал в своем укромном саду в Зайане, что в южных краях, — в саду, где царит вечный день. Солнце, неизменно вращавшееся на одной и той же высоте над горизонтом — примерно на той же, где майской ночью в Англии проходит через меридиан Антарес, — наполняло теплый воздух частицами чистейшего золота, и в его лучах все становилось золотым: золотой блеск на гладких водах озера за балюстрадой, золотое сверкание юной листвы дубов на окрестных холмах, а в саду — красные и золотисто-желтые фрукты, висевшие в затканной золотом тени листьев земляничных деревьев; его позолота мерцала на камне резной скамьи, на каждой крошечной травинке подстриженной лужайки, насыщая собой все краски и все красоты; золото согрело и горделивую бледность лба и щек Фьоринды, блестками сверкая в гладких массах ее иссиня-черных волос.

— Согласились бы вы стать вечно молодой и бессмертной, госпожа моя, будь у вас такая возможность? — спросил герцог, в третий раз соскабливая краску, при помощи которой надеялся передать, и в третий раз безуспешно, неземную зелень глаз этой леди.

— Я уже такова, — ответила та равнодушно.

— Разве? Кто вам такое сказал?

— Ученый и философ, доктор Вандермаст.

Глаза герцога сузились; он посмотрел сначала на свою натурщицу, затем на картину, сделал один осторожный мазок, отошел, снова посмотрел и снова соскоблил. Затем он усмехнулся:

— Что? И вы ему верите? Посмотрите, как он сидит подле Антеи, будто зима, что начинает чахнуть, как только Флора<sup>41</sup> вступит в свои права. Куда ему внушать веру в столь невероятные обещания, противоречащие всякому опыту.

Фьоринда промолвила:

— Во всяком случае, он заколдовал вам этот сад.

— Вот бы он еще и заколдовал ваши глаза, — отозвался герцог. — Если бы они были столь же неизменны, я бы их нарисовал, а так ничего не выходит. Да оно и к лучшему, что не выходит. Если бы этот сад был таким, как вы сказали, госпожа моя (или, что еще хуже, если бы вы были такой), мое наслаждение обернулось бы отравой. Этот бесконечный золотистый час полностью утратил бы свою магию, если бы было бесспорно и неопровержимо установлено, что в следующее мгновение ока он не рассеется как туман и не явит нам то буднич-

40 Митилена (Митилини) — главный город острова Лесбос, родина древнегреческой поэтессы Сапфо.

41 Флора — богиня цветов и весны в древней Италии.

ное утро, которое за ним скрывается. Пускай поостережется и, если у него и впрямь достанет искусства остановить и заморозить все это навеки, пускай воздержится от его применения. Ибо — и это столь же несомненно, как и то, что доселе я охотно и заслуженно вознаграждал его за все то добро, что он мне сделал, — в тот самый день, клянусь Богом, я снесу ему голову.

Леди Фьоринда мелодично рассмеялась мягким и колким смехом, который сопровождался едва заметным презрительным кивком; в движении этом сквозили сила и грация. С минуту герцог рисовал торопливо и молча. Красота ее была тем более ослепительна, ибо, словно водоворот под мирной водной гладью, под ее спокойствием спала угроза; в ее высоких прямых скулах и чуть раскосых глазах таилось нечто от племени бесов Тартара, а в ее смеющихся губах — нижней чуть полноватой, верхней излишне тонкой — оттенок жестокости; ноздри же ее расширились, подобно ноздрям прекрасного и опасного зверя, учувшего кровь. Ее волосы, расчесанные на пробор и убранные с прелестного безмятежного лба, завивались кольцами в гладкий узел, прильнувший к ее затылку, будто дремлющая черная пантера. На ней не было ни драгоценностей, ни украшений, помимо двух карбункулов, пылавших углями в ее серьгах.

— Сколь же щедр наш монарх и покровитель, — произнесла она. — Сколь он вежлив и обходителен с дамами, требуя, чтобы мы завтра же сгнили подобно цветку алоэ, и все для того лишь, чтобы придать остроты его блюду этим пикантным привкусом хрупкости и недолговечности.

Графиня Розалура, младшая дочь принца Эркеля, два месяца назад вышедшая замуж за Медора, предводителя гвардии герцога, тихо поднялась со своего места подле мужа на краю фонтана из красного порфира и подошла взглянуть на картину своими карими глазами. Двинувшийся следом Медор остановился рядом с ней в тени большой липы. К ним присоединились фрейлины матери Барганакса, герцогини Мемизонской, Мирра и Виоланта, чьи взоры чаще обращались тайком на живописца, нежели на картину. Одна только Антея осталась возле ученого и лишь немного подалась вперед, наклонив голову и исподлобья глядя неподвижным взглядом своих желтых тиниственных глаз на Барганакса. Ее безжалостные уста чуть приоткрылись в слабой тени усмешки или воспоминании о ней. И, казалось, преобразовавшие все в этом саду золотистые солнечные лучи, наконец, повстречали нечто, неподвластное изменениям (поскольку этому нечто уже было присуще то же самое сияние), коснувшись волос Антеи.

— Ну вот, наконец-то! — воскликнул герцог. — Наконец я поймал и запечатлел на холсте того живущего в вашей милости дьяволенка, который сотню раз ускользал с самого кончика моей кисти; того самого, что таится, посмеиваясь, в уголках вашего рта, когда вы смеетесь так, будто готовы насмеяться над всеми подряд.

— Я не насмехаюсь ни над кем, — ответила та, — Разве только над теми, кто не следует правилам, которые я задаю. Можно мне теперь отдохнуть?

Не дожидаясь ответа, она поднялась и сошла с каменного постамента. На ней было котарди<sup>42</sup> из темно-красного атласа. Это шелковистое и блестящее одеяние облегалo фигуру от плеч до запястий, от шеи до пояса, словно перчатка, пряча и вместе с тем обнажая ее прелестные формы, что, подобно заключенной в хрусталь розе, наполняли его жизнью. Ее накидка из той же материи при ходьбе открывала взору (как летнее солнце заглядывает меж колыхаемых ветром верхушек деревьев) все ритмы и грацию ее движений, каждое из которых опьяняло сильнее самых сладостных и чувственных ароматов, дурманя тайной музыкой запредельных гармоний. Она замерла, разглядывая картину. Ее лицо теперь было серьезно, будто нечто уснуло в ее устах, ее зеленые глаза сузились и застыли, словно змеиные. Один или два раза она медленно кивнула, будто в уме ее созревала некая мысль. Наконец она промолвила тоном, лишенным всяких оттенков, кроме подобного приглушенным струнным мягкого и неопределенного серого:

— Странно, что вы до сих пор занимаетесь живописью; вы, который столь очарован жалкой мимолетностью всего смертного; вы, который готов снести голову тому, кто способен избавить ваш разум от этого печального и сладкого опьянения, заключив все ваш путеводные огоньки в сферу и обессмертив все ваши эфемерные сокровища. Но вы по-прежнему день за днем пускаете в ход всю свою изобретательность и мастерство, пытаетесь выжать из краски и холста мнимое, хрупкое и неполноценное бессмертие для чего-то, на что вы любите смотреть, но, по вашему же собственному признанию, что любили бы куда меньше, если бы не боялись потерять.

— Если вы желаете философского ответа, госпожа моя, — сказал герцог, — обращайтесь к старому Вандермасту, не ко мне.

— Я его спрашивала. Он ничего не может ответить по существу.

— Что же он сказал? — поинтересовался герцог.

Леди Фьоринда снова посмотрела на картину, все так же лениво и задумчиво склонив голову. Бес, которого герцог только что изловил и запечатлел на холсте, выглядел из уголков ее насмешливо искривленных губ.

— О, — промолвила она, — Я не занимаюсь пересказом чужих ответов. Спросите его, если так уж хотите узнать.

— Я дам вашей милости тот же ответ, что и прежде, — сказал старик, доселе сидевший неподвижно, спокойно и невозмутимо, переводя ясный и пронзительный взгляд с художника на модель и обратно и улыбаясь, будто наслаждаясь послевкусием старинного вина. — Вы удивитесь тому, что его светлость не щадит себя в стремлении посредством своего искусства запечатлеть в

---

42 Котарди — длинное и очень узкое платье, спереди зашнурованное или застегиваемое по всей длине.

мнимой неизменности те самые образы, которые в природе он ценит как раз за их изменчивость и подверженность метаморфозам и смерти. Ваша милость, надежно опираясь на неопровержимые и безусловные аргументы, начали с *celarent*, а затем поставили меня перед силлогизмом в модусе *barbara*, большая посылка которого, будучи мною всецело и тщательно рассмотрена, обдумана, взвешена и осмыслена, была с подробными доказательствами признана ошибочной по причине использования чистого обращения вместо обращения *per accidens*<sup>43</sup>; после чего, возразив вам в *bramantip*, я в заключение доказал несостоятельность ваших аргументов при помощи *bokardo*<sup>44</sup>, продемонстрировав, вкратце, что никакого дива здесь нет, ибо только женский разум подчиняется доводам здравого смысла, мужской же непостоянен и неуловим, как и блуждающие огни, которые преследует.

— Вполне исчерпывающий ответ, и как раз в метафизическом ключе, — сказала она. — Поскольку отвечали вы мне, я, пожалуй, не стану ничего уточнять, хотя (по правде говоря) не могу понять, что, черт возьми, он означает.

— По правде говоря, госпожа моя, — сказал герцог, — я рисую, потому что не могу этого не делать.

Фьоринда улыбнулась:

— О, господин мой, не знала, что вы способны делать что-либо по принуждению, — ее губы искривились в усмешке, и она добавила ему на ухо: — Разве что, когда вам велит ваш меньший брат.

Украдкой, из-под опущенных ресниц, она наблюдала, как краска заливает его лицо.

Во внезапном приступе ярости герцог бросил свои кисти наземь и швырнул вслед свою палитру, что пронеслась по воздуху, будто плоский камушек, которым мальчишки играют в «блины», и врзалась в заросли асфодели в дождине ярдов от него. Два или три роскошных цветка медленно поникли с переломанными в фуге от земли стеблями, печально склонив к траве свои огромные ажурные конусообразные розовато-восковые соцветия. Паж бесшумно подошел подобрать палитру. Сам же герцог, развернувшись после броска, устремился прочь через весь сад, но, дойдя до западной балюстрады, круто повернулся и зашагал обратно, сжимая кулаки. Присутствующие расступились перед ними в неловком молчании. Одна лишь леди Фьоринда не тронулась с места у украшенного золотом сандалового мольберта. Он резко остановился в ярде от нее. На его усыпанном драгоценными камнями поясе висел кинжал, головка и ножны которого были инкрустированы рубиновыми кабошонами, смарагдами и сеточкой крохотных алмазов. Мгновение он на-

43 Чистое или простое (*conversio simplex*) обращение, обращение с ограничением (*conversio per accidens*) — виды умозаключений в логике.

44 *Celarent, barbara, bramantip, bokardo* — типы (модусы) силлогизмов.

блюдал за ней, шумно и тяжело дыша, будто тигр подле статуи Афродиты. Ее окружало умопомрачительное благоухание неведомых цветов; она отвела глаза, пристально всматриваясь в холмы на юге; бес утрюмо замер в уголках ее уст. Он выхватил кинжал и яростным косым ударом распорол картину от угла до угла, затем принялся полосовать ее. Покончив с этим, он обернулся и взглянул на нее.

Она не шелохнулась, но в его глазах все переменялось. Будто властная и торжественная фраза симфонии, воззвратившаяся вопреки всем ожиданиям, но звучащая в приглушенной минорной гармонии, или же льющаяся волшебными и мечтательными звуками рожка, подобная утасающему пламени, повергающая в трепет своей нежностью, — такова была произошедшая с этой леди метаморфоза; от ее красоты, волнующей и жалобной, словно игрушки умершего ребенка, сжималось горло; румянец ее щек казался драгоценнее всех королевств и уязвимее пыльцы на крыльях бабочки. Она повернулась к нему в пол-оборота, и теперь в едва заметных движениях ее была лишь едва различима та величественная ирония, та мягкая насмешка, которые он так хорошо знал; однако сейчас он понимал, что насмешки в ее движениях больше не было, лишь гордая попытка сдержать слезы.

— Вы несправедливы ко мне, — прошептал он. — Вы же сжимаете в своих руках мою трепещущую душу, неужто станете подначивать меня, пока я не ужалю себя насмерть своим же собственным ядовитым жалом?

Она не ответила. Для пристально смотревшего на нее герцога все окружающее словно свелось к ней одной: цвета потускнели, солнечный свет из золотого сделался серебристым, алые цветы айвы поблекли и увяли, буйные травы, прежде зеленые, посерели, призрачная пустота сменила витавшее в воздухе за миг до этого предвестье близкого лета, все краски жизни и еще юного года. Она повернула голову и взглянула ему прямо в глаза; это было так, будто меж крыльев смерти звездой засияла красота.

— Ну, — спросил герцог, — к какой из тысячи гаваней страдания правили вы все эти три недели? Кого мне следует уничтожить?

— Уж никак не глупые картины, — ответила она. — Только капризные мальчишки ломают свои игрушки; и я не сомневаюсь, что уже завтра вы будете упрашивать меня опять вам позировать, чтобы вы смогли нарисовать еще одну.

Герцог облегченно рассмеялся:

— Ну что ж, нет худа без добра. Некий дремавший во мне зверь вдруг пробудился и, сам себя устранив, но и остудив мою кровь, снова мирно уснул.

— Уснул, как же! — воскликнула Фьоринда. Ее губы презрительно кривились.

— Ну, давайте, — не унимался герцог, — Чего же вы хотите? Удивите меня. Пригласить их всех слегка перекусить и во время последнего тоста по

условленному сигналу перерезать им горла, заколоть всех в мгновение ока? Боюсь, ваш благородный братец будет в их числе, госпожа моя, ибо именно его, а также некоторых других, должен я благодарить за эти грабительские проделки и беспримерное надувательство. Или это будет грандиозное двойное братоубийство под покровом ночи? Мы с вами вместе нанижем их на один вертел, словно вальдшнепов? Первым можно заняться прямо сегодня, что касается второго — что ж, я над этим еще поразмыслю.

— Неужели вы и есть тот самый монарх, — ответила Фьоринда, — о котором говорят, будто тот, кто вас оскорбит, будет трястись при одной мысли об этом? А пока что зайцы таскают мертвого льва за гриву...

Герцог отпрянул на шаг или два, а затем снова шагнул к ней, будто заключенный в клетку дикий зверь. Его лицо вновь было нахмурено.

— Вы постоянно переступаете черту, — произнес он. — Меры не знаете. Хорошо еще, что я человек хладнокровный и рассудительный. Я не просто так бездельничаю, ничего не предпринимая. Могу вас успокоить, у меня уже есть замечательный замысел, который в свое время поразит их всех, и, добившись превосходства над ними, в их падении я склоню судьбу на свою сторону.

С бесконечно ленивой кошачьей грацией она подняла голову; ее ноздри раздувались, в приоткрытых устах сверкнула улыбка, а в тени длинных черных ресниц сияли зеленым пламенем полумесяцы пристально всматривавшихся в него глаз.

— Не стоит вам разговаривать со мной, будто с ребенком или зверушкой, — промолвила она. — Вы поклянетесь мне, что так и будет?

— Нет, — ответил тот. — Но оглянитесь назад и задумайтесь о том, как было в прошлом: я был столь скуп на обещания, что (и ваша милость не сможет этого отрицать) всегда выполнял более обещанного или с меня причитавшегося.

— Что ж, — сказала она, — Меня это устраивает.

— А мне пора в тронный зал, — вспомнил герцог. — Уже час как прошло время аудиенций, и нельзя заставлять их столько ждать. Неблагодарное это занятие — осаживать в их нахальстве кое-кого из тех, о ком мы только что говорили.

Леди Фьоринда протянула ему свою белую руку; он склонился над ней и коснулся ее губами. Распрямившись, он замер со шляпой в руке, молча разглядывая ее, а затем шагнул ближе и проговорил ей на ухо:

— Госпожа моя, помните, как сказала поэтесса?..

*Ἔρος δαῦτέ μ' ὀ λυσιμελής δόνει  
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρετον.*

Будто очарованная сладкой тревогой хориямба, она слушала его очень тихо. Очень тихо, мечтательно, столь приглушенно, что слова почти без-

звучно слетали вместе с дыханием с ее сладостных уст, она откликнулась, словно эхо:

*Эрос вновь меня мучит истомчивый —  
Горько-сладостный, необоримый змей<sup>45</sup>.*

— Мне вспоминается, что сегодня мой день рождения, — произнес герцог таким же шепотом. — Окажет ли ваша милость мне честь, отужинав со мною нынче вечером в моих покоях в западной башне, что выходит на озеро, на закате?

На губах леди улыбки не было. Встретившись с ним глазами, она медленно склонила голову. Все очарование, все золотистое сияние, заливавшее воздух этого сада, затаенные в нем обещания и предзнаменования, воплотились благоуханием черной розы в ее словах.

— Да, — промолвила она, — Да.



45 Сафо, 40, пер. В. Вересаева.

### III. Мезрия: столы накрыты

*ТРОННЫЙ ЗАЛ В АКРОЗАЙАНЕ — ВЕРХОВНЫЙ АДМИРАЛ ИЕРОНИМИЙ —*

*КАНЦЛЕР БЕРОАЛЬД — ЗАБОТЫ ВЕЛИКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ —*

*ФИНГИСВОЛДСКИЙ БАСТАРД — ГРАФ РОДЕР —*

*СОВЕЩАНИЕ В КАБИНЕТЕ ГЕРЦОГА — ЗАВЕЩАНИЕ КОРОЛЯ СТИЛЛИСА —*

*ГНЕВ ГЕРЦОГА — НАМЕСТНИК ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ЦАРЕУБИЙСТВЕ —*

*СОЮЗ В СОБЛЮДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ*

**М**ЕЖДУ тем в тронном зале Зайаны уже почти два часа собирались люди в ожидании появления герцога. Зал был устроен таким образом, что длина его составляла сотню локтей, а ширина — только сорок. На стенах из бледного горного золота были вычеканены несметные множества малых и больших существ, покрытых шерстью, перьями или чешуей, наземные или морские, как правило, изображенные парами вместе с детенышами подле своих гнезд или нор, а также родные для каждого вида цветы, плоды, листья, травы и водоросли, заполнявшие промежутки своими буйными и причудливыми переплетениями. Высеченные из черного с молочными прожилками оникса массивные кариатиды в виде чудовищных змей, вчетверо выше человеческого роста, стояли по девять вдоль каждой из длинных стен зала и по четыре в каждом из его концов. Их головы с раздувшимися капюшонами упирались в гагатовый фриз четырех локтей в ширину, на котором были выложены мозаикой цветы маков, алоэ и дарящего забвение лотоса с лепестками из неярко и нежно сверкающих опалов и розовых сапфиров, а стеблями и листьями — из зеленого мармолита и халцедона. Над этим усыпанным цветами фризом простирался свод крыши, ажурно изукрашенный слоновой костью и золотом таким образом, что внизу, возле фриза, завитки и арабески были из золота, чуть выше в них вплеталась все более и более тонкая и воздушная вязь из слоновой кости, пока на самом верху не оставалась она одна, вырезанная столь тонко, что узоры на такой огромной высоте выглядели не толще волоска, и, казалось, внезапного порыва ветра или чересчур громко сказанного слова будет достаточно, чтобы разрушить весь этот хрупкий рисунок и унести его прочь без следа. По углам зала стояли четыре треножника из тусклого чеканного золота высотой в десять локтей каждый, увенчанные четырьмя неглубокими чашами из бледного лунного камня. В них мог бы купаться ребенок — столь велики были эти чаши, наполненные до краев благоуханными субстанциями: розовым маслом, экстрактами из ночной лилии и гиперборейской эглантирии и нектаром с лесных опушек за Равари; и райские птицы с золотыми головками и рыжеватым оперением, с переливавшимися синевой и изумрудной зеленью бархатисто-черными горлышками, перепархивали с чаши на чашу, плескались и махали крыльями, разбрызгивая вокруг ароматные благовония. Зал был весь вымощен ромбовидными плитами из паросского мрамора, а стыки между ними выложены розовыми топазами. В северном конце зала на

невысоком помосте из того же мрамора стоял трон герцога, а перед помостом во всю ширину зала простирался огромный красивый ковер, на котором были вытканы облака, радуги, кометы, перелетные птицы, фрукты, цветы и прочая живность, переливавшиеся тусклыми и неуловимыми, будто лунный свет, оттенками, чему причиной служило прихотливое переплетение тончайших шелковых и шерстяных, серебряных и золотых нитей в основе и в ворсе. На самом троне украшений не было; он был безыскусно высечен из цельной каменной глыбы теплых серых тонов с попадавшимися тут и там светлыми прожилками и серебристыми блестками. Это был бесценный камень грез, наделенный тайными магическими свойствами. Будто крылья садищейся на воду дикой утки, камень грез осеняли два огромных крыла двадцати локтей в высоту от основания до кончиков перьев, целиком сделанные из золота, и каждое перо было так похоже на настоящее, что диво было глядеть на них, но столько грозной красоты и мрачного изящества сквозило в этих распростертых крылах, что все эти мелкие детали в своем совершенстве, казалось, лишь оттеняли и возвышали изначальный замысел, вдохнувший в них жизнь и в них воплотившийся. Тысячи и тысячи крохотных драгоценных камушков всех разновидностей, встречающихся на суше и в море, усыпали эти могучие крыла, покрывая собою каждое перо, каждый его стержень и бородку, так что в глазах шедшего по залу и смотревшего на них человека они беспрестанно переливались, отражая свет все новыми и новыми россыпями мириад цветов и граней. Но все это великолепии блекло перед озарявшим тронный зал светочем работы доктора Вандермаста, дымчатым и чарующим. Был он ярче сумеречного света, но слабее прохладных лучей луны, будто сам свет распался сияющими пылинками, которые не устремлялись вдаль, но парили в воздухе подобно снежинкам, невидимые сами по себе, но заливавшие все вокруг мягким сиянием. Ибо не было во всем этом просторном тронном зале ни тени, ни каких-либо бликов, но все вокруг окутывал этот волшебный свет.

Двадцать пять солдат из гвардии герцога выстроились по обе стороны от трона. Они были облачены в кольчуги и наголенники из темной стали и вооружены тяжелыми обоюдоострыми двуручными мечами. Каждый из них держал шлем на согнутой левой руке, ибо даже солдатам запрещалось находиться в этом зале с покрытой головой; это не было дозволено никому, кроме одного только герцога. Все это были отборные воины, отличившиеся своей силой, телосложением и храбростью; голова каждого была обрита и гладка, как яйцо, и у каждого красновато-каштановая борода доставала до пояса. Помимо этих солдат никто не переступал края прекрасного ковра, что лежал во всю ширину зала на полу перед тронном, ибо был в Зайане такой закон, что каждый, кто без разрешения герцога ступит на этот ковер, должен лишиться жизни.

В остальной же части просторного зала прохаживались и беседовали столь благородные персоны, что любой здравомыслящий человек счел бы за великое удовольствие понаблюдать за ними: высокопоставленные лица Мезрии в праздничных одеяниях, дворяне из дома герцога и из Мемизона, фингисволдские вельможи и военачальники, состоявшие на службе у господина адмирала, канцлера или графа Родера, этой тройственной опоры королевского могущества здесь, на юге, где тот при жизни своим расчетливым управлением не столько сдерживал раздоры и недовольства, сколько не позволял зародиться даже мысли о них. Но теперь король Мезенций был мертв; его законный сын торопился там, где была нужна осторожность, и медлил, когда требовалась решительность; бастарда же его ни во что не ставили, и за это тот вполне мог (по всеобщему мнению) отомстить с невообразимой жестокостью; и, наконец, его наместник в срединных землях раздувался подобно смертоносной гадюке, готовой ударить, но в каком направлении, никто сказать не мог. Вот какие беды сотрясали королевский двор в Мезрии, и были они очевидны даже не слишком внимательному взгляду, даже здесь, в тронном зале герцога Баргнакса.

Компания молодых мезрийских лордов, стоявших поодаль от остальных, под треножником с благовониями в юго-восточном углу, откуда им хорошо было видно всех заходивших через главный вход в южном конце зала, предавалась непринужденной беседе. Один из них заметил:

— А вот и господин адмирал.

— Да уж, — отозвался другой, — Одни траты от него. Чтоб земля под ним разверзлась.

— Нет, — возразил ему третий, Мелат из Ваштолы, — Иеронимия я обожаю почти так же, как весенний салат: он столь же холоден и безобиден. Посмотрите-ка, на его лице не больше выражения, чем у трески! Интересно, что будет, если в него плюнуть? Нет уж, главные кровопийцы — Родер и Бероальд, а никак не он.

— Тише вы, — шикнул на него лорд Барриан, заговоривший первым. — Тут повсюду любопытные уши.

Они холодно поприветствовали адмирала, на что тот ответил формальным поклоном и проследовал дальше. Он был несколько грузного телосложения и находился уже на пороге старости; его прямые бесцветные волосы были тщательно прилизаны, а взгляд бледно-голубых глаз прям и честен; редкая борода спускалась к воротнику и королевскому ордену гиппогрифа, что болтался у него на шее. Весь он производил впечатление человека меланхолично-го и полного так и не принятых решений и несбывшихся желаний, и посему подверженного страхам. И все же, хотя внешне он выглядел совершенно обыкновенно, в нем угадывалась властность, с которой он претворял в жизнь королевскую волю, и способность (хотя бы и при помощи вымуштрованных и ло-

яльных ему солдат) предпринять попытку свергнуть герцога с трона в Акро-  
зайане, несмотря на всю его краснобородую стражу.

Когда он отошел, Зафель, который заговорил вторым, нарушил молча-  
ние:

— Вероломство нередко гостит при дворах правителей. И потому доло-  
жу вам по секрету, если бы не обязательства перед более достойным челове-  
ком, я бы сказал, что пора и нам, наконец, позаботиться о собственных интере-  
сах: призвать сюда сами-знаете-кого и принести присягу ему, а не этим подна-  
доевшим уже распорядителям и служкам, которые, не в пример хорошим ме-  
дицинским банкам, сосут только самую лучшую кровь.

Мелат осторожно огляделся:

— Я вам уже говорил, господин мой, мысль занятая, но по трезвом  
размышлении, полагаю, ни я, ни вы на такое не способны.

Зафель ответил:

— Тем не менее, подумать об этом не повредит. Вот у вас есть полно-  
правный суверен (пускай незаконнорожденный, какая нам разница), вы слу-  
жите ему и оказываете поддержку — хорошо. Стало быть, вам хочется покоя,  
хочется быть самим себе хозяевами, и вы готовы довольствоваться теми владе-  
ниями, на которые имеете законное право. Отлично, но тогда примите и цену.  
У него за спиной строятся дьявольские интриги, даже женщины судачат о нем  
и потешаются, что он стал столь же податлив, как вяленая рыба. Вы скажете,  
что это его трудности, пускай себе продолжает коротать дни в довольстве,  
праздности и роскоши, внемля благостной лести своих подхалимов. Ладно. Но  
если он отбросил свою мантию, почему мы-то должны мерзнуть? Неужто мне  
следует молчать и улыбаться (и за примером далеко ходить не надо), когда  
этот Бероальд арестует человека, которого я никогда не видел и о котором  
знать не знаю, и человек этот будто бы был схвачен в личном имении его свет-  
лости со здоровенным отравленным тесаком в штанах. Немаленькая это была  
штука, и предназначалась она, вне всяких сомнений, господину канцлеру. Его  
повесили прямо на месте, на тутовом дереве, а поскольку мерзкий головорез  
солгал, будто его нанял виконт Зафель, я был незамедлительно призван к отве-  
ту перед судом. Герцог же, когда я прошу его по древнему праву сеньора по-  
требовать отмены разбирательства и рассмотреть дело лично (что только укреп-  
ило бы его влияние, урезаемое и сдерживаемое этими придворными найми-  
тами), советует мне любезно не настаивать на соблюдении этого права. И по-  
чему? Просто потому, что ему лень возиться с вещами, от которых нет прямой  
пользы ни королевству, ни ему самому.

— И вы с Мелатом хотите это исправить путем измены в пользу намест-  
ника? — поинтересовался Барриан.

— Так бы мы и поступили, если бы не были дураками, — ответил Мелат. — Но из лояльности не будем. А может, и он тоже лоялен и нас не принял бы.

Зафель расхохотался.

Барриан заметил:

— Ваши же собственные люди вас и не поддержат в столь неприглядном деле.

— Вот это истинная правда, — подтвердил Зафель. — Да и в самом деле, если бы было иначе, их бы следовало вздернуть.

— И нас с вами тоже, — добавил Мелат.

— И нас с вами тоже. Но Парри по крайней мере производит впечатление человека, который знает, как управлять государством: он прибегает к помощи верных ему земельных собственников вроде нас с вами, а не своих ставленников, которые носят титул только на бумаге.

— Вот бы перед лицом этой угрозы герцог стал чуть потверже! — воскликнул Мелат. — Барриан, вы его близкий друг. Почему бы вам не поговорить с ним по душам?

— И в самом деле, — согласился Зафель. — Нет, правда, только подберите подходящий предлог. Скажите ему: «Вы — это Мезрия, вы тот центр, к которому сходятся все пути, куда обращены все взгляды. От недостатка почтения ваш блеск меркнет. За дело же! Долой Бероальда, долой Родера с Иеронимом! Пускай убираются к дьяволу, который их породил».

— Слова громкие и напыщенные, — промолвил Барриан. — Хотя, по правде говоря, у него неостанет сил так поступить, даже если он и захочет. Но тише, вот и канцлер.

Компания у дверей расступилась в стороны с неуклюжей учтивостью, на что лорд Бероальд ответил холодной и надменной усмешкой. Его походка была по-солдатски решительной и твердой, а голову он держал, словно ретивый жеребец, и на его худощавом и гладко выбритом, если не считать жестких бурых усов, лице с прямыми скулами и широко расставленными глазами застыло выражение, которое, будто лишайник на скалах, приживается на лицах людей, давно причастных к власти и привыкших к повиновению окружающих.

— Посмотрите, лстыивые лизоблюды так и жмутся к его ногам, — сказал Зафель. — Готов поклясться, они опасаются, что он призовет их к ответу за сам факт их пребывания здесь, в Акрозайане. И если герцог не раздавит его, то до этого и впрямь скоро дойдет, и даже посещение всех этих пустых еженедельных аудиенций, хоть это и обычная дань вежливости, будет считаться преступлением без предварительного разрешения от этого дьявола и его приспешников. Смотрите, их с Иеронимом как магнитом тянет к одной точке, чтобы обсудить свои злокозненные планы.

И действительно, пройдя через весь зал, канцлер остановился вместе с лордом Иеронимием на огромном ковре перед тронном. Им, а также графу Родеру, что являлись доверенными лицами короля в Мезрии, все эти годы предоставлялось право свободно заходить на ковер; больше никто в стране не обладал таким правом, если не был членом семьи герцога или герцогского рода Мемизона

— Рад видеть вас здесь, господин адмирал, — произнес Бероальд. — По истине, на такую удачу я и не надеялся: за три последние недели вы не слишком-то прилежно соблюдали церемонию.

Адмирал взглянул на него своими собачьими глазами, медленно улыбнулся и ответил:

— Я здесь ради сохранения мира.

— И я здесь по той же самой причине, — подхватил Бероальд, — а также, чтобы сделать приятное моей сестре. Вам стоило бы выглядеть чуть более заморенным, каким пытаюсь казаться я. Негоже напоминать ему, какую выгоду мы извлекли, когда юный король урезал его удел.

— Об этом и напоминать ни к чему, — сказал Иеронимий.

— Не желает ли ваша светлость немного пройтись? — предложил Бероальд, беря его под руку. Они принялись неспешно вышагивать взад и вперед, сблизив головы, чтобы удобнее было переговариваться. — Я слышал мнение, будто бы все это произошло не без чьего-то злого умысла, и вас, в частности, упоминают как человека, который и настроил короля против него.

Иеронимий надул щеки и покачал головой:

— Может, я и виноват, но это было прежде всего в интересах самого короля. Я бы и второй раз поступил точно так же.

— Тем сильнее нас недолюбливает местная сторона, — сказал Бероальд.

— Хорошая хозяйка, — отозвался Иеронимий, — всегда будет на плохом счету у моли да пауков.

— Мы можем показать зубы, да и пустить их в дело, если потребуется, — сказал Бероальд. — Но это был бы сомнительный ход. Слишком многое положено на чашу весов, а баланс слишком шаток. Родер чересчур задержался в Ререке, и мне это не нравится. А вам?

— Можно предположить, что королю требуются там люди.

— И у вас нет свежих донесений?

— Ни одной с прошлого четверга, я вам его показывал.

— Думается, не так уж это и плохо. Господин адмирал, у меня есть вопрос, который я бы хотел задать вам. Достаточно ли мы сильны, по-вашему, чтобы дать отпор наместнику, если потребуется?

Некоторое время Иеронимий смотрел прямо перед собой, затем произнес:

— Да. Если герцог будет на нашей стороне.

— Боюсь, вы меня не поняли, — сказал Бероальд. — Предположим, все сложилось наихудшим образом: война с Ререком и поражение королевских армий. Вы по-прежнему уверены?

— Надеюсь, мы справимся. Если на нашей стороне будут и герцог, и право.

— Я разделяю ваше мнение, — согласился канцлер.

— Ну, в чем дело? — лорд адмирал остановился на месте, перестав расхаживать по залу. За пределами ковра дождался один из его слуг. Он задыхался, словно только что пробежал значительное расстояние. Почтительно опустившись на колено, человек вытащил из-под полы своего камзола конверт. Иеронимий подошел к нему, взял конверт и принялся внимательно изучать печать сквозь увеличительное стекло в золотой оправе, что висело на тонкой цепочке у него на шее. Было заметно, как его землистое лицо посерело еще больше.

— Подлинная, — выдавил он. — Все признаки совпадают.

С этими словами он разорвал конверт и прочел письмо, передал его Бероальду, а затем бросил сердитый взгляд на гонца:

— Как так вышло, олух, что ты не доставил мне его раньше?

— Господин, — ответил тот, — Его светлость, весь в грязи после долгой скачки, написали это в вашем собственном поместье, и по его внезапному приказу, сопровождаемому угрозами и бесчисленными непотребными ругательствами, я вскочил на коня и, как только меня пропустили через крепостные ворота, помчался сюда по лестнице с такой скоростью, что меня задержали как буйнопомешанного, и потому я не смог выполнить поручение в срок.

— Тогда убирайся. Скачи обратно к нему и передай, что я письмо получил, и господин канцлер тоже, — а после, отойдя вместе с Бероальдом чуть подалее, добавил: — Нам пора действовать, но если кто-нибудь увидит, как мы внезапно уходим из зала вместе, это может дать пищу болтовне и криво толкам. Однако же в этом послании прямо сказано, что мы находимся в опасности, пока не переговорим с ним.

— Родер — не тот человек, который станет шараться от собственной тени, — заметил Бероальд. — Пойдемте, пока нам никто не помешал.

И эти двое лордов, старательно изображая беззаботность и спокойствие на случай, если их коснется чей-либо любопытный взор, уже было подошли к широкой лестнице, когда за их спинами лязгнули, открываясь, громадные двери, и в тронном зале заиграли трубы. И, с большой помпой и пышностью, на полтора часа позже назначенного времени, аудиенция, наконец, началась. Первыми через двери позади трона в зал вошли шестеро чернокожих с серебряными трубами, игравшие упомянутый сигнал, а за ними попарно выступали тридцать распушивших хвосты павлинов, которые, пройдясь перед тронном туда и обратно, выстроились по пятнадцать с каждой стороны вдоль ониксо-

вых колонн и образовали настоящий заслон из своих переливавшихся зеленым, голубым и желтым хвостов. Медор, Эган и Вандермаст вместе с дюжиной прочих придворных герцога заняли отведенные им места возле трона. Медор был в бронзовой кольчуге с воротником и наплечниками, инкрустированными серебром, и нес в знак своего положения длинный и обоюдоострый двуручный меч. Тут трубы, издав протяжный лающий звук, который, казалось, сотряс подобные паутинке ажурные украшения свода крыши, внезапно замолкли и показался Барганакс.

Его рубаха из рубчатого розового шелка с бархатными вставками более темного оттенка была стянута на талии поясом из моржовой шкуры, по краям прошитым золотой нитью и усыпанным шпинелью и хризобериллами. Также на нем были плотные шелковые рейтузы того же розового цвета и длинная мантия из темно-серой парчи, подбитая серебряной тканью; воротник мантии был сделан из черных бакланьих перьев, сшитых и подогнанных друг к другу столь хитроумно, что они образовывали гладкую поверхность; его крестнакрест оплетали рубиновые ленты и скрепляли золотые застёжки. Но все это великолепие меркло, будто тени на воде, в сравнении с самим герцогом. Ибо и гибкая рослая фигура, и благородная и учтивая манера держаться, и кошачья грация — все было прекрасно в несравненном герцоге. Кожа его была удивительно светла и гладка, волосы медного цвета коротки и курчавы, нос тонок и прям, лоб широк, брови приглажены, густы и чуть взлет, что слегка уподобляло его лицу лицу печального фавна, его гладко выбритый подбородок изящен, но тверд, чувственный и способный передавать тончайшие оттенки настроений и страстей рот чуть великоват, губы под щегольски закрученными усами крепко сжаты, а карие глаза задумчивы и наполнены таинственным пульсирующим огнем. И когда он, великолепный в своей, словно дарованной ему от природы, непринужденности, занял свое место на камне грез, показалось, будто все богатство его усыпанных драгоценностями одеяний, вся сень распростертых за его спиной крыл и вся роскошь и величие этого зала уподобились цветку на кусте терна или радуге над горным пиком: два совершенства, слившиеся воедино в сущности столь же прекрасной и эфемерной, как и они сами.

Когда с церемониями, петициями и подписаниями указов и декретов было покончено, герцог обратился к стоявшим подле него советникам:

— Не удивительно ли, что здесь нет ни легата, ни посланника наместника?

— Вероятно, — ответил Медор, — ему пришлось не по душе, как ваша светлость месяц назад прогнали Габриеля Флора.

Барганакс поднял бровь:

— Да это был настоящий акт милости, даже по сути дела любезность — вывести на чистую воду этого мерзавца, что выступал от имени его высоче-

ства. Да и негоже, чтобы в качестве посла выступал какой-то конюх, к тому же, несомненно, наемный шпион, да и едва ли благородных кровей.

— Есть на небе и еще одна туча, — добавил Эган, — И думается мне, надвигается буря. Вашей светлости уже известно, что перед тем, как вы вошли, бывшие здесь незадолго до этого адмирал и канцлер спешно покинули зал, получив какие-то известия. Мой вам совет: пренебрегите на этот раз обычаем и не выходите в толпу за пределами ковра.

Барганакс промолвил:

— Вот уже семь лет, как я достиг совершеннолетия, приняв в свои руки бразды правления здесь, в Зайане, и ни разу я не пренебрег обычаем, который завел в тот день.

Он поднялся, чтобы идти, но Медор удержал его:

— Никакого вреда не будет, если его и изменить. И помните: если что-то случится, опасности подвергнется не одна только ваша жизнь. Не ходите, господин.

— Вандермаст, — спросил Барганакс, — Что скажете вы?

— Свои доводы они вам уже изложили, — отвечал старик, — Я бы хотел осведомиться о ваших контрдоводах.

— Во-первых, — начал герцог, — кому выгодно пырнуть меня под ребра? Уж никак не старому Иеронимию и его приспешникам. Это только разворошило бы осиное гнездо, и их в течение трех дней вышвырнули бы из Мезрии. И не нашим недовольным лордам: они жаждут действий, и было бы странно с их стороны подстроить мое убийство, ей-богу, ведь кроме меня их некому возглавить. Людям короля? Да, пожалуй, отношения между нами несколько натянуты, но я не стану подозревать его в том, чем погнушался бы марать руки сам. Да я вижу всех этих людей насквозь! Ха! Я же не вчера стал герцогом.

— Горий Парри, — промолвил Медор, — убьет вас без долгих раздумий.

— Он слишком занят, деля с королем Ререк, — ответил герцог, — Ну же, Медор. Я сам себе хозяин. Чем озираться и трястись от страха в своем собственном тронном зале, лучше уж пусть меня и впрямь прикончат. За мной, Медор. Ну как, годятся мои контрдоводы? — спросил он через плечо, проходя мимо доктора Вандермаста. Вандермаст промолчал, но когда они с герцогом встретились взглядами, это было так, будто мудрость прожитых лет и мудрость пылкой юности распознали друг друга и зашагали дальше рука об руку.

Герцог Барганакс, сопровождаемый Медором, прошел уже три четверти пути от трона до дальнего конца зала, никуда не торопясь и время от времени останавливаясь, чтобы побеседовать с тем или иным из присутствующих, когда у главного входа началась какая-то суматоха, как будто кто-то пытался попасть в зал, но, то ли потому что опоздал, то ли потому что герцог уже по-

кинул трон, его туда не впускали. Герцог отправил человека разузнать, в чем дело; тот тут же вернулся и сообщил, что граф Родер требует аудиенции и не желает слушать отказа.

— Пускай войдет, — распорядился герцог и остался стоять на месте, дожидаясь посетителя.

— Господин герцог, — обратился к нему Родер, — Большая честь целовать вашу руку. Но прежде, чем я перейду к делу, о котором в этом людном месте я не осмеливаюсь говорить иначе как сквозь зубы, я хотел бы попросить вас об одном одолжении, сделать которое для вас легче легкого. Только на этом условии я готов продолжить совещание в более уединенном месте, где и изложу суть дела в деталях.

— Не хочу показаться излишне любопытным, — отозвался герцог, отметив, что на Родере лица нет, — но было бы интересно узнать, если это дело и впрямь не терпит отлагательства, почему вы не явились раньше. Или почему с такой показной таинственностью (ибо глаза верных мне людей, господин мой, видели все) вызвали из зала адмирала и канцлера, которые уже были замечены на аудиенции? И наконец, почему вы явились сюда без них?

— Это как раз и связано с условием, о котором я говорил, — ответил тот. — Я прошу вас дать свое монаршее слово, что всем и каждому из нас будет обеспечена безопасность и гарантирована неприкосновенность, после чего мы сразу перейдем к делу. В противном же случае это будет невозможно.

Слушавший его с нескрываемым удивлением герцог расхохотался.

— Что это за чушь? — воскликнул он. — Да этот человек рехнулся. Ну что ж, Медор, я готов поверить, что они и впрямь затевают нечто недоброе, раз уж сами трясутся, словно кролики, от плодов своего собственного большого воображения. Однако же успокойтесь, граф; я клятвенно обещаю мир, безопасность и свободу во всех правомерных начинаниях в моем герцогстве Зайна вам, а также господам верховному адмиралу и канцлеру Бероальду, даю вам в том свое монаршее слово перед лицом благословенных Богов и Богинь в необъятных небесах.

— Весьма признателен вашей светлости, — сказал граф. — И все же, осмелюсь просить еще об одной мелочи, так как, полагаю, им будет больше по душе иметь сии гарантии в письменном виде.

Глаза герцога сверкнули:

— У вас есть свидетели, господин мой. И к тому же, если бы мои расписки были весомей моего слова, то опасность угрожала бы вам уже сейчас.

— Прошу прощения, — согласился Родер. — Нам достаточно вашего монаршего слова, и в данном случае я выражаю мнение всех троих из нас. И теперь, — продолжил он, усмехнувшись себе в бороду, — я могу открыть вашей светлости причину, по которой я отозвал их из зала: я сделал это потому, что нельзя было всем троим попадаться в ваши руки, пока мы не получили га-

рантий нашей безопасности. Теперь же, если бы вам вздумалось обойтись со мной нехорошо, знайте: они с Бероальдом стоят у ворот крепости с достаточным числом крепких и хорошо вооруженных солдат, чтобы...

Кровь прилила к лицу и шее Барганакса, а рука его метнулась к кинжалу на поясе. Родер промолвил:

— Весьма сожалею. Но ваша светлость не отступится от своей клятвы, да и не ударит безоружного. Давайте же пройдем в ваш кабинет и позвольте мне позвать адмирала и канцлера, после чего мы обсудим с вами эти дела чрезвычайной важности.

— Вы храбрый человек, Родер, — сказал, наконец, Барганакс, скрестив руки на груди и глядя тому прямо в лицо. — Ведите своих друзей. То, как вы требуете из меня эти клятвы в мире, и то, как вы вооружились до зубов, хотя между нами еще даже не было размолвки, находится за пределами моего понимания. Но доведите до их сведения, что вы правильно поступили, добившись от меня клятвы прежде, чем я узнал, что вы угрожаете мне силой. Знай я об этом, ответ мой был бы соответствующим.

Граф Родер вышел из зала несколько потрясенный, будто человек, только что избежавший опасности, чьих истинных размеров не осознавал до тех пор, пока она не миновала.



**КОГДА** они собрались в кабинете герцога Барганакса, слово взял лорд адмирал. Их было там пятеро: трое упомянутых высокопоставленных чиновников, сам герцог, а также доктор Вандермаст.

— Это был опрометчивый ход с нашей стороны, — начал адмирал, — и мы вынуждены выразить вашей светлости наши глубочайшие сожаления и смиренно молить вас о прощении. Однако же, когда вам все станет известно, вы поймете, что новости эти и впрямь весьма важны и неожиданны и не знают себе примеров в прошлом, и мы, в некотором роде, просто не знали, как себя повести; кроме того, мы полагаем, господин герцог, что держаться друг друга по-прежнему в наших общих интересах, ибо подобная же опасность, исходящая от того же источника, может грозить и нам с вами. И тем не менее...

— Дорогой господин адмирал, — сказал герцог, — Прошу вас выбросить из головы это недоразумение с солдатами. Того, что я знаю, мне достаточно, и я не желаю больше об этом думать. Что же касается текущего вопроса, то мы бы с большим вниманием следили за вашими доводами, если бы вы сначала изложили суть новостей, о которых упомянули.

— Граф Родер, — ответил Иеронимий, — этим утром прискакал с севера с весьма срочными и важными вестями.

— В двух словах, что это за вести? — спросил герцог.

— Если в двух словах, — сказал Родер, — то король мертв.

— Тягостные известия; только им уже десять месяцев.

— Да нет же, умер король Стиллис, — поправил его Родер. — Четыре дня назад, в Рееке, в своем лагере близ Рогового Озера. Я оставался у его ложа и держал его руку, когда отлетала его душа.

Трое лордов пристально наблюдали за герцогом, что лишь недавно всей своей позой выражал беззаботность, а теперь выпрямился в своем кресле, вцепившись своими сильными и изящными руками в резную сандаловую столешницу. Его глаза были устремлены на Родера, но казалось, он смотрит куда-то вдаль и сквозь него. С минуту он хранил молчание, потом, наконец, заговорил:

— Он умер молодым. Да упокоят Боги его душу. Он был моим братом, хотя никогда не отличался особым ко мне расположением.

Он потупил взор и снова замолчал, барабаня пальцами по столу. Молчали и остальные. Вдруг, словно очнувшись ото сна к действительности, герцог вскинул глаза и произнес:

— Умер, но от чего?

— Отведал неких отравленных сладостей, — ответил Родер. Затем, мгновение помолчав, брякнул: — Злые языки говорят, будто это вы отравили его.

Глаза Барганакса сузились. Он, было, вновь принялся барабанить пальцами по столешнице, а затем промолвил:

— Не сомневаюсь, господин адмирал, вы тщательно обдумали положение вещей, прежде чем явиться ко мне, и пришли к заключению, что нам с вами в этом деле раздробленность в Мезрии ни к чему. Если бы его отравил наместник, то ему как раз и было бы выгодно свалить всю вину на меня.

Наступило молчание. Иеронимий наклонился вперед, разглядывая свою ладонь с растопыренными пальцами, и несколько раз прочистил горло, будто собираясь заговорить. Бироальд избавил его от этой необходимости, заметив:

— Вашей светлости следует ознакомиться со всеми обстоятельствами, прежде чем решать, как лучше поступить. Самое время показать королевское завещание, господин мой.

При этих словах Родер вытащил из-за пазухи пергамент, скрепленный печатью и подписью короля. Кровь то прилиwała, то отливала от его смуглого лица, хотя это было нелегко заметить, так как борода его доходила почти до глаз, а линия жестких, словно щетка, волос проходила не более чем в дюйме от его бровей. Он нервно покосился на герцога и заговорил:

— Я бы хотел, чтобы ваша светлость проявили терпение, и если вы ошибочно предположите, будто распоряжения сии хоть сколько-нибудь окрашены моими советами, не торопитесь с выводами: это завещание было оформлено четвертого апреля сего года, что подтверждается собственноручной подпи-

сю короля под печатью, а вашей светлости хорошо известно, что я отправился к нему в Ререк по его приказанию лишь три дня спустя.

— Ладно, ладно, — оборвал его Барганакс. — Давайте, наконец, перейдем к делу. Выкладывайте, что там, и, каким бы кислым оно ни оказалось, мои губы закалены.

И тогда лорд Родер, собравшись с духом, будто человек, который вот-вот нырнет зимней порой в ледяную воду, зачитал вслух завещание, которое было составлено следующим образом:

*«Завещание СТИЛЛИСА, сына славного МЕЗЕНЦИЯ, да покоится он с миром, великого короля Фингисволда и всех принадлежащих ему областей и владений, будь то вследствие дарения, законного наследования, брака или же по праву завоевания разящим мечом великого отца моего или моим собственным, каковые во всей своей полноте перечислены в данном перечне, включающем в себя владения, земли и княжества, а именно, всю территорию королевства Фингисволд с Рьялларом, его столицей и главным городом, где находится мой престол; и территорию моей страны Рирек; также прилегающие и охватываемые ею земли, включающие в себя, но ни ограничивающиеся крепостями и твердынями Лаймака, Кессари, Мегры, Каймы и Аргьянны; и мою Ульбскую Марку, управляемую единственно от моего лица и под моим руководством упомянутым ниже заместителем означенного Ререка; и также мои земли Мезрии и города, замки, крепости, поселки, деревни, гавани, острова и все прочие места, застроенные или незастроенные, заселенные или незаселенные, не исключая ничего, что не упомянуто или подразумевается в данном обобщении, кроме герцогского удела Зайаны, от притязаний на владение которым я из братской любви и привязанности отказываюсь в пользу БАРРГАНАКСА, предполагаемого сына указанного выше достославного короля Мезенция, да покоится он с миром, какового Барргнакса и наследников его по происхождению сим наделяю неотъемлемым правом распоряжаться этим уделом в тех границах и пределах, что четко обозначены на карте, каковую я под Моей королевской печатью фингисволда прилагаю к Моему королевскому завещанию...»*

— Дайте взглянуть, — потребовал Барганакс. Он внимательно изучил карту, кивнул, показал ее Вандермасту, а затем вернул Родеру. Родер продолжал:

*«Я, означенный король Стиллис, завещаю мой королевский титул и все мое вышеупомянутое Королевство и Владения, кроме указанных исключений, моей сестре АНТИОПЕ, принцессе Фингисволдской, каковая является единственным помимо меня здравствующим ребенком, рожденным в браке от означенного великого короля Мезенция, да покоится он с миром. Принимая во внимание то, что смерть королей подвержена своевольным и неожиданным выходкам судьбы, не менее прискорбным, нежели смерть простолудинов, в случае, если означенная принцесса Антиопа на момент Моей смерти еще не достигнет возраста хviii лет, с добавлением iij лет на то, чтобы ей стать совершеннолетней женщиной, поскольку я не*

*считаю ее способной распорядиться властью на свое усмотрение, пока ей не исполнится ххi год, я назначаю лорда ГУРИЯ ПАРРИ, моего любимого и верного слугу, состоящего со мной в отдаленном родстве и сим утвержденного Мною в своем титуле и должности наместника моего и моих наследников в моем вышеупомянутом королевстве Рирек, покровителем и опекуном моей сестры в период ее несовершеннолетия, дабы он от Ее имени правил королевством в качестве регента в течение указанного времени, всячески заботясь о Ней с усердием и преданностью, как отец, и во всех делах преследуя ее интересы и интересы ее государства и владычества. Что же касается указанного королевства Мезрия...»*

— Продолжайте, что касается Мезрии, — поторопил его герцог. — До сих пор все было в рамках разумного, хотя я скорее ожидал, что он поручит заботу о моей царственной сестре мне, нежели столь сомнительному опекуну. Я и вправду никогда ее не видел, но значительно ближе ей по крови и (иначе я бы сам себя не уважал) куда более предан ей.

— Прежде чем я продолжу, — произнес Родер, — я бы хотел попросить вашу светлость об одном; это будет непросто, но, умоляю, выслушайте меня. На смертном одре король прямо сказал мне, что, хотя они с наместником и в разладе, но он надеется, что столь большая честь, оказанная ему, свяжет его верностью и заставит действовать в интересах королевства; вашу же светлость он подозревал (в чем признался откровенно, хотя я и убеждал его в неправоте) в том, что вы тайне намереваетесь узурпировать трон, и потому боялся доверить принцессу вам.

— Продолжайте, вы, — потребовал герцог. Родер продолжил:

*«Что же касается указанного королевства Мезрия, то, за исключением удела Зайаны, о котором я упомянул выше, я назначаю моего любимого и верного слугу, господина верховного адмирала ИЕРОНИМИЯ, регентом сего государства во время несовершеннолетия моей сестры, а впоследствии как Она распорядится на свое усмотрение. И ежели кто пренебрежет, не подчинится или иным образом нарушит это Мое Завещание, да постигнет его скорый, внезапный и мучительный конец, и да пребудет на нем Гнев Богов. Дано собственноручно под моей королевской печатью в шатре близ Рогового Озера в Ререке четвертого апреля года I моего правления.*

К. СТИЛИС»

Когда Родер закончил читать это завещание, в кабинете повисла неловкая тишина. Кроме Вандермаста, никто не поднимал глаз, все прочие съежились, избегая встречаться взглядом с Барганаксом; сам же Барганакс, словно кот, пристально уставился на пустую крышку стола перед собой. Когда он, наконец, заговорил, голос его был напряжен, будто он подавлял в себе гнев, готовый при малейшем послаблении вырваться из оков благоразумия:

— Набросайте мне копию этого, господин канцлер. Она должна быть заверена вашей подписью, а также его и его, — добавил он, указывая глазами на Родера и Иеронимия.

— Сделаю, — ответил Бероальд.

— Мне нужно полчаса, чтобы все это обдумать, прежде чем мы двинем-ся дальше, — проговорил герцог с пугающим спокойствием в голосе. — Вандермаст, налейте этим сударям рианского вина и следуйте за мной. Вам же, господа, я скажу так: я пообещал вам безопасность и свободу передвижения в Акротайане. Но примите к сведению и хорошенько обдумайте вот что: в случае, если вы не будете дожидаться меня в этой самой комнате, пока я не вернусь, чтобы продолжить переговоры с вами, в случае, если по возвращении я не обнаружу здесь всех троих, в моих глазах это будет равносильно объявлению войны, господин адмирал, и я отвечу на него соответствующим образом.

При этих словах будто узда, которой он сдерживал это ужасное напряжение, выскользнула из его пальцев, он вскочил на ноги, вонзил свой кинжал в столешницу с такой силой, что лезвие на ширину ладони ушло в дерево и обломилось, швырнул сломанный клинок в камин, в порыве бешенства распахнул дверь, вышел и захлопнул ее за собой. Доктор Вандермаст, единственный из всех сохранявший на лице выражение отстраненности и невозмутимости, тихо поставил перед ними вино в соответствии с распоряжением своего повелителя, и столь же тихо удалился.

— Да уж, герцог весьма разгневан, — высказался Иеронимий, утирая шелковым платком пот со лба и откашливаясь.

— По моему мнению, фундаментальной ошибкой было не дать ему регентство, — сказал Бероальд. — Если только я не заблуждаюсь, он был вполне готов отказаться от всего остального, если бы получил хотя бы это. Уж извините меня, господин адмирал, но сейчас нужно смотреть правде в глаза, а не упиваться льстивыми любезностями.

— Я бы с радостью ему его предоставил хоть сегодня, — ответил адмирал, продолжая вытирать лоб.

Родер сделал большой глоток вина, а затем резко повернулся к ним, будто его только что осенило:

— А что, это как раз нам на руку, господа. Дадим ему то, что он хочет; это будет сделка, и в результате он наш.

— Вы забываетесь, — осадил его канцлер. — Нам ли исправлять или отменять волю короля?

— Да, и впрямь, — сказал Родер. — Я и забыл.

— Об этом нечего и думать, — промолвил адмирал. — Но с учетом всего этого нам и подавно не следует тратить силы на ссоры между собой. Я в тупике. Я полагаю, мы едины в том, что нашей первоочередной задачей сейчас яв-

ляется, как и положено, поддержать юную королеву и оказать ей всяческую помощь.

— У нас здесь нет при себе оружия, — ответил Бероальд, — иначе я бы тут же присягнул в этом на своем мече. Берите регентство, господин адмирал, и уж я-то буду оказывать вам поддержку и содействие во всех делах вплоть до самой смерти.

— Благодарю, славный Бероальд, — взяв за руки его и графа Родера, который пообещал ему такую же поддержку. — А теперь нам следует, если получится, прийти к согласию с герцогом, и внимательно наблюдать за Ререком. Но тут уж придется в некотором роде действовать осторожно, ибо нас резко осудят, пойдя мы против королевского завещания, а в соответствии с ним наместник должен содержать королеву под опекой и быть регентом в Ререке.

— Позвольте мне, — произнес канцлер, протягивая руку к документу, — перечитать его снова. Ха! Смотрите-ка сюда. Обратите внимание на эту странную оговорку: «дабы он от Ее имени правил королевством в качестве регента» (это о наместнике), а вот о вас, господин адмирал: «назначаю регентом сего государства» (это о Мезрии). Легко можно сослаться на то, что он объявлен регентом всего королевства, а вы — одной только Мезрии, что, в сущности, делает вас его подданным, как регента всего королевства.

— Имелось в виду совсем не это, — сказал Родер.

— Конечно, — согласился канцлер, — но сослаться будут на документ, а не на предположения о том, что имелось в виду. Как вышло, Родер, что к вам в руки попал оригинал?

— У наместника он тоже есть, — ответил тот. — Было сделано два экземпляра. О, господа, нет никаких сомнений, что наместник не собирается сидеть сложа руки в Ререке. Было хорошо заметно, какой личиной кажущейся преданности облек он себя, как только королю стало худо, и с каким старанием он поспешил стереть из памяти людей все признаки их с королем соперничества. Могу засвидетельствовать на основании полученных из секретного и весьма надежного источника сведений: разрыв был настолько близок, что он тайно поставил своего двоюродного брата, великого лорда Лессингема, с почти тысячью конных у Морнагея в Ререке, дабы преградить королю путь на север на случай, если дойдет до открытой ссоры; однако, как только король заболел (а уж ему-то хорошо были известны адские свойства этого яда, к которому не существует противоядия), он приказал Габриелю Флору, своему верному приспешнику, во весь опор скакать к Лессингему, чтобы отозвать того обратно. И почти сразу же распространил слух о том, будто это охваченный жгучей завистью и жаждой мщения Барганакс позаботился об умерщвлении своего младшего брата.

— А вы утверждаете, — осведомился Иеронимий, — что Барганакс на самом деле этого не делал?

— Я опираюсь лишь на слухи и на собственные суждения, — ответил тот. — Я убежден, что это сделал наместник. Думаю, он собирается и сестру его использовать в своих целях, каковыми являются узурпация и единоличное распоряжение всем королевством.

— Помните то, о чем мы говорили совсем недавно в тронном зале? — спросил Иеронимий у канцлера. — Насчет герцога и права на нашей стороне?

Бероальд важно кивнул, добавив:

— Нам потребуется и то и другое.

Некоторое время лорд Иеронимий перебирал свою редкую бороду в молчании.

— И все же, — сказал он наконец, дернув ртом, — я бы не стал доверять ему безоговорочно. Для предстоящих серьезных дел его мысли в некотором роде витают слишком высоко. Доверять ему можно, но с оглядкой.

Дверь распахнулась, и трое лордов поднялись в знак почтения. В красноречивом взгляде Иеронимия легко можно было прочесть, как вся его рассудительность и щепетильность тают при виде Барганакса, вошедшего в кабинет с такой легкостью и изяществом, что после того скверного расположения духа, в котором он их покинул, он казался совершенно новым человеком.

— Господин адмирал, — произнес он в дверях, — я все обдумал. Я буду с вами заодно в претворении в жизнь королевского завещания до последней буквы. Пускай ваши писцы все оформят, как следует, господин канцлер, и мы все приложим свои подписи. Вы окажете мне большое одолжение, если отобедаете завтра со мною. Я бы предложил сегодня, но сегодня я уже занят.



## IV. Зимнамвийская заря

СВЕТ И ТЕМНАЯ ЛЕДИ

**И**Предвестники рассвета, гонимые ветерками, что всю ночь дремали над кротким весенним морем, ворвались в распахнутые окна личных покоев герцога в Акрозайане, миновали открытые двери и, покинув замок сквозь западные окна, затерялись в бесцветных просторах над озером. С их приходом благоуханная Ночь, прежде простиравшая свои сумеречные колдовские покровы над белой узорчатой скатертью и усыпанными драгоценными камнями винными кубками, над устрицами и лангустами в гипокрасе<sup>46</sup>, над заливным из овсянки<sup>47</sup>, персиками, айвой и плодами чужеземной маракуйи, полными плавающих в восхитительном водянистом соке семян, а позже наблюдавшая в свете серебристых светильников, как воспаряло птицей ввысь такое блаженство, которому даже священная Ночь неспособна подобрать имя, теперь складывала свои пушистые крылья перо за пером, чтобы еще на один день удалиться в свои западные чертоги. Пробудившееся утро вступило в покои, отпустив прочь уходящую Ночь, также как и Фьоринда, в тишине поднявшись на ноги, мягко высвободила свою руку из рук своего спящего возлюбленного, что уснул лишь незадолго до рассвета.

Замерев неподвижно перед огромным хрустальным зеркалом, собрав руками на затылке тяжелые, черные как ночь, мягкие массы своих распущенных волос, она некоторое время любовалась своей прекрасной наготой: прелестными обводами своего грациозного, подобного греческой статуе, совершенного до мельчайших штрихов тела, девственно-белого, будто грезящие в полуденном солнце снега неприступного заоблачного купола Коштры Белорн, и блестящей непроглядной чернотой волос, в которых тьма отражает тьму, куда хватает глаз. Казалось, она состоит из двух сущностей: из дня и черной ночи; лишь глаза ее сверкали прохладным аквамаринovým блеском, и, как распускается розовыми цветами пыльная заря, расцветала и она.

Постояв так какое-то время, она вдруг — голос ее был плавным и неуловимым, будто порхающая колибри, томным и исполненным чувственности, с оттенком удивленной покорности, самозабвения и надменности — она нежно произнесла свое имя: *Фьоринда*, будто лаская своими устами каждый слог этого прекрасного имени. Она произнесла его необыкновенным тоном: будто это имя, да и ее отражение в зеркале, принадлежали не ей, или не только ей, но некоему ее творению; так, должно быть, художник изображает на холсте предмет желания своего сердца. И, произнеся его, она рассмеялась веселым и тихим смехом, нисколько не похожим на тот, издевательский, что так уязвил чувства герцога, тот, которым (как он выразился вчера) насмеяются над всеми подряд. Ибо сейчас в ее смехе была некая нота, чуждая всему человеческому

46 Ликер домашнего приготовления, также использовавшийся в качестве соуса.

47 Здесь, вид певчей птицы, садовая овсянка (*Emberiza hortulana*).

— столь мелодичным он был и столь самодостаточным: смех ради смеха, вечный, сладостный, словно ворвавшаяся сквозь разрыв в ткани мироздания меж временем и бесконечностью вспышка неистового света. В следующее мгновение он затих. Но воспоминание о нем осталось, будто круги на воде в том месте, где нырнула вглубь птица.

Взошло солнце, бросив свои первые лучи на лицо обернувшейся навстречу рассвету леди. И тут произошло великое чудо. Когда она, стоя в первых лучах занимающегося дня, начала закалывать волосы шпильками из хризолита, показалось, будто она внезапно стала на голову выше самого высокого человека, и тело ее, хотя и не могло стать прекраснее, ибо и так было совершенно, будто превратилось на мгновение в чистый свет, своей яркостью и сущностью подобный неземным огням восхода. Никто бы в тот момент не смог назвать цвета Ее глаз или Ее волос; смешение тьмы и света стало слепящим, чересчур величественным для глаз смертного, чересчур стремительным, чтобы человеческий разум мог постичь или прочесть его. Ибо на нее в тот час снизошла красота венценосной Афродиты, и красоту эту, воплотившуюся во всем своем величии, не дано вынести ничьему взору, даже взору Бога, и лишь великий облеченный тайной Отец Всего Сущего мог бы узреть и постичь ее.

Лучи коснулись век Барганакса. Он заворчался, вытянул руку, ища ее, и произнес во сне ее имя. Она взяла с украшенного серебром стула висевшее на нем свободное одеяние из прозрачного шелка, усеянное серебряными звездочками и крохотными, будто песчинки, бриллиантами и сапфирами, и вернулась в него. Чудо миновало, словно метеор, что мчится по небосводу над людьми в их скромных жилищах, оставляя за собой шлейф из света, невиданного доселе ни на земле, ни в небесах, и исчезает через несколько мгновений. Она присела на край огромного украшенного ажурными кружевами ложа, безмятежная и грациозная, будто леопард. Теперь, когда она наблюдала за спящим герцогом, в глазах ее появилось новое выражение: это был обычный человеческий взгляд, но отстраненный и непорочный, обращенный будто бы чуть свысока, с жалостью, нежностью и удивлением, на все эти никчемные проявления высокого положения, величия и роскоши, и на него, что спал среди них подобно ребенку, а также и на нее саму, что сидела подле него. Вдруг она схватила его лежавшую на простынях руку, оставив свои сонные поиски, и прижала ее обеими руками к своей груди. Герцог открыл глаза и посмотрел на нее. Он лежал очень тихо. Профиль ее лица дышал прохладой безветренного озера на рассвете, взор ее был потуплен, губы сжаты и бесстрастны, а глаза неподвижны и широко раскрыты; она ни на что конкретно не смотрела, но будто прислушивалась к некой внутренней мелодии. Его рука шелохнулась, он шепотом произнес ее имя.

Она откликнулась едва слышным эхо и слабым снисходительным кивком головы, будто давая свое тихое согласие: *Фьоринда*. И, пока она неподвиж-

но сидела, потупив глаза и вслушиваясь в себя, нечто, жившее в уголках ее рта, обернулось и лукавым фавном искоса взглянуло на него.

## V. Наместник Рекека

*КУПАНИЕ СОБАК В ЛАЙМАКЕ — ГАБРИЕЛЬ ФЛОР — ЛЮБЕЗНОСТИ МЕЖ КУЗЕНАМИ  
ДИКИЙ КОНЬ В УЗДЕ — «ЧЕСТНЫЙ ПОЛИТИК ПРЕД МОНАРХОМ»<sup>18</sup>,*

**У** КО дня, три часа назад взиравшее на красоты Акрозайаны, взобралось в небесах на востоке уже так высоко, что перевалило через отбрасывавший длинные тени гребень Форна пятьюдесятью лигами севернее и заглянуло в Аулдаал, где на одиноком холме посреди окруженных с востока и запада горами пастбищ притаилась подобно дремлющему волку твердыня Лаймака. Холм был весьма крут; его обнаженные утесы вздымались высь на три или четыре сотни футов, незаметно переходя в глухие стены крепости, выстроенной из громадных каменных глыб, добытых там же, на вершине. Лишь на севере стены прорезала арка ворот, к которой вела вырубленная в скалах извилистая дорожка. Люди и лошади могли передвигаться по ней, но только с дозволения защитников крепости, ибо с нависавших над каждым ее шагом стен и башен было удобно стрелять и лить вниз кипящую смолу и жидкое пламя. У подножия же холма, на краю полей, стояла охранявшая дорожку сторожевая башня с навесными бойницами и воротами с чутунной решеткой. И утесы, и увенчивавшие их хмурые стены, высеченные из одного и того же первобытного гранита костей земли, были серы, будто волчья шкура; серы и тверды, как сталь. С давних времен этот замок служил жилищем роду Парри, что уже тридцать поколений правили Рекеком.

На равнине к северу и востоку от Лаймака стояли шатры еще не расформированной армии, которую лорд Горий Парри собрал на случай ссоры с королем, и которую теперь, когда необходимость в ней миновала, он благоразумно не спешил распускать, возможно, предполагая использовать ее в качестве довода в конфликтах на юге, а возможно и для каких-либо иных целей.

Несмотря на ранний час он уже давно был на ногах, хотя большинство людей в крепости еще спали. Он стоял в арке ворот, именуемых Вратами Хагсбю, что вели из одного из внутренних дворишков меж двумя башнями в другой, находившийся в самом сердце крепости, посреди которого возвышался огромный квадратный донжон. Весь вымазанный в грязи, обнаженный до пояса, надев фартук, словно кузнец, он занимался купанием своих адских собак в просторной деревянной лохани, наполненной исходившей паром мыльной водой. Две или три уже вымытые им собаки, визжа, лая и кувыркаясь, носились туда-сюда по узкому дворику, довольные тем, что вновь свободны. Остальные жалась к стене в тени арки, будто надеясь остаться незамеченными, но не реша-

48 Дж. Уэбстер, «Герцогиня Мальфи», акт III, с. 2.

ясь ускользнуть и по очереди неохотно подползая в ответ на зов к ногам своего хозяина. Все они, дюжина или более, были ужасными тварями с пушистыми хвостами, заостренными ушами, широкой грудью, огромными клыками и слюнявыми пастьями: одни рыжие, другие черные, третьи серые или желтые, все огромные, будто волки, и напоминавшие волков даже внешне. Каждую, когда подходил ее черед, наместник хватал за загривок и за шкуру на спине и, подняв как котенка, окунал в воду. Это был здоровенный и безобразный верзил лет пятидесяти, не самого высокого роста, но мускулистый, широкогрудый и широкоплечий, с шеей столь же толстой, как бедро обычного человека, кожей светлой и испещренной веснушками и жгуче-рыжими, жесткими как проволока волосами, покрывавшими также и тыльную сторону шеи. Он был коротко острижен, и волосы его торчали дыбом подобно шерсти озлобленной собаки. Его уши, необычайно маленькие и правильной формы, были посажены низко, а массивная челюсть выдавалась вперед. Губы его большого рта были тонки и бледны, а ноздри выступающего носа широки, как и высокий и гладкий лоб. Черты его лица несли в себе некий оттенок горделивого благородства, странно сочетавшийся с разбойничьими обводами его носа и челюсти. Его коротко остриженные борода и усы были встопорщены, брови редки, а веки на подобных гадючьим неглубоко посаженных живых глазах нежно-орехового цвета, — тяжелы. В этом купании собак ему не помогал никто из его слуг; поблизости находился лишь его помощник, Габриель Флор, ибо ум наместника по утрам обыкновенно отличался энергичностью и был занят делами, и потому он не упускал возможности посоветоваться без посторонних ушей с этим человеком, который (если не считать его смуглой кожи и отсутствия каких-либо признаков благородного происхождения на круглом и одуловатом лице) был по натуре сушей копией его высочества *in duodecimo*<sup>49</sup>.

— Сюда, Пайвакет<sup>50</sup>! — ревел наместник, отпуская только что выкупанную собаку и вглядываясь в тени у ворот. — Пайвакет! Разрази Сатана эту суку! Чего не идешь, когда зовут?

Он швырнул тяжелый скребок в пятнистую фигуру, что пыталась незаметно отползти подальше в тень; визг подтвердил, что его бросок был точным. Огромная бестия, поджав хвост, заковыляла прочь. Он опять ее окликнул, та укоризненно оглянулась и пустилась рысью, но наместник с львиным проворством настиг и пнул ее. Она прижала уши, зарычала и попыталась ухватить его за ногу, но он поймал ее за шею и принялся молотить кулаком по ребрам и заду, пока та не завизжала от боли. Когда он перестал, она рывкнула и още-

49 *In duodecimo* (лат.) — формат книги в двенадцатую долю листа; здесь имеется в виду «уменьшенная копия». Аналогичная терминология используется для классификации китов в романе Г. Мелвилла «Моби Дик».

50 Пайвакет, Элемаузер, Пятнистая Башка, Гризель Прожорливое Брюхо — имена бесов, по утверждениям английского «охотника на ведьм» Мэтью Хопкинса являвшихся помощниками ведьмы, допрошенной им в марте 1644 года в городе Мэннингтри, Эссекс.

рилась; тогда он ударил ее еще раз, уже сильнее, и снова остановился, ожидая, что она станет делать. И она сдалась и побрела, пусть и неохотно, навстречу столь нежеланному купанию. Стоя по плечи в мыльной пене, она выглядела неестественно тощей и весьма жалкой; ее промокшая насквозь шерсть прилипла к шкуре. Она с обиженным видом терпела унижение, наносимое мылом, щеткой и ловкими пальцами, которые (к ее вящей пользе) выскивали и умерщвляли населявших ее шерсть клещей. В ее бычьих глазах по-прежнему пылала загаенная злоба. В глазах наместника было подобное же выражение.

— Ну, что там, — бросил он наконец. — Он идет? Ты ему передал, что я хочу поговорить с ним, причем немедленно?

— Я передал ему распоряжения вашего высочества слово в слово, — отозвался Габриель. После паузы он добавил: — Что за глупость — играть перед завтраком в теннис, пренебрегая на это время всеми действительно важными делами.

— Он, что, тебе не ответил? — спросил наместник через минуту.

— Не то, чтобы это можно было назвать ответом, — криво улыбнулся Габриель.

— Что же он сказал? — спросил наместник, подняв глаза.

Габриель отозвался:

— По правде говоря, это не было предназначено для ваших ушей. Ни к чему мне выбалтывать вашему высочеству каждую высказанную в опрометчивости и спешке непотребность, чтобы ваше высочество раздуло из мухи слона.

При этих словах в низком и темном проходе, выходявшем откуда-то снизу в узкий двор, на противоположном, восточном, конце которого находились Врата Хагсбю, где и происходило купание, показался Лессингем. В этот самый миг, то ли заметив его, то ли нет, наместник со всего маху огрел Пайвакет по носу, схватил ее за шкирку и швырнул перед Лессингемом, который быстрым шагом приближался к ним. Ослепленная болью и унижением, она, увидев незнакомца, бросилась на него. На Лессингеме была только рубашка, в руке же он сжимал теннисную ракетку, которой ударил ее прямо в воздухе по передней лапе. Это остановило ее, и она отступила в сторону, подвывая и прихрамывая.

— Разрази тебя гром! Ты так прихлопнешь мою суку! — воскликнул наместник и метнул в того кинжал с длинным лезвием.

Лессингем уклонился, и клинок просвистел в воздухе возле его уха. Он бросился на наместника и схватил его. Наместник сопротивлялся, словно дикий кот, но Лессингем крепко его держал. Стоявший рядом Габриель, время от времени отгоняя собак, с удовольствием наблюдал за схваткой, отступая и увертываясь, как человек, оказавшийся в лесу, когда налетает смерч, и огромные выкорчеванные с корнем сосны, раскачиваются и сталкиваются друг с другом, скрипя и шатаясь, пока с грохотом и треском не обрушатся наземь. Дыха-

ние наместника вырывалось из его рта с шумом и свистом, будто морской бриз. Лессингем теснил его. Он споткнулся о край лохани и плюхнулся в воду, Лессингем рухнул следом, перевернув лохань при падении.

Они отпустили друг друга и поднялись на ноги, и в это самое мгновение во двор вошел Амори. Наместник громогласно рассмеялся лающим смехом и подал Лессингему руку, которую тот без колебаний пожал. В глазах Лессингема при взгляде на своего кузена появилось странное выражение, будто в нем он обретал радость, недоступную обычным людям; такой взгляд мог бы бросать мужчина, пусть бессознательно и не по своей воле, на свою возлюбленную. И впрямь, удивительным казалось то, как наместник в своей вымазанной одежде, только что поднявшись на ноги после ожесточенной драки и постыдного падения, тем не менее, по-прежнему был облечен могуществом, будто мантией, греясь в своем величии, словно гадюка в лучах солнца.

Лессингем промолвил:

— Ты посылал за мной.

— Да, — ответил тот. — Дело весьма важное. Давай помоемся и приведем себя в порядок, а потом за завтраком все обсудим. Габриель, распорядись насчет этого.

— Встретимся в моих покоях, Амори, — сказал Лессингем.

Когда они остались одни, он произнес:

— Кузен, ты швырнул в меня нож.

— Брось, — сказал наместник, которому стало не по себе при виде спокойной, но недоброй улыбки Лессингема. — Это просто забава.

— Опасные же у тебя забавы, — ответил Лессингем. — Послушай моего совета, кузен. Оставь подобные забавы.

— Что ты за сварливый и невежливый... — слова застряли в его глотке, когда он встретился взглядом с Лессингемом. Как недавно его огромная цепная сука, он ослабил зубы, но признал своего хозяина. И в этом вновь, будто подчиняясь некому тайному закону, проявилось то его величие, которое, казалось, только что покинуло его под колючим взглядом Лессингема.



Часом позже двое родичей приступили к трапезе на крыше главной башни крепости, над апартаментами наместника. Здесь было вдоволь свежего воздуха, отсюда открывался обширный вид, и к тому же, здесь можно было остаться наедине, ибо, когда закрывалась дверь в северо-западную башенку, через которую только и можно было попасть на крышу и зубчатые стены, не оставалось никого, кто мог бы подслушать беседу, кроме небесных птиц да огромных плит пола и парапета. Здесь, на крыше, под открытым небом стоял узкий стол, уставленный серебряными блюдами с мускусными дынями и персиками, огромным куском холодной оленины, айвовым и яблочным джемом и графинами белого и красного гипокраса с оправленными в золото кубками.

Также на столе лежали узорчатые льняные салфетки, ножи с серебряными ручками и серебряные же вилки, весьма роскошные и аккуратно разложенные. Два старых массивных кресла из черного дуба стояли возле стола; наместник сидел с северной стороны, а Лессингем — напротив него. Они уже вымылись и были облачены в чистые и нарядные одежды. Наместник надел рубаху из темно-коричневого шелка, украшенную по краям вышивкой из золотой нити; она сидела на нем свободно, обнажая шею и грудь, а белый кружевной воротничок был прошит шелковым шнуром. На Лессингеме была рубаха из мягкого рубчатого шелка цвета буйволовой кожи с тесным гофрированным жабо и кружевными манжетами, усыпанными бусинами гагата размером с горчичное зерно, обтягивающие бриджи из черного шелка и бархатные туфли.

Поначалу они ели в тишине. Время от времени наместник бросал внезапный взгляд на Лессингема; казалось, будто он намеревается что-то предложить, но хочет, чтобы его сначала об этом попросили. Однако Лессингем восседал, подобно сфинксу, бесстрастный и расслабленный, словно ничего не желая и находясь в мире с самим собой в этот свежий утренний час. Наконец наместник нарушил молчание:

— Ты столь же неутомлен и беспокоен, как октябрьский олень: прошло всего три дня, как ты здесь, а тебе уже нейдет опять чем-нибудь заняться.

Лессингем улыбнулся.

Через некоторое время наместник снова заговорил:

— Что касается меня, то я, пожалуй, пока буду просто наслаждаться спокойствием, которым одарила нас фортуна.

— Весьма похвальное намерение, — сказал Лессингем. — Поразительное и необычайное смирение для тебя, к кому фортуна всегда благоволила, никоим образом не настраивая на праведный лад.

Наместник взял персик и принялся очищать его от кожуры.

— Если бы только мы могли надеяться, — произнес он, — что остальные поведут себя столь же сдержанно.

Лессингем ничего не ответил.

— Юг кишит горячими головами, будто летними мухами, — сказал наместник после паузы. Затем, налив себе еще вина, продолжил: — Именно это меня и останавливает, — а потом, прожевав, добавил: — Именно это и заставляет меня думать, что, возможно, нам следует что-нибудь предпринять.

Лессингем выжидающе промолчал.

Наместник грохнул кулаком по столу.

— Так уж удачно сложилось, что игрой заправляю я, — рявкнул он. — Пора столкнуть толстяка адмирала с герцогом лбами, а потом по очереди натравить друг на друга этих мезрийских марионеток. Это будет проще про-

стого, а выгода очевидна. Но тут потребуются уговоры, кузен, и благовидные доводы; нужно будет умаслить их, угодить им, одурачить их. Надо явиться перед ними робкими девицами: ублажить их, попотчевать их трогательным вздором, поддеть их, затем вроде как позабыть о них, потом вроде как осмелеть, посмеяться над ними, и, наконец, когда наступит подходящий момент, исполнить основную тему этой пьесы. Но пойми, кузен, я косноязычен, прямолинеен и груб, и называю вещи своими именами. А вот ты отлично с этим справишься.

— Я и раньше занимался подобными вещами, — признал Лессингем, — и не так уж сильно напортил.

— Кузен, — сказал наместник, — послушай меня, в этом деле мне потребуются твои мозги. Я бы хотел, чтобы ты отправился на юг и сыграл для меня в эту игру. Ты будешь моим посланцем. И, чтобы нам с тобой оставаться в рамках разумного, сам назови свое вознаграждение.

— Я думал, ты знаешь, — промолвил Лессингем, — что не в моих обычаях делать что-либо за вознаграждение. Причина проста: я склонен прилагать свою руку только к тем делам, награда за которые лежит в их осуществлении.

— Да это же курам на смех, — воскликнул наместник. — Ладно уж, когда придет время, я дам тебе на выбор множество титулов и богатств. Так ты возьмешься за это?

— Возьмусь, — ответил Лессингем, сверкнув глазами, — но при нескольких условиях.

— Итак? — произнес наместник.

Лессингем начал:

— Во-первых, ты будешь соблюдать королевское завещание.

— Это, — отозвался тот, — можно даже не обсуждать. Я как раз и провозгласил своей линией полное его соблюдение, и, если хочешь, могу тебе в этом поклясться.

— Второе, — продолжал Лессингем, — ты признаешь, строго между нами, прямо сейчас, что это по твоему наущению, более того, по твоему прямому распоряжению, король был недавно убит столь подлым образом.

Наместник расхохотался:

— Ах, кузен, неужто и ты поверил в эти клеветнические сплетни и поклепы, что ходят в народе?

— Вижу, ты не намерен выполнять мое второе условие, — сказал Лессингем. — Отлично. Ищи себе другого посла.

Лицо наместника побагровело. Он процедил:

— Клянусь Богом, создателем и хранителем всего сущего...

Лессингем прервал его:

— Перестань, кузен. Даже если бы ты и не был уже проклят, ни к чему

призывать на свою голову проклятие в столь безнадежной попытке заставить меня поверить в том, что, как мне хорошо известно, является ложью. Не сердчай, кузен; мы с тобой знаем друг друга как облупленных, и мне совершенно незачем любезничать с тобой, притворяясь, будто я не знаю, что ты — отъявленный лжец и клятвопреступник, — он отправил в рот немного джема и откинулся в кресле. — Давай начистоту. Ты так и упрашиваешь меня уехать, и я бы ни за что на свете не стал задерживаться. Но видишь, в каком положении мы с тобой оказались? Если тебе столь же трудно сказать мне правду, как мне отступить от своего слова, то это весьма прискорбно, ибо все идет насмарку.

— Допустим, все так и было, — сказал наместник. — Разве не безрассудством было бы с твоей стороны домогаться знания, которое может обратиться тебе на погибель? Как та возлюбленная великого монарха, что выудила из него признание в отвратительном убийстве, после чего тот заставил ее поклясться в молчании на колдовской книге, зная, что не в ее натуре держать язык за зубами, и тем самым обрек ее на смерть.

Лессингем взглянул на него, и тень улыбки скользнула в его глазах:

— Когда я стану настолько бесполезен тебе, кузен, что ты сможешь позволить себе обойтись без меня, тогда мне и впрямь будет опасно знать о таких секретах. Пока же — нет. Я не верю ни в чью привязанность, но я полностью доверяю твоей мудрости. Полностью, кузен.

Наместник вертел в руках свой винный кубок.

— Как бы там ни было, — сказал он наконец. — То, о чем ты говоришь, — чудовищная глупость. Где смысл? Я был бы полным дураком, убив этого сосунка, когда в моих силах было уничтожить его силой оружия.

— Вот ты и выдал свой расчет, — ответил Лессингем. — Действительно, глупостью было бы предстать в глазах всего мира мятежником и узурпатором, когда намного проще при помощи какого-нибудь дьявольского снадобья — сурьмы, белены, да чего угодно — избавиться от него, а затем напустить на себя траурный вид и сказать, что во всем виноват его завистливый братец.

— А он и виноват, — сказал наместник. — Он же и распустил лживые слухи о том, будто это был я.

Лессингем зевнул и принялся рассматривать тыльную сторону своей ладони, тончайшие шелковистые черные волоски, покрывавшие фаланги его пальцев, и массивный старинный золотой перстень на среднем пальце, имевший форму чешуйчатого червя, пожирающего собственный хвост, с головой из рубинового кабошона размером с воробьиное яйцо, внутри которого рдело пламя, подобное кроваво-красным огням заката.

— Так ты поедешь? — спросил наместник.

— Только после признания, — ответил тот.

Наместник выскользнул из-за стола и принялся расхаживать взад и вперед. Лессингем снова зевнул и продолжил играть со своим перстнем. Оба

молчали. Через минуту наместник, скрежеща зубами, остановился возле Лессингема. Тот поднял глаза:

— Дорогой кузен, — сказал он, — сколько еще ты будешь чинить препоны в этом столь важном и значимом деле? Сколько еще будешь морочить мне голову? Ведь я давно знаю правду, и хочу лишь добиться от тебя дружеского признания. Хоть ты и высла меня из Морнагея, когда это происходило, я все равно все знаю.

Наместник сердито хохотнул:

— Все знаешь? Интересно, откуда? — тут он опять заскрежетал зубами: — Габриель, мерзавец, это он тебе сказал? Я прикажу порубить его на мелкие кусочки.

— О, не трудись, — ответил Лессингем. — Если бы Габриель даже сообщил мне в полдень, что сейчас двенадцать часов дня, я стал бы искать других доказательств, прежде чем поверить в это. Нет, кузен, мне известно, что убийство это совершил ты; конечно, не своими собственными руками — это было бы слишком просто, — но затея была твоя. И раз уж ты настолько мне не доверяешь, что взялся это отрицать, — что ж, Бог с тобой, но от меня ты помощи больше не получишь.

Наместник молча уселся обратно за стол, подавшись вперед и злобно вперившись взглядом в Лессингема. Тот спокойно смотрел в ответ. Глаза Лессингема были серые с коричневыми и золотыми искорками. Наконец, наместник отвел взгляд.

— Ладно, — процедил он сквозь зубы. — Я это сделал.

Медленно и грациозно Лессингем вытянул руки, зевнул и выпрямился в кресле. Небрежно подхватив золотой графин, он наполнил свой кубок красным гипокрасом.

— Долго же мы добивались правды, — промолвил он. — Так за нее же, — и он пригубил, глядя поверх кубка на наместника с ленивой и довольной улыбкой; необычно угрюмое, лицо его внезапно прояснилось, будто выглянуло в разрыве меж тучами алое солнце. — Это убийство, — добавил он с недобрými нотками в голосе, пусть и звучавшем спокойно и ровно, — есть один из самых низменных поступков, когда-либо совершавшихся.

Наместник взирал на него, словно ниневийский бык.

— Ты показывал мне завещание, — произнес Лессингем. — Была ли это одна из твоих хитроумных фальшивок, или оно подлинное?

Наместник не ответил. Лессингем сказал:

— Я знаю, оно подлинное. У меня есть свидетельства понадежнее твоих протестов, кузен. И я особо обратил внимание на то место, где оно называет тебя наместником и вице-регентом королевы, а также ее лордом-протектором на время ее несовершеннолетия, и предписывает тебе во всех вопросах способствовать ее благу, безопасности и укреплению ее королевской власти и могу-

щества, любя ее и заботясь о ней, словно отец. По части отцовства ты, я думаю, не слишком искушен. Ведь ты отправил в изгнание собственных сыновей. С этим тебе придется нелегко.

Он замолчал, глядя наместнику прямо в глаза. Казалось, две грозовые тучи молчаливо взирают друг на друга через стол с ужасающим спокойствием. Лессингем заговорил:

— Ты обещал мне соблюдать завещание. Что ж, я, как и прежде, помогу тебе. Я возьму на себя эту миссию ради тебя. Я буду содействовать тебе и поддерживать тебя в качестве наместника королевы. Но завещание это должно стать для тебя священным и нерушимым. И если ты хоть на йоту отступишь от него, если отклонишься хотя бы на палец — с меня довольно, и ты горько об этом пожалеешь.

Наместник провел языком по губам. Минуту он молчал, затем с ноткой ядовитой и холодной гордости промолвил:

— Дурно же мне оплачено за мою доброту и терпение. Ибо за эти пять минут я испытал более чем невыносимое желание убить тебя, но сдержался, не знаю, почему, — с этими словами он поднялся, усмехнулся и добавил с деланной веселостью и небрежностью: — Какой же ерундой вынуждены заниматься люди нашего круга таким весенним утром. А в орешке-то червячок, кузен: ведь ты, как я слышал, по уши влюбился в эту пташку.

В ответ Лессингем произнес:

— В тебя, кузен. Я давным-давно влюбился в тебя.

## **VI. Миссия лорда Лессингема**

*АДМИРАЛ И КАНЦЛЕР — ПОСЕЯННЫЙ ЛЕССИНГЕМОМ РАЗЛАД —  
АДМИРАЛ В ПОЛНОМ ЗАМЕЩАТЕЛЬСТВЕ — ДВОЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА —  
ЛЕССИНГЕМ И ВАНДЕРМАСТ — ПЕРЕГОВОРЫ В АКРОЗАЙАНЕ —  
ГЕРЦОГ ЗАГНАН В УГОЛ — СМЕШАННЫЙ АНСАМБЛЬ —  
ГЕРЦОГ И ЛЕССИНГЕМ: СТРАННЫЕ СОЗВУЧИЯ*

**В**ЕЧЕРОМ в конце мая, на четвертую неделю после только что описанных событий, лорд Бероальд сидел в одиночестве на опушке дубравы, что покрывает невысокие Дариальские холмы к югу от озера, и смотрел на север, на Зайану. В сотне или более шагов вниз по склону от его ног проходила верховая тропа. Далее поросший деревьями холм резко обрывался к озеру семью или восемью сотнями футов ниже. Небо было ясным, а погода — тихой и безветренной. Его лошадь спокойно паслась неподалеку, бродя туда-сюда среди буйных трав. Если не считать ее чавканья, шума падающей воды, да раздававшегося время от времени крика кукушки или стука лошадиного копыта о камень, вокруг царил тишина. Из-за груды валунов позади и слева от него показался сурок и встал столбиком, беспомощно и беспокояно держа перед собой свои крохотные передние лапки и разглядывая канцлера. Когда тишину нарушило цоканье копыт, он свистнул и скрылся в своей норе, а на

опушку выехал лорд адмирал, поприветствовавший канцлера и спешившийся подле него.

— Ну вот, — произнес лорд Иеронимий, усевшись рядом с Бероальдом на большом валуне, — Мы уже вынуждены беседовать под открытым небом, будто совы или куропатки.

Бероальд холодно улыбнулся:

— Весьма признателен вашей светлости за то, что вы согласились пойти на такое неудобство. В городе и блохе не прыгнуть, чтобы его шпионы ему об этом не донесли. А в этом деле необходимо действовать быстро, все рассмотреть и обговорив без лишних ушей.

— Я же уже ответил ему отрицательно, чего ему еще надо? — воскликнул Иеронимий. — Что за неумный подстрекатель явился к нам! Я ему уже отказал, потом отказал и герцог, и теперь он пристал к вашей светлости, чтобы вы взяли на себя роль посредника, как будто бы я — глупая девица, которую чем больше уламываешь, тем вернее она согласится. Что там за новые условия?

— Все не совсем так, — возразил канцлер. — Теперь он сделал такое же предложение мне лично.

Иеронимий открыл рот, чтобы ответить, но не сразу сумел подобрать слова:

— Вам, господин мой? Ну и ну. И на каких же условиях?

— На тех же самых.

— На условиях сюзеренитета? — переспросил Иеронимий. — И что, вы намереваетесь принять его? Нет-нет, я не то имел в виду, — тут же поправился он под холодным взглядом канцлера, — Я лишь хочу знать, как вы повели себя в ответ. Вы решили в некотором роде потянуть время?

Бероальд ответил:

— Я действительно обставил все так, что должен буду ответить ему «да» либо «нет» только завтра.

Адмирал стянул с головы свою черную бархатную шляпу, украшенную бриллиантовой брошью с белым страусиным пером, вытер лоб и водрузил шляпу на место.

Лорд Бероальд неотрывно глядел прямо перед собой на отражавшуюся в водах озера Акрозайану в двух или трех милях от них. Когда он заговорил, его голос был холодным и ровным, как и озерная гладь перед ним, отстраненным и бесстрастным, будто бы одна его мысль обращалась к другой.

— В этом деле, — сказал он, — нам необходимо быть настороже и хорошо рассчитать свои силы. Сегодня пошел уже десятый день, как этот Лессингем, которого наместник наделил всеми необходимыми полномочиями, обсуждает с нами вопросы регентства в Мезрии, и если за эти десять дней что-то и изменилось, то это на руку им, не нам. Сначала он заявил вам, господин адми-

рал, что наместник признает вас регентом в Мезрии в полном соответствии с королевским завещанием на том условии (и он упрямо утверждает, что оно неявно подразумевается в этом самом завещании), что вы принесете ему присягу, признавая его своим сюзереном до тех пор, пока королева не достигнет совершеннолетия. Это условие вы, по взаимному согласию с герцогом, Родером и со мной, по зрелом размышлении и совещании, категорически отвергли. Это было только вчера. А уже сегодня, этим самым утром, он пригласил меня к себе и сделал мне точно такое же предложение, ответ на которое я, отказавшись от каких-либо частных переговоров, ухитрился отложить до завтра. Вот такие дела. Что дальше? Если я откажусь, — (при слове «если» адмирал вытащил носовой платок и промокнул лоб), — своим следующим ходом он попытается всучить регентство Родеру, а затем, если и тот его не примет, — война. Мне это не нравится. Герцогу я доверяю, но, как и вы, с оглядкой. Этим мезрийским лордам не доверяю и подавно. У наместника отличный ходатай, он уже переговорил и с Зафелем, и с Мелатом, или я сильно в нем ошибаюсь. Молодые глупцы, у них недостает ума понять, что все обещания наместника столь же неосязаемы, как солнечный свет: стелет он мягко, да жестко спать. На принца Эркеля с севера тоже полагаться нельзя, даже если Барганакс и не подведет; если наместник развяжет войну против нас с герцогом под предлогом исполнения королевской воли, ни Эркель, ни Арамонд и палец о палец не ударят ради герцога: Лессингем, как мне говорили, недавно стакнулся с ними обоими.

— Хитрый дьявол этот Лессингем, — сказал Иеронимий.

— Это последнее сделанное мне предложение, — продолжал канцлер, — позволяет нам передумать, если потребуется. Не исключено, что у страха глаза велики. Я бы хотел напомнить вам, господин адмирал, что с точки зрения закона к притязаниям наместника на сюзеренитет не придерешься. Мы обязаны соблюдать завещание. Пойди мы против наместника, нас вполне можно будет обвинить в прямом его нарушении. Самому Парри станет доверять только простофиля, но сейчас мы имеем дело с ним не напрямую, а через Лессингема.

— Можно подумать, — ответил Иеронимий, — яд покажется слаще оттого, что его поднесут нам в позолоченном кубке.

— Я вижу все несколько в ином свете, — возразил Бероальд. — Считается, что у этого молодого человека большие способности как в политике, так и в военных действиях. Все эти десять дней я изучал его под лупой и не нашел, к чему придраться; все говорит в пользу той репутации, которую он снискал: это человек благородный, человек, у которого достанет сил, чтобы принудить своего принципала придерживаться любых соглашений, которых он для него достигнет. И он считает делом чести — может, и не в каких-то конкретных во-

просах, но в целом — прийти к согласию между нами и наместником, и тем самым соблюсти королевское завещание до последней буквы.

Иеронимий повторил:

— Он хитрый дьявол.

— Это уж вам решать, а не мне, — откликнулся канцлер. — Я лишь хотел бы, чтобы вы не относились к этому, как к чему-то, от чего можно отмахнуться опрометчивым отказом, но как к вопросу огромнейшей важности. Ведь вы поймите, теперь, когда он сделал это предложение мне, вы можете вновь вернуться к разговору с ним, приняв регентство на условии признания сюзеренитета и при наличии его гарантии соответствующего поведения наместника.

— И тогда мы в некотором роде... — медленно начал адмирал и тут же замолк. Канцлер не произнес ни слова, решив, что нужно дать ему время все обдумать.

Они сидели в тени деревьев. Солнце уже скрылось за холмом по левую руку от них. Тени удлинлись, достигнув озера. Лошади продолжали жевать траву. Наконец, канцлер заговорил:

— Итак, вы передумали?

Лорд Иеронимий тяжело поднялся со своего места и с минуту стоял молча, глядя на него, затем сказал:

— Нет. И вам не следует, господин канцлер.

— Мы будем держаться друг друга, — сказал Бероальд и тоже поднялся. — Но помните, положение ухудшается день ото дня. Эти местные лорды вот-вот поддадутся на его посулы. Пора прекращать разговоры и приниматься за дело.

Черная кобыла адмирала, завидев, что тот встает, подошла к нему и ткнулась носом ему в шею. Он принялся гладить и ласкать ее.

— Да, пора, — повторил он. — Действительно, пора.

— Лучше, чтобы нынче вечером нас не слишком часто видели за беседой, — промолвил Бероальд. — Лучше проехать через ворота порознь.

— Поедете первым, или мне? — спросил адмирал. — По правде говоря, я собирался сегодня в Сестолу по флотским делам. Но с учетом положения дел я пока их отложу и переночую в Зайане.

— Прощу, поезжайте первым, — сказал канцлер.

Адмирал неспешно поехал через лес, погрузившись в тяжелые раздумья. Его люди, все это время поджидавшие его в лесу вместе с людьми канцлера, ехали в паре десятков шагов позади. «Лессингем, — сказал он про себя, — Какой же это хитрый дьявол, полный соблазнов и обаяния. Может, он и меня обаял? Пожалуй, но не слишком сильно; головы я пока не потерял. Он похож на моего сына, что утонул в Табарейском Заливе; тому было бы сейчас примерно столько же, если бы он был жив. Тьфу, что за чушь! И все же, в герцоге тоже что-то такое есть. Лессингем — Барганакс. Как странно: они такие

разные, и все же так похожи, будто две виноградины. Красное вино — белое вино. К черту, все это чушь. А мы-то — словно пугливые лошади; заставь такую подойти поближе, рассмотреть и обнюхать то, чего она боится, и в следующий раз уж не испугается». Его внутренний голос ненадолго замолк. Затем он снова заговорил сам с собой: «Бероальда уже окрутил. Но нет, это, конечно же, не так. Нет, Бероальду я доверяю».

Он натянул поводья, приостановив лошадь в том месте, где тропа огибала выступающий утес, открывая изумительный вид на водную гладь. Заухала сова. Иеронимий сказал себе: «Если уж он, как говорят, способен справиться с Горием Парри — потакать ему, заставляя того плясать под свою дудку, — есть ли такое чудо на свете, что было бы ему не по зубам?» Он продолжил путь: «Бероальд в законах разбирается. Это его стихия. Я же смотрю на суть вещей и на преследуемые цели, а не на их форму. И все же, он человек весьма мудрый, благоразумный и предусмотрительный. Да, «возможность передумать» — это мудро. Погода испортилась по сравнению с тем, когда мы выходили в море... да, так оно и есть. Многие не долго думая последовали бы его совету. Безопаснее. Безопаснее последовать его совету».

«Да, но я же знаю, что это неправильно. Костями чувю». Он вонзил шпоры в бока своей кобылы; та рванулась вперед, и он склонился к ней, успокаивая ее, похлопывая ее по шее. «Нет, я не изменю своего решения. И вам не следует, господин канцлер. Но что тогда? Тогда придется действовать. Хватит этой болтовни, уже и в самом деле пора». Он снова медленно и задумчиво погладил ее шею. «И главный актер — я. Регент Мезрии. Это моя обязанность. Мы уже давно об этом размышляли. На нашей стороне и право, и герцог. Он сказал: «Я разделяю ваше мнение». Ну что ж, вот и посмотрим, подлинно ли это серебро. Барганакс... можно ли ему доверять? На этом все и повисает, на одной этой тоненькой ниточке. Доверять с оглядкой. Проще сказать, чем сделать. О, как же гнетет бремя этой чудовищной ответственности. Хорошенькое положение — заключить союз с царственной особой на тех условиях, что она будет просто подпевать мне, ведущему основную партию, а я займу трон, который эта особа считала своим по праву. Если в нем еще осталась хоть крупица гордости (а он весь создан из гордости, упрямства и пренебрежения), разве не возненавидит он меня, разве не постарается при первой же возможности сбросить меня и вернуть себе свое? И все же он человек благородного склада, и я готов до самого конца доверять ему там, где в дело вовлечено его слово. И все же, нет, это чистое безумие, он такой же как все, а я просто поддался чарам его юношеской самоуверенности и благородства. Я же уже разобрался с этим десять минут назад: все это чушь. И все же, все же, разве не доказал он свое благоразумие и надежность, отклонив предложение Лессингема? Да, но это для него — что тухлая рыба, это же подчинение сюзерену. А ведь он из старинного королевского рода Фингисволда».

Он остановился, будто пораженный внезапной мыслью, а затем, дернув поводья, двинулся дальше. «Рода Фингисволда. Да, и мемизонского тоже. Сделаю, как сказал. Лучше рискнуть, чем затонуть прямо на месте. А надежда есть. Допустим, они, эти ничтожные юнцы, и впрямь поддадутся на обещания Лессингема; наверняка их продажность столь же поверхностна, как и их вассальская преданность. Они с готовностью последуют за своим сувереном, принцем мезрийской крови и происхождения, тогда как будь на его месте всего лишь я, они бы в мгновение ока свергли меня, избавившись, наконец, от ненавистного им человека, что годами ограничивал их в их вольностях. Сделаю, как сказал. Да, сегодня же так и поступлю».



Тем же вечером после ужина канцлер сидел в своих покоях и аккуратно писал письмо, окончив которое, подписал своим именем и запечатал своей печатью. И письмо это было составлено следующим образом:

*«Уважаемому и достопочтенному лорду Лессингему, наделенному всеми полномочиями вести переговоры, заключать соглашения и говорить от имени его высочества Гория Пари, лорда-протектора и заместника Королевы в Ререке:*

*Господин мой, я тщательно взвесил и обдумал предложения, каковыми Его Высочество удостоило меня из уст вашего сиятельства. Предложения эти состояли в том, чтобы я ради разрешения нынешних разногласий собственной персоной принял титул Регента Мезрии на условиях, обстоятельно изложенных вашим сиятельством, и в том числе на особом условии, что Регент будет во всех отношениях подданным Его Высочества и его вассалом. Внимательно рассмотрев и изучив все эти условия, я пришел к выводу, что не нахожу иного выбора, согласующегося с моей честью, а также моими обязательствами перед Королевой (да хранят ее Боги) и адмиралом, который королевским завещанием был назначен регентом, но смещен вашей светлостью по отказе от вышеупомянутых условий, кроме как заключить, что я не в состоянии принять означенное Регентство. На сем хорошо обдуманном решении я буду стоять непоколебимо и хочу, чтобы вы известили об этом и Его Высочество.*

*Да пребудут с вами Боги в ваших начинаниях.*

*Остаюсь, ваш преданный и покорный слуга,*

*БЕРОАЛЬД»*

Чернила еще не высохли, а воск был еще теплым, когда вошел его лакей, сообщивший, что прибыл верховный адмирал и желает побеседовать с ним. Канцлер усмехнулся.

— И куда не нужно ехать. Я как раз собирался повидать его, — и он приказал сейчас же его впустить.

Когда они остались одни, Иеронимий сказал:

— Господин канцлер, у меня хорошие новости. Я только что виделся с герцогом насчет того, о чем мы говорили.

Его лицо налилось румянцем. Канцлер поднял глаза и холодно взглянул на него:

— Вы виделись с герцогом?

Глаза Иеронимия стали подобны глазам пса, который под пристальным взглядом хозяина внезапно начинает понимать, что, хотя съесть тот кусок мяса или скушать ту птичку и представлялось ему поступком чрезвычайно полезным и здоровым, с точки зрения других это могло выглядеть весьма сомнительно и иметь последствия, о которых он до сих пор даже не задумывался.

— Сожалею, — сказал он. — Прямо от него я явился к вам. Возможно, мне и следовало сперва встретиться с вами. Сожалею, господин мой.

— Что-то вы темните, — произнес канцлер. — Известили ли ваша светлость герцога о последнем повороте событий, о том предложении, о котором я вам говорил?

— В некотором роде, да, — ответил Иеронимий.

— Будь я на вашем месте, господин адмирал, — сказал канцлер, — я бы предоставил вам возможность пойти к нему вместе со мной.

— Мы с вами, — ответил адмирал, — пришли к выводу о необходимости действовать быстро. По дороге домой я всесторонне рассмотрел положение и, в конце концов, в некотором роде наметил лишь один безопасный путь через эти зыбучие пески. Короче, я препоручил в руки герцога, как на текущий момент, так и на будущее, титул регента, попросив принять и защищать его и уверив, что мы это одобряем и готовы поддержать.

Он замолчал. Канцлер сжал губы, его худощавое лицо стало пепельным. Он встал со стула, подтолкнул к Иеронимию через стол письмо и подошел к окну. Адмирал достал увеличительное стекло и принялся читать письмо, время от времени пыхтя и раздувая щеки.

— В таких делах у вашей светлости язык подвешен отменно, — сказал он, наконец. — Превосходно, великолепно, — он осторожно поднял глаза, встретился взглядами с канцлером и отвернулся.

С минуту лорд Бероальд хранил молчание. Когда он справился с собой, его слова прозвучали, будто осколки льда, со звяканьем катящиеся по ледяному склону.

— Лессингем, — сказал он, — искусный политик. Мы с вами, господин мой, — лишь пешки в его игре. Вы только что замечательно это подтвердили.

Иеронимий медленно покачал головой.

— Я стремился к определенности и хотел, чтобы никто не остался внакладе, — промолвил он. — Нам было бы не по пути с герцогом, прими мы, в некотором роде, ту линию, о которой вы недавно рассуждали: если бы я согласился на регентство на условиях Лессингема.

— Своими действиями, — сказал Бероальд, — вы освободили его от каких бы-то ни было условий и оставили нас абсолютно беззащитными. Вы

перед лицом опасных врагов пренебрегли законом, в котором и состояла наша сила и опора; вы посеяли разногласия в наших рядах, тогда как нам как никогда необходимо единодушие; вы подтолкнули герцога на путь, который может привести к краху и его, и нашему. Если бы вы смиренно явились к лорду Лессингему и выразили готовность сделать все, что он пожелает, лишь бы довести его миссию здесь до успешного завершения, он не смог бы придумать ничего лучше тех действий, которые вы и предприняли.

Иеронимий скривился, его добрые глаза потемнели от гнева. Он поднялся со стула.

— В этой беседе, — произнес он хрипло, — больше бесчестья, нежели пользы. Разговор окончен, желаю вам спокойной ночи, господин канцлер. Возможно, утро окажется мудренее вечера.



На следующий день, ближе к полудню, лорд Лессингем оседлал коня и они вместе с Амори направились от старого Леантинского дворца в северной части города, где их разместили, через базарную площадь, свернули направо, на Каменную улицу, затем на Конную, проехали по набережной, что более чем на четверть мили тянулась вдоль городской стены из старого красного песчаника; там они повернули к Круче и, поехав прочь от озера по извилистым вымощенным булыжником улочкам, выбрали на залитую солнцем площадь Ветров, пересекши которую с севера на юг, попали на Аллею Семи Сотен Колонн. Они неспешно поднялись по этой дороге, петлявшей в прохладной тени древних падубов и буйном благоухании мимоз, и наконец, незадолго до полудня, оказались у главных ворот цитадели. Стражник почетного караула, состоявшего из семи краснобородых мечников герцога, препроводил их по сверкающей лестнице из темно-зеленого с пурпуром камня пантерон<sup>51</sup>, через множество дворов и колоннад к серебряным дверям, за которыми начинался узкий и высокий коридор, выведивший через такие же серебряные двери в тот сад вечного дня. Здесь, в косых лучах солнца, в бесформенной тени земляничных деревьев их и приветствовал тот самый старик, доктор Вандермаст.

— Опоздываете, господин мой, — промолвил он.

Лессингем, доселе не бывавший в этом чудесном саду, восхищенно прикусил губу и сказал:

— Напротив, я явился в самый разгар дня. А вот его светлость изволит задерживаться, хотя назначил время сам.

— Его светлость, — ответил Вандермаст, — всегда задерживается. По сути, он постоянно опаздывает к условленному времени на час или около того, и за это благородного герцога не стоит порицать. А вот со стороны вашей ми-

<sup>51</sup> Вид полудрагоценного или отделочного камня, упоминаемого в некоторых средневековых трудах; возможно, яшма или серпентин.

лости это и впрямь необычайная дерзость — явиться сюда на четыре или пять часов позже назначенного, и рассчитывать, что он покорно вас ожидает.

Амори сказал:

— Будет вам играть с моим господином в игры, сударь. Будьте повежливее, ведь вы всего лишь старый эксцентричный ученый, и борода ваша напоминает пару соломинок в клюве у собирающейся строить гнездо вороны.

— Попридержи язык, Амори, — одернул его Лессингем. — Не обижай почтенного старца. Доктор, мне доводилось слышать об этом саде, как об одном из чудес света, и якобы сотворили его вы. И вот, увидев его воочию, я просто поражен.

— Это настоящий сад, господин мой, — ответил старик. — Небо, солнце, облака и озеро также настоящие, и мы с вами пребываем здесь по-настоящему. Вы можете прикоснуться, нюхать, прогуливаться и разговаривать, вдыхать этот воздух. Все здесь настоящее.

— Ладно уж, — сказал Лессингем, — это блюдо чересчур тяжело для моего слабого желудка. Да вот же, солнце сверкает золотом всего на ладонь выше тех поросших лесом холмов за озером, а еще десять минут назад был жаркий полдень, и оно палило нам головы из зенита.

Вандермаст промолвил:

— Для всех, кроме птиц, летучих мышей, крылатых муравьев, ос, мух и прочей живности, в этот сад ведет только одна дорога — через вестибюль с серебряными дверьми. Ваша милость и этот строптивый молодой человек миновали дальнюю дверь в полдень, но ближнюю — около пяти часов пополудни. Весьма любопытно было бы обсудить, передвигались ли вы по этому вестибюлю с медлительностью черепахи, за пять часов преодолев лишь двадцать шагов, или же, *per contra*<sup>52</sup>, эти пять часов пролетели мимо вас в десять тысяч раз быстрее обыкновенного. *Experimentum docet*<sup>53</sup>: вы здесь, и день клонится к вечеру.

— А если я тотчас же вернусь обратно? — спросил Лессингем. — Что тогда?

— Вы обнаружите, что полдень там только-только миновал. Герцог ожидает вас, господин мой. Вскоре он появится.

Лессингем остановился у балюстрады, глядя на юг. Амори последовал за ним. Минуту или две Лессингем стоял так, затем повернулся к саду, облокотившись на перила. Амори наблюдал за его взглядом, блуждавшим от желтой лилии к розе, алканне<sup>54</sup> или жимолости, от окруженной пчелами липы к земляничному дереву с его темной как ночь, листвой, винно-красными скрюченными ветвями и похожими на драгоценные камни цветами и плодами;

52 *Per contra* (лат.) — «напротив».

53 *Experimentum docet* (*experimentia docet*, лат.) — «опыт учит».

54 Многолетнее растение из семейства *Asperifoliaceae*.

подстриженная лужайка, порфировая скамья, голуби у фонтанов — все дремало в сонном золотом воздухе и длинных прохладных тенях. Лишь однажды за всю свою жизнь видел Амори такой взгляд прежде, и было это месяц назад, когда Лессингем всматривался в винный кубок в Морнагее. Он обернулся и заметил, что ученый смотрит на Лессингема необычайно пристальным взором, и что выражение лица у него и у Лессингема было одним и тем же.

Серебряные двери в глухой северной стене распахнулись, и вошел слуга, объявивший, что совет состоится в кабинете герцога, и что тот готов их там принять. Они уже повернулись, чтобы идти, но тут Лессингем остановился и взглянул на доктора Вандермаста.

— Одно хотел бы я узнать, — произнес он. — Это озадачивает меня с тех самых пор, как я впервые явился сюда, в Акрозайану. Кто вы на самом деле, сударь?

Мгновение Вандермаст молчал, глядя из-под полуприкрытых век прямо перед собой, на залитые солнцем холмы за озером, будто бы заметив что-то странное. Он улыбнулся и медленно проговорил:

— Я, господин мой, — тот, кто увлекается изменчивыми путями и непостоянными соцветиями человеческих занятий. Возможно, кое-что я в своих исследованиях и откопал. А еще я старый и верный слуга герцога Зайанского.

Затем, глядя Лессингему в глаза, он добавил:

— Не забывайте, господин мой, все на свете взаимосвязано. Если не смотря ни на что его светлость пригласит вас погостить этой ночью в Акрозайане, обязательно соглашайтесь.



И вот они вошли в кабинет герцога. Сам он сидел с северной стороны стола, спиной к камину, справа от него адмирал, слева канцлер, а за канцлером — граф Родер. Слева от графа разместился виконт Зафель, а справа от адмирала — лорды Мелат и Барриан. Лессингем уселся посередине, напротив герцога; Амори и доктор Вандермаст делали пометки. Когда они садились, Амори сказал ему так, чтобы никто не слышал:

— Теперь, когда мы выбрались живыми из того заколдованного сада, я бы хотел извиниться за то, что был груб с вами. Я не хотел говорить этого там. Не хотел, чтобы вы подумали, будто я вас испугался.

Вандермаст ответил:

— Я умею распознавать добро повсюду, как и жемчужину можно обнаружить в теле некоторых моллюсков, сколь бы искусно она ни скрывалась. Поэтому, не тревожьтесь, молодой человек.

Но даже когда он так беседовал с Амори, его орлиный взгляд был устремлен на лица собравшихся за этим столом важных людей, и чаще всего обращался он к лицам герцога и лорда Лессингема. Герцог, излучавший презрительную беззаботность, казалось, изготавился к прыжку. Поглаживавший

свою черную бороду Лессингем из-под полуприкрытых ресниц наблюдал то за герцогом, то за адмиралом или канцлером, то вновь за герцогом, будто дожидаясь, когда этот прыжок приведет прыгавшего в яму, что он для него вырыл.

— Не изволите ли начать, господин Лессингем? — предложил герцог.

— Охотно, — отозвался тот, важно склонив голову. — Но в итоге я лишь попрошу вашу светлость изложить то дело, по которому вы столь спешно созвали нас сюда.

В его голосе лениво звучала насмешливая музыка, полная очарования, но и напоминающая о дремлющей угрозе. Амори, который рос вместе с Лессингемом, хорошо знал эту интонацию. Вандермасту она также была знакома, но не в мужском голосе. Ибо в ней, словно в отражении полночной звезды в беспокойной озерной глади, было некое сходство с томной и ленивой насмешкой, столь часто пробуждавшейся в голосе леди Фьоринды; и при взгляде на герцога Вандермасту показалось, что и тот ощутил ее чары, хотя и не распознав их, будто человек, который слышит мелодию, но не может понять, откуда она исходит.

— Пошел уже одиннадцатый день, — сказал герцог, — как ваша милость радуется нас своим обществом. Лично мы были бы только счастливы, если бы это продолжалось и дальше. Однако с точки зрения государственных дел это несколько стеснительно.

— Я весьма признателен вам за оказанный мне великолепный прием, — ответил Лессингем. — Что касается задержек, то в них моей вины нет. Если бы все зависело только от меня, то мы бы покончили с этим и распрощались в первое же утро.

— А так это все тянется и тянется, — сказал герцог. — И влечет за собой праздность. А из праздности рождаются неприятности. Я имею в виду, господин мой, это ваше предложение господину канцлеру, о котором я услышал лишь этим утром.

— Ваша светлость не станет призывать меня к ответу, — отозвался Лессингем, — за то, что я не рассказал хорошую новость всей семье. Как бы там ни было, ответа я пока не получил, — с этими словами он повернулся к Бероальду.

— Вот мой ответ, господин мой, — сказал Бероальд, протягивая бумагу ему через стол.

Лессингем взял письмо.

— Он положителен?

Бероальд ответил:

— Вашей милости хватит ума понять, что нет.

— Ответ для всех нас в той же мере наихудший, в какой и наикрат-

чайший, — произнес Лессингем. — Что же дальше? Вероятно, у вашей светлости есть соображения, которые устроят нас всех?

Барганакс внезапно подался вперед в своем кресле.

— Мы, — сказал он, — не будем больше любезничать и играть в прятки. Предложения наместника не устраивают никого. Вы чересчур обнаглели, господин мой. Не думали же вы, что я стану сидеть сложа руки в своих удивительных и милых садах и прекрасных рощах, в то время как вы морочите мне голову своими лживыми речами? Или что я буду греться на солнышке, пока вы носитесь по городу, предлагая регентство тому, кто больше за него даст? Может, теперь предложите его и господину Родеру? Вот он, здесь. Давайте, спросите его.

Лессингем ничего не ответил, лишь скрестил руки на груди.

Барганакс продолжал:

— Теперь вы увидите, как терпение мое обернется для вас мечущей молнии грозной тучей. Эти высокопоставленные господа справа и слева от меня, связанные древним альянсом в поддержку дома Фингисволда, едины со мной в нашем твердом «нет» наместнику, когда тот требует от нас отказаться от власти в пользу него самого, кого мы категорически отвергаем и кому не доверяем. Под противоправными угрозами этого тирана господин адмирал торжественно перепоручил мне регентство в Мезрии, которое королевским завещанием было ему пожаловано. Господин Лессингем, я принимаю это регентство, но не признаю ничьего сюзеренитета. Если наместник признает меня равным себе, столь же полноправным властителем Мезрии, как и он — Ререка, то все в порядке, и между нами полное взаимопонимание. Если же нет, то, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что намерен сохранить свои владения вопреки ему, и какая бы кровавая неразбериха ни началась, я сумею с ним справиться.

Лессингем, хотя и несколько опешивший и не ожидавший такого поворота событий, тем не менее, сохранял внешнее спокойствие; ум его напряженно работал. Он переводил глаза с одного из сидевших за столом на другого: на герцога, подобного учувшему зарю боевому коню, на канцлера с его худощавым и непроницаемым лицом, выпрямившегося в кресле и смотревшего перед собой, на потупившего взгляд Иеронимия, что положил локти на стол, подпирая левой рукой подбородок, а правой крутя одинокую прядь прямых волос у себя на макушке, на мрачного и сердитого Родера, на покрасневшего Барриана, теребившего свое перо, на выпятившего челюсть Зафеля, что пристально наблюдал за герцогом, на Мелата, положившего голову на сложенные на столе руки и внимательно смотревшего на Лессингема.

— Господин адмирал, — произнес Лессингем наконец, — А вы что на это скажете?

— Вам следовало бы обращаться ко мне, господин мой, — заметил Барганакс. — Отныне именно со мной вам и придется иметь дело.

Но Лессингем возразил:

— С вашего дозволения, господин герцог, я вынужден настаивать. Вы, господин адмирал, а отнюдь не его светлость, названы в завещании регентом.

— Я отказался от регентства в пользу его светлости. И нечего тут, в некотором роде, обсуждать, — промолвил Иеронимий. Он не поднимал глаз, чтобы не встречаться со стальным взглядом Лессингема.

Тогда Лессингем обратился к канцлеру:

— Ваша милость написали мне письмо. С разрешения его светлости я прочту его.

Он разложил его перед собой и начал читать.

— В письме канцлера, — сказал он наконец, — бросается в глаза то, что оно не затрагивает вопросы законности.

Бероальд откликнулся:

— Да, не затрагивает.

— Вот именно, — подхватил Лессингем. — Но если бы вам удалось доказать незаконность всей этой затеи, это только придало бы письму веса. Господин канцлер, вы опустили этот довод потому, что признаете, что требование наместника о созеренитете с точки зрения закона справедливо?

Бероальд не ответил, продолжая смотреть прямо перед собой.

— От этого многое зависит. Прошу вас, ответьте, — настаивал Лессингем.

Бероальд произнес:

— Я не обязан консультировать вашу милость по вопросам закона.

— Это верно, — согласился Лессингем. — Надо полагать, господин мой, вам пришлось весьма не по нраву, когда один из тех, кого вы обязаны консультировать (речь о господине Иеронимии), принимает ваш совет, но не решается ему последовать, а другой отмахивается от него, как от пустой болтовни, и поступает с точностью до наоборот.

Канцлер промолвил ядовитым голосом:

— Можете в своих рассуждениях выдвигать против нас какие угодно обвинения. Но поскольку ваша милость ничего по этому вопросу от меня не услышали и не в состоянии сами предположить, что я мог бы ответить, то наблюдения вашей милости не по существу, вне зависимости от того, идет ли речь о свершившихся фактах или об одной лишь их вероятности.

— Господин мой, просто ответьте на прямой вопрос: вы признаете это или нет?

Канцлер промолчал.

— Довольно заниматься болтовней, — сказал Барганакс, чтобы прекратить это. — Наши законы не наместнику составлять.

— Но и не господину канцлеру, как это имеет место сейчас, — отпарировал Лессингем.

Сердитое молчание нарушил Иеронимий.

— Это совершенно невероятно, это невообразимо, чтобы король, в некотором роде, взял и передал все полностью в руки наместника, особенно если учесть ту холодность, что между ними была. Даже если признать, что закон, в некотором роде, допускает трактовки...

Но Лессингем оборвал его примирительную речь.

— Господин герцог, — сказал он. — Я придерживаюсь закона. Не сердите на меня, если я отброшу гладкие слова и елейные любезности и буду говорить напрямик. Вы пренебрегли королевским завещанием. Вы застращали верховного адмирала, так что тот стал вашим орудием. Канцлер не желает мне отвечать, но его молчание обличает ваши гнилые доводы перед всем миром. Не думайте, будто я ничего не понимаю, — продолжал он, и в паузах между его словами они могли услышать дыхание друг друга. — Все начинается с мелочей, но мне и сейчас предельно ясны цели и намерения вашей светлости, и это узурпация всего королевства из рук вашей безобидной сестры. Долг моего благородного родича как лорда-протектора — расстроить эти ваши планы. Ваш ответ мне означает войну. От имени его высочества наместника я ее вам объявляю. И еще я призываю этих высокопоставленных чиновников (вас, господин мой, и вас, и вас) присоединиться к праведному союзу во имя ее величества королевы, дабы свергнуть вас с вашими узурпаторскими замыслами.

Когда он говорил, хотя слова его и были горячи и страстны, пронизательный ум его оставался холодным, наблюдая за тем, какое и насколько сильное влияние оказывала его речь на слушавших ее, какая взаимная зависть, взаимные сомнения и душевные колебания возникали в них исподволь, подобно побегам плюща меж камнями шатающейся стены, за разногласиями между герцогом и его верными сторонниками, за тем, как, видя появляющиеся меж ними разрывы или только опасаясь их появления, мезрийские лорды будто отступили, задумавшись о собственной безопасности, как в глазах адмирала, будто в открытой книге, крупными буквами были написаны все его восставшие из могилы и лишь недавно им похороненные старые сомнения в верности канцлера и герцога, и как, подобно злобному и пронизывающему ветру, что находит дорожку под любые покровы, самого герцога под всей его беспечной храбростью охватывают невысказанные опасения в отношении тех, кому он вынужден был доверять. Все это говоривший Лессингем вызывал к жизни то паузой в нужном месте, то метко подобранным словом или взглядом; точно так же играющий на сопрановой виоле мастер ведет за собою весь ансамбль, воплощая в музыке свой замысел: здесь одна фраза у таинственной теорбы<sup>55</sup>,

55 Шипковый музыкальный инструмент, басовая разновидность лютни.

здесь другая, у рекордеров, а вот уже лютни ведут канон, и гобой, и цимбалы, и ребек<sup>56</sup>, каждый в свою очередь, а затем то же самое в ритурнели<sup>57</sup>, то так, то иначе, и всегда тем именно образом, какой надобен ему, руководящему этим смешанным ансамблем. И, наблюдая, как эти изменения, эти губительные сомнения и колебания оживают под его прикосновением, Лессингем испытывал некое утонченное удовольствие.

Последние его слова, когда он закончил говорить, прозвучали лязгом стальных мечей. Герцог, чей подбородок задирался все выше и выше, пока он, вперив огненный взгляд в Лессингема, внимал этим оскорблениям, поднялся на ноги с гладкой и размеренной грацией пробудившегося ото сна леопарда. Бросив на своих соратников по обе стороны от себя надменный взгляд, он сказал:

— Неужто рука моя слабее оттого, что имеет много пальцев? Напротив, так она еще ловчее.

С этими словами он вновь повернулся к Лессингему, с подчеркнутой учтивостью достал из ножен меч, поднял его перед собой, чтобы рукоять оказалась на уровне губ, поцеловал рукоять и положил обнаженный меч на стол, острием к Лессингему. Лессингем молча встал и, исполнив тот же самый ритуал, положил свой меч рядом с мечом герцога, указывая острием на него. С минуту они стояли возле стола, глядя друг другу в глаза, будто громоздившаяся на востоке пронизанная молниями могучая темная грозовая туча взирала над затаившейся землей на многоцветное великолепие садящегося золотого солнца. И когда герцог наконец заговорил, голос его лишь усилил ощущение той непостижимой гармонии, что обуславливает подобное противостояние и им же обусловлена, представ и воплотившись в виде неземной музыки. Лишь двое за этим столом, услышав его, не поддались изумлению, страху или смятию: это были Лессингем и доктор Вандермаст.

Герцог промолвил:

— Господин Лессингем, раз уж наша дружба столь недолговечна и ей вскоре предстоит увянуть, давайте закончим ее, как и подобает персонам нашего круга. Доверимся друг другу до завтрашнего полудня: вы мне в том, что я не совершу никаких подлых посягательств на вашу жизнь или свободы, а я — вам, что вы ни словом, ни делом не затронете этой серьезной темы, пока не окончится это перемирие длиною в день.

— Господин герцог, — сказал Лессингем, — я согласен.

Тогда герцог промолвил:

— Нынче вечером я планирую бал-маскарад, а затем пиршество на берегу озера. Не окажет ли ваша милость мне чести быть моим гостем и остаться на ночь в Акрозайане? До завтрашнего полудня мы отринем все государствен-

56 Старинный смычковый музыкальный инструмент.

57 Часть аккомпанемента, повторяющаяся перед каждой строфой вокального произведения.

ные дела, прогоним от себя все неприятности и еще один день будем наслаждаться мгновениями лета, последней забавой перед наступлением зимы. Потом вы уедете. И после этого мы кровопролитным военным путем решим эти разногласия, над которые мы столь бесплодно бились в течение этих десяти дней.

Амори произнес Лессингему на ухо:

— Осторожнее, господин мой. Давайте уйдем.

Но Лессингем все еще смотрел в глаза герцогу, и ему вспомнился совет доктора Вандермаста.

— Такого предложения, — ответил он, — только и можно ожидать от столь благородного правителя, и я с радостью принимаю его. Думаю, ни один из живущих властителей не сделал бы мне подобного предложения, и ни из чьих больше рук я бы его не принял.



## VII. Ночь на Амбремерине

*ЗАЙАНСКОЕ ОЗЕРО ВЕЧЕРОМ — КАМПАСПА: БЕСЕДА С ВОДНОЙ НИМФОЙ — ВОСХОД ЛУНЫ — КОРОЛЕВА НОЧИ — ФИЛОСОФ РАССУЖДАЕТ — ПЕСНЬ ФАВНА — ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ЛЕДИ — АНТЕЯ: БЕСЕДА С ОРЕАДОЙ — ПРИРОДА ДРИАД, НАЯД И ОРЕАД<sup>58</sup> — СМЕРТНАЯ ТЕНЬ — БОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ — СОВЕТ ВАНДЕРМА*

**В**ЕЧЕРОМ, когда покой, казалось, укрыл землю своими лилейными лепестками, восемь гондол с герцогом и его спутниками вышли из прибрежных ворот под западной башней и поплыли в сторону заката. Выйдя на открытое пространство, они выстроились в одну чуть изогнутую линию, образовав устремленный рогом вперед полумесяц, и двинулись дальше, держась примерно в пятидесяти шагах друг от друга: на расстоянии окрика, не позволявшем, однако, подслушать ведшиеся в соседней гондоле беседы. В трех или четырех сотнях шагов перед ними плыла небольшая каравелла, на борту которой находилась гвардия герцога, а также лучшие и изысканнейшие вина и яства. Она шла на веслах; ее красновато-коричневые паруса колыхались на мачтах в безветренном воздухе. Над водой плыли разносившиеся с ее кормы мелодии старых любовных песенок, пробуждавшиеся к жизни в трепете серебрястых струн лютней, плаче гобоев и приглушенном пении виол.

Уходившие вдаль холмы на севере и северо-востоке окрасились в пурпурные оттенки виноградных гроздьев. За холмами возвышались озаренные розовым светом горы, что огораживали населенные земли с севера, стражи гиперборейских снегов. Были они столь высоки, что можно было принять их за облака; правда, в отличие от облаков, они не плыли в небесах, но оставались на месте, и строением своим были незыблемы и непоколебимы, как и подобает порождениям древней земли: бастион в них громоздился на бастионе, контрфорс вздымался ввысь зубцом вершины, стена сменялась стеной, гребнем, башней или ажурным шпилем; однако все это будто состояло не из твердой материи, но из неосязаемой ткани облаков, и весь этот грандиозный вид являл собой воплощение застывшего и неизменного спокойствия, с каким отдыхают на краю небес Боги. За кормой нежилась в теплых лучах Акрозайана. Справа по борту, в полумиле к северу, у пляжа на приземистом поросшем лесом мысу, что протянулся через озеро в направлении города Зайана, купались две женщины. Заходившее в безмятежном и безоблачном небе солнце заливало их тела, их отражения в воде и леса позади них таким сиянием, что они казались не смертными женщинами, но дриадами или ореадами, спустившимися с холмов явить свою красоту взору пробуждавшейся ночи и, смотрясь в озерную гладь, словно в зеркало, заплести свои волосы.

В самой крайней с севера гондоле сидел Лессингем. Его душа и чувства

58 Виды нимф в др. греч. мифологии: дриады — нимфы деревьев, наяды — водные, ореады — горные нимфы.

пребывали в состоянии покоя и довольства, ибо подле него откинулась на спинку сиденья госпожа Кампаспа, юная леди, чьим оживленным щебетанием он наслаждался под шорох сонно плескавшихся под килем волн: восхитительное настоящее, предвещавшее еще более восхитительное будущее.

— Семь морей, — отвечал он ей, — с того момента, когда мне исполнилось пятнадцать.

— А сейчас вам... пятьдесят?

— В шесть раз больше, — серьезно ответил Лессингем, — но исчислять это будет в месяцах.

— У меня, — промолвила она, — с исчислением постоянная путаница.

— Тогда оставим исчисление в покое, — сказал он, — и возьмем простой пример. Мне достоверно известно, что мы с герцогом почти ровесники.

— О, вы настолько стары? Двадцать пять лет? Неудивительно, что вы столь степенны и серьезны.

— А что же вы, госпожа? — спросил Лессингем. — Как далеко по жизни прошагали вы?

— Нет уж, вопросы буду задавать я, — откликнулась она, — а вы — отвечать.

Лессингем лениво разглядывал ее лежавшую на подушке подле него руку в черной надушенной перчатке с ажурным отворотом, украшенным цветами из желтых цирконов.

— Я весь внимание, — сказал он.

Кампаспа украдкой взглянула на него. Ее глаза были подобны бусинкам, словно принадлежали какому-нибудь робкому полевому или лесному созданию. Черты ее лица, если бесстрастно оценивать каждую в отдельности, были чужды и некрасивы, наводя на мысли о лягушках и пауках, но глаза ее сплавивали все это воедино в некой необычайной гармонии. Так могла бы выглядеть королева Страны Эльфов, красивая непривычной, нечеловеческой, но от того не менее пленительной, красотой.

— Итак, — промолвила она, — сколько соломинок идет на гусиное гнездо?

— Ни одной: у них нет ног.

— О, так нечестно! Вы знали наперед. Вот, что бывает, когда слишком часто путешествуешь по разным странам: люди чересчур много знают.

После паузы она спросила:

— Скажите, разве здесь не лучше, чем в ваших северных краях?

— Во всяком случае, жарче, — ответил Лессингем.

— А вам что больше нравится, господин мой, жара или холод?

— Мы говорим о погоде или о женских сердцах?

— Отвечайте по порядку: сначала об одном, потом о другом.

— Нет, — сказал Лессингем, — мы же на отдыхе. Позвольте мне сразу перескочить к тому, что для меня наиболее важно.

— В таком случае, для соблюдения учтивости вам следует сказать, что холод лучше, — ответила она. — Ибо у нас здесь больше в моде холодные сердца: их легче изменить.

— Ах, — промолвил он. — Вижу, госпожа, вам еще есть чему поучиться.

— Чему же, господин мой? Неужто моде?

— О, нет. Я, хоть и солдат, но еще не настолько туп и неуклюж, чтобы заявлять леди, что она ничего не смыслит в моде. Я имел в виду, что как раз жаркие сердца больше подвержены переменам: загораются при малейшей искре.

— Занимательная у вас теория, — сказала она. — Позвольте поинтересоваться, основана ли она на опыте?

Он улыбнулся в ответ:

— Первое правило мудрости — не утверждать ничего голословно.

Кампаспа внезапно выпрямилась с приглушенным радостным возгласом.

— О, какая прелесть! — воскликнула она, обращаясь, как заметил Лессингем, не к нему, но к утке и нескольким ее утятам, что плыли друг за дружкой перед ними. На кратчайший миг ее рука, которой она, энергично наклонившись вперед, чтобы понаблюдать за ними, оперлась на край лодки, коснулась колена Лессингема, и прикосновение это, невесомое и бестелесное, словно сон, послало тысячи змей по его жилам. Испугавшись гондолы, утка и ее детеныши заторопились прочь, заработав лапами и крыльями и подняв за собой небольшую волну, что, как подложка красит бриллиант, лишь еще сильнее подчеркивала мирную безмятежность озерной глади.

— И сколько же глупых женщин уже внимали во все уши этим вашим поучениям? — спросила Кампаспа с притворной застенчивостью.

— Этим вопросом, госпожа моя, вы поставили меня в тупик, — ответил он. — Полагаю, они приходят и уходят вместе с фазами луны.

— До чего же глупа я была, сев в эту лодку вместе с вами, господин мой, — промолвила она.

Лессингем улыбнулся.

— Думаю, — сказал он, — у меня есть довод, который убедит вас в обратном, когда мы до него дойдем.

Его глаза из-под длинных опущенных ресниц следили за нею ленивым и волнующим взглядом. Казалось, живший в его глазах дух наслаждался вкусом своей власти, словно вином, чье волшебство недоступно винам нашего мира, смаковал этот вкус в ее жилах и в своих, и кровь их стучала в унисон. Затем он перевел взгляд с нее на тыльную сторону своей ладони, и некоторое

время рассматривал ее в молчании, будто увидел там что-то забавное и захватывающее.

— Как бы там ни было, — беззаботно произнес он, наконец, — вам следует помнить: луна всего одна. Было бы чрезвычайно неразумно из любви к луне прошлого полнолуния распрощаться с лунным светом навеки.

— О, а вам знакомы и другие игры помимо тенниса, господин мой, в этом нет никаких сомнений.

— В теннис я герцога обыграл, — сказал Лессингем.

— Это нелегко, — ответила она. — Но в другой игре победить его еще тяжелее.

— Еще одно из основных правил мудрости, — промолвил Лессингем, — никогда не позволять воспоминаниям о былом притуплять удовольствия настоящего. Я умею, — продолжал он, — читать в сердце женщины по ее руке. Позвольте-ка.

Кампаспа со смехом уклонилась, когда он попытался стянуть с ее руки перчатку.

— Влажные ладони — признак жарких сердец, — прошептал он ей на ухо. — Не потому ли вы носите перчатки, госпожа моя?

— Нет, так нельзя! Фу, а вдруг гондольер увидит?

— Я — само благоразумие, — заверил ее Лессингем.

— Учтите, господин мой, — сказала она, отбрасывая его руки, — если вам угодно, чтобы я накрывала вам на стол, ведите себя за ним прилично, а не глотайте все одним махом.

Лессингем произнес ей на ухо:

— Я буду послушен. Лишь только пообещайте.

Но Кампаспа ответила:

— В Зайане — никаких обещаний. Герцог запретил их. Что же касается их исполнения — что ж, уважительное отношение, господин мой, вознаграждается здесь так же, как и в иных краях.

В ее голосе зазвучала некая новая нежность, будто шелестели под дуновениями слабого ветерка стоящие у тихих вод ивы. Огромный сплюснутый шар солнца коснулся западных холмов. Лессингем взял ее за подбородок и повернул ее лицо к себе.

— Люблю маленьких мышек, — промолвил он.

Ее глаза расширились от испуга, словно у крохотного полевого создания, завидевшего ястреба. С минуту она оставалась неподвижна. Затем, будто решившись на что-то, стянула перчатку и поднесла свою обнаженную руку, ладонью вверх, к его губам. Гондола накренилась. Леди подавила смешок:

— Нет, господин мой, хватит. Нет, и если вы не проявите терпение, то вообще ничего не получите.

— Крапивники, мышки, подобные крошечным лапкам ивовые листья в лунном свете. Почему ваш смех — словно ночной ветерок в ивах? Ведь я вас разгадал, несмотря на вашу маску придворной леди: вас и вашу «подругу»? Разве все это не вы? Скажите, разве нет?

Каждый мягкий взмах весла стоявшего на корме гондольера был, будто еще одна капля в кубке волшебства, что наполняло его до краев, но через край не переливалось.

— Еще не время, господин мой. О да, все это я, и еще многое другое. Но смотрите, мы вот-вот пристанем. Молю вас, будьте терпеливы. Через два часа над этим островом Амбремерин, над его травянистыми полянами и мысами, что поросли цветами, взойдет луна, а она, понимаете...

— А она, — продолжил Лессингем, — от века пробуждала в людях тягу к изысканным удовольствиям.

Он еще раз поцеловал ее руку:

— Давайте перевернем все с ног на голову: допустим, я буду терпелив, — тогда я получу все?

В глазах-бусинках Кампаспы он прочел согласие.



Они причалили близ юго-восточной оконечности острова, в небольшой естественной гавани в форме полумесяца, с пляжем мелкого белого песка. Солнце зашло и над озером спустились сумерки; на востоке, над Зайаной и ее цитаделью тут и там висели бледные голубоватые дымки; стены, крыши и башни виднелись смутно и неясно, а огни в окнах сияли, будто звезды. Исполинские горные вершины на севере еще озарял закатный свет. От гавани холмистыми лужайками уходила вглубь острова просторная поляна, с оставшихся трех сторон окруженная рощами кипарисов, чьи подобные колоннам стволы и густые кроны были опутаны, пропитаны и насыщены такой непроглядной темнотой, что ни полуденное солнце не могло проникнуть сквозь нее, ни черная ночь углубить этот их предначальный мрак. Посреди поляны, на ровной лужайке, где тысячи ромашек и крохотных желтых лапчаток лишь недавно сложили свои лепестки и отошли ко сну, были расставлены столы для пиршества. Главный стол был обращен на юг, к гавани, где горделиво покачивались освещенные фонарями гондолы и каравелла, отбрасывая на воду отражения своих грациозных обводов. Два стола покороче стояли по краям главного стола; один смотрел на ночную Зайану, а другой — на запад, на уходящий закат, в бледных и прозрачных хризолитовых небесах над которым сияла подобно алмазу на шее Афродиты вечерняя звезда.

На усланных камчатным полотном столах был выставлен рыбный ужин: устрицы и омары, раки крупные и мелкие, форель, тунец, лосось, осетр, миноги и икра, все это на красивых золотых блюдах, а также грибы и спаржа, петушинные гребешки и трюфели, и множество разнообразных изысканных

фруктов, и вина всех сортов в огромных чашах и кубках из хрустала, серебра и золота: сухие старинные вина золотистых и желтоватых тонов, что приятны на вкус и разжигают остроумие; и красные вина, чья дурманящая сладость, полная оттенков былых закатов и плещущаяся в кубке словно кровь, способна успокоить мысли и утихомирить чувства, позволив прислушаться к внутренним голосам; и пенистые вина, что шепчут о тех вечных морях и вечных веснах, к которым всегда возвращаются все воспоминания и тяготеют сердца. Пятьдесят маленьких, светловолосых, одетых во все зеленое мальчиков расставляли вдоль столов факелы для пирующих. Факелы эти горели в неподвижном летнем воздухе ровным пламенем, и свет их лишь иногда подрагивал, будто вздымалась и опадала грудь юной девушки, а запах смешивался с ароматом цветов, благоуханием лесов и дыханием росистого вечера.

И они принялись пировать под открытым небом. Едва догорели последние угли заката на западе, а ночь только пробудилась в восточных небесах за Зайаной, как свет озарил небосвод, и в него подобно правившей ночным балом королеве вступила леди луна, распростерев свой золотистый шлейф над сонными водами. При этом их беседа на минуту затихла. Сидевший посередине за центральным столом Барганакс, с Лессингемом по правую руку от него, взглянул на сидевшую слева Фьоринду, которая смотрела на луну.

— Ваше зеркало, — тихо промолвил он.

Выражение ее лица изменилось и, улыбнувшись и лениво пожав плечами, она сказала:

— Одно из них!

— Господин Лессингем, — заговорила Кампаспа, — представьте, что я обладаю волшебной силой и способна дать вам то, чего вы пожелаете. Что бы вы выбрали тогда: удовольствие или власть?

— На этот вопрос, — ответил тот, — в такой компании, в такую ночь, да к тому же во время восхода луны, я могу ответить лишь словами поэта:

Сладка та сила, что возлюбленной дарует наслажденье;

Неизмерима сладость силы этой.

— Уклончивый ответ, полный хитростей и уловок, — заметил герцог.

— Не верьте ему, госпожа моя.

— Может ли ваша светлость дать лучший? — спросила Кампаспа.

— Без труда. Одно лишь слово: удовольствие.

Фьоринда усмехнулась.

— Ваша милость согласится со мной, — продолжал герцог. — Что есть власть, как не способ достижения мудрых, сильных и ярких удовольствий? Какая еще может быть польза от моего герцогства? Увы, я не придаю ему большого значения, уж слишком мала и приземленна его ценность. Пожалуй, это лишь средство заполучить сей роскошный сверкающий бриллиант, что затмевает собой все прочее.

— Философские диспуты, — промолвила Фьоринда, — постоянно пробуждают во мне странное томление.

— Томление? — переспросил герцог. — Нынче вечером вы повелительница нашего веселья. Шепните о своем желании лишь полунамеком, и мы исполним его с такой быстротой, что молния покажется рядом с нами медлительной.

— Пока что, — сказала леди, — достаточно будет чего-нибудь вкусного.

— Малины? — произнес герцог, протягивая ей золотое блюдо.

— Нет, — ответила она, привередливо разглядывая малину, — в ней слишком много изъязнов... как и в двустипши господина Лессингема.

— Не желает ли ваша милость отведать персика? — спросил Мелат.

— Пожалуй, — сказала она. — Хотя, нет. С теми, у которых косточка отделяется с трудом, слишком много мороки, а прочие мне не нравятся. Не передаст ли мне ваша светлость сладкую грушу?

Герцог велел мальчишке-прислужнику принести их с дальнего конца стола.

— Почистите ее для меня, — попросила она, выбрав фрукт.

Барганакса, словно опьяненного ее лучезарной красотой, ее ленивым голосом и тем, как изящно замерли над блюдом с грушами в свете факелов и луны ее изящные украшенные кольцами пальцы, охватила такая дрожь, что блюдо в его руках затряслось. Справившись с этой дрожью, он произнес со сдержанной учтивостью:

— Я позабыл, что из всех фруктов вы более всего любите именно эти.

— Позабыли? Разве мы с вашей светлостью так уж давно обсуждали эту тему? Да и в предпочтениях ваших я не обнаружила каких-либо недостатков, как и вы в моих.

Наблюдавший за этим эпизодом Лессингем находил в нем утонченное и необыкновенное наслаждение, что, более невесомое, нежели искры росы на рассвете или колышущие паутинку своенравные ветерки, подобно эльфу пляшет *allegretto scherzando*<sup>59</sup> под музыку некоего великого музыканта, столь же прекрасную, как и оно само. Лишь подчиняясь порыву и желая продолжить эту игру, он заговорил снова:

— Пусть ваша милость изволит рассудить нас; я же в противовес герцогу утверждаю, что, если бы удовольствие пожелало заполучить меня, я бы его отверг. Ибо существуют удовольствия низменные, неблагородные, отталкивающие и просто свинские. Как же тогда можно избрать удовольствие *per se*<sup>60</sup>?

— В таком случае, что насчет власти *per se*? — отозвался герцог. — Уподобиться крестьянскому псу, который не может съесть капусту с огорода, но и никого иного к ней не подпустит? И такую власть вы считаете благом?

59 *Allegretto scherzando* (ит.) — музыкальный термин, «оживленно, игриво».

60 *Per se* (лат.) — «как таковое».

Полагаю, я загнал вас в тупик, господин мой. Или поменяемся сторонами и будем спорить дальше забавы ради?

— Тогда победа за мной, — сказал Лессингем. — Ибо, если власть хороша лишь иногда, то таково и удовольствие. Удовольствию надлежит быть благородным, а наиболее благородное удовольствие и есть власть.

Фьоринда осторожно откусила кусочек груши.

— Госпожа моя, прошу вас оказать нам честь быть нашим судьей, — обратился к ней Лессингем.

Она улыбнулась и сказала:

— Не в моей натуре заниматься судейством. Разве только слушать.

— Но неужто вы станете слушать чепуху? — спросил Барганакс.

— О да, — ответила она. — Зачастую в одной крупице чепухи больше пользы, чем в целой мере мудрости.

— Ха! Это камень в ваш огород, Вандермаст, — воскликнул герцог.

Сидевший у дальнего края восточного стола между Антеей и юной графиней Розалурой старец лишь усмехнулся себе в бороду. Леди Фьоринда, подняв бровь, вопросительно взглянула сначала на него, затем на герцога и на Лессингема.

— Это он-то мудр? — промолвила она. — Мне казалось, он философ. Хотя я и впрямь способна внимать ему всю летнюю ночь напролет и не утомиться от его нелепиц.

— Я старый глупец, — сказал Вандермаст, — который, однако, достаточно мудр, чтобы служить вашей милости.

— А для этого необходима мудрость? — спросила она, глядя на луну.

Смотревший на ее лицо Лессингем подумал о той смертоносной царнице скифов, что поднесла Киру его последний глоток крови<sup>61</sup>. Но, думая об этом, он тем глубже ощущал в ласковых чарах ее голоса разум, что осознавал мир с простотой и утонченностью, и с шутливым удивлением, как могла бы смотреть по сторонам грациозная и изящная птица, принимавшая или отвергавшая увиденное с одинаковой радостью.

— А для этого необходима мудрость? — повторила она.

И казалось, нечто невиданно прекрасное, некая неслышимая песня сорвалась с уст этой женщины и, обретя крылья, взмыла над землей, над огромными колоннами кипарисов, что обрамляли этот терявшийся во мраке сад, и безбрежный ночной небосвод будто расцвел в предвосхищении невообразимого чуда.

---

61 Кир II Великий (559 – 530 гг. до н.э.) – персидский царь. По свидетельствам Геродота царица массагетов Томирис после битвы с Киrom, в которой тот потерпел поражение и погиб, приказала окунуть его голову в бурдюк с кровью в знак мести за смерть ее сына.

— Помимо этого нет иной мудрости: ни в небесах, ни на земле, ни под землей, ни в мире феноменальном, ни в ноуменальном<sup>62</sup>, ни *sub specie temporalis*<sup>63</sup>, ни *sub specie aeternitatis*. Иной нет, — промолвил Вандермаст голо- сом столь тихим, что никто толком не расслышал его, кроме сидевшей справа от него графини. А та, расслышав, хотя и не поняв, но нутром ощутив значи- мость его слов, как сгибаемая ветром тростинка смутно осознает нечто, случив- шееся в небесных высях, чья сила колышет и покоряет ее себе, нашла руку Медора и крепко за нее ухватилась.

Наступила тишина. Потом Медор заговорил:

— А что же любовь?

Вандермаст ответил словно про себя, но графиня Розалура услышала и это:

— Иной власти нет.

— Любовь, — произнес Лессингем, вновь обретший невозмутимость и спокойствие, как только угасла эта внезапная вспышка света, — послужит замечательным доводом в мою пользу. Здесь, как и повсюду, правит власть. Ибо что есть любовник, не имеющий власти завоевать свою возлюбленную? Или она, лишняя власти над своим любовником?

При этих словах его рука незаметно обхватила податливую талию Кам- паспы. Его взгляд, беспечно блуждавший от одного лица к другому, остано- вился, встретившись с взглядом сидевшей подле ученого доктора Антеи. Ее роскошные рыжеватые волосы оттеняли холодную красоту ее лица вуалью красновато-золотистого великолепия. Глаза ее — бесстрастные, властные и не- проницаемые — своим очарованием поймали и удержали его взгляд.

— Мне говорили, — заметила Фьоринда, — будто любовь — более за- мысловатая игра, нежели теннис, или военное искусство, или политические игры, господин Лессингем.

Антея со смешком обнажила свои рысьи зубы.

— Мне вспомнились слова вашей милости, — сказала она.

Фьоринда подняла бровь, мягко придвинув герцогу свой винный кубок, чтобы тот его наполнил.

— О том, что любовник, вознамерившийся завоевать свою возлюблен- ную силой, — продолжила Антея, — подобен высохшему слабоумному стари- ку, что пытается вернуть молодость при помощи фальшивых волос, вставных зубов и хитроумного макияжа, а также доброго глотка вина, и не хватает ему лишь одного, но наиболее важного.

— Я такое говорила? — удивилась Фьоринда. — Не припоминаю. На самом деле, довольно странно рассуждать о власти и удовольствии примени-

62 Феномен — в философии, чувственно постигаемый объект; ноумен — «вещь в себе», объект, постигаемый разумом, вне зависимости от восприятия.

63 *Sub specie temporalis* (лат.) — «с точки зрения времени».

тельно к любви. Вот есть сад, в саду куст, а на кусте роза. Разве женщина не может удержать своего любовника при себе, не пытаюсь постоянно доставить ему удовольствие? Фи! Проще выйти из игры. И неужели мой любовник и впрямь намеревается завоевать меня, доставляя мне удовольствие? Тьфу! Это значит, он мне платит, будто бы я — наемная служанка?

Сидевший подле нее Барганакс не смотрел на нее. Облокотившись на стол, сплетя касавшиеся усов неподвижные пальцы, он уставился прямо перед собой, будто всеми фибрами вслушиваясь в последние едва слышные звуки музыки голоса этой женщины.

Фьоринда в молчании взидала через стол на доктора Вандермаста. Послушный ее взору, тот встал и дважды или трижды взмахнул рукой над головой, будто подавая знак кому-то, затаившемуся за пределами освещенного факелами пространства, выйти из теней. Луна уже высоко взошла над Зайаной, и пламя факелов, а также сияние луны и звезд, сплелись в вуаль, что сделала землю, небеса и водную гладь нематериальными, полными неверных теней и неясного света. Когда Вандермаст поднялся, сама ночь будто скользнула в глубокий омут безмолвия, как выдра молчаливо ныряет с берега в черные воды. Лишь мурлыканье козодоя доносилось с окраины леса. И вдруг сидевшие за столом осознали присутствие чего-то стремительного, что замерло меж светом факелов и окружавшим их сумраком. Это нечто обладало человеческой фигурой, но было невелико ростом, едва доставая макушкой до локтя рослого человека; его косматые ноги оканчивались козлиными копытами, да и на лбу торчали рога молодого козла; в глазах же его словно пылали багровые угли. Пронзительен был взгляд этих глаз, метавшихся от одного лица к другому (и лишь перед Фьориндой существо потупило взор, словно в знак почитания); пронзительна была и мелодия песни, которую оно пело: песни, которой с начала времен наслаждались любовники и великие поэты, ночной песни, горько-сладостной, сотрясавшей мрак до самой сердцевины томлением и беспокойством, слишком страстными, чтобы их можно было выразить словами; и в песне этой можно было услышать разносящиеся как эхо по пучинам вечности голоса еще не рожденных мужчин и женщин, перекликающиеся с голосами мертвых.

Слушая это пение, все они замерли в изумлении, будто пробудившись ото сна. Возлюбленные прильнули друг к другу: Амори к темноглазой Виоланте, Мирра к Зафелю, Беллафронт к Барриану. Рука Лессингема еще крепче обхватила его Кампаспу; ее грудь под шелковыми одеяниями трепетала под его рукой подобно голубю, а ее черные глаза задумчиво и спокойно взирали на поющего. Пантасилея, опустив веки и приоткрыв полные губы, будто в полубомороке приникла к плечу Мелата. Медор будто ребенка прижимал к себе свою прекрасную юную графиню. Позади них, у дальнего края восточного стола, выпрямившись и внимательно прислушиваясь, сидела Антея; несколько

заблудших завитков ее прекрасных волос касались рукава габардинового кафтана старого Вандермаста, неподвижно стоявшего подле нее.

Лишь леди Фьоринда, казалось, внимала этому пению невозмутимо, словно холодная луна, повелительница морских волн, что не принимает участия в их беспрестанных приливах и отливах, но, плывя высоко над облаками, безмятежно озирает эти и прочие земные вещи с одинаковым спокойствием, божественная и бесстрастная. Герцог, откинувшись назад, все это время искоса наблюдал за ней из-под своих фавновых бровей, двигая рукой так, будто в ней был зажат мелок или кисть. Вот он наклонился ближе, оставив эти движения, опершись правым локтем на стол, а левую руку положив на спинку ее кресла, не прикасаясь, однако, к ней самой. Голос поющего, теперь подобный эхо отдаленной музыки, что доносилась вместе с ветром из-за холма, взвился пронзительным облигато<sup>64</sup> пылкой и страстной любви, что приглушенными раскатами грома зазвучала в голосе герцога, когда тот тихо заговорил ей на ухо:

*О первозданный лес, созданий темных полный,  
У ног седой горы, что грезит в Эмпиреях.  
О зайчик, что у стен дворца уснул, проворный,  
На острове забытом средь лугов лилейных.  
О беспощадная, невинная, святая,  
Сиянье красоты, жар потаенной страсти,  
Пристанище любви, где нега обитает —  
Все это Ты, весь этот мир — в Твоей лишь власти.*

Низкие звуки голоса герцога замерли в тишине, под колышущейся поверхностью которой трепетали под сурдину арпеджио струн тьмы. В уголках рта слушавшей его женщины ленивый и обольстительный дьяволенок, казалось, заворочался и потянулся во сне. Лессингем, хоть и не вслушивался, все слышал. Незаметно познавал он в своей собственной плоти те тайные помыслы Барганакса, то, как герцог жил жизнью этой мнимой женщины, и жизнь эта казалась ему прекраснее и слаще его собственной. Он откинулся на спинку кресла, чтобы взглянуть на нее поверх плеча герцога. Он заметил, что в волосах ее сидели светлячки. Однако когда он захотел заглянуть ей в лицо, копыя многоцветного света, подобного ореолу вокруг луны, что сродни темноте, хлынули бесконечным потоком из самого центра его поля зрения, и при взгляде на нее он теперь видел лишь это сияние, за пределами которого зияла даже не тьма, но пустота, брешь в ткани мироздания, ничто.

Словно вернувшись от грез к действительности, он обернулся к Кампаспе. Ее сладкие губы манили его; он склонился к ним. Но та, весело рассмеявшись, увернулась от него, и вот уже она изгибалась в его руках, теплая и дрожащая: мышка во всей своей красе.

64 Облигато — партия в музыкальном произведении, которая не может быть опущена и должна исполняться обязательно.

На северо-западной оконечности этого острова был сад, осененный столетними дубами, кедрами с непроницаемыми для звезд кронами и тонкоствольными пучковатыми земляничными деревьями. В темноте среди листвы соловей откликался соловью, и благоухание ночных цветов, прекрасных, будто невеста в первую брачную ночь, смешивалось с росистым дыханием ночи. До полуночи оставался лишь час. От гавани на юге донеслись протяжные сонные звуки рога, становившиеся то громче, то тише, и заполнявшие своей чарующей сладостью ночные небеса. Антея поднялась на ноги, стройная, будто луч лунного света в этих молчаливых лесах.

— Рог герцога, — произнесла она. — Пора возвращаться, если только вы не намерены заночевать на этом острове, господин Лессингем.

Лессингем встал и поцеловал ее руку. С минуту она молчливо и исподлобья смотрела на него; взгляд ее пылал ровным пламенем, рот был слегка приоткрыт: не улыбочивый, хищный взгляд. Затем, когда они двинулись обратно, она сказала, протянув ему руку:

— В глазах ваших недовольство. Вы грезите о чем-то постороннем.

— Несравненная госпожа, — ответил он, — назовите это пресыщением. Если я и не доволен, то только из-за времени, что влечет меня от этих чудесных удовольствий туда, где, словно угли в золе...

— О, хватит оправданий, — сказала она. — Мы с Кампаспой — не женщины. Воистину, лишь по Ее приказу, послушаться которого не смеем, проводим мы свое время в обществе таких как вы, господин мой.

Он шевельнул усами.

— По-вашему, это ложь? — спросила она. — О, бездонная гордыня смертных!

Лессингем промолвил:

— Воспоминания мои еще слишком ярки и свежи.

Они шли в темноте среди столпившихся вокруг кипарисов.

— И впрямь, — сказала Антея, — вы с Барганаксом не совсем того сорта, что прочие люди. Этот мир принадлежит вам, вам и ему, если бы вы только об этом знали. Но, если бы вы знали об этом, то вследствие присущей всем смертным глупости тут же отбросили бы этот мир и пожелали иного. Однако к вашей же пользе вы этого не знаете. Видите, я говорю вам, а вы не верите. И даже рассказывая я вам об этом до самого рассвета, вы бы все равно не поверили, — рассмеялась она.

— Весьма мило с вашей стороны быть со мной столь прямолинейной, — сказал Лессингем после паузы. — Вы можете быть жестоки. И я могу. Я люблю в вас эту жестокость, ваши укусы и царапанья, госпожа моя. Разрешите и мне быть прямолинейным?

Он взглянул на нее; на ее лице вровень с его плечом застыло выражение милостивого спокойствия.

— Вы, — начал он, — (и я имею в виду также и госпожу Кампаспу) позволили мне нынче ночью отведать тех удовольствий, каковых даже героям в Элизии, думаю, не доводилось испытывать. Однако мне необходимо что-то еще, но что именно, я не знаю.

Не глядя на него, она скорчила легкую гримасу:

— В высокоученых беседах с вами, господин мой, я отведала нынче ночью таких удовольствий, к которым уже попривыкла. Мне не нужно ничего больше. Я, как и всегда, удовлетворена.

— Как и всегда? — переспросил он.

— А «всегда» — капля лайма в вашем кубке, господин мой? Однако же это истинная правда. И теперь, когда мы спокойно отправимся обратно в Зайану в сопровождении ученого доктора, я не ожидаю большего блаженства, нежели... но не покажется ли вам это грубым?

Она взглянула на него, легонько сжав его руку в своей. Когда он повернулся к ней, глаза его были затуманены и не видели ее.

Тропинка вышла на открытое пространство; они пересекли невысокую грядку холмов в центре острова. Они шли, залитые лунным светом. Слева от них, в неизмеримой дали, исполинские горные цепи высились подобно духам в пропитанном лунным светом воздухе. Антея промолвила:

— Взгляните на ту гору, господин мой, что зубчатыми гребнями уходит к западу, в ширине ладони налево от сикомора. Это Рамош Аркаб, и, скажу я вам, я прожила там, меж лесом и снежными полями, десять миллионов лет.

Они спустились к гавани. Окаймленная кипарисами поляна была пуста, столы убраны, и от факелов и их пиршества не осталось и следа. Вдали над водой сверкали огоньки на гондолах, пливших домой, в Зайану. В полной тишине безлюдные лужайки холмами сбегали к озеру. Лишь одна гондола осталась на пристани. Возле нее поджидал старик. Он важным поклоном поприветствовал Лессингема, затем они, все трое, взошли на борт, отдали концы и отчалили. Гондольера не было. Доктор Вандермаст хотел взяться за весло сам, но Лессингем усадил его рядом с Антеей в почетное кресло, а сам, усевшись на палубу и упершись ногами в дно лодки, вывел ее на открытую воду кормой вперед. Они проплывали по полным утонувших звезд водам над неизмеримыми пучинами тьмы. Что-то нарушало безмятежность озера по правому борту от них; когда они приблизились, Лессингем увидел, что это была голова плившей к Амбремерину выдры. Та повернула к ним свою маленькую мордочку и зашипела. Через минуту она скрылась из виду за кормой.

— Когда-то моя борода была черна, — промолвил Вандермаст. — Черна, как и ваша, господин мой.

Лессингем взглянул в лицо старика, побелевшее от лунного света; глаза его словно спрятались в морских гротах или под темными тюремными сводами, и, просто глядя на него, нельзя было знать наверняка, действительно ли в

этой тени скрывались глаза, или лишь пустые глазницы и непроглядная тьма. Рядом с ним, томно грациозная, сидела Антея. Она опустила палец в воду, создавая приятное уху журчание. Лицо ее также было бело от луны, волосы казались зачарованным лабиринтом, где блуждали лунные лучи, а глаза — полными огня ямами.

— Дриады, — заговорил Вандермаст некоторое время спустя, — бывают двух видов, один из которых более родствен натурам, склонным к воде и влажности, а именно, наядам и nereидам; другой же вид, обитающий ближе к просторам небесным и холодным верхним границам лесов, предрасположенный к снегам и студеным горным потокам, от них наследует и некоторые свойства ореад, или горных нимф. В своей самоуспокоенности я позволил себе лелеять надежды, господин мой, что, предоставив вам для вашего развлечения по одной каждого вида, и тем самым поочередно исполнив для ваших ушей две мелодии, *andante piacevole e lussurioso*<sup>65</sup>, а затем *allegro appassionato*<sup>66</sup>, я сумел найти наилегчайший путь к удовлетворению вашей милости и извлечению максимума пользы и удовольствия из пиршества этой ночи.

Речь старика, тягучая и монотонная, удивительно сочеталась с усыпляющим спокойствием ночи, взмахами весла Лессингема и капаньем воды с его лопасти в промежутках между ними.

— Где ваша милость оставили мою маленькую мышку? — спросил старик, помолчав.

— В самом конце она превратилась в крапивника, — ответил Лессингем.

— Подобные натуры, — сказал Вандермаст, — обыкновенно находят огромное удовольствие в метаморфозах, а также в изобилии доступных им форм и сущностей. Но я не сомневаюсь, что ваша милость, с учетом ваших устоявшихся предпочтений и привычных склонностей, обнаружили ее наиболее привлекательной в форме и обличье женщины?

— Она оказала мне любезность, — ответил Лессингем, — сохраняя этот образ большую часть проведенного нами вместе времени.

Они плыли дальше в молчании. Вандермаст снова заговорил:

— Значит, вы находите удовлетворение в женщинах, господин мой?

— В их обществе, — ответил Лессингем, — я нахожу приятное разнообразие.

— Это, — произнес ученый, — полностью согласуется с выводом, к которому путем логических умозаключений я пришел, размышляя над той строфой или стихом, продекламированным вашей милостью около часа назад и вашей милостью, если не ошибаюсь, и сочиненным. Как там было?

65 *Andante piacevole e lussurioso* (ит.) — плавно, игриво и сладострастно; анданте — муз. термин, означающий «плавно, свободно».

66 *Allegro appassionato* (ит.) — оживленно и страстно; аллегро — муз. термин, означающий «быстро, оживленно».

*Антея, сердце пощади,  
Любви надежды пробуди:  
Открой сокровища груди.  
Ах, эти сочные плоды,  
Какие вырастила ты,  
Растут на яблоне мечты<sup>67</sup>.*

— К чему это? — насторожился Лессингем, и в голосе его зазвенел металл.

— Не тревожьтесь, — промолвил Вандермаст, — о том, что эта безделица, произнесенная лишь для ее ушей, да для бдительных ушей ночи, стала известна мне без подслушивания. Вы сами свидетель, что ни вы, ни она мне этого не говорили, да и я находился в полумиле от вас, так что едва ли мог что-либо слышать. Стало быть, вы способны и на любовные стихотворения. Но ведь ваша милость, полагаю, человек дела. Находите ли вы также удовлетворение в делах?

— Да, — ответил тот.

— Власть, — сказал ученый доктор, — власть вызывать изменения. Да, но размышляли ли вы о власти, которой обладает Время, молодой человек, о способности превращать черные волоски вашей бороды в поседевшие, как у меня? Или о последней метаморфозе Смерти, что одним лишь спокойным ожиданием преодолевает все и вся, уподобляя все себе самой? Осмелится ли ваша власть встретиться лицом к лицу с этой властью, и подобно жениху подойти к ложу полного уничтожения? Дайте мне взглянуть в ваши глаза.

Лессингем, чьи глаза все это время были устремлены на Вандермаста, сказал:

— Что ж, смотрите.

Лик ночи изменился. Прохладная пелена измороси застлала луну. Гондола, казалось, плыла сама по себе, отрезанная от всего мира пустынными водами. Голос Вандермаста прозвучал шелестом отдаленного ветра.

— Лишенная волос, крови, жизненных соков власть тишины, — промолвил он, — Тишины, что пожирает, стирает с лица земли и обращает всех владык и подданных, красоту и грязь, жажду и сытость, юность и старость во мрак и сонный хаос небытия.

Лессингем видел, что лицо старика стало подобно иссохшему лицу мертвеца, а глаза превратились в проемы в ужасную пустоту черепа. А эта скорчившаяся подле него горная нимфа с ее яростными рысьими глазами и в самом деле обернулась пятнистой рысью, что наострила свои увенчанные пучками шерсти уши и нервно подергивала усами, оскалив пасть. А Вандермаст хрипло воскликнул:

— Вы умрете молодым, господин Лессингем. Пройдет два года, может,

---

67 Пер. А. Вироховского.

год, и вы умрете. И что толку будет вам тогда от того, что вы благодаря своим природным дарам покоряли великих властителей земли (как сделали вы лишь сегодня в Акрозайане), и правили великим наместником Ререка, своим проклятым диким конем, покуда он не сбросил вас, и вы не сломали себе шею, и не погибли? К чему слава той лишенной слуха пыли, в которую обратятся ваши изящные уши, господин мой? Какой прок вам будет с того, что вы узнали прекрасных женщин? Что с того, что они никогда вас не удовлетворяли, ведь ничто не изменится от вашей гибели, когда останется лишь пустое брюхо тьмы, что смыкается вокруг вечности? Чем даже то видение из-за покровов реальности поможет вам (если вы вообще видели что-либо сегодня вечером, прежде чем все поднялись из-за стола), когда все это — невозможность, фикция, тщетность, а тогда станет значить и еще менее, меньше, чем ваш прах в пасти слепого червя? Ибо все проходит, все разрушается и гибнет, все бrenно и ничтожно, и, в конце концов, в абсолютное ничто и обратится.

— Я не видел ничего, — сказал Лессингем. — Кто же тогда такая леди Фьоринда?

Его голос был ровен, лишь удары его весла о воду при словах старика стали более размеренными и решительными, возможно, выдавая сдерживаемое внутреннее напряжение.

Гондола накренилась. Лессингем резко отвел глаза от старца, чтобы провести ее по внезапно разбушевавшимся волнам, что вздымались и опадали, открывая взору головокружительные пучины. В туманной мгле неясно проступали утесы, там горели огни, подобные болотным. А над утесами будто бы высились горы, по склонам которых катились пылающие потоки лавы, и вода шипела, заглушая шум волн. И еще Лессингем увидел бродившие по берегу закутанные в саваны и превосходившие ростом человека безликие фигуры, что будто бы стонали и сокрушались, простирая костлявые руки к безухим небесам. И, пока он смотрел на все это, в облаках образовался рваный просвет, сквозь который проглянула хвостатая звезда, зловеще мчавшаяся в безднах ночи. И тут загремел гром, и пустынное море ревело, обрушиваясь на мертвые берега. А потом, будто мысль переступила порог забвения, все исчезло; безоблачная летняя ночь замерла в благословенной тишине, и волны журчали во сне под прикосновением безвольно опущенного в воду пальца Антеи.

Лессингем отложил весло и схватился правой рукой за бедро, но на этот пир они отправились безоружными. Не долго думая, он легко и стремительно, почти не качнув лодку, схватил левой рукой Вандермаста за оба запястья, а правая его рука скользнула тому под длинную седую бороду и вцепилась в тощую шею доктора.

— Ах ты, шарлатан, — воскликнул он, — вздумал устроить меня своими недобрыми пророчествами, а? Похоже, тебе это удалось, но за это ты умрешь.

Стальная хватка его пальцев играючи сдавливала горло старика. Доктор Вандермаст сидел очень тихо. Он произнес:

— Все же позвольте мне сказать.

— Говори, и поскорее, — сказал Лессингем. Глаза старца смотрели в его глаза с ясностью занимающегося нового дня.

— Господин Лессингем, — промолвил он, — *per realitatem et perfectionem idem intelligo*<sup>68</sup>: по моему мнению, реальность и совершенство суть одно и то же. Следовательно, если ваша милость испытывает беспокойство, не стоит отыгрываться на мне: ваше расстройство проистекает из частичного понимания.

— Ха! Разве ты не опутал и не околдовал меня своими фантастическими образами? Разве не впрыснул свой яд? — воскликнул Лессингем. — Пойми, смерти я не боюсь. Но я ощущаю в себе нечто, что не чувствовал никогда прежде, и я не знаю, что это, если не отчаяние. Посему тебе же лучше помочь мне достичь понимания полного, причем немедленно. Или словно мерзкую муху раздавлю я тебя и отправляю в ад.

С этими словами он вдруг разжал пальцы на худом горле старика и отпустил его худые запястья.

Вандермаст произнес, будто обращаясь к самому себе:

— *Cum mens suam impotentiam imaginatur, eo ipso contristatur*<sup>69</sup>: когда душа осознает собственную беспомощность, сам этот факт повергает ее в глубокую печаль. Господин мой, — сказал он, подняв голову, чтобы взглянуть Лессингему в лицо, — я думал, вы видели. Если бы вы видели, все эти образы, что я только что явил вам, все эти предсказания распада не заставили бы ваш разум страдать столь сильно; они бы показали вам лишь копченной сардинной, острыми и жгучими приправами, что разожгли бы ваш аппетит и подготовили к той чаше, которой пьющий вечно алчет и вечно свою жажду утоляет; о да, любая иная власть помимо нее, в конце концов, разрушает и губит самое себя, а любое удовольствие становится отвратительно, будто вонь мертвечины.

— Слова, — промолвил Лессингем. — Горазд ты болтать языком. Ты — словно лампа, в которой нет огня. Говорю тебе, я ничего не видел; ничего, кроме ослепительного света и сияния. И вот, я чувствую, моя рука уже на задвижке, а ты каким-то необъяснимым для меня образом, каким-то грязным трюком удерживаешь меня. Помоги мне, как только что сказал, понять все это полностью. Если же нет, будь ты хоть дьявол, хоть полубог, хоть старый безмозглый дурень, каковым я тебя и считаю, клянусь благими Богами, я разорву тебя на куски.

Антея растянула губы в улыбке и засмеялась:

68 Б. Спиноза, «Этика», ч. II, «О природе и происхождении души», определение VI.

69 Б. Спиноза, «Этика», ч. III, «О происхождении и природе аффектов», теорема LV.

— У вас чересчур благодушное настроение, господин мой. Мне перегрызть ему горло? — из ее пасти, казалось, закапала слюна.

— Ты, рысь, поди прочь, — выдохнул Лессингем. Казалось, весь его гнев выгорел, будто сухие листья на снегу.

Пальцы на худых руках Вандермаста сплелись и расплелись на его коленях.

— Я полагал, — произнес он вслух самому себе, как бывает у стариков, — что ее милость скажет мне. О, какая непростительная глупость думать так! Безбрежное веселье моря... Изменяясь всегда... неужто я никогда не привыкну?

— Кто эта леди? — спросил Лессингем.

Вандермаст промолвил:

— Вы велели мне, господин мой, помочь вам понять полностью. Но здесь, in limine demonstrationis<sup>70</sup>, на самом пороге, возникает неразрешимая трудность, состоящая в том, что ваша милость уже вполне сведущи в вещах кажущихся и видимых, affectiones, actiones<sup>71</sup>, чувственно постижимой реальности rei politicæ et militaris<sup>72</sup>, залов для совещаний и военных лагерей, puellp-ruellæ<sup>73</sup> и всех сопутствующих вопросах. Но в том, что касается вещей материальных, вы подкованы куда хуже, и моему искусству не под силу повести вас дальше, поскольку искусство мое, как ученого доктора, заключается в размышлениях, сиречь работе рассудка, тогда как материальные вещи постигаются не рассудком, но перцепцией: perceptio per solam suam essentiam<sup>74</sup> и omnis substantia est necessario infinita<sup>75</sup>: вся материя необходимо бесконечна.

— Оставьте эти рассуждения, которые, даже если бы я хоть что-то понял, не сомневаюсь, сделали бы меня не мудрее каплуна, — прервал его Лессингем. — Ответьте мне, из какой substantia или essentia создана эта леди?

Доктор Вандермаст опустил глаза.

— Она — моя владычица, — сказал он.

— Это, сударь, пользуясь вашей тарабарщиной, per accidens<sup>76</sup>, — сказал Лессингем. — Я полагал, она владычица и возлюбленная герцога; наверно, и Дьявола тоже. Но по существу, кто она есть? Почему глаза мои ослепил свет, когда вечером я пытался взглянуть на нее, в тот лишь единственный раз? Ведь я много раз до этого с легкостью смотрел на нее. И почему это имеет какое-то значение, то, что этот свет меня ослепил? Ну же, нынче вечером мы имели дело с мнимыми женщинами, которые на самом деле оказались нимфами

70 In limine demonstrationis (лат.) — «на пороге доказательства».

71 Affectiones, actiones (лат.) — «чувства, поступки».

72 Rei politicæ et militaris (лат.) — «политические и военные дела».

73 Puella (лат., мн. ч. — puellæ) — «девочка», «девушка».

74 Perceptio per solam suam essentiam (лат.) — «перцепция через собственную сущность вещи».

75 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О божестве», теорема VIII.

76 Per accidens (лат.) — здесь, «случайно».

озер и гор, по желанию принимающими птичьими или звериные обличья. А она что такое? Она тоже одна из них? Скажите, я хочу узнать.

— Нет, — ответил Вандермаст, покачав головой, — Она не одна из них.

Лессингем увидел, как на востоке в танце летних молний небо за башнями и бастионами Зайаны словно разорвалось. В то мгновение будто отдернулась некая завеса, за которой замер над миром в ожидании сотканый из звездных лучей и неземного света дом зова сердца.

Ученый принялся копаться в складках своего кафтана и вытащил оттуда какой-то мелкий предмет, и, осторожно сжимая его в пальцах, стал рассматривать его со всех сторон в свете луны. Затем он бережно вручил его Лессингему.

— Господин мой, — промолвил он, — возьмите это и храните, словно драгоценный камень, ибо, пусть это и крохотный засохший листочек, немного найдется драгоценностей со столь чудными свойствами. Поскольку я, сам того не желая, нехорошо обошелся нынче ночью с вашей милостью, а также потому, что никакая мудрость сама по себе не способна дать вам понимание, в котором вы нуждаетесь, я готов всячески служить и помогать вам. И поскольку мне ведома (как из моих собственных суждений, так и посредством некоторых более веских свидетельств, доступных моему искусству) благородная цельность разума вашей милости, а также кое-какие свойства вашего существа, я могу без ущерба собственной преданности доверить вам это, хотя завтра вы и станете вновь нашим врагом; посему, господин Лессингем, примите с миром этот дар. Ибо имя этому листку — сферра кавалло<sup>77</sup>, и обладает он способностью отмыкать и отпирать все замки из стали и железа. Возьмите его с собой в свою постель, что приготовлена для вас в роскошных гостевых покоях в Акрозайане. И если сердце ваше будет взволновано тем, что вы увидели и не увидели этим вечером, если дремота будет стоять у вашего изголовья, взирая на вас стальным взглядом и не желая разделить с вами ваше ложе, смежив ваши веки, то, если пожелаете, господин мой, взяв этот листок, вы сможете встать и отправиться на поиски. Давая вам его, господин мой, я делаю все, что в моих силах. По крайней мере, перед вами не останется запертой ни одна дверь. Но когда ночь пройдет и наступит день, вы обязаны во что бы то ни стало (и это будет делом вашей чести) сжечь листок. Я даю его вам для вашего блага и для вашего успокоения. А не в качестве оружия против моего лорда и суверена.

Лессингем взял листок и стал внимательно рассматривать его в свете луны. Затем, сдержанно кивнув Вандермасту, он спрятал его за пазуху, словно драгоценный камень.

---

77 Sferracavallo (ит.) — подковник (*Hippocrepis comosa*).

## VIII. Сфerra Кавалло

ПОГОНЯ ЗА НОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ — ФЬОРИНДА НА КАМНЕ ГРЕЗ — ВОДОВОРОТ —  
ВЛАДЫЧИЦА ИЗ ВЛАДЫЧИЦ — «НА СЕВЕРЕ, В РИАЛМАРЕ»

**В** глухой ночной час через роговые ворота с дозволения Той, что была и пребудет, явился сон. И сон этот, пройдя безвидными путями, спустился в Мезрию, пробрался в цитадель, что высится над городом Зайана, и остановился в роскошных гостевых покоях у изножья золотого ложа, столбы которого были выполнены в виде золотых гиппогрифов с сапфировыми глазами. И на ложе этом лорд Лессингем лишь только что погрузился в смутную дрему. И сон принял образ красавицы, которая, дабы умерить свою красоту, словно в платье облеклась в лунный свет. Пояс этой красавицы сверкал, будто луна на снежных склонах гор, а лиф был словно сплетен из сияния звезд, что люди называют Волосами Вероники: звезд, мерцающих столь нежным блеском, что прямому взгляду не дано различить его, но лучше смотреть на них искоса или краем глаза. Но по воле Богов голову и лицо этой девы-сна скрывала вуаль из света, столь же непроницаемая, как и сама тьма, или как сонм чудес, перемешавшихся настолько, что невозможно отличить одно от другого. И дева заговорила голосом, который может услышать лишь спящий, голосом, что недоступен ушам бодрствующего (если только тот в какой-то миг не бодрствует и спит одновременно): *«Я дала обещание, и я его исполню»*.

Лессингем, услышав эти слова и узнав этот голос, зашевелился, открыл глаза и проснулся в темных и пустых покоях.

Не то чтобы сновидение ушло; скорее, исчезла явь, что лишь мгновение назад стояла, готовая сбросить свои одеяния. Будто человек, застигнутый врасплох ночью на болоте, через которое ведет тропка, едва видимая даже при свете дня, а теперь и подавно пропавшая из виду, хотя он лишь только что по ней ступал, он покачивался и шатался, словно ничего не видя. На полпути между сном и явью он оделся, подпоясался мечом, достал из-под подушки волшебный листочек и, очарованный своим видением, наощупь двинулся к двери. Массивный железный ключ торчал в замке, где он его оставил, отправляясь спать. От прикосновения этого листка запертая дверь распахнулась перед ним, как это случается во сне. И, будто во сне, торопливо и бесшумно направляясь на поиски неизвестной цели, Лессингем, не зная, спит он или нет, подчинился неведомому зову, зная лишь, что, возможно, нет более ничего на земле или на небесах, за чем еще стоило бы следовать. Он шагал, спотыкаясь, по темным коридорам, взбирался по винтовым лестницам, пересекал освещенные луной дворики, и все засовы и замки отпирались перед ним внезапно и бесшумно, как во сне. И, отворяясь, каждая из дверей отворялась в пустоту: тихие пустые комнаты, полные темноты и молчаливого лунного света.



Между тем не один только Лессингем бодрствовал в Акрозайане. В просторном тронном зале крылья, вздымавшиеся, сверкая, над камнем грез, словно подрагивали. Чернота огромных витых колонн, украшенный маками фриз, стены, даже мраморный пол — все колыхалось, будто во сне. Казалось, в этот полночный час, когда садится луна, глубокая дремота затаила дыхание, прислушиваясь к собственному молчанию, зависнув в благоуханном воздухе и медленно кружась вокруг единого центра. А там, воплощением великолепия, королевой всех ароматов, мягких крыльев, росы и тишины, и усыпанных звездами бездн, и томления сердец, что взывают к средоточию летней ночи, восседала на троне из камня грез Фьоринда.

Она сбросила свою мантию, что волнами зеленовато-голубого бархата и серебра упала к ее ногам и на подушки, где она сидела. Ее обнаженные до плеч руки были бледны и гладки, как слоновая кость: колонны у входа в храм. Ногти ее были словно раковины из какого-то зачарованного моря, а пальцы уподобились веточкам белого коралла из драгоценных рощ этого моря, чудесным образом превратившиеся из привычной неодушевленной материи в живое украшение, став частью жизни и сокровенных мыслей этой леди в ее уборе из собственной пронзительной красоты. Платье ее было из прозрачного шелка, цветом подобного лунному свету, с сотней складок, сверкавших серебристыми блестками, и лабиринтом спиральных завитков из крошечных гагатовых бусин. Пояс из серебряной тесьмы охватывал ее бедра. Ее лиф из той же материи, только украшенный вместо блесток и спиралей бриллиантами, словно чаша, едва вмещал свои теплые и дышащие жизнью сокровища. В сладостном промежутке между лифом и поясом виднелась обнаженная кожа, перед неземной лилейной чистотой которой меркли все бриллианты, только что выпавший снег казался грязным, а лепестки магнолии — грубыми и жалкими.

Слева от нее, на расстоянии около шага, на ступеньках возле трона сидел боком Барганакс. Оттуда он мог созерцать ее красоту: странную, таинственную, противоречивую в отдельных элементах, но во всей целостности абсолютную и совершенную.

— Ну же, — произнес он.

— Я устала говорить, — ответила она.

— Тогда посмотрите на меня, — попросил герцог.

Она так и сделала, жеманно склонив голову, как могла бы взглянуть на бабочку роза, а затем снова отвернулась.

— Подозреваю, это был один из ваших дьявольских замыслов, имевших целью устроить мне ловушку, дабы еще раз продемонстрировать вашу власть надо мной; если же это не так, то мне бы следовало раскаться, — сказал герцог после минутной паузы.

— Раскаяние, — промолвила Фьоринда, — не так-то легко простить, особенно великому человеку.

— А поступок-то вы простите? — спросил он. — Ибо прощение ваше, быть может, и станет тем солнечным светом, что изгонит прочь эти туманы.

— Сначала дайте ему имя, — сказала она.

— Не стану я этого делать, — ответил герцог. — Это была мерзость, ошибка, заблуждение.

— Безымянная мерзость! Это стоит рассмотреть поподробнее, — в голове ее сквозила томная и ленивая расслабленность. — А случилось это... когда?

— В пятницу на прошлой неделе.

— А сейчас понедельник! — заметила она. Целый рой оводов неуволимо веселья заплясал в ее глазах и тут же исчез. — Однако, — произнесла она, — Антея, одно из моих наиболее удачных изобретений. Однако... но разве стоило кормить сокола соломой?

Барганакс посмотрел на нее, и лицо его прояснилось, а глаза потемнели.

— О, у меня просто нет слов, — воскликнул он. — Вы, что, смеетесь? Да вы же специально все подстроили! Так вот, клянусь вам, не было ни мгновения, чтобы мысли мои и чувства не были прикованы к вам; это лишь в тысячный раз доказало вашу власть, что превосходит все.

— Да что там, — заговорил он снова, — вам ведь все это и так известно?

Ее брови, словно распростертые крылья некой диковинной птицы, необычайно длинные и тонкие, придавали ее безмятежному челу постоянный оттенок легкого удивления, иногда тронутого размышлениями или, как сейчас, мягкой насмешки.

— Да, — промолвила она.

— Вы простите меня?

— Да, — повторила она.

— Многое бы я отдал, — сказал Барганакс, — чтобы только увидеть, что у вас на уме. Вы же понимаете, каждый путь, по которому я иду, ведет к вам?

— Я слышала, вы такое говорили, — согласилась она. — Ваша светлость, несомненно, ожидает взаимных уверений и от меня.

— Я и в самом деле человек гордый, — ответил Барганакс, — и все же, этого я едва ли достоин. Для этого мне нужно познать совершенство в себе самом.

Фьоринда улыбнулась. Казалось, какое-то вечное божество, свободное, спокойное, безжалостное, беспечно предающееся созерцанию самого себя, скрывалось за этой слабой снисходительной улыбкой.

— Но с вами все иначе, — продолжал герцог. — Вы совершенны. Вы знаете это. Вы чертовски хорошо знаете это.

Он поднялся и принялся рассказывать взад-вперед по ковру, а затем остановился перед ней.

— Но нет. Ревность — удел мелких людишек, — сказал он. — Дунь, и она пропадет. Я играю честно, мадонна. И... что мое, то мое.

После паузы она медленно повернула голову, обратив на него свои зеленые глаза. Она смотрела на него, и они расширялись, и словно огонь взметнулся из их глубин, тут же рассыпавшись тлеющими углями. Она отвернулась, открыв теперь его взору девственно прекрасную линию своей шеи, от черных волос до серебристого плеча, профиль своего решительного и горделивого подбородка и уст, где мысль почивала подобно лилии в тихой воде.

Поставив ногу на ведшую к трону верхнюю ступеньку, он стоял, глядя на нее сверху вниз.

— У меня, — промолвил он, — есть желание стать скульптором. Работать с золотом и слоновой костью... нет, с гагатом и слоновой костью... даже скорее со слоновой костью и черными алмазами; или пускай старик наколдует из сокровищниц Тартара что-нибудь новенькое, ибо на земле нет ничего достаточно драгоценного. И я воссоздам из них подобие каждого отдельного волоска. Слушайте, — продолжал он, склонившись немного ближе, — это я сочинил для вас на прошлой неделе.

И он начал декламировать, и при звуках его голоса ее темная и тревожная красота будто обернулась музыкой. В скрытом контрасте с этой музыкой ее грудь поднималась и опускалась в учащенном дыхании.

*Тот любит лилии, тот розы,  
Цветущие в саду мимозы.  
Фиалки, ландыш, резеду,  
И полевою лебеду.  
А мой цветок, что всех прелестней,  
Взрастает на земле небесной.  
О Лилия, ты Сфинкса тайна,  
Прекрасна ты необычайно!  
По черным локонам твоим,  
Где нити с блеском золотым,  
Бежит заколок легких дым.  
О холм любви! Красив, далек,  
Растет там варварский цветок.  
Витые лепестки, дразня,  
Забрали душу у меня.  
А запах, терпкий, как вино,  
Зажег огнем меня давно.  
Судьба, я все отдать готов,  
Оставь мне лишь Цветок Цветков<sup>78</sup>.*

Она не шелохнулась, и продолжала сидеть, глядя перед собой, будто прислушиваясь.

— Интересно, — сказал Барганакс, — если бы я попросил у вас что-то, все равно что, вы бы мне это дали? Если бы я приказал вам, неважно что, вы полнили бы вы это?

Она кивнула два или три раза, не поворачивая головы.

— Я вся ваша, — тихо ответила она. — Чего бы вы ни пожелали.

— Ах, тогда поклянитесь мне в этом. Ибо существует любезность, в которой вы мне до сих пор отказывали.

— О, — воскликнула она, и то, что жило в уголках ее рта, пробудилось ото сна, — если вы намерены выторговывать из меня клятвы и слепые обещания, то я беру свои слова назад. Начнем сначала.

— Нет же, нет, — спохватился герцог. — Тогда никаких клятв. Не хочу обесценить сладостную щедрость уже данного вами слова.

— Но я забрала его назад, — возразила она.

— В таком случае, — сказал он, — начнем сначала. Во-первых, не благодарите ли меня хотя бы улыбкой за сегодняшнее пиршество?

— Я подумаю над этим, — ответила она. — Возможно, я так и сделаю. Но для этого вам придется упрашивать меня куда более изысканно.

— Все это было исключительно ради вашего развлечения, так что я хотел бы хотя бы услышать благодарность, — произнес герцог. — Что касается меня, то скорее адмирал вместе с моей глуповатой сестрицей и всей их шайкой утонут в Стиксе<sup>79</sup>, прежде чем я шевельну хотя бы пальцем. Итак, платой мне...

— Такими речами вы лишите себя права на благодарность, — заметила она. — К тому же, все это ложь.

Барганакс расхохотался. Затем он посмотрел на нее, и взгляд его стал мрачным и грозным.

— Да, ложь, — признал он. — Но только потому, что без вас я не могу. Так вы забрали его назад? — он вдруг припал к ее ногам, сковав ее лодыжки руками, словно кандалами. — Я никогда не преклонял колен ни перед мужчиной, ни перед женщиной, — сказал он, — и теперь все будет по-моему. В сохтый раз спрашиваю, вы станете моей герцогиней Зайанской?

Она попыталась встать, но он усилил хватку и произнес тихим и яростным голосом:

— Отвечайте.

Ответ он ощутил в своих руках прежде, чем она заговорила:

— Никогда.

— Старый и избитый ответ, — сказал он. — Попробуйте еще раз.

Фьоринда откинула голову в беззвучном смехе.

79 Стикс — в др. греч. мифологии река в подземном царстве мертвых (Аиде).

— Если у вас есть право требовать и отказывать, — промолвила она, — то и у меня тоже.

— Но почему? — страстно воскликнул герцог. Она неподвижно взирала на него сверху вниз. — Почему? — повторил он.

— Потому что мне больше по душе быть хозяйкой самой себе, — ответила она. — А также и вам.

— Ха! Так мне теперь изнывать от голода до следующего новолуния? Да и потом жить одними предположениями, и каждый миг ожидать, что вы можете меня бросить? Клянусь небесами, мне нужно от вас больше, госпожа моя.

Она покачала головой. Герцог, отпустив ее ноги, обхватил руками ее колени:

— Я знаю, вы ни в грош не ставите герцогскую корону. Вы не привязаны к местам, не изменяетесь со временем, и не подвержены мирской суете. Сделайте же это ради меня. Ибо я одурманен любовью к вам, — он уткнулся лбом в ее колени, — и если мне предстоит утратить вас, лучше вырвите мое сердце.

Она сидела очень тихо. Затем ее пальцы нежно вздохматили густые, коротко остриженные, медные завитки волос на его затылке.

— О, мужское безрассудство! — прошептала она. — Сколь часто, господин мой, бунтовали вы против постоянства и неизменности? И теперь неужто будете, словно капризная мальчишка, заставлять меня стать вашей герцогиней, отравив все наше блаженство? Я скорее буду сидеть в сарае с амбарными совами и ловить мышей.

Он будто и не слышал ее, все сильнее сжимая руки на ее коленях. Когда он посмотрел на нее, на лице его было выражение, какое бывает у резко разбуженного человека. Он выдавил:

— Я болен любовью к вам.

Минуту Фьоринда молча смотрела ему в глаза. Затем она вздрогнула, ее прекрасные смешливые уста приоткрылись, длинные черные ресницы опустились, веки затрепетали. Порывисто выдохнув, она наклонилась, чуть приподняв подбородок, и ее горло и грудь в этот миг обернулись подлинным олицетворением красоты, вратами к небесному блаженству.

— Так любите меня, — ответила она. — Я здесь для того, чтобы быть любимой.

Герцог, оказавшись на троне подле нее, заключил ее в свои объятия. Словно сладость в кубке, словно жемчужные бусины на разорвавшейся шелковой нити, рассыпались и растворились вся ее жестокость, гордость, властность. Он целовал ее шею и затылок, где волосы были собраны в гладкий черный узел, свернувшийся подобно спящему леопарду, он целовал последние крохотные, тоньше паутинки, волоски, слишком маленькие, чтобы ложиться в прическу, оттенявшие белую кожу своим тончайшим пухом, эти предвестники совершенства. И вот, его поцелуи подобно пчелам скользнули возле ее уха,

мимо плававшей гранатом серьги, добрались до места, где шея переходит в плечо, оттуда перешли к горлу, по подбородку, к той обители сонного и смешливого беса, и, наконец, как пчела погружается в медвяное забвение алого цветка, достигли всепоглощающего блаженства на устах этой женщины.



Тут отворилась перед волшебным листком последняя из дверей: высокая двойная дверь, что вела с главной лестницы в тронный зал; и Лессингем, шагнув из тьмы на свет, замер на пороге. С первого беглого взгляда увидел он леди Фьоринду в объятиях герцога Барганакса, но, прежде чем ноги или руки успели повиноваться ему, прежде чем он смог закрыть дверь и удалиться, она поднялась на ноги и обратила на него свой взор, и это словно околдовало его.

Ибо в той, что взирала на него с камня грез, видел он сейчас не эту женщину, но другую. В ее украшенных нитями жемчужин волосах, слишком бледных для золота, слишком золотистых для серебра, казалось, дремлет сам свет, пойманный и усыпленный в тысяче крохотных завитков, что покачивались, колыхались, пропадали и вновь вспыхивали при каждом движении безмолвного воздуха. Точь-в-точь таким мог бы выглядеть Барганакс, если бы родился женщиной: золотистая дева в сладостную весну своей распускающейся красоты. Ее серые глаза звали в дальние края, будто море. На ее прохладных устах — полных, четко очерченных, изящных — словно спало все то желанное, что есть на земле и на небесах. Как человек приходит в себя после глубокого навевянного сновидением сна со спутанным восприятием, когда знакомые вещи кажутся внове, и нет ни запаха, ни обещания, ни эхо, ни воспоминания, за которое можно было бы зацепиться, так и Лессингем взирал на нее, словно на видение, явившееся из фантазмагории сна, нечто, чье существование и принадлежность этому миру за пределами зачарованной действительности еще не ставится пробуждающимся разумом под вопрос, но принимается без удивления. Вдруг он обратил внимание на ее одеяния, предназначенные скорее для взгляда любовника, нежели придворного, и узнал в них то самое платье, тот самый наряд, в котором лишь полчаса назад стояло у изножья его постели сновидение, и от знания этого словно чьи-то пальцы сдавили его обнаженную душу.

Он медленно двинулся к ней через пустой зал, решительно, но стараясь не спугнуть это чудо. Герцог вскочил на ноги, его глаза сверкали, словно у потревоженного льва. Но Лессингем, будто не замечая его, все той же твердой и бесшумной походкой уже приблизился к ним на расстояние десяти шагов, и вот его нога ступила на ковер. Он остановился, ощутив укол меча Барганакса на своей груди. Он отступил на шаг и вытащил свой меч. Во второй раз за эти день и ночь стояли они друг против друга; и на этот раз все происходило в какой-то зачарованной тишине, и каждый был напряжен, готовый в следующее мгновение сойтись в громе схватки, скрестив две молнии мечей. И во второй раз, и это было еще более удивительно, ибо теперь было куда больше основа-

ний для кровожадного гнева, нежели в покоех для совещаний, сей миг миновал.

Лессингем опустил меч.

— Кто вы, мне неведомо, — сказал он. — Но биться с вами я не стану.

— И я с вами, — ответил герцог, но лицо его по-прежнему было омрачено. — И я с вами.

С тем выражением лиц, какое бывает у человека, когда он пытается вспомнить некую позабытую мелодию, они отступили еще на шаг или два друг от друга, продолжая смотреть друг другу в глаза. И, не отводя глаз, оба медленно подняли свои мечи и, одновременно со щелчком вогнав их в ножны, во внезапном порыве повернулись к Фьоринде.

Барганакс словно вне себя переводил глаза с нее на Лессингема, с него на Фьоринду, и его меч вновь наполовину выскользнул из ножен.

— Что это за спектакль? — воскликнул он. — Где моя леди? О, Боги! Говорите же, ты, и ты, женщина, кто бы вы ни были.

Но Лессингем, также глядя на эту леди и пошатываясь, будто пьяный, бесцветным голосом, нисколько не похожим на собственный, произнес:

— Верните мне ее, — а затем прикусил язык и сжал зубы.

Барганакс ошеломленно провел рукой перед глазами.

— Мою мантию, господин мой, — промолвила она, поворачиваясь к герцогу, накинувшему ее ей на плечи. Тот замер на мгновение. Присутствие ее, столь удивительным образом исчезнувшей и возвратившейся обратно, столь безмятежной и отстраненной, изгиб ее шеи и волос, ее кожа, ее сладкий аромат — все это настолько потрясло его, что он не решался прикоснуться к ней, даже сквозь мантию. Но и Лессингем подле нее, к тому же стоявший лицом к лицу с ее темной и притягательной красотой, также держался с холодной учтивостью.

Она поблагодарила герцога глазами: тем же ленивым, немигающим, неулыбчивым, внезапным взглядом, с каким в его день рождения она обещала ему в саду свое общество. Этот взгляд подчинил и успокоил его чувства подобно вину. В тот миг, в тот критический момент, его глаза поверх ее плеча встретились с глазами Лессингема в полном узнавании. На лице Лессингема, мужском воплощении ее лица, он прочел обещание; не всепокоряющий гимн единения чувств и духа, как в ее лице, но обещание чего-то не менее глубинного, хотя и лишено того огня: обещание кровного братства за пределами времени и обстоятельств, неразрывного, скованного воедино узами обоюдного соперничества и благородного состязания на великой сцене мира.

— Госпожа Фьоринда, — промолвил Лессингем, — и вы, господин герцог. Поспешные извинения ничем не лучше обвинений. Я не мог уснуть. Больше мне нечего сказать.

— В сей нескончаемый час, — откликнулся герцог, — пожелаем друг другу спокойной ночи.

Фьоринда заговорила:

— Вы отправляетесь на север, господин Лессингем?

— Завтра, госпожа моя.

— Скорее сегодня: полночь уже миновала. Прежде, чем вы уедете, я бы хотела узнать кое-что. Вы когда-нибудь писали картины?

— Нет. Я совершал поступки.

— Господин герцог превосходно рисует. Он написал сорок моих портретов, но ни один из них не пришелся ему по нраву, и он все их сжег.

— Я знал человека, который поступил так же, — проговорил Лессингем. — Сжег все, кроме одного. Но нет, — оборвал он себя, взглянув на нее странным взглядом, будто наполовину пробудившись ото сна, — О чем я говорил?

— Полагаю, это нелегко, — произнесла женщина, словно забавляясь полетом своих мыслей и не замечая омраченного взгляда, которым он будто всматривался вглубь себя. — Полагаю, это нелегко — влюбленному рисовать свою возлюбленную, если он и в самом деле любит. Ибо то, что он хочет нарисовать, если он и в самом деле любит, — не видимость, но истинная сущность. Как же он может нарисовать ее, если картина, однажды написанная, более не изменяется? Ведь истинная сущность изменяется беспрестанно, и вместе с тем остается собой.

— Она остается собой, — повторил Лессингем.

— Взять мое кольцо, — сказала она. — Смотрите, ночью оно вишневое, но днем — сонно-зеленое. Такова, как утверждает доктор Вандермаст, и красота: изменяющаяся всегда, но всегда остающаяся собой. Хотя, по правде говоря, он всего лишь болтливый старик, и, думаю, едва ли сам понимает, о чем болтает.

— Изменяющаяся всегда, всегда остающаяся собой, — проговорил Лессингем, будто нащупывая дорогу во тьме. Его взгляд снова встретился с взглядом герцога.

Ее чуть раскосые зеленые змеиные глаза, прикрытые шелковистой пеленой ресниц, обратились к Барганаксу, а затем вновь к Лессингему.

После непродолжительной паузы Лессингем сказал:

— Спокойной ночи.

— И все же, — промолвила она, когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее руку, и все в этой женщине — малейшее движение пальца, малейший звук ее голоса — было подобно туману, готовому рассеяться и явить чудо, — что за загадку вы загадали мне только что, господин мой? Вы говорили о сущности самого мужчины? Или о его Любви?

Лессингем, не загадывавший никаких загадок, ничего не ответил.

— Думаю, и то и другое, — произнесла Фьоринда, внимательно глядя на него.

В этот миг он осознал в ее лице спокойную властность алмаза, что древнее и тверже предвечной земной коры, старше звезд: властность, что сильнее всего проступала в ее устах и в ее глазах; в устах, что будто скрывали старинные тайны, воспоминания плоти и духа, слившихся и преобразившихся в танце дочерей рассвета; и в глазах, еще затуманенных от лицезрения чертогов красоты и наслаждений, недоступных разуму человека. Эти глаза и уста были знакомы Лессингему, как ребенку знакомы черты его матери, или закату — море. В сумятице «да» и «нет» он осознал в ней ту самую силу, что лишь недавно повлекла его через зал на острие меча Барганакса. Однако та, что обладала этой силой, каким-то странным образом была не этой женщиной, но иной. Он подумал об ужине в лунном свете, и о ее *allegretto scherzando*, что так его очаровало. Уже звучало *adagio molto maestoso ed appassionato*<sup>80</sup>, но очарование не проходило, как если бы эта леди была владычицей всего, в которой, будто в его родной сестре, проявилась женская сторона его сущности. Это сходство было удивительно и приятно, сродни дружбе, но не любви, ибо никто не способен любить и боготворить самого себя.

Она заговорила вновь:

— Спокойной ночи. А вам и впрямь надлежит отправляться на север, господин Лессингем, ибо, полагаю, там вы найдете то, что ищете: на севере, в Риалмаре.

В замешательстве Лессингем покинул зал.

А Барганакс и Фьоринда, стоя в тени тех прекрасных крыл, с минуту взирали друг на друга в молчании. Герцогу также были знакомы эти уста. Знаком ему был и этот разрез глаз, что манил своей неопикуемой сладостью. Знакома ему была и эта прямая линия веж, олицетворявшая собой всю необъятность прекрасного; там таилось успокоение, утешение и обещание, на которых, словно на спящих ветрах над спящим океаном, покоятся все несбывшиеся желания. И вот, в уголках смотревших на него глаз что-то шевельнулось, нарушив эту безупречную линию, как солнечный лимб нарушает линию морского горизонта поутру.

— Да, — промолвила она, — вы можете возобновить нашу беседу с того места, где она была прервана, друг мой. Однако этот тронный зал, пожалуй, не самое удобное место для нас, учитывая поздний час, а также предмет беседы, что, как мне помнится, будучи единожды затронут, ни разу не исчерпывал себя до наступления утра.

---

80 *Adagio molto maestoso ed appassionato* (ит.) — медленно, весьма торжественно и страстно; *адажо* — муз. термин, означающий «медленно, спокойно».

## IX. Луга Лоркана

*РУЙАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ — АУДАЛ И УЗКИЙ ПУТЬ —*

*НАМЕСТНИК ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ; ТЕМ ЖЕ ЗАНЯТ И ГЕРЦОГ —*

*ЛЕССИНГЕМ ВТОРГАЕТСЯ В МЕЗРИЮ — СОЖЖЕНИЕ ЛИМИСБЫ — РОДЕР ДЕЙСТВУЕТ —*

*БИТВА НА ЛОРКАНСКОМ ПОЛЕ — БЕРОАЛЬД С ИЕРОНИМИЕМ В САЛИМАТЕ*

**В** тот же час, не отступившись от своего слова, Лессингем сжег листок. Наутро он выехал на север по дороге к озеру Рейсма и Мемизону, сопровождаемый, как и по пути на юг три недели назад, лишь двадцатью спутниками, но ехал столь быстро, что оказался сам себе гонцом. Благодаря распоряжениям герцога ему повсюду оказывали радушный прием и не чинили препятствий в пути, но с отставанием всего в день вслед за ним была отправлена стрела войны, и слухами о войне наполнилась вся округа. Стремительно двигаясь на север, уже к исходу третьего дня пути он поднялся теснинами Руйара на продуваемые ветрами каменистые плоскогорья, что тянутся на северо-запад меж утесами горной цепи Гурон в шапках ледников по правую руку и Шермой по левую, а затем двинулся туда, где в Руйарском ущелье, ведущем через водораздельный хребет во Внешнюю Мезрию и северные края, высится громада Румалы, мимо которой может пробраться разве что горный козел.

— Здесь вышла бы неплохая ловушка, — промолвил Амори, когда они остановились в холодной тени скал, — если бы ему хватило рассудительности, скажем, в прошлый понедельник, как только вы с ним разругались, пока вы там бездельничали, тем самым давая ему на это время, отправить посыльного, велел своему румальскому сенешалю захлопнуть за нами дверцу и держать нас взаперти до получения дальнейших распоряжений. Вы об этом думали?

— Я думал об этом, — ответил Лессингем, — когда принимал его предложение.

— Я тоже думал, — сказал Амори, проверяя, как меч ходит в ножнах. — И сейчас вот думаю.

— И все же, я его предложение принял, — произнес Лессингем. — И на то были основания. Ты благоразумен, Амори, и я бы хотел, чтобы ты таким и оставался. Если бы оснований у меня не было, поступок мой мог бы показать тебе опрометчивым. Да и впрямь, соображения мои хороши для летней поры, и никуда не годились бы зимой.

В Румале их приняли хорошо и разместили на ночлег. Встали они рано. Как только они окончили завтракать, сенешаль, сухопарый мужчина с желтыми усами и бледно-голубыми глазами, проводил их через северные ворота к небольшой пологой седловине, откуда дорога спускается дальше на север, в Рубалнардал.

— Да хранят Боги вашу милость. Направляйтесь в Ререк?

— Да, в Лаймак, — ответил Лессингем.  
— Из Зайаны проще было добираться через Салимат.  
— Той дорогой я ехал на юг, — отвечал тот, — а теперь вот мне вздумалось взглянуть на Румалу. Все так, как мне и рассказывали, и этой дорогой я больше не поеду.

Амори незаметно ухмыльнулся.

— Так вы едете на Кутармиш? — спросил сенешаль.

— Да.

— У меня есть пара депеш тамошнему управляющему. Не окажет ли ваша милость мне честь и не отвезет ли их?

— Охотно, — сказал Лессингем. — Однако же, если они не слишком срочные, я бы посоветовал вам подождать с ними до завтра. К тому времени до вас могут дойти известия, которые сделают ваши депеши излишними.

Сенешаль подозрительно посмотрел на него.

— А что это могут быть за известия? — поинтересовался он.

— Откуда мне знать? — отозвался Лессингем.

— Вы говорите так, будто что-то знаете.

— Будущее всегда было исполнено мрака. Сегодняшний день ясен и чист — так наслаждайтесь им, сенешаль. Отдайте ваши письма Амори, я позабочусь о том, чтобы они были доставлены в Кутармиш.

Они подъехали к краю утеса, по склонам которого дорога петляет взад и вперед, спускаясь на две тысячи футов или даже более, в Рубалнардал. Обрыв был настолько отвесный, что в раскинувшуюся перед ними сразу за его кромкой долину можно было плюнуть.

— Вам придется спуститься по Завеси пешком и вести своих коней под уздцы, господин мой.

— А проехать верхом здесь нельзя?

— Никто не пробовал, да и не станет.

Лессингем посмотрел через край обрыва и заявил:

— Мадалена провезла меня, да притом хорошей резвой иноходью, через Висячие Коридоры в Зеленогорье, что в нижней Аккаме, там было почти то же самое, — с этими словами он вдел ногу в стремя. — Нет, не трогайте ее: чужого она может укусить или лягнуть.

Криво улыбаясь, сенешаль отступил, а Лессингем уселся верхом на свою беспокойно выкатившую глаза гнедую кобылу. Едва он уселся в седло, она сделала каприоль на самом краю пропасти, встряхнула гривой, грациозно обернувшись, легонько кинула левую ногу своего хозяина, а затем вновь застыла в ожидании его команд.

— Слышал я, — промолвил сенешаль, когда кобыла, ступавшая изящно, как антилопа, скрылась из виду вместе со своим хозяином, — будто этот ваш господин — лихой рубака, но подобного ему видеть мне не доводилось.

Нет уж, — продолжил он, когда Амори и его спутники вскочили в седла, — отдайте-ка мне мои письма обратно. Я, пожалуй, отправлю их попозже вместе с отрядом, что будет искать ваши трупы.

— Сейчас мы вам покажем, на что способны; спустимся, как мухи по стенке, — сказал Амори.

Лессингем прокричал из-за поворота за краем утеса:

— Дорога на север через Румалу неплоха, не то, что на юг.

Амори, улыбнувшись, направил коня вниз по тропе, остальные гуськом последовали за ним. Сенешаль еще постоял немного, глядя вниз с обрыва, когда они уже скрылись. Видно их не было, лишь иногда до его ушей доносилось звяканье удил да становившийся все тише и тише нестройный перестук копыт среди скал. Далеко внизу у этой отвесной каменной стены парил орел, легко распростерший неподвижные крылья, казавшиеся бронзовыми в солнечных лучах.



Стушались сумерки, скрадывая расстояния, сглаживая тени, смазывая своими сонными пальцами все, что при свете дня было ясным и четким: кусты черники, ежевики и боярышника, кротовины и камни у обочины, голые скалы и травянистые пригорки, заросли папоротника и полевицы, ивы, дубы, буки и серебристые березы, — обращая все это в бесцветное и бесплотное ничто. Лессингем и Амори неспешно пересекли поросшую редкими деревцами вересковую пустошь, что тянется на север от Ристбю, и свернули на северо-восточную дорогу к Аулдалу. Справа вздымались отвесные скалы западного отрога Форна, а за ним, на севере и на западе, сливались в сумеречном свете в одну синюю, напоминавшую руины древних зубчатых башен, стену пики Армарика, и взгорья Андерсайда и Латтердала мирно дремали в воздушных потоках. Над холмами лил дождь и грохотал гром. Исполинский Армарик, возвышавшийся над всеми окрестными пиками, укрылся за пеленой неподвижных синевато-серых туч.

Они намного обогнали своих спутников. Конь Амори был изможден. Даже Мадалена умерила шаг и теперь понуро брела, помышляя лишь о пище и уютном ночлеге. Лессингем восседал в седле боком, лениво сжимая отпущенные поводья в левой руке, а правой опираясь на круп лошади. Обернувшись, он поймал взгляд наблюдавшего за ним сквозь сумрак Амори. Что-то в этом взгляде заставило его улыбнуться.

— Что, Амори, — спросил он, — опять одолевают дурные предчувствия?

— Не в этом дело, — ответил Амори, — По-моему, все эти пять дней, с тех пор, как мы выехали из Зайаны на север, вы вели себя как полный безумец. Мне вас не понять.

Лицо Лессингема приняло привычное мечтательно-задумчивое выра-

жение, а губы сложились в улыбку, что когда-то привлекла внимание Барганакса своим зеркальным подобием улыбке Фьоринды.

— Никогда в жизни не мыслил более трезво, — промолвил он, поглаживая спину Маддалены. В голосе его звучала таинственная музыка, как в голосе герцога, когда на Амбремерине, после появления фавна, тот шептал на ухо своей возлюбленной строки того стихотворения.

Следующую лигу они проехали молча, поднимаясь по глубокому ущелью Скандергилла, за которым расстилается обширная долина, а дорога сворачивает на север, в дубравы, что своей сенью обращают пасмурную майскую ночь в чернильную тьму. Моросил дождь, когда они выехали из леса и двинулись левым берегом реки Аул до моста у Сторбю, где подобно вратам в северных холмах открывается Стордал, а Стордальский Ручей обрушивается в Аул чередой пенистых водопадов. Охранник в сторожке у моста, когда они назвали ему пароль, вышел, чтобы предложить Лессингему свои услуги, отправив сову с вестью об их приближении к наместнику в Лаймак, а другую, из-за сгустившейся темноты, — в Ангуринг, чтобы там зажгли освещавшие Узкий Путь огни. В двух часах пути от Сторбю они остановились, дожидаясь своих спутников, которые отстали от них во время бешеной скачки от Ристбю. Взбиравшаяся зигзагами по скалам от подошвы Малого Армарика тропа становилась все уже и круче, пока не превратилась в обрывавшийся в ущелье четырехфутовый уступ, над которым нависала скала, где и произошел Ангурингский Поджог. На дне этого ущелья, в двух сотнях футов ниже тропы, река Аул ярилась и пенилась среди руин старого Ангурингского замка, которые лорд Горий Парри двадцать лет назад сбросил со скалы, после долгой осады путем военной хитрости захватив его и сжегши до основания вместе со своим братом, его женой, их сыновьями и дочерьми и всеми их людьми, довольный тем, что, наконец, выкорчевал дерево, заслонявшее ему солнце и препятствовавшее росту его могущества в Лаймаке. Впоследствии он приказал выстроить на противоположном, левом, краю ущелья, на уходившем ввысь гребне, новую крепость Ангуринг, что господствовала и над дорогой к старому замку, и над Узким Путем. Маддалена уже осторожно ступала по этому Узкому Пути, не обращая внимания на шквалы ветра, рев невидимого потока и озаренную факелами темноту, успокаиваемая хозяином, что управлял ею, сжимая колени и слегка натягивая поводья. Ущелье здесь было едва ли больше двадцати шагов в ширину, и огромная плита, упавшая в древние времена с горного склона, застряла в нем, словно блюдо, которое держат за края. Один конец этой плиты доходил до того места, где оканчивалась дорога на старый Ангуринг, а другой примыкал к кромке ущелья, над которым подобно хищной птице громоздился новый замок, образовывая изогнутый дугой каменный мостик, слишком узкий, чтобы на нем могли разехаться две лошади: неприступные врата, ведущие из южных краев в верхний Аулдал и на лаймакские пастбища. Лессингем ехал с равно-

душным видом, позволяя Мадалене самой не спеша выбирать дорогу в коптящем сиянии дюжины факелов, что вынесли на край ущелья из Ангуринга. Амори и прочие были вынуждены спешиться и вести своих коней в поводу.

Незадолго до полуночи Лессингем протрубил в рог перед Лаймаком.



Наместник встретил Лессингема при свете факелов у сторожки возле главных ворот. Он сделал три шага к Лессингему, обнял и расцеловал того в обе щеки. Лессингем промолвил:

— Вашему высочеству и впрямь следует благодарить меня. Я всех их рассорил и, пока они пребывали в неуверенности и мучились подозрениями, объявил им войну. Остается только собрать силы и сокрушить их прежде, чем они снова объединятся. Я расскажу тебе все подробно, но сначала мне нужно помыться и переодеться, да к тому же я еще и не ел целых восемь часов, с самого обеда в Кеттербю.

— Все уже готово, — сказал наместник. — Давай обсудим все за ужином.

Через полчаса после полуночи в просторном пиршественном зале был накрыт ужин. Зал имел форму буквы Г, длинная часть которой имела протяженность в сорок локтей, а короткая — в двадцать пять. Амори и прочим спутникам Лессингема были выделены места у дальнего конца длинного стола, что стоял у выходящих в главный двор дверей в конце длинной части зала. Наместник с Лессингемом уселись за небольшой круглый столик в северном углу, откуда они могли видеть весь зал в обе стороны, и налево, и направо, в то же время находясь за пределами слышимости остальных, так что ничто не мешало их беседе. Зал был облицован черным обсидианом, а в северо-западной стене его были сделаны окна со средниками. Горельефы в виде дьявольских голов высотой в пять локтей ото лба до подбородка были вырезаны на остальных пяти стенах; всего их было тринадцать, весьма безобразных и уродливых голов, вываливших свои языки; на кончике каждого из языков стоял яркий светильник, а выкаченные глаза изваяний представляли собой отражавшие лучи светильников зеркала, так что весь пиршественный зал был залит их сиянием. Погода была сырая и для этого времени года очень холодная, и наместник велел разжечь огонь в огромном камине во внутреннем углу зала напротив их стола.

Лессингем, расслабившись после пятидневной скачки, с удовольствием поглощал свой ужин: говяжий язык, заливное из перепелов, салат из эндивия, латука и козлородника с гипокрасом и айвовым пирогом на десерт, — в то время как наместник, навалившись на стол возле локтя своего кузена и отхлебывая охлажденное вино, что-то многословно и тихо нашепывал тому на ухо. Габриель Флор под предлогом прислуживания гостю вертелся возле стола.

— Не обращай внимания на Габриеля, он посвящен во все мои дела,  
— сказал наместник.

— Но не в мои, — ответил Лессингем.

— Что ж, лакей, убирайся, — приказал тогда наместник, — мы тебя больше не любим.

— О, я люблю малыша Габриеля, — откликнулся Лессингем, — но временами он бывает мне милее всего, если отсутствует. И сейчас у меня именно такое настроение, а потому, Габриель, спокойной ночи.

Габриель удалился с недовольным видом.

— Будь прокляты эти чертовы вольные города на севере! — воскликнул наместник, протягивая могучую волосатую руку за остатками языка, которые бросил огромной собаке, что, наострив уши, бдительно следила за их трапезой, как фея присматривает за обитателями рая. — Я намерен в скором времени запустить руки в потроха этих плутов; но на все нужно время, а с тех пор, как умер старый король, тут и так одна неприятность на другой. А я-то, дуралей, радовался, думая, что это развязало мне руки.

— Лучше бы тебе не горячиться и не действовать опрометчиво, — сказал Лессингем. — Тех солдат, что ты отправил на север, я бы мог теперь использовать к твоей вящей выгоде на юге. Так ты говоришь, Телла, Лайлма, Вейринг и Абарайма заключили эту грязную сделку с Эркемем, открыв ему свои ворота и назвав своим правителем?

— Да, вместо Мандрикарда, который был моим ставленником там последние пять лет.

— Мандрикард, — произнес Лессингем, — никогда не годился для того, чтобы служить твоим интересам, кузен, и я говорил тебе это лет пять назад. Чересчур нерешительный, сегодня он лебезит перед всякими оборванцами, оказывая им свою благосклонность, а завтра ссорится с ними, будто сварливая баба. Да и должность весьма сомнительная; такие удила перепортят твоих лучших коней.

— Ха! Не из-за недостатков одного человека разгорелся этот костер, — сказал наместник. — Это назревало годами. Я держал руку у них на пульсе. Я не вчера об этом узнал. И хуже всего с Вейрингом. Боже правый! Говорю тебе, принц Эркель мне прямо сказал (когда отношения между нами были не столь прохладными как теперь), что если бы вейрингский сброд докучал ему так, как он докучает мне, он послал бы людей с лопатами и кирками и срыл бы его с лица земли.

— Говоришь, отправил Аркаста с тысячью людей?

— С двенадцатью, нет, пятнадцатью сотнями. Не то чтобы для серьезных военных действий. Так, припугнуть их, побряцав оружием; не дать прочим овцам последовать за этими в те же самые ворота. Но послушай, у меня тут наготове есть еще одна уловка, — и голос его понизился до рокочу-

щего шепота. — Есть надежный парень с острым ножом, не склонный болтать языком, но имеющий полезную привычку незаметно шнырять вокруг. Япощекотал его брюхо двумя сотнями золотых, и пообещал еще пять сотен по выполнении задания. Если бы ему только пробраться в Эльдир... — наместник хлебнул вина. — Нашел его Габриель, и то через третьи руки. Меня на этом не поймают. Если что-то пойдет не так, если клевета поползет сюда, я, не рискуя попасться на противоречиях, могу отрицать свою причастность.

Лессингем откинулся в кресле и потянулся. Он разглядывал своего кузена с искренним удовольствием, которое, как только гадючьи глаза встретились с его глазами, переросло в тень улыбки.

— Ах, меня весьма тревожит это твое чарующее простодушие, кузен, — сказал он. — Вдумайся, всего два месяца прошло, как канцлер изловил одного из твоих людей в Зайане и повесил его. Знаю, чтобы не поднимать шумихи, был распущен слух, будто за ниточки дергал Зафель, но во всех их переговорах между собой то, что это сделал ты, даже не подвергается сомнению. А теперь Эркель; этот старый лис не попадетсЯ в твои капканы, кузен. Вот бы ты оказался в Зайане; тебе следовало увидеть, сколько труда я приложил, распутывая узы союзничества, которыми их связали твои хорошо всем известные делишки, ведь за исключением этого немного между ними доверия или дружбы. Во всем остальном моя работа была легкой.

Наместник воззрился на него неподвижным взглядом.

— У тебя свои способы, — сказал он. — У меня свои.

— Сколько у тебя людей в Ауддале? — сменил тему Лессингем, как сокол прекращает играть со своей подругой, чтобы кинуться на свою добычу. — Четыре тысячи будет?

— Только если ты напьешься и каждый человек будет двоиться у тебя в глазах, — ответил тот.

— Две тысячи? Да мои конники, еще восемь сотен.

— Нет, я посчитал и их, — сказал наместник.

— Мне нужно больше, — заявил Лессингем, вскакивая. — Мы должны молнией обрушиться на них, прежде чем они успеют одуматься и объединиться вновь, а иначе все мои труды напрасны.

— Полегче, полегче, — промолвил наместник. — Только мальчишки да бабы думают, будто правильнее всего кидаться осуществлять свои замыслы очертя голову; у меня же более благоразумная тактика. Сначала я очищу свой тыл на севере. К тому же, я надумал там для тебя одно дельце; но и оно подождет. Первым делом я позабочусь об Эркеле с Арамондом.

Лессингем принялся расхаживать от стола к камину и обратно.

— Кузен, — произнес он наконец, остановившись перед столом, — до сих пор ты прислушивался к моим советам, и разве хоть раз они тебя подвели?

Наместник пожал плечами. Глаза Лессингема сверкали.

— Раз уж я взялся за дело, — продолжал он, — я намерен довести его до конца. Чтобы удерживать Лаймак и Ангуринг, тебе потребуется не больше людей, чем ты можешь унести каштанов в обеих руках. Отдай мне остальных, вкуче с правом набрать еще столько, сколько смогу. Не пройдет и месяца, как Внешняя Мезрия будет в моих руках.

— Говоришь ты красиво, — произнес наместник, — но ты так же как и я знаешь, что сейчас нам не набрать более двух с половиной тысяч людей, а для такого предприятия потребуется четыре или пять тысяч.

— Все же позволь мне так поступить, — сказал Лессингем. — То, за что меньше всего опасаются, меньше всего и охраняют. И помни: один мощный удар по южным землям, и столь досаждающие тебе смуты на севере потухнут, будто лампа, в которой закончилось масло. Времени разобраться с ними хватит и потом.

Огромные ноздри наместника раздувались, кровь прилила к его лицу, будто вскипевшая от жаркой жажды власти и мечтаний, разожженных речами и поведением Лессингема. Он тяжело поднялся и с минуту молча смотрел на Лессингема лицом к лицу. Затем, хлопнув Лессингема своими ручищами по обоим плечам, он промолвил:

— Утро вечера мудренее. Чем больше теннисный корт, тем сложнее играть. И если ты, кузен, думаешь затолкать мне все это в глотку одним махом, то, дьявол тебя подери, ты глубоко заблуждаешься.

Это было двадцать седьмого мая. Двадцать девятого герцог Барганакс, окончательно составив свой план, двинулся вместе со своей гвардией и пятьюстами избранными воинами на север, в Румалу, чтобы дожидаться там Барриана и Мелата с рекрутами из Крестенайи и Мемизона, а затем спуститься во Внешнюю Мезрию и приграничные земли. Были хорошие основания надеяться, что, как только герцогское знамя взвевается к северу от Зеннера, а гарнизон наместника в Аргьянне будет взят в осаду, поднимется вся Ульбская Марка, вспомнив о былом родстве и сбросив ярмо Ререка. И на пятый день пути от Зайаны, второго июня, герцог въехал в Румалу. Вечером того же дня лорд адмирал поднял якорь и отплыл из Сестолы с шестнадцатью военными кораблями и шестью грузовыми: огромной и грозной армией из двух тысяч пятисот его собственных моряков, привычных к сражениям и на суше, и на море, а также двух тысяч пехотинцев королевского гарнизона в Мезрии. Граф Родер также был на борту вместе с адмиралом. Отборные конники Родера, числом три сотни, все — ветераны, отслужившие ему не менее десяти лет, ехали по берегу за неимением свободного места на кораблях. Так же пришлось поступить и Эгану с четырьмя сотнями мезрийских всадников. Местом встречи был назначен Салимат; туда направлялись и морская армия, и конные войска, и канцлер с почти двумя тысячами рекрутов, набранных еще в Фингисволде. Они задер-

жались в Зайане на день или два, дожидаясь Зафеля, который поднимал силы на юге, в Армаше и Даише. Все они договорились встретиться в среду, седьмого июня, у Салимата, там, где торная дорога из Зайаны в Ульбу пересекает Нефорийский Кряж в самом его низком месте. Это наиболее выгодная позиция для армии, противостоящей неприятелю, что наступает с севера, ибо она дает замечательный обзор на запад, север и восток, на низменности Внешней Мезрии и Ульбы, а рельеф местности хорош для нападения на того, кто атакует перевал; это место удобно и для того, чтобы держать оборону, если потребуются: место, самой природой созданное для засад и скрытого наблюдения за войском, движущимся по дороге на юг или на север.

Верховный адмирал отплыл из Сестола с отливом и с попутным ветром вышел из залива. Но с наступлением ночи ветер усилился настолько, что плавание меж островов стало небезопасным. Флот до рассвета простоял в спокойных водах за Лашодой; к тому времени начался прилив, и когда они вышли в открытое море, им пришлось весь день идти против ветра на север, и они рады были к ночи достичь убежища в устье Спруны. Из-за всех этих задержек и неблагоприятных ветров они лишь под вечер третьего дня добрались до залива Пераз и стали на якорь в его устье у противоположного от города берега. Здесь их дожидались выючные лошади и мулы, а также запряженные волами повозки; наутро следующего дня они высадились на берег и, оставив тысячу людей Иеронимия охранять корабли, выступили в поход по цветущей долине Бьюлмара, а вечером того же дня разбили лагерь в Салимате. Триста конников Родера пунктуально явились предыдущей ночью. Мезрийская конница во главе с Эганом запаздывала; о ней ничего не было известно с тех пор, как родеровы люди выехали из Зайаны без них, прождав впустую шесть часов. Родер проклинал их. О Бераальде с его двумя тысячами не было ни слуху, ни духу.

Утро выдалось пасмурное и туманное. Пелена тумана, спустившегося со скалистых возвышенностей к востоку от перевала, влагой осела на шатрах. Адмирал отправил верного человека через холмы на восток, в Румалу, дабы известить герцога о том, что Салимат занят ими и все в порядке, и еще одного — на поиски канцлера. Разведчики уже неделю назад пробрались во Внешнюю Мезрию и порубежье. За час до полудня один из них принес известия о том, что Лессингем в воскресенье пересек Зеннер с небольшим числом людей и осадил Пятипутье; что проклятые люди этого города, вопреки всем ожиданиям, отворили перед ним ворота; там он оставался до вторника, и к нему присоединялись люди: по двое, по трое, небольшими группками, в основном, как считалось, из Марки, но поговаривали, что некоторые явились и с мезрийских границ под предлогом верности защитнику Королевы и блюстителю ее интересов. Часом позже прибыли и остальные с более свежими новостями о том, как лишь вчера они собственными глазами видели вышедшего из Пяти-

пути с пятнадцатью сотнями пеших и тысячей конных Лессингема; предполагалось, что семьсот пехотинцев были ветеранами войска Парри, а остальные — новобранцами, в то время как конница в основном принадлежала Лессингему. С этой армией он якобы повернул на северо-восток, по дороге вдоль реки, как будто бы направлялся на Кутармиш. Заслышав эти известия, Родер схватил Иеронимия за рукав и отвел его туда, где их не могли услышать их офицеры.

— Какой план изберете вы теперь, господин адмирал? Беда никогда не приходит одна. Канцлер опаздывает уже на сутки, о нем все еще нет новостей, и из-за этого мы с урезанными силами лишь сидим и наблюдаем. Если Кутармиш падет, вся Внешняя Мезрия будет потеряна без единого взмаха меча, а это богатейшая из всех южных земель.

— Ибиан вне всяких сомнений удержит Кутармиш, — сказал адмирал.

— Допустим, удержит, — ответил Родер. — И что тогда, эти мезрийские бараны пожнут всю славу, пока мы, истинные служители королевы, сидим здесь и бездельничаем? Не забывайте, это посеет недовольства в армии. Я давно уже их чую, я прислушивался к малейшему ветерку сомнений в том, действительно ли мы, а не противоположная сторона, являемся истинными ее приверженцами.

— В этом, — произнес Иеронимий, — состоит вся ненадежность нашего, в некотором роде, зыбкого положения, с которым мы должны мириться, ибо изначально именно он был назначен ее опекуном на период ее несовершеннолетия, и это оправдывает все его злодеяния, хоть она тут и ни при чем.

— При всем моем почтении, господин адмирал, — промолвил Родер, — нам надлежит не только мириться, но и действовать. Вдумайтесь, если эти известия от разведчиков (а они вполне достоверны) подтвердятся хотя бы частично, то мы превосходим его в численности вдвое.

— У него сильная конница и отличная репутация в виде военного искусства, — сказал Иеронимий.

— Это, — ответил Родер, — меня нисколько не пугает.

— В целом, — сказал Иеронимий, — войско его, хоть и невелико, но весьма сильно. Крупица золота ценнее куска свинца или железа.

Родер сплюнул на землю и нахмурился.

— Если бы распоряжался лично я, — произнес он через минуту, — я бы сегодня же спустился на равнины и одним взмахом метлы вывел бы его из Мезрии.

Адмирал надул щеки и покачал головой:

— Давайте подождем до завтра, господин мой. К завтрашнему канцлер наверняка появится.

Следующее утро было ясным. Утренний туман, повисший над северными землями, имел тусклый оттенок налета на черном винограде, а небо над

ним было нежно-голубого цвета, и всю ближнюю часть обширной долины Зеннера заливал неяркий солнечный свет; в долине виднелись хутора, здесь и там поблескивала излучина реки, да петляла по низинам пустая дорога, упиравшаяся в склоны южных холмов и поднимавшаяся к Салиматскому перевалу. В полдень пришли свежие известия о том, что войска наместника вновь движутся на запад. К третьему часу пополудни они показались в двух лигах от них на гребне у Аптиссы, направляясь на юго-восток. Лагерь перенесли чуть к югу от Салимата, ниже седловины, чтобы с севера не было видно, насколько велики удерживавшие дорогу силы. В седловине и на северном склоне земля была бутристая, заваленная валунами и поросшая вереском, с множеством небольших взгорков и лощин, среди которых Иеронимий с Родером и укрыли свои войска по обе стороны от дороги. Позиция была выгодна, чтобы наброситься на Лессингема, если тот попытается взять перевал. Однако он не спешил приближаться. Прошло целых три часа, прежде чем он добрался до аванпостов Иеронимия на ручье Хазанат. Терпение Родера уже давно иссякло, и он настаивал на том, чтобы напасть на них здесь и сейчас, пока еще светло.

— Нет, необходимо повременить, — сказал Иеронимий. — Не хотите же вы отказаться от преимущества, что мы перед ним имеем, и сражаться с ним в месте, выбранном им самим, к тому же, наиболее подходящем для кавалерии, которая у нас слабее всего.

Родер поджал губы.

— Мудрость, — промолвил он, — также бывает в избытке; она требует умеренности не в меньшей степени, чем глупость. Поступайте, как знаете, господин мой, я же со своей стороны не желаю быть ответственным за эти проволочки.

Было видно, как Лессингем остановился и разбил лагерь в лугах к западу от Лимисбы, на ближнем берегу Хазаната, не доходя примерно мили до места, где начинался склон. Затем он выстроил свою армию перед лагерем, будто бы готовясь к битве. Иеронимий сказал:

— Он в некотором роде играет в кошки-мышки. Но мы с ним играть не станем.

Родер заскрежетал зубами и отправился в свой шатер. Ему было весьма неприятно наблюдать свой собственный летний дворец в Лимисбе, пожалованный ему недавно королем Мезенцием в оплату за его службу в мирное и военное время, в котлях Лессингема. Когда был готов ужин, Иеронимий распорядился загасить все костры, чтобы снизу не было видно, остался ли он в Салимате или убрался прочь. От канцлера по-прежнему вестей не было, хотя он задерживался уже на двое суток. Это тяготило их, как тяготит желудок плохо переваренная пища. Иеронимий выбрал осторожного и верного гонца и отправил его по зайанской дороге за новостями. Всю ночь сверкающие точки костров в лагере Лессингема дымили под звездным небом. Родер сказал:

— Они что, девчонки, это ререкское отребье, раз греются у костров этими летними ночами, когда мы и на холмах спим на холоде?

Он храпел в своем шатре и потому не видел, как, подобно Антаресу среди малых огней ночи, горел его собственный дом в Лимисбе.

К рассвету Лимисба весело пылала, и даже здесь, в Салимате, могло показаться, что слышишь треск огня, вздымавшего огромные клубы дыма, которые, однако, на фоне утренних облаков казались лишь дымными завитками от задумгой свечи. Костры еще горели, но лагерь был свернут. За излучиной, близ Зеннера, сверкали новые огни, будто Лессингем, сделав выпад в сторону Салимата, говорил: «Выходите и встретьтесь со мной, или я сожгу всю Мезрию у вас под носом». Полководцев немедленно поставили в известность; Родер выскочил в одной рубахе и разразился потоком проклятий, затем велел стражнику созвать всех военачальников на совет, а также распорядился сняться с лагеря и приготовиться идти в бой по первому приказу. Во всей этой суматохе он наткнулся на лорда Иеронимия, сжимавшего в руке письма.

— От канцлера, вручены мне только что гонцом, скакавшим день и ночь, — произнес адмирал. — В них сообщается, что он задерживается по той самой причине, о которой мы говорили: недостаток преданности среди его собственных людей. Однако все уже улажено, и они вполне удовлетворены. Он намеревается выйти из Зайаны в четверг (это на четыре дня позже срока).

— Провались он в ад! Что с того толку? — воскликнул Родер.

— Двигаясь форсированным маршем, он будет здесь к завтрашнему вечеру.

— В таком случае ясно, как нам быть, — ответил Родер. — Больше ждать мы не станем, — и он кинулся в свой шатер одеваться.

Лорд адмирал озабоченно наблюдал за ним, поджав губы.

Десятью минутами спустя в шатре адмирала был созван совет. Граф Родер явился в полном боевом облачении. Он заявил:

— Первым делом нам с вами необходимо обсудить стратегию, господин мой. Прошу, прикажите оставить нас наедине.

— Как вам будет угодно, — ответил Иеронимий.

Когда они остались одни, лорд Иеронимий взял его за руку и промолвил:

— Я бы хотел, чтобы вы, в некотором роде, взглянули на положение спокойно. Я ни на йоту не меньше вашего хочу нанести удар, но помните, что в этом и состоит его затея: заставить нас засунуть палец в нору. На сегодняшний день это небезопасно. Завтра, с канцлером и еще почти двумя тысячами людей опасности не будет никакой. Скороспелые плоды, господин мой, хороши в свой срок, но срок этот недолог.

Родер заговорил с деланным спокойствием:

— Ваша милость извинит меня, если я выскажу все, что думаю. Доводов ничтожнее и жалче, чем сказанное вами только что, невозможно и придумать. Неужто вы и впрямь намерены смиренно ждать до завтра и позволить этому Лессингему ускользнуть сквозь наши пальцы?

— Прошу вас, господин мой, — ответил Иеронимий, — не нужно искажать мои слова. Подождем до завтра, и я обещаю вам, ни один из этих подонков не вернется назад в Ререк.

— Если говорить напрямик, — сказал Родер, багровея, — то я бы сказал, что вы ищете доводы, чтобы прикрыть свое... нет, я знаю, это не малодушие, скорее ваше упрямство... как мерзкая муха, что ищет болячку на теле.

— Грубость и невежливость, господин Родер, — произнес адмирал, отпуская его руку, — едва ли помогут нам в составлении разумного плана. В том положении, в которое мы попали, нам, в некотором роде, необходимо быть заодно; если мы потерпим неудачу, это будет крахом, достойным всяческого сожаления.

— Дорогой мой господин адмирал, — сказал Родер, — дайте мне вашу руку. Я сожалею, если моя грубость исказила смысл моих слов. Но позорно нам, имея за собой столь большие силы, наблюдать, как пешка ставит королю шах и мат. Ладно, пускай делает, что хочет. Мне все равно. Но когда его светлость увидит из своего замка в Румале, как этот Лессингем королем развезжает по Внешней Мезрии и никто ему не препятствует, а мы то ли пропали, то ли заснули, он тотчас обрушится на него из Румалы и сделает то, над чем мы сейчас колеблемся.

Адмирал слушал его, сжимая и разжимая руки за спиной и наклонив голову, будто разглядывая собственные ноги. При упоминании герцога он встрепенулся и краска залила его лицо.

— Да, об этом я забыл, — произнес он после паузы. — А это опасно, ведь Лессингем движется на восток. В своей безумной отваге тот может спуститься и встретить Лессингема на равнине, — он медленно подошел к входу в шатер и выглянул наружу, по-прежнему избегая взгляда Родера: — И тогда его слишком маленькое войско будет тотчас уничтожено и разбито.

Родер насторожился. Иеронимий оставался там, где стоял, молчаливый и задумчивый, вертя свое золотое увеличительное стекло на тонкой цепочке. Родер заговорил:

— И если это произойдет, то нам с вами останется лишь одно, господин адмирал: пойти и повеситься.

Адмирал ничего не сказал, лишь перестал крутить свое стекло. Родер немного подождал, а затем сказал:

— Еще есть время помешать ему, вынудив его принять бой. Через несколько часов это уже будет не так легко сделать; но и гнаться за ним по пятам через всю Мезрию будет лучше, чем сидеть здесь.

Наступила продолжительная тишина. Родер шумно сопел, выпятив поросшую коротко остриженной черной бородой челюсть над воротником своих лат. Наконец, не оборачиваясь, Иеронимий заговорил.

— Положение слишком противоречиво. Время — в этом вся загвоздка. Нет времени известить герцога в Румале. И потому приходится действовать быстро — а вовсе не по какой-либо из приведенных вами причин, господин мой, — сказал он, поворачиваясь и отходя от входа. — Именно это вынуждает меня пойти на поступок, который при иных обстоятельствах был бы верхом безрассудства. Пусть будет по-вашему, господин мой. Позовите остальных.

— Ха! Вот это дело! — воскликнула Родер, хватая того за обе руки. — Теперь этот чертов негодяй у меня на наковальне; еще до заката я раздавлю его.



С возвышенности на берегу Зеннера, где он остановился вместе со своим войском, Лессингем наблюдал с четырехмильного расстояния, как Родер с большими силами выходит из Салимата.

— Хвала Богам, — произнес он, — с поджогами покончено. Но с такими ленивыми лисами иначе нельзя, придется их выкуривать. Да и теперь нам не следует выказывать излишнего рвения, пока у них еще есть возможность снова заползти под землю.

— Вы растревожили логово медведей, не лис, — заметил Амори.

— Когда медведь повстречал тигра, шерсть летела клочьями, — сказал Лессингем. — Время на нашей стороне. Они превосходят нас числом, но справиться с ними можно. Дай им время собрать все свои силы, и мы не посмеем выйти против них, да и сейчас это довольно рискованно.

Он отдал приказ, и они начали медленно отступать на юго-восток. При виде этого граф свернул на восток, будто намереваясь перехватить их на лавовом поле у подножия холмов близ Нефори. После часового перехода армии сблизилась на расстояние двух миль. Лессингем изменил курс и двинулся прямо на север, обогнув восточный край Орасбийского леса, будто бы направляясь к мосту у Лоркана, где ведущая с севера кутармишская дорога пересекает мелкую мутную речонку Айлиман невдалеке от того места, где та впадает в Зеннер. Здесь, между лесом и рекой, тянулась полоса лугов. Земля тут была ровная и твердая, и, разместив свой левый фланг у реки, в нескольких сотнях шагов от моста, а правый на краю Орасбийского леса, Лессингем остановился и изготовился к битве. Свое основное, пешее, войско он выстроил в форме полумесяца с выдвинутым вперед центром и рогами, загибающимися назад, к дороге. Большую часть в нем составляли свежие рекруты, числом в несколько сотен, набранные в течение недели в окрестностях Аргьянны и в приморских землях близ Кессарея; остальные были призваны наместником два месяца назад, когда он собирал у себя в Аудале силы против короля Стиллиса. Но девять из шестнадцати сотен пехотинцев были ветеранами из старой армии на-

местника, могучие как медведи, и закаленные в сражениях. Им уже доводилось служить под началом Лессингема семь или восемь лет назад, когда, не без тайной поддержки принцев и (как говорили многие) Барганакса, Ререк потряс великий мятеж, едва не приведший к низвержению наместника и захвату страны Фингисволдом. Несколькими отрядами из этих ветеранов Лессингем укрепил центр, но основную их массу разместил по краям, которые, как уже говорилось, были оттянуты назад. Двадцать десятков он оставил в резерве под личным командованием для пущей надежности в той опасной затее, которую задумал. Четыреста его конников под началом Амори, собравшись у реки, образовали левый фланг его войска. Еще триста, с Брандремартом во главе, а также позаимствованные в Аргьянне эскадры, отправились на правый фланг, к лесу.

Когда дозорные графа обогнули юго-восточный край леса и увидели эту диспозицию, они оповестили его о том, что Лессингем стоит в дугах Лоркана, предлагая сражение. При этих известиях граф тут же скомандовал остановиться, перестроил свое войско так, как запланировал заранее, и двинулся вперед в боевом порядке. С ним была вся армия, что собралась в Салимате к утру, за исключением лишь пятисот моряков, которые остались с адмиралом, чтобы, если понадобится, удерживать перевал и дожидаться канцлера. Его основные силы в составе двух тысяч тяжело вооруженных фингисволдских копейщиков и тысячи моряков Иеронимия настолько превосходили по его расчетам пехоту Лессингема, как в вооруженности или мастерстве, так и в численности, что он не обратил особого внимания на превосходство того в коннице. С этими мыслями он выстроил пехоту в длинные шеренги и приказал Перопевту, который вместе с Гортензием и Беллином ею командовал, при звуке боевого рога обрушиться всей своей массой на центр войска Лессингема и смять его. Сам он с тремястами отборными воддскими всадниками направился к реке навстречу Амори. Эган с мезрийской конницей, явившийся лишь этим утром, двинулся на левый фланг.

Без объявления переговоров Родер велел трубить боевой сигнал, взвились знамена, и с ужасающим криком и громоподобным топотом его войско перешло в наступление. Лессингем приказал своим людям не отступать, пока не дойдет до рукопашной, а флангам держаться любой ценой. Когда армии сблизилась на расстояние броска, стороны осыпали друг друга градом дротиков. В следующий миг Перопевт с отборными королевскими охранниками, что несли прямоугольные щиты и были через одного вооружены длинными тяжелыми копьями или двуручными мечами, подобно тарану обрушился на центр Лессингема. В шуме битвы, лязге стали и звоне клинка о клинок ререкские новобранцы под давлением брошенных на них шеренг дрогнули и отступили. Многие были ранены и многие убиты с обеих сторон в этой первой ошибке, ибо прямо в центре Лессингем приставил к каждому неопытному

воину старого солдата наместника, и те своими короткими обоюдоострыми мечами, одинаково пригодными, чтобы и колоть и рубить, и легкими, но прочными малыми щитами, устроили сечу там, где копейщикам Родера негде было развернуться в тесной свалке. Под напором все наступавших сомкнутыми рядами солдат фронт битвы отодвигался к северу, пока полумесяц Лессингема не выгнулся наоборот: рога по обе стороны простерлись вперед, а центр отступил назад. И понемногу таран Родера, все сужая фронт, вдвигался все глубже и глубже в этот карман.

У Лессингема под рукой оставалась сотня отборных всадников и сотня пехотинцев-ветеранов, приученных идти в битву вместе с конниками, держась во время наступления за стремена. С ними он отступал вслед за прогибающимся центром, как олуша следует за косяком макрели. Его губы были плотно сжаты, а в глазах пылал огонь. Пешие и конные вестовые минута за минутой докладывали ему о положении дел там, где он не мог видеть все своими глазами: о мезрийской коннице, разбитой и обращенной в бегство на опушке леса, об Амори, сцепившемся с Родером на левом фланге. Что же касается основного сражения, то его испытанные отряды, по двести пятьдесят воинов с каждой стороны, оказались с наступлением тарана там, где он и предполагал: на флангах противника. И, словно олуша, что, сложив крылья, белоперой стрелой бросается в море, рассекая воду со свистом и напоминающими фонтан кита брызгами, улучив момент, Лессингем внезапно нанес удар. Он сам вместе со своими двумястами воинами, ринувшись вперед меж рядов так и не поддавшегося, хотя и потрепанного и смятого центра, будто взрывом убийственного греческого огня обратил вспять наступление фронта Родера. В тот же самый миг ветераны наместника сомкнулись вокруг флангов Родера, словно клешни краба. Они застали его правый фланг врасплох, и много солдат полегло там. Люди валились снопами, одни — придавленные труппами сотоварищей, другие — зарубленные насмерть оружием своих собратьев прежде, чем враг добрался до них. Конники на правом фланге Лессингема, бросив преследование при звуках боевого клича его рога, описали дугу и обрушились на пехотинцев с фланга и тыла. В последнем наступлении Амори загнал половину прославленных всадников Родера в реку и наголову разгромил их.



Солнце превратилось в сплюснутый шар багрового огня, касавшийся моря меж Квездодийских островов, когда верховный адмирал выбрался из своего шатра вместе с лордом Бероальдом на открытое место, откуда была хорошо видна долина Зеннера, подернутая дымкой в теплых и сонных лучах заката.

— Ну что ж, по-моему, я поведал вам, все до мельчайших подробностей, — сказал он. — Вот уже восьмой час пополудни. И никаких новостей вот уже три часа.

— Так они сошлись в лугах Лоркана?

Иеронимий кивнул:

— К этому времени у нас должно было быть побольше известий.

Метнув быстрый взгляд искоса, канцлер заметил, что лицо адмирала омрачено тревожными мыслями.

— Не думаю, что это обязательно так, — сказал он беспечно.

— Кота голыми руками не возьмешь, — произнес Иеронимий. Минуту он стоял, оглядывая окрестности, а затем, когда они повернули, чтобы идти назад, продолжил: — Когда появятся ваши главные силы?

— Завтра ночью, — ответил Бериальд.

— А Зафель?

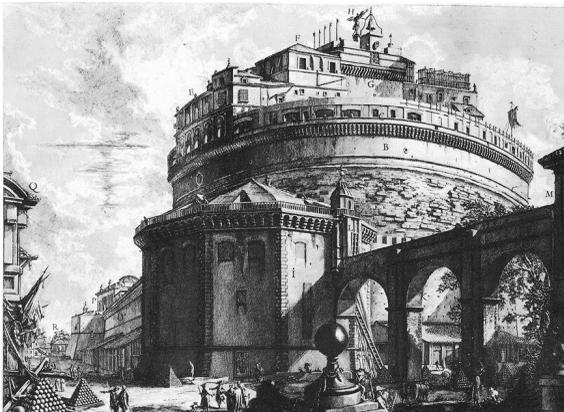
Губы Бериальда искривились:

— Насчет этого предположений делать не рискну.

— Завтра ночью, — повторил Иеронимий. — Слабое утешение, когда все уже закончено, хотя мы дожидались вашей армии три лишних дня... нет, я не виню за это вас, господин мой; мне известно, сколько хлопот у вас было. Не виню я в этом и себя, — он встретился с холодным взглядом канцлера и рассмеялся: — Ваша милость должны меня простить. Ха! Солнце еще только садится, а разве уже налетело воронье? Но эти сухопутные бои и впрямь всегда казались мне в некотором роде противоестественными.

Нарочитая невозмутимость сквозила на худощавом лице канцлера, когда он, словно солдат, стоя прямо и скрестив руки на груди, озирает ландшафт перед собой.

— Численное превосходство, господин адмирал, — холодно произнес он, — само по себе сможет избавить вас от всяких сомнений. И Родер не какой-нибудь неопытный мальчишка, он не попадется в сети и не станет стрелять, не прицелившись. Пойдемте, пора ужинать.



## Х. Илкисский конкордат

АМОРИ ПЕРЕД ГЕРЦОГОМ — КИПРОРОЖДЕННАЯ<sup>81</sup> — ФЬОРИНДА ПОД РОСКОШНОЙ  
СЕНЬЮ — АФРОДИТА ФИЛОММЕИДА<sup>82</sup> — ЕЕ ПИЕРИЙСКИЙ ЦВЕТОК<sup>83</sup> — ВИДЕНИЕ  
ГЕРЦОГА

**Н**А вторую ночь после этой битвы герцог Барганакс сидел в покоях над караульным помещением в Румале. Он устроился в огромном каменном кресле, распрямившись, спиной к стене, облаченный в латы, шлем и свою кольчугу с длинными рукавами, каждое звено которой было покрыто серебряными и золотыми узорами. Черный плюмаж из перьев райской птицы украшал его шлем, переливаясь зелеными и стально-голубыми огнями. Его руки расслабленно покоились на ручках кресла. Порванные и скомканные бумаги валялись у его ног. Лампа на столе у его левого локтя освещала комнату тусклым светом. Лицо его находилось в тени, обращенное от лампы к глубокому проему распахнутого окна, в насыщенную звездным светом тьму. Он не пошевелился ни при громяющем звуке шагов закованного в броню Медора, ни при появлении его самого. Целую минуту Медор стоял перед ним молча, будто в испуге.

— Он ушел?

Медор ответил:

— Я не могу ничего с ним поделаться. Он во что бы то ни стало намерен переговорить с вашей светлостью.

Барганакс не шелохнулся и не произнес ни слова.

— Он не желает ничего говорить, — сказал Медор, — ни мне, ни кому-либо еще, помимо вашей светлости.

— Ему, что, жить надоело?

— Примерно это я ему и сказал. Но его ничем не пронять, он хочет переговорить с вами с глазу на глаз. Я сделал все, что мог.

После паузы герцог сказал:

— Впусти его.

После этих слов в сопровождении двух краснобородых бритоголовых гвардейцев герцога в покои вошел Амори. Он был по колено в грязи после тяжелой скачки по болотистой местности. Ему велели оставить оружие за дверью.

— Ну и зачем было тебе, Амори, — промолвил герцог, — приходить и плясать на меня и на то, как все величие Зайаны пошло прахом?

— Господин герцог, — сказал Амори, — ничего подобного я не наблюдаю. Если ваша светлость с привычным вам благородством изволит принять моего хозяина, то он всей душой жаждет договориться с вами, причем на та-

81 Одно из прозвищ Афродиты.

82 Филоммеида (Philommeides) — гомеровский эпитет Афродиты, означающий «владычица смехов», «любящая смех».

83 Пиерийский — в др. греч. мифологии относящийся к музам, вдохновению.

ких условиях, которые принесут вам больше славы и выгоды, нежели предложенные им ранее, прежде чем между вами началась война.

— Видишь этот кубок? — отозвался герцог. — Если бы ты усадил туда ядовитую жабу, размесил ее в студень, затем налил туда вина и опорожнил его, то и это было бы для тебя безопаснее, чем являться сюда, нанося мне оскорбления своими примирительными словами.

Светлокожее лицо Амори покраснело. Он сказал:

— Если здесь есть чья-то вина, вините меня. По собственному почину, не по чьему-либо велению, прибыл я сюда, предав себя в ваши руки, ибо знал я о его странном и ненужном намерении приехать сюда завтра по тому же поводу; знал, но почуял в этом опасность. Потому я явился первым, не спрашивая разрешения, в качестве дегустатора: так и из блюд высокопоставленных людей сначала отведывает другой, дабы проверить, нет ли там отравы.

— Тогда он будет мне только благодарен, — ответил герцог, — за порку его непослушного пса. И все же, — продолжил он, — ты, видно, знал, что бояться нечего. Ты, видно, знал, что у меня хватит ума отпустить тебя. Так поступают с крысоловками: несколько ночей позволяют крысам входить и выходить, когда им заблагорассудится, чтобы они потеряли страх, а потом, в одну из ночей, захлопывают дверцу, поймав их всех скопом. Благие Боги, если бы только там оказались и эти Родер с Бероальдом, будь они неладны!

— Однако я не крыса, — сказал Амори. — У меня есть мозги, и если я сочту нужным, то предупрежу его.

Лицо герцога потемнело, налившись кровью.

— Выведите его, — распорядился он. — Свяжите его по рукам и ногам и сбросьте с обрыва. Может, это хоть отчасти остудит мой гнев.

Гвардейцы положили свои руки на плечи Амори. Тот побледнел и промолвил:

— Если я не вернусь, то и тогда будет хоть какая-то польза, так как это его остановит. А его жизнь мне дороже моей.

— Поторапливайтесь, сделайте, что вам велено, — воскликнул герцог, внезапно вскочив на ноги, мертвенно бледный, ужасный, будто раненый лев. — Если явятся другие, я поступлю с ними точно так же. Пускай посмотрят, уладила ли меня неудача в этой битве. Сплетники и трусы, пускай узнают меня, хоть и поздно.

Он с лязгом прошагал к окну и стал там, напряженный, обернувшись спиной к комнате, сложив руки на стене, уткнувшись в них лицом и сжимая кулаками виски. Медор взглядом приказал страже остановиться. Амори ждал.

— Медор, — проговорил герцог.

Он подошел к окну и выглянул наружу. Медор приблизился к нему.

— Придержите этого человека до утра, и чтобы он не попадался мне на глаза. Я еще над этим поразмыслию.

Амори заговорил:

— Могу ли я, с дозволения вашей светлости, сказать лишь слово?

Герцог не ответил, продолжая смотреть в окно, но его тело напряглось.

— Если я не вернусь до утра, найдутся те, кто сообщит моему хозяину, куда я направился. Он заключит, что ваша светлость разделились со мной. Это все испортит.

Герцог резко обернулся.

— Уведите его вон, или я передумаю, — приказал он, выхватывая кинжал.

— Он собирался подняться по Завеси один, — прокричал Амори, когда его выводили. — Один — вот как он вам доверял.

— Вон! — взревел Барганакс. Его левая рука сомкнулась на запястье Медора. Солдаты вытолкали Амори за дверь. — О, какой крах! Предавали ли какого-либо монарха так же, как меня? О, Медор, я бы купался в крови; оторвал бы им головы своими руками, вырезал бы им сердца и слопал бы их сырыми с чесноком, а потом провалиться мне ad Tartara Termagorum<sup>84</sup>.

— Нет, что за мерзость, — опомнился он, вышагивая взад-вперед. — Проклятый Бероальд, проклятый двуличный Зафель, проклятый женоподобный Иеронимий: осадок в кубке дьявола. Что хуже всего: я, кто воображал себя выше луны, считал себя образцом для всего необъятного мира, а возлюбленной своей — саму красоту, став распоследним посмешищем, превратился в кровожадное чудовище.

— Нет уж, — продолжал он, — я перенесу это, как подобает монарху, — и вновь уселся в каменное кресло. Медор облокотился на подоконник, всматриваясь в ночь.

— О чем думаешь? — спросил герцог.

— О вашем звездном величии, — отвечал тот.

— Что он там говорил? — встрепенулся вдруг герцог. — Будто Лессингем доверяет нам настолько, что приедет на переговоры ко мне сюда, в Румалу, один? Это уж очень смахивает на ложь.

— Думаю, это похоже на правду, — ответил Медор. — Он помнит о том, сколь крепко ваша светлость держали свое слово недавно в Зайане.

Герцог молчал. Затем воскликнул:

— Почему его увели? Привести его обратно! Неужто и ты предашь меня, выполняя мои приказы, когда я не в своем уме?

— Нет, — ответил тот, укоризненно глядя на него. — В этом отношении я соблюдаю наш старый уговор с вашей светлостью.

---

84 Цитата из стихотворения шотландского поэта У. Данбэра «Борьба Данбэра и Кеннеди», примерно означающая «в тартарары». Слово «termagorum» неясного происхождения, может быть связано с Термагантом — именем верховного мусульманского божества в средневековой европейской литературе.

Барганакс снял шлем и поставил его на стол рядом со своими железными перчатками. Признаки миновавшей грозы еще омрачали его сверкающий взгляд и складку уст под закрученными усами, но более уже не искажали его лицо, и чело его, освещаемое лучами лампы, казалось, воплощает в себе все милосердие небес. Он произнес вполголоса:

— Ζὰ δ' ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήα. «Говорила я во сне с Кипророжденной<sup>85</sup>».

Когда в сопровождении Медора снова вошел Амори, герцог сказал:

— Ты храбрый человек, Амори, и этого можно было ожидать, ибо ты и служишь храброму человеку, а он выбирает в свои сторонники людей сильных и мужественных, а также подобных ему складом ума. А теперь расскажи все, о чем ты упомянул, обстоятельно, дабы я понял, в чем дело.

Амори рассказал ему все в подробностях.

— А сейчас, — промолвил герцог, когда тот закончил, — я поразмыслил над этим нашим с твоим господином делом, о том, как нам с ним быть. Вот кольцо, — сказал он, снимая кольцо с пальца. — Камень в нем зовется квандиас. Он встречается в голове грифа и несет в себе пользу для носящего, ибо отгоняет от него все пагубное. Передай его ему от меня. Скажи ему, что не превзойти ему меня в благородстве. Я встречу с ним, но не здесь. Я встречу с ним на полпути, в Илкисе, что в Рубалнардале. Сегодня понедельник; пускай это будет в среду, в полдень. Лучше, чтобы мы явились во всеоружии, ибо в окрестностях после всех этих событий может быть неспокойно. Но пусть с каждой стороны будет по двадцать человек и не более. И пусть перемирие продлится до полуночи четверга, как бы ни сложились дела.

Амори поцеловал руку Барганакса и взял кольцо.

— Я достаточно посвящен в дела моего господина, — произнес он, — чтобы с уверенностью принять это предложение от его имени и утверждать, что благородное поведение вашей светлости в этом деле открыло путь к славе и миру между вами.

— Тогда в добрый путь, сударь, — ответил герцог. — В среду в полдень мы начнем переговоры в Илкисе. Солдаты, проводите его с дюжиной факелов вниз по Завеси.

— А теперь, — сказал он Медору, когда Амори ушел, — никаких разговоров, ни с тобой, ни с кем-либо еще. Пора спать.



Близился полдень среды, четырнадцатого дня июня. В Акрозайане, под роскошной сенью земляничных деревьев, где солнечные зайчики монетами испещряли светло-пурпурный ковер посыпанной гравием дорожки, леди Фьоринда замерла, как замирает музыка, когда лютию откладывают в сторону. Она сидела на порфировой скамье, на подушках из темного как вино атласа.

85 Сапфо, 87, пер. В. Вересаева.

Ее платье с длинными рукавами, с узким гофрированным жабо и манжетами, весьма легкое и красивое, тесно облежавшее фигуру, желтое, словно бледный лепесток первоцвета, с каждым ее легчайшим вздохом вновь и вновь подчеркивало совершенство ее, что сидела там, изящно подобрав под себя ноги. Чепец из черного сетчатого шелка, расшитый по краям хризопразами и золотой нитью, обрамлял ее лицо ореолом, в котором волосы ее меж белизной лба и усыпанной драгоценностями тканью были, словно загадочная ночь меж ясным солнцем и луной.

Слева и ниже от нее, на ступеньке резного порфира сидела, уронив свое шитье на землю и сцепив руки на коленях, Розалура. Антея, вся в белом, стояла на границе между тенью и солнечным светом чуть поодаль, на лужайке; зрачки ее глаз на свету превратились в щели. Во всей ее позе чувствовалось напряженное ожидание; ее волосы, небрежно собранные в изящный пучок, были подобны пылающему огню. На заплетенных каштановых косах Беллафронт, сидевшей на дальнем краю невысокой скамьи слева, ближе к Антее, также сверкали солнечные лучи. Пантасилея и Мирра, Кампаспа и Виоланта сидели кто где на двух других низких скамьях слева и справа от Фьоринды. Все они будто вслушивались в некие отдаленные звуки, а может быть, просто в жужжание пчел, что гудели в летнем воздухе то тише, то громче, никогда не затихая полностью; не столько вслушиваясь, сколько надеясь услышать нечто страстно ожидаемое.

Доктор Вандермаст в красно-коричневом кафтане бродил в раздумьях. На него, мерно расхаживавшего туда-сюда, непрерывно обрушивались, пронизывая листву, крохотные стрелы солнечного света.

Фьоринда заговорила:

— Необычайная вольность для столь важного мыслителя, как вы, сударь, — сказать, будто я, сама по себе... впрочем, я уже забыла, что вы такое сказали.

Он остановился возле нее, глядя мимо Антеи на залитую солнцем лужайку, на клумбу за нею и дальше, за балюстраду, на расплывавшиеся в летнем мареве горы.

— Это нерушимый принцип божественной философии, — произнес он, — искать понимания вещей *sub specie quadam aeternitatis*<sup>86</sup>, поднося их, как к светильнику, к вечности, что их освещает. Сам я целых тридцать семь лет провел в изучении Материального и Потустороннего, пользуясь сочетаниями аксиом и теорем, и через *demonstratio, scholium, corollarium*<sup>87</sup> придя к объединению всех извечных и единых законов: к той вершине пирамиды знаний, где интеллект способен в момент размышления постичь истинную суть вещей.

86 *Sub specie quadam aeternitatis* (лат.) — «с точки зрения некоторой (формы) вечности».

87 *Demonstratio, scholium, corollarium* (лат.) — «доказательство, схолия (комментарий), следствие».

Но, в конце концов, истина эта оказалась пустой: *praeter verbum nihil est*<sup>88</sup>, сотрясение воздуха. Ибо, если ее принять, она подразумевала наличие причины, смысла, основы. Но когда, отбросив эти забавы, я задумываюсь о вашей милости, все становится ясным как день, а когда я оказываюсь в тупике, неспособный понять то или иное свойство природы или времени, почему это так, а не этак, мне достаточно лишь взглянуть на него в свете вашей милости, и в тот же миг я вижу его смысл и необходимость.

— Даже этого сокрушительного поражения в Лоркане? — спросила она. — Того, что выдернуло почву у него из-под ног и заставило его униженно примириться со своим главным врагом?

Он ответил:

— Я вижу это в вашей милости кристально четко. Я принимаю и признаю это.

— Ха, — фыркнула она, — Я бы ему покою не дала, вот так.

— И более густая пелена не скроет вас от меня, — промолвил Вандермаст, встретившись с ней глазами.

— Да ну? — воскликнула она. — Увы, если бы не присущая мне определенная смелость, я была бы без памяти от страха. Своим взглядом василиска старик словно раздевает меня на месте. О, ужасный Аполлоний, изобличитель Ламии<sup>89</sup>! Как нам уберечься?

— Аполлоний, — сказал Вандермаст, — был лишь лжефилософом и обладал весьма поверхностным и жалким пониманием вещей. В целом (и именно это было у меня на уме, когда тропом или фигурой речи, госпожа, я позволил себе уподобить вас вечности) я прихожу к выводу, что ваша милость, сами по себе, — *omnium rerum causa immanens*<sup>90</sup>: достаточное объяснение мира.

Фьоринда не улыбалась.

— Но зачем ему объяснения? — спросила она. — Вот он перед нами. Мне он нравится.

— Без вас, — произнес старик, — он рассыплется на кусочки и исчезнет. Как и капля из стекла, что рассыпается в пыль, как только у нее отломят хвостик.

— Но вы же, конечно, не станете утверждать, — сказала она, — будто существовал когда-либо человек, достаточно злобный, чтобы помышлять об ином? О мире без меня? Или о мире, который меня ненавидит?

---

88 *Præter verbum nihil est* (лат.) — «ничего, кроме слова», «лишь слово».

89 Ламия — мифическое существо, наполовину женщина, наполовину змея. По одному из преданий, упоминаемому у Р. Бертон в «Анатомии меланхолии», одна ламия приняла человеческий облик, соблазнила некоего молодого человека и увела его в свой дом близ Коринфа, однако явившийся на их свадьбу волшебник Аполлоний Тианский назвал ламию истинным именем, и та тут же исчезла вместе со своим дворцом.

90 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О Боге», теорема XVIII: «Бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующая извне».

— Госпожа Фьоринда, — тихо проговорил он, — *nemo potest Deum odio habere*: никто не может ненавидеть Бога<sup>91</sup>. Речь не о времени, не о месте и не о внешности. Вы пребываете и в Риалмаре не в меньшей степени, чем в Акрозайане. Вас может быть и еще больше: трое, девятеро, девять тысяч тысяч, не знаю, сколько; *ex necessitate divinae naturae infinita infinitis modis sequi debent*: бесконечное множество форм и проявлений<sup>92</sup>. В этом мире я знаю лишь о двоих. А вы, хоть и изменяетесь, но всегда остаетесь собой.

Он замолк.

— Нет уж, продолжайте, — произнесла она тоном, который словно укрыл ее мысли усыпанной звездчатыми искрами завесой насмешки, как длинные черные ресницы укрывали ее глаза. — Это музыкой ласкает мой слух — внимать любезностям и фантастическим измышлениям, излагаемым столь ученым доктором, как если бы обман чувств и был одним из чувственных удовольствий.

Вандермаст, все еще погруженный в свое видение и будто не слышавший ее, сказал:

— Это очевидная теория, она едва ли ускользнет от внимания даже самого невежественного; вот только ее замечают и проходят мимо, так и не поняв до конца, что же такое увидели. Такой видят башню бродящие по улицам прохожие; однако множество ступеней необходимо преодолеть, *per scientiam*<sup>93</sup>, приложив огромный труд, прежде чем доберешься до ее верха и постигнешь ее суть. И все же, — продолжал он, — немного смысла говорить об этом с вашей милостью, мучительно подбирая слова, будто зазубривший свой урок ученик, — с вами, которая знает все эти вещи лучше моего, притом безо всякого обучения.

— Может, у вас и есть нюх на метафизику, — промолвила леди, — но тут вы взяли ложный след. Я ничего не знаю. Лишь то, что я есть.

— Ваша милость играет со мной, — сказал Вандермаст.

— Я играю со всем вокруг, — ответила она.

Казалось, то, что жило в уголках ее рта, выпустило свою стрелу, а затем вновь укрылось в своем сладостном обиталище. Ее правая рука служила опорой для ее щеки, ее левая рука была отброшена назад, к горделивому изгибу ее бедра, в исполненном безмятежности, божественной красоты и античного величия жесте, изысканном, будто благоухание белой розы, прекрасном, словно золотые цветы.

— Со всем вокруг, — повторила она.

91 Б. Спиноза, «Этика», ч. V, «О могуществе разума, или о человеческой свободе», теорема XVIII.

92 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О Боге», теорема XVI: «Из необходимости Божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами».

93 *Per scientiam* (лат.) — «через науку», «посредством науки».

— И по праву, — медленно произнес этот древний ученый, будто бесе-  
дуя с самим собой. — Ведь это для вас все существующее, omnia quæ existunt,  
сохраняется лишь силою Бога, a sola vi Dei conservantur<sup>94</sup>.

Сонный гул пчел сливался с молчанием. Голос Фьоринды прозвучал,  
как во сне, капающим с сот восхитительным гиметтским<sup>95</sup> медом:

— Возможно, вы правы. Возможно, я и знаю. Как сказала поэтесса:

*σύ τε κάμωσ θεράπων Έρος.*

Она была более скупа на слова, достопочтенный доктор, и, тем не ме-  
нее, полагаю, этим сказала все:

*ты и он, Έρος, служитель мой*<sup>96</sup>.

Графиня Розалура, вспомнив Амбремерин, внезапно припала к золо-  
тым сандалиям с расшитыми в лидийском стиле ремешками, в которые были  
обуты ноги Фьоринды.

Фьоринда, чуть качнув головой, предложила ученому доктору накло-  
ниться поближе.

— Вы верите этой старой истории, — шепнула она ему на ухо, — когда  
валькирии звали с собой короля Хакона, питомца Адальстейна, лежавшего  
при смерти на кровавом поле Фитьяра на Сторде?

*Послал Высокий*

*Гендуль и Скегуль*

*Избрать достойного*

*Из рода Ингви,*

*Кому жить в Вальгалле,*

*В воинстве Одина*<sup>97</sup>.

Неужели король был не рад услышать слова благородных валькирий,  
что восседали верхом, столь прекрасные в своих шлемах и со щитами и копыя-  
ми в руках?

— Этому можно доверять, — ответил Вандермаст. — Deus ex solis suæ  
naturæ legibus, et a nemine coactus agit: Бог действует единственно по законам  
своей природы и без чьего-либо принуждения<sup>98</sup>.

Она рассмеялась и поднялась. Свет ее красоты озарял лицо старика,  
преображая его, как преобразует солнечный свет морозный декабрьский  
день. Каждая черта его лица, каждая вызванная размышлениями морщина,  
впалые глазницы, встопорщенные брови, узкий и похожий на клюв нос и бе-  
лая борода — все словно осветилось ее красотой изнутри, безмятежность ее

94 Б. Спиноза, «Основы философии Декарта, изложенные геометрическим способом», теорема XII.

95 Гиметт — горная цепь в Аттике, в Греции. Окрестности Гиметта славились своим тимьяновым медом.

96 Сапфо, 74, пер. В. Вересаева.

97 «Речи Хакона», пер. О. Смирницкой. В битве у Фитьяра (961г.) норвежский король Хакон I До-  
брый сражался с сыновьями Эйрика Кровавая Секира, разбив их войско, однако сам получил  
смертельное ранение и скончался.

98 Б. Спиноза, «Этика», ч. I, «О Боге», теорема XVII.

окутала его гладкий лоб, испещренный прожилками вен, и выражение его лица преисполнилось духа и силы красоты этой леди, что мерцали и поблескивали в глубине его острых и пронизательных глаз.

— Посмотрим, как пройдет эта встреча, — промолвила она. — Не годится человеку быть израненным до смерти, как тогда в Фитьяре, прежде чем он сможет сорвать и унести с собой розу, достойную Богов, одну из моих пиеррийских роз, дотянувшись до нее в апофеозе крушения всех своих надежд. Сдерните покровы.



При этих словах тень затмила солнечный свет и похолодало, хотя ветра не было. И вдруг деревья, цветы и усыпанные ромашками лужайки, нет, сами стены и твердь земли здесь, в Акрозайане, и высившиеся вдали за озером горы будто истончились, стали нематериальными, хоть и не колеблясь, а оставаясь неподвижными и очертаниями, и текстурой, будто сделанные из синеватого стекла не толще пергамента. Сквозь все это, словно сквозь витраж, проступала нагая анатомия земли, синяя и холодная: уходящие в страшную тишину утесы, омывающие основания утесов волны и груды затонувших сокровищ, остовы кораблей и исполинские черви, терзающие друг друга на морском мелководье. Пропитанный туманами и курящимися испарениями воздух вокруг утесов сотрясали стальные крылья химер, что беспрестанно поднимались ввысь, как поднимаются в вине пузырьки, и пропадали в полосе неба за кромкой пропасти — в ночном небе, хотя здесь, в реальном мире, был день, — и в ночи сверкала хвостатая звезда. Вандермаст и остальные женщины стали, как и все окружающее, синевато-прозрачными, словно тени на воде или привидения мертвецов. Лишь она одна с исчезновением лика действительности сохранила чудесные краски жизни и материальности.

И герцогу, смотревшему на Лессингема через стол переговоров в Илкисе, показалось в тот момент, будто он глядит сквозь множество слоев сна, сквозь множество покровов: тончайший из них — привычная реальность, следующий, словно явленная посредством магического искусства пантомима, — испещренная солнечными зайчиками дорожка среди земляничных деревьев в его собственном саду в Зайане и собравшаяся там компания, далее — основа всего сущего, вздымающаяся меж безднами скала, а на ней — эта женщина, облаченная в огни молний и ночи. И из глаз ее, словно из усыпанных звездами небес, черпал он знание о том, что делает сейчас, будто этими же глазами видел свои действия и не тревожился.

## XI. Габриель Флор

*УСЛОВИЯ КОНКОРДАТА — ПОЛУЗАБЫТЫЕ ГАРМОНИИ —  
ИЗВЕСТИЯ ДОХОДЯТ ДО НАМЕСТНИКА —*

*ВЕЛИКИЙ МОНАРХ И ЕГО НИЧТОЖНЫЙ ПОМОЩНИК — ЯРОСТЬ СОБАК —  
ВЪЕЗД ЛЕССИНГЕМА В ЛАЙМАК — ВСАДНИК ПОВЕРЖЕН*

**Л**ЕССИНГЕМ промолвил:

— Я все подробно изложил вашей светлости. Не скрою, в моих интересах будет собрать принесенные мне удачным исходом этой битвы плоды и насладиться ими вкупе с дружбой вашей светлости, нежели пытаться взобраться повыше и, возможно, сломать себе шею. Однако же ни один из тех, у кого осталась хоть крупница ума, не сможет сказать, будто вы ничего не добились, обнажив меч, но, спрятав его в ножны, — ведь, сделав это, вы вновь завладели всем своим прежним уделом, принадлежавшим вам по неоспоримому праву суверена, а также стали регентом всей Мезрии, за исключением одной лишь Мезрии Внешней.

— Регентом, — сказал Барганакс, — и, по сути, его пешкой, его вассалом и подданным. Нехороший какой-то привкус.

— А кого нельзя таковым назвать? — сказал Лессингем. — Все являются подданными королевы Фингисволда.

— А она — своего опекуна, — ответил Барганакс. Но проигравшим не приходится выбирать; я и сам не стал бы разводить свиней, если бы не собирался отведать их бекона.

— Господин герцог, — произнес Лессингем, — мы давно друг друга знаем. На то, что я выступаю от лица наместника, внимания не обращайтесь: вы имеете дело со мной, не с ним. О том, что я одолел Родера в лутах Лоркана, я уже забыл; забудьте и вы, господин мой. С высоты орлиного полета надлежит нам рассматривать эту ситуацию, и, если что-либо выглядит справедливым и подобающим нашему величию, это нам и следует избрать, не позволив ничему на свете повлиять на наше решение.

Герцог подался вперед в своем кресле, несколько выпятив подбородок, облокотившись правым локтем на стол и подперев голову рукой; левая рука с растопыренными пальцами упиралась в бедро. Вся его поза была полна хладнокровия и кошачьего изящества. Глаза его с расширенными зрачками, похоже то на ястребиные, то на оленьи, влажные и бездонные, то вновь горделивые, безмятежные и безжалостные, подобные львиным, взирали не на Лессингема, но поверх его плеча. Откинувшись на спинку кресла, Лессингем наблюдал за их изменениями, а когда их взгляд, наконец, скрестился с его собственным, показалось, будто на него взглянуло отражение его собственного я.

Герцог заговорил:

— Итак, я подписываюсь под завещанием моего брата (да покоится он с миром), и, поскольку адмирал отказался от должности в мою пользу, прини-

маю регентство в Южной Мезрии, принеся тем самым присягу моей царственной сестре через лорда-протектора на время ее несовершеннолетия. Далее, он, как лично, так и от лица королевы, признает меня лордом Зайаны, а также всего герцогства и всех владений, указанных в этом завещании, без какого-либо сюзеренитета. Сюда же я добавляю еще два пункта, господин Лессингем: первое, адмирал утверждается в звании регента Внешней Мезрии, ибо так сказано в завещании, дабы я был огражден от вмешательства посторонних в дела на моих границах, и второе, наместник должен даровать полное прощение всем, кто обнажил против него оружие ради меня, в особенности это касается графа Родера и канцлера.

— Выбросьте их из головы, — сказал Лессингем. — Немного было от них пользы вашей светлости. Будет только справедливо, если они получат то, что заслужили.

— Что они заслужили, решать мне, — ответил тот. — Я их не оставляю.

— Это никуда не годится; если наше соглашение сорвется из-за людей, которые своими ошибками и проволочками...

— Господин Лессингем, — промолвил герцог, — поберегите свои доводы. Даже если это приведет к краху и полному моему поражению, на иное я не соглашусь.

Тут Габриель Флор прошептал на ухо Лессингему со своего стула чуть позади, у его левого локтя:

— Господин мой, негоже в этом уступать. Его высочество никогда на это не пойдет.

— Жизнь, господин герцог, всегда зиждилась на одном принципе, — сказал Лессингем, не обратив на него внимания: — «Почеши мою спину, а я почешу твою». Подушки трона моего кузена набиты терниями, и наиболее докучливые из них набивала ваша рука: это Эркель и Арамонд. Он помирится с Бероальдом, Родером и Иеронимием и всеми их приспешниками, — тут Габриель прикоснулся к его рукаву, но в испуге отдернул руку под сверкнувшим взглядом Лессингема, — а также утвердит Иеронимия по принесении им присяги его высочеству во Внешней Мезрии на том условии, что вы отзовете этих принцев от плетения интриг там, на севере; ибо всему миру известно, что именно ваши руки дергают за их ниточки, и по вашему повелению они сделают все, что угодно.

— Впишите и это, — согласился герцог, — Договорились. Но вы не должны требовать от меня больше, чем в моих силах исполнить. Что я не стану ни способствовать, ни поддерживать, и все тому подобное — хорошо; что я буду всячески их отговаривать — ладно. Но если они не станут прислушиваться к моим советам...

Лессингем жестом прервал его:

— Стану ли я ожидать, что ваша светлость с войсками вступит в их владения? Ни о чем таком я и не помышлял. Отсутствия поддержки достаточно; подобно еде или питью, это уже их дело — решать, угодить вам или задеть вас. Давайте лишь в целом условимся, что вы не станете покровительствовать их козням. Если воды ручья чисты, ни к чему их отравлять чернилами чрезмерных уточнений.

— Тогда все в порядке, — сказал герцог, вставая.

— Вы назначите кого-нибудь, скажем, графа Медора, чтобы они с Габриелем Флором записали все это?

— Да, Медора, он все помечал для меня, — сказал Барганакс. — Но не забывайте вот о чем, — добавил он, отойдя вместе с Лессингемом к входу в шатер, в то время как остальные занялись бумагами, — Мир этот заключили мы с вами, но это вам предстоит поддерживать его. Если бы дело касалось одного только наместника, я не стал бы изводить чернила и пергамент на конкордат, который он, несомненно, разорвал бы, как только это посулило бы ему какую-либо выгоду. Однако, сдается мне, вы, господин Лессингем, считаете это делом чести и послужите гарантом того, что этот мир сохранится.

— На это, — отозвался Лессингем, — я вынужден ответить так же, как и ваша светлость недавно. Он не подчиняется мне, как ребенок, что держится за юбку своей няньки. Но я торжественно клянусь: насколько это будет в моих силах, он во всем будет следовать этому соглашению.

После этих пышных слов лорда Лессингема они пожали руки. И в тот миг, когда они стояли, скрепляя рукопожатием это примирение, казалось, будто с ними стоит некто третий, не присутствовавший явно, телесно, но странным образом ясно видимый ими друг в друге; и для каждого из них другой терялся, исчезал, растворялся в этой новой сущности. Так они стояли, не втроем — вдвоем. Но для герцога черная борода и мужественный облик Лессингема превратились лишь покрывавшую, но ничего не скрывавшую личину, или в крепость в ночи, оберегавшую то столь знакомое герцогу, и в то же время столь новое, неуловимое, будто цветок, привидевшийся во сне Богу, но еще не распустившийся в Элизии, что выглядывало из ее окон. Таким же виделся и герцог Лессингему, но скорее был он подобен сиянию восхода, нежели бледному свету луны, и ему показалось, будто он слышит некогда забытую чудесную музыку, обретенную вновь и вновь утраченную, как той майской ночью три недели назад, в Акрозайане.

Габриель сел подле него:

— С позволения вашей милости, я бы не хотел больше этим заниматься. У Амори к этому больше способностей, чем у меня.

Лессингем холодно взглянул на него:

— Может быть и так. Но его высочество прислал тебя сюда как раз для такой работы. Лучше бы тебе ею и заняться.

Габриель замялся.

— С вашего позволения, я бы лучше не стал. С вашего позволения, не думаю, что его высочество задумывали все именно так, — произнес он, так и не набравшись смелости поднять глаза выше плеча Лессингема. — Я — лишь жалкий и ничтожный его слуга, а не великий лорд. Может, тут и есть какая-то хитрость, но к разбазариванию выгоды его высочества я бы не хотел прилагать свою руку, да и даже к записи соглашения, с вашего позволения.

— Что ж, тогда поди прочь, — отрезал Лессингем, — ибо я и впрямь чересчур долго терпел твою дерзость, когда ты щебетал и чирикал мне под руку, словно воробей. Поди прочь, убирайся.

Габриель медлил в нерешительности:

— Просто задумайтесь, господин мой...

Лессингем резко повернулся к нему.

— Если не хочешь получить пинка, — сказал он, — поди прочь.

И Габриель весьма поспешно удалился.



Габриель ехал малолюдными путями, двигаясь с большой осторожностью, и потому был уже вечер, когда он миновал окраину леса, где дубы сменяются ольхами и березами, и приблизился к Зеннеру в миле ниже кутармишского моста и всего в десяти милях по прямой от Илкиса, из которого отправился в путь. Его невысокая бурая лошадка переплыла реку; еще через милю он со спокойной душой выехал на большую дорогу и после быстрой скачки с несколькими передышками к ночи оставил позади длинную прямую дамбу, что тянется через болота на юг и на север мимо одинокого укрепленного утеса Аргьянны. В Кеттербю он остановился в обнесенном рвом трактире, чтобы накормить свою лошадь и поужинать пирогами с бараниной, рубцом, сыром и чесноком, а также густым темным пивом. Оставаться на ночлег он не стал, но поехал дальше и уснул, укрывшись плащом, под лунным небом на вересковой пустоши близ Ристбю. Еще до рассвета он уже вновь был в седле, добрался до Сторбю, когда стражники в сторожке у моста только начинали просыпаться, позавтракал в Ангуринге, и, скача во весь опор, через час повстречался с лордом Горием Парри, ехавшим с полудюжиной своих слуг по заливным лугам в лиге от Лаймака.

— Сейчас что-нибудь узнаем, — сказал наместник, когда Габриель скатился из седла, ухватил своего господина за ногу и с неуклюжей почтительностью поцеловал ее. — Вот уже два дня мы питаемся одними сплетнями да домыслами, так что уже и опасаться правды. Скажи мне только одно слово: все хорошо или плохо?

— Ваше высочество, все очень хорошо, — ответил тот.

Окруженный сворой обнюхивавших его башмаки и бриджи огромных собак, он стоял с непокрытой головой, переминаясь с ноги на ногу, и его бегающие глаза то и дело встречались с глазами наместника.

— И это все?

— Я был приучен вашим высочеством отвечать только на то, что ваше высочество изволит спрашивать.

Мгновение наместник смотрел на него пронизывающим взглядом, а затем рассмеялся громким лающим смехом.

— Достаточно знать, что все хорошо, — сказал он, а затем добавил, повернувшись в седле столь резко, что остальные, придвинувшиеся ближе и тянувшие шеи в жажде услышать его новости, комично отпрянули назад, будто почуввав опасность: — Мандрикард, ты и прочие отправляйтесь домой, объявите об этих известиях. Я же еще немного проветрюсь и побеседую кое о каких мелких делах, которые вас не касаются. Поезжайте.

— Нельзя ли нам узнать хотя бы в общих чертах..? — начал граф Мандрикард.

Это был крупный мужчина с лицом цвета бекона, перекошенным ртом, королевской осанкой и звеневшим бронзой голосом, однако слова его замерли на его губах, когда он встретился глазами с наместником.

— Поезжайте, — повторил наместник после секундной паузы.

И они, будучи, как и Габриель, хорошо вышколены, послушно уехали.

— Итак? — произнес наместник. — Каковы итоги?

Тот ответил:

— Итоги таковы, что все их силы разбиты наголову в великом побоище возле Зеннера, в Лоркане, в трех лигах от Кутармиша на мезрийском берегу, а тамошний герцог находится всецело в распоряжении вашего высочества, и вы можете раздавить его своим сапогом, слово лягушку.

Неподвижно сидевший в седле наместник, выпрямившись и озирая долину из-под полуприкрытых ресниц, втянул ноздрями воздух, и обтягивавший его могучую грудь кожаный камзол закрипел. Его усыпанное веснушками лицо пылало, будто заря перед ненастьем.

— Хорошо сработано, — сказал он.

Затем он встряхнул поводьями и неспешно поехал на восток по ведущей к горе тропке. Габриель забрался в седло и последовал за ним.

— Так герцог схвачен, или как?

Габриель ответил:

— Я бы предостерег ваше высочество от поспешных заключений. Нет, не схвачен, и теперь уже едва ли будет. Но возможность была.

— Возможность была? — переспросил наместник, повернувшись к нему.

Габриель хранил молчание.

— Когда была эта битва? — спросил наместник.

Тот ответил:

— В субботу, пять дней назад.

И пока они ехали, он рассказал обо всем по порядку, вплоть до приезда герцога из Румалы в Илкис.

— Клянусь Сатаной! — воскликнул наместник. — Если бы я был там, едва ли стал бы я так с ним церемониться. Как по мне, эта побочная линия в Мезрии чересчур разрослась. Да я бы, пожалуй, поддался соблазну снести ему голову, пока Бог давал мне такую возможность; один галлон пролитой крови избавил бы нас от океана хлопот в дальнейшем.

Несколько минут они ехали в молчании. Затем он заговорил:

— И чем все кончилось? Безусловной капитуляцией?

— Это вряд ли, — сказал Габриель.

— Чем же тогда? — спросил наместник.

— Пожалуй, — произнес Габриель, обнажив зубы, словно хорек, — вашему высочеству лучше всего будет подождать возвращения господина Лессингема. Он вне всяких сомнений разрешит все ваши вопросы.

Постукивание копыт их лошадей по камням в русле ручья, который они пересекали, отмерял мгновения тяжелой тишины. Бросив косой взгляд, Габриель заметил, что наместник, распрямившийся, подобный быку и будто высеченный из гранита, пристально смотрит с непроницаемым видом вперед меж ушей своего коня, и уже не столь густой румянец заливает светлую кожу его веснушчатого лица. Взглянуть снова Габриель не осмелился. На дальних болотах прокричала выпь.

— Лучше мне подождать? — медленно и тихо пророкотал наместник.

Прикусив губу почти до крови, Габриель застыл, приподнявшись на стременах, втянув голову в плечи, так что его борода обратилась к небу. Наместник рассматривал его змеиным взглядом, его тонкие губы ослабли в ухмылке.

— Я тебя пока еще не тронул, — промолвил он.

Его рука бронзовыми тисками вцепилась в локоть Габриеля, большой палец жестоко и со знанием дела нашаривал мягкую ткань меж костями, а затем, найдя наиболее болезненное место, вонзился в нее, словно клюв. Кожанный рукав уберет Габриеля от кровопролития, но не от боли. Он скорчился, ударившись лбом о луку седла, потом снова выпрямился резким движением, будто кукла на веревочках.

— Я не могу, — выдавил он, — не могу.

Рука наместника чуть ослабла, но продолжала сжимать его, словно железный капкан.

— Так я могу подождать? — повторил он все тем же тихим рокошущим голосом. — Чего там, ведь я могу и потерпеть, да, дорогуша? Нет уж, я не желаю слушать твоих уверток. Ты выложишь мне все, дружок, или я раскрою тебя, чтобы посмотреть, какого цвета у тебя кишки, как я поступал с другими у тебя на глазах. Итак, ему возвращен его удел?

— Да, — проговорил Габриель, — и без каких-либо условий... без сюзеренитета.

— Будешь так на меня пялиться, — прогремел наместник, — и я скормлю тебя собакам. Все, что случилось, случилось потому, что я так решил, и не такой швали как ты обсуждать или комментировать это.

— Вашему высочеству не нужно обрушиваться на меня, кто никоим образом к этому не причастен. Ибо есть и более худые вести.

— Так выкладывай поскорее, — сказал наместник. — Это я так решил, слышишь? Помни об этом, если хочешь, чтобы тебе не распорол брюхо.

Габриель заговорил:

— Во-первых, регентство.

Натянув вожжи, наместник осадил своего коня, едва не поставив того на дыбы. Габриель молчал, глядя своему хозяину в глаза, напоминавшие глаза готского напасть быка.

— Пресвятые Боги! А я уже не могу пожаловать ему регентство, не спросив разрешения у тебя?

На какой-то момент мысли Габриеля были настолько заняты тем, как убереечь собственную шкуру, что он ничего не сказал.

— Регентство чего, дуралей? — спросил наместник.

Они приближались обратно к дороге. Габриель ответил:

— Большой части Мезрии, но под сюзеренитетом вашего высочества.

— Большой части? Это как понимать? Земли к югу от Зайаны, южнее перешейка? Мемизон? Входят ли туда Сестола и прочие порты, что дадут ему ключ к морю? Это был весьма благоразумный ход — загодя разместить адмирала в Сестоле, подрезав тем самым крылья Зайане. Говори, дуралей! Какой части, олух?

— Всех частей, — выдавил тот, весь съежившись в этой железной хватке. — Всего, что лежит к югу от гор, от Руйара до Салимата.

— А что насчет севера?

— Иеронимий утвержден в качестве регента по принесении им присяги вашему высочеству.

— Ха, и как по-твоему, это правильно?

— Это дела вашего высочества, не мне их обсуждать.

— Чертова паршивая свинья, отвечай по существу, или придется вы-

резать тебе язык: правильно ли было доверять мои границы этому болвану, чтобы Зайана помыкала им, как обезьяна котом<sup>99</sup>?

Габриель уставился на него с бесстрашием загнанной в угол ласки.

— Мне обязательно отвечать?

— Обязательно.

— Тогда, — произнес Габриель, — я отвечу вашему высочеству. Да, это было правильно.

— Это еще почему? — спросил наместник. — Отвечай, мерзавец, тебе же лучше будет.

Габриель сказал:

— Отпустите мою руку, тогда отвечу.

Наместник оттолкнул его с такой силой, что тот едва удержался в седле.

— Потому что, — заговорил Габриель, — ваше высочество все равно даровали свободу, мир и прощение Бериальду с Родером, а также уполномочили господина Лессингема сдать вас на милость Барганакса, уступив тому все, как будто это вы, а не он, были побежденной стороной, — этого я проглотить не мог, и потому уехал...

— Это ложь! — воскликнул наместник. — Как?! Пайвакет! Элемаузер! Пятнистая Башка! Сюда! Сюда! Куси его! Взять! Взять!

Габриель едва успел выхватить свой кортик, когда собаки набросились на него. Одну он убил размашистым ударом сверху вниз, но в следующее мгновение другая вцепилась в запястье руки, сжимавшей эфес. Его лошадь встала на дыбы и рухнула наземь; Габриель вовремя соскочил, но прежде, чем он успел подняться на ноги, они опрокинули его и с ужасным рыком принялись терзать его, будто лисицу. Наместник спрыгнул с седла, отзывая их, стегая направо и налево своим хлыстом; в тот же миг они подчинились, покорные, виновато поглядывая на него — все, кроме Элемаузера, который успел отведать вкуса крови. Огромный, желтошерстый, похожий на волка, рычащий и пускающий слюни, он припал к земле для очередного прыжка. Наместник схватил его за загривок и отшвырнул в сторону. Тот поднялся на ноги, оцетинившись, выкатив свирепые глаза, прижав уши и тяжело дыша. Наместник шагнул к нему, подняв хлыст, и тот, подобравшись, прыгнул, целясь ему в горло. Они упали и покатались, будто сцепившиеся в яростной схватке волк с медведем. Несмотря на свое могучее сложение, наместник едва превосходил пса весом костей и мышц, но вскоре стало ясно, что он более проворен и ловок, нежели волк, несравнимо более силен, а теперь и столь же кровожаден и безжалостен. И недоброй музыкой раздавалось рычание, пыхтение и кряхтение наместника, и лязг зубов огромного задыхавшегося зверя, ибо наместник, оказываясь в этой борьбе за превосходство то сверху, то снизу, не дрогнул и не

99 Отсылка к басне Ж. Лафонтена «Обезьяна и кот», в которой Обезьяна заставляет Кота таскать каштаны из огня.

ослабил железной хватки своей правой руки на горле пса. Понемногу, обретая новую точку опоры, он сжимал ее все крепче, и вдруг музыка изменилась: его левая рука нашла свою цель, сделав еще более жестокий и хитроумный захват. Наконец, придушенные взвизгивания превратились в клокотание и затихли. Наместник, уже оказавшийся наверху, припал лицом к своему противнику, и, как утихомиривается в своем сердце вихрь, эти сплетшиеся воедино в дергающуюся мешанине из рук и лап пес и человек замерли. Габриель наблюдал, как напряглись под щетиной коротко остриженных рыжих волос могучие мышцы на шее наместника, словно мышцы пирующего льва, как с фырканием и шумом врывалось и выходило из его ноздрей дыхание. Наконец, он приподнялся на руках и коленях. Пес был мертв, его горло прокушено.

Наместник встал. Он сплюнул, вытер рот рукавом, одернул на себе рубаху, подошел к своему коню и не спеша взобрался в седло. Затем, подхватив поводья, взглядом приказал Габриелю также сесть на лошадь и отправляться следом за ним. Неторопливым шагом они двинулись к Лаймаку. Целую милю они проехали, не проронив ни слова. Затем наместник произнес:

— Ты, дорогуша моя, привыкни помалкивать и заниматься своим делом, а не лезть туда, где тебе не место. И помни, или я тебя прикончу: все это до самой последней мелочи было сделано по моему указу и распоряжению. Слышишь меня?

— И слышу, ваше высочество, и повинуюсь, — ответил тот.

— И покажи эту свою руку лекарю, когда приедем домой, — сказал наместник. — От собачьих укусов и заражения помогает жабий камень<sup>100</sup>.

И, не произнеся более ни слова, сопровождаемые огромными собаками наместника, они, проехав по лугам, достигли, наконец, Лаймака.



Была середина третьего дня со времени вышеописанных событий. Лессингем и Амори остановились перед Узким Путем. Амори произнес:

— Я бы отдал все, что у меня есть, если бы вы сейчас повернули назад.

Лессингем рассмеялся.

— Если бы с нами была хотя бы половина нашей конницы, ваши собственные испытанные бойцы, это еще было бы безопасно, но идти туда в одиночку, с какой-то дюжиной человек, значит, искушать судьбу. Это крайняя глупость — засовывать свою голову в медвежью пасть.

— И что в этом такого, милая нянечка? Разве я уже раз пятьдесят не гостил в доме моего кузена, и разве не вели мы себя, как и подобает кузенам, а не вооруженным до зубов врагам?

— У него не было повода, а теперь он есть.

— Да ну, разве не вести о полном примирении привез я ему?

---

<sup>100</sup> Мифический камень, по поверьям встречающийся в голове у жабы и служащий средством от отравлений.

- Слишком полное примирение ему претит.
- Примирение это, — промолвил Лессингем, — я буду отстаивать перед всеми самыми искусными придирами мира.
- Он скажет, что вы были чересчур щедры за его счет. И помните, его лис-помощник первым делом помчался к нему с новостями; он подаст все в наихудшем свете.

Лессингем сказал:

— Я и за свой счет был бы столь же щедр. Что касается лисиц, я с ними дел не имею и внимания им не уделяю, — он тронул вожжи, и Мадалена осторожно ступила на Узкий Путь.

Следующие полчаса дорога за Ангурингом пролегла в приятной зеленой тени буковых лесов, перемежающихся каштанами, дубами и сикоморами; река Аул вилась меж скалистых берегов слева от них. Потом леса поредели, а сверкающая река запетляла по заливным лугам, где паслись или лежали на траве рассеянные стада черных коров, казавшихся на расстоянии совсем крохотными. В полях, окруженных тянувшимися по обе стороны голыми стенами, здесь и там виднелись белые хутора, далее простирались высокогорные пастбища и скалы. Кое-где люди заготавливали сено. Не было ни ветерка, и голубоватые дымки висели в воздухе неподвижно. Подножия гор были усеяны пасущимися овцами. Высившиеся справа гребни Форна, в полуденном свете не отбрасывавшие теней, приобрели на фоне небесной голубизны персиковый оттенок. Лессингем с Амори ехали впереди, в сотне или более шагов от своих спутников. Лессингем был в своей кольчуге из вороненого железа с золотыми цепочками на шее и запястьях. На нем был невысокий воротник медового цвета. Он ехал с непокрытой головой, наслаждаясь свежим воздухом, везя свой шлем на седельной луке. Люди в полях останавливались, чтобы поприветствовать его, когда он проезжал мимо.

Обогнув холм, они подъехали к последнему домику. Он стоял справа у дороги. Слева над домом тенистой аркой нависали три сикоморы, старые и без нижних веток, и дорога, проходя между этими деревьями и домом, скрывалась из виду за гребнем холма. И сквозь эту арку, словно на заключенной в рамку картине, они могли видеть Лаймак, скорчившийся на своей скале, голой и враждебной с вида, бледной в солнечных лучах и укрытой холодными голубыми тенями. При виде этого Амори содрогнулся, несмотря на теплое солнце, и, разлившись на себя за это, выругался вслух. А дорога за этим последним хутором превратилась просто в верховую тропу, и не осталось больше вокруг полей, лишь вересковые пустоши, топи да заросшие сорняками луга, перемежавшиеся полосами буйной травы, осокой и торфянистыми прудами. Резко вскрикивали лысухи, вспархивали дикие утки, медленно взмахивая крыльями, тяжело набирала высоту цапля. С травянистой лужайки в сотне шагов справа

от них воровато поднялись три вороны, тут же умчавшиеся прочь. Амори задержал взгляд на этом месте.

— Падаль, — произнес он, когда они подъехали ближе. — Одна из его ужасных собак. Это знак.

Лессингем проехал мимо, едва взглянув на труп.

— Почему бы тебе не разучить новую песню, Амори? — сказал он. — А то погрязнешь в пучинах уныния и умрешь от собственных дурных предчувствий.

Наконец они приблизились к замку Парри и двинулись на север, к сторожке, а оттуда по вырубленной в скалах тропе к главным воротам на северном утесе. Там Лессингема встречал наместник со своими людьми. Наместник был в коричневой бархатной рубахе, подпоясанной серебряным поясом. На его плечах был огромный плащ или мантия из красного китайского шелка, а на голове — золотой венец. Он был настолько несвойственно себе почтителен и вежлив, что придержал узду, пока Лессингем спешил, а затем заключил того в свои объятия и расцеловал. Потом он повел его за собой в свои личные покои над Вратами Хагсбю.

— Нет, — промолвил он, когда они остались там одни, — я не желаю и слушать Габриеля. Я хочу услышать все из твоих собственных уст, кузен. И самое первое: все в порядке?

— Все не так уж плохо, — ответил Лессингем, наливая себе немного вина.

— Это победа?

— То, что я приехал домой, послужит тебе подтверждением этому. Ты помнишь, чтобы я когда-нибудь складывал оружие, если работа была выполнена только наполовину?

— Ты обещал вложить в мои руки Внешнюю Мезрию в течение месяца. С тех прошло не более трех недель. Я не Гризель Прожорливое Брюхо, чтобы требовать невозможного, но, надеюсь, что-то ты мне да привез.

— Внешнюю Мезрию? Я обещал столь мало? — откликнулся Лессингем. — Если это тебя устраивает, кузен, то ты будешь еще более доволен, когда поймешь и обдумаешь вот это, — с этими словами он вытащил из-за пазухи скрепленный печатями пергамент.

— Читать я умею, — сказал наместник, — пусть и не так уж хорошо, но кое-как могу, — и он протянул руку, чтобы взять бумагу.

— Сперва я перескажу тебе все в общих чертах, — сказал Лессингем.

— Нет, — возразил наместник и взял пергамент. — Если какие-либо слова покажутся мне непонятными, ты разъяснишь их, кузен. Мне больше нравятся голые факты, а рюшечки и оборочки ты приделаешь к ним потом.

Он начал читать, откинувшись на спинку своего огромного кресла. Пока он читал, лицо его было открыто, словно книга; на него падал свет из окна,

подле которого они сидели, и Лессингем наблюдал за ним, потягивая свое вино. Ни одна тень не нарушила величавой безмятежности лица наместника и не изгнала спокойствие из морщинок и складок у его глаз, носа и щек, что от одного дуновения недоброго ветерка преисполнялись звериной жестокости. Не прозвучало в его голосе и какой-либо новой нотки, когда он, прочитав и перечитав пергамент, наконец, заговорил:

— Эта бумага содержит в себе конкордат между мной, действующим в рамках моих полномочий наместника и лорда-протектора королевы, с одной стороны, и герцогом Барганаксом и (когда они его примут) прочим сбродом, а именно, Иеронимием, Родером и Бероальдом, с другой?

— И в случае, если кто-либо из них в течение пятнадцати дней не примет его, — сказал Лессингем, — конкордат теряет силу, развязывая всем руки. Вот почему я все еще держу войска на Зеннере. Но если они его примут, опасаться нечего.

— И выполнен он тобою в двух копиях, кузен, на основании полной доверенности от моего лица? И у герцога Зайанского есть моя печать, как у меня — его?

— Да, — сказал Лессингем.

Наместник позволил пергаменту упасть на стол и хлопнул в ладоши. В тот же миг шесть вооруженных людей набросились на Лессингема из-за спины и, прежде чем он пошевелил и пальцем, заковали его по рукам и ногам в цепи и кандалы. Лессингем увидел, как вслед за ними появился Габриель Флор, тут же подошедший к своему хозяину. Наместник вскочил с кресла, будто рыщущий тигр. Он хлестнул Лессингема пергаментом по щеке. На мгновение лицо того исказилось ужасным гневом; он не шелохнулся и не произнес ни слова, но смертельно побледнел. Справившись с собой, наместник снова сел. Подлокотники кресла тряслись и дрожали в его руках. Он бросил пронзительный взгляд на Лессингема. К тому вернулся его обычный цвет лица, а в серых глазах читалась непоколебимость стали.

Наместник открыл рот и, запинаясь, заговорил; слова его звучали невнятно, будто он перепил вина:

— Я чересчур доверял тебе. Но неразумно было с твоей стороны являться ко мне, чтобы лицом к лицу сообщить о своей измене, которая, клянусь Богами, смердит сильнее, чем вся падаля этого мира. Но ты убедишься, что с такими законченными негодьями у меня разговор короткий. Под стражу его! В течение часа перерезать ему горло. Порубить его труп на корм собакам, а голову насадить на кол над главными воротами. Я полюбуюсь на нее перед ужином.

Габриель трясся и извивался всем телом, будто терьер на берегу утино-го пруда. Наместник обернулся к нему, затем снова взглянул на Лессингема, который был на голову выше заковавших его в цепи солдат. Даже на краю мо-

гилы он сохранял величие и присутствие духа, как будто был создан из железа, глядя на наместника словно бы сверху вниз, и в его внимательных испещренных крапинками серых глазах, проступило некое подобие улыбки, будто он услышал нечто, не являвшееся правдой.

— Ну что, — сказал наместник, — неужто тебе нечего сказать?

— Лишь одно, — ответил тот. — В твоих обычаях было принимать важные решения на свежую голову. Похоже, Боги истощили твой пронизательный разум, если ты сейчас собираешься причинить необратимое зло и себе и мне, даже не поразмыслив до утра. Когда ты следовал моим советам прежде, худа из этого не выходило.

Наместник сердито взирал на него, будто гранитный бык; глаза его больше не были устремлены в глаза Лессингема, но смотрели ниже, на его рот или бороду. Стражник, послушный тайному знаку от Габриеля, хотел было увести Лессингема прочь. Внезапно наместник обернулся, и, ухваченный за локоть, Габриель весь съезжился в бронзовых тисках его руки.

— Стоять, — приказал он. — Я не позволю правде ускользнуть от меня, даже если на нее мне указывает лживый мерзавец. Завтра ничуть не хуже, чем сегодня. И для верности именно тебе, Габриель, я его вверяю. И не сомневайся, я спрошу с тебя по всей строгости за то, как ты с ним обойдешься. За его жизнь и неприкосновенность ответишь собственной жизнью. Вот ключи, — и он швырнул их на стол.

Нахмурившись, Габриель взял их с видом побитой собаки.



## ХII. Благородные родичи в Лаймаке

СОН НАМЕСТНИКА - ПОЛУНОЧНЫЙ СПОР — АДАМАНТ СОКРУШАЕТ АДАМАНТ -  
ВСАДНИК ВНОВЬ В СЕДЛЕ — «ПОЗНАВШИЙ ХИТРОСТИ ПЛОДЫ»<sup>101</sup> —  
БРАЧНЫЙ ПОЛЕТ САПСАНОВ — ПОЛКОВОДЕЦ ЛЕССИНГЕМ —  
УСТРЕМЛЕНИЯ ЛОРДА-ПРОТЕКТОРА — ПИРУШКА И ВСТРЕЧА НА ЗАРЕ —  
НА СЕВЕР

**Л**ОРД Горий Парри проснулся между полночью и первыми петухами, мучимый неким тревожным и неприятным сновидением. Сон его начинался так: Габриель сидел у его ног, читая книгу «Илиада», где описывалась кончина леди Симэ, с которой произошло (и тут Габриель, не зная смысла этого греческого слова, спросил его, что оно означает). И хотя, проснувшись, слов он не помнил, зная к тому же, что в «Илиаде» нет такой истории и такой леди, но во сне ему казалось, будто означало оно «выпотрошена как собака». После этого наместнику вспомнилось во сне древнее сказание о Сванхильд, дочери Гудрун, что некогда вышла замуж за конунга Ёрмунрека и по лживому навету Бикки была осуждена тем на смерть через растоптание лошадыми у городских ворот; однако под взглядом ее прекрасных глаз лошади не посмели растоптать Сванхильд, но обходили или переступали ее, покуда Бикки не распорядился набросить ей на голову скрывший ее глаза мешок, после чего та была растоптана насмерть<sup>102</sup>. Потом сновидение стало беспокойным и неясным, как смазываются отражения и цвета в воде под дуновением ветерка; когда же все вновь прояснилось, перед ним простерлась окаймленная горами равнина, залитая ласковым светом вечернего солнца, посреди нее на небольшой возвышенности стоял стол, а у стола — три трона. И наместнику показалось, что он видит себя восседающим на троне слева, и во сне он знал, что он — король; равнина же была заполнена собравшимися зачем-то людьми, замершими в молчании, — полчищами, несметными, как песчинки в море. И наместник взглянул на себя, короля, и увидел, что и внешностью и нарядом подобен огромным древним каменным изваяниям ассирийских властителей, длинная борода его туго завита, а рубаха и пояс, украшенные всевозможными драгоценными камнями, сияют зелеными, пурпурными и огненно-красными искрами; и на вид он суров и безжалостен, а зубы его сверкают белизной. Но вот перед тронами появилась женщина, прекрасная как луна, облаченная в такие же сверкающие одеяния, как и у короля; и во сне он знал, что это и была леди Симэ, а присмотревшись к ней повнимательнее, он увидел (но без удивления, как бывает во снах, когда самые необычайные и изумительные чудеса, самые невероятные и смехотворные фантазии, кажутся заурядными и обыденными), что это был Лессингем. Показалось ему, что эта женщина-Лессингем поклонилась королю и заняла место на троне справа; и тотчас же увидел он на третьем троне

101 Дж. Уэбстер, «Белый дьявол», акт I, с. 2 (пер. И Аксенова).

102 Пересказывается эпизод из «Саги о Вельсунгах».

королеву, восседавшую между ними так, будто она была королевой ада. Она была облачена в такой же усыпанный драгоценными камнями наряд; волосы ее были цвета жидкой грязи, близко поставленные глаза подобны двум камушкам, нос прям и узок, губы тонки и бледны, лицо худощаво и с мелкими чертами; на лице этом застыло выжидательное, торжествующее выражение, и она была ему отвратительна. Тут к тронам вышли люди, несшие на массивной подставке или мольберте картину в рамке, и показали ее этой величавой леди; и наместнику почудилось, будто она в ужасе вскрикнула и прикрыла свои глаза руками, а люди повернули картину, чтобы ее увидели все, и он не мог разобрать на ней ничего, кроме надписи огромными буквами: *UT COMPRESSA PEREAT*<sup>103</sup>. И ему показалось, будто весь этот сонм, все эти тысячи людей взвыли, словно волки. И он закричал и проснулся, сидя во мраке на своем укрытом пологом ложе в Лаймаке, сотрясаясь и обливаясь потом.

С минуту он сидел так, прислушиваясь к темноте, что пульсировала, как будто нечто огромное кануло в омут ночи, кровь стучала в его висках, словно крути на воде. Затем, грязно и непотребно выругавшись, он нашарил огниво, высек огонь и зажег свечи, что стояли в серебряных подсвечниках на столе возле кровати. Рядом с ними лежал его меч, а также стояли кубок и пузатая винная бутылка из зеленого стекла с золотой затычкой. Пока не растаяло сало, пламя вновь зажженных свечей потускнело, и неверные тени притаились в уголках комнаты и под сводчатым потолком. Порыв ветра шевельнул занавеску на окне. Свечи разгорелись сильнее. Разбуженная воплем, Пайвакет покинула свое место у изножья кровати и положила свою морду ему на бедро, глядя на него большими выразительными глазами, блестящими в ярких лучах свечей. Наместник налил себе полный кубок вина и опорожнил его одним глотком. Затем он поднялся и некоторое время стоял, глядя на пламя свечей и будто прислушиваясь. Наконец он натянул бриджи и халат, подпоясался мечом, зажег фонарь и отодвинул засов. Габриель был на своем месте у двери; он спал на своей постели, расстеленной на полу сразу за порогом. Наместник пинком ноги разбудил его и приказал дать ключи. Тот молча протянул их ему и хотел было пойти с ним, но наместник, сердито рыкнув, заставил его остаться. Заметив его взъерошенный вид и меч у его бедра, Габриель остался наблюдать, как он со своей следовавшей за ним по пятам сукой миновал переднюю и вышел через дальнюю дверь, что вела в его личные покои, а когда он скрылся, вновь уселся на свое убогое ложе, облизывая губы.

Наместник спустился потайными ходами к темнице, куда заточили Лессингема, вошел туда при помощи своего ключа и запер дверь за собой. Лессингем лежал в дальнем углу; его лодыжки были прикованы к свинцовому шару размером с два кулака. Левая рука его была свободна, но другое запястье

<sup>103</sup> *Ut compressa pereat* (лат.) приблизительно означает «твоя возлюбленная погибла».

обхватывал наручник, от которого к ноге тянулась цепь. Его скатанный плащ из дорогой шелковой материи служил ему подушкой. Наместник приблизился. Все еще находясь во власти своего сновидения, он стоял, глядя на Лессингема и прислушиваясь к звуку его дыхания, будто внезапно охваченный страшным сомнением. Тот лежал на камнях пола в полной тишине, и столько силы, столько гибкости и величия таилось в его членах, в его груди и плечах, что заплесневелая сырость этого места, его мокрые стены со сверкавшими в свете фонаря струйками влаги, будто подпали под влияние его присутствия и казались даже в чем-то красивыми. Однако спал он столь неподвижно и тихо, что и будь он мертв, едва ли мог бы быть более неподвижен. Пайвакет тихо зарычала. Наместник ухватил ее за загривок и посветил Лессингему в лицо. Тот тут же проснулся и в полном спокойствии воззрился на наместника.

Каждый хранил молчание, ожидая, пока другой нарушит молчание. Терпения у Лессингема в этой игре оказалось больше, нежели у наместника, и тот заговорил:

— Я тут поразмыслил, кузен, и, если есть что-либо, что могло бы послужить тебе оправданием, то я готов это выслушать.

— Оправданием? — переспросил Лессингем, и голос его был ледяным, словно первые отблески зимней зари на замерзшем море.

Поскольку фонарь держал наместник, его собственное лицо оставалось в тени, глаза же Лессингема были ярко освещены. Это были глаза человека, которого монарху скорее впору было бы утраститься, чем устыдиться, такое величие и властность придавали они его лицу в сравнении с прочими смертными.

— Стало быть, за пределами этой дыры, в которую ты меня бросил, наступило утро?

— Два часа пополуночи.

— Хоть это можно записать на твой счет, — промолвил Лессингем. — Какая любезность с твоей стороны — в этот ночной час подняться с постели, чтобы принести мне извинения. Прошу, отомкни, — и он протянул свое прикованное к цепи правое запястье. — Таких побрякушек я никогда раньше не надевал и не слишком-то они мне по вкусу.

— Мы еще успеем это обсудить, — сказал наместник. — Сначала я послушаю, под каким благовидным соусом подашь ты ту дурную шутку, что со мною сыграл.

Глаза Лессингема сверкнули. Он протянул ему свое запястье, словно королева камеристке.

— Дурную шутку, — воскликнул он, — сыграл со мной ты! Клянусь небесами, сначала ты освободишь меня. Поговорим снаружи.

Наместник помолчал, лицо его было нахмурено:

— Куда больше милосердия внушал ты, кузен, лишь только что, пока спал. Поосторожнее, ведь у меня достаточно доводов против тебя, и даже более чем достаточно, так что уж постарайся меня убедить. Ибо если ты этого не сделаешь, будь уверен, живым ты отсюда не выберешься.

— Тогда тебе лучше было бы побережь свой сон, да и мой тоже, — отозвался Лессингем и одернула свой плащ, будто собираясь снова улечься.

Наместник принялся расхаживать взад и вперед, словно волк.

— Утверждать, будто я тебя предал, — либо простодушие, либо злобное бесстыдство, а так со мной обходиться — непростительная наглость. Посему касательно этого конкордата я и слова не скажу, куда меня не выпустят, и ни при каких иных условиях.

Наместник остановился и с минуту стоял неподвижно, затем издал короткий смешок.

— Позволь напомнить тебе, — сказал он тихо и отчетливо, светя фонарем Лессингему в лицо, — о принце Валеро, том самом, что несколько лет назад сдал Аргьянну улыбцам и поднял мятеж против меня. Боги предали его в мои руки. Ты знаешь, как он кончил, кузен? Вряд ли, ведь об этом известно лишь мне да четверым моим знакомым тебе глухонемым, что присутствовали при этом, а больше я никому до сих пор об этом не рассказывал. Видишь этот крюк в потолке? — и он взмахнул фонарем. — Не стану утомлять тебя подробностями, кузен. Боюсь, не обошлось без некоторой жестокости. Такой уж у меня склад ума: люблю позабавиться. Но полы мы с тех пор вымыли.

— Итак? — произнес он после паузы.

— Итак, — отозвался Лессингем; теперь он не спускал с наместника своих холодных как сталь глаз, — твой рассказ я выслушал. Манера его изложения делает тебе честь, содержание — едва ли.

— Поостерегись, — взревел вдруг наместник, смерив того недобрым взглядом. — Положение, в котором ты оказался, место, где ты находишься — а это моя потайная камера пыток — подумай над этим. Я могу и стереть ухмылку с твоего смеющегося лица.

— Я не смеюсь, — ответил тот. — Смеяться тут не над чем.

Они смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова. И в этой игре Лессингем также одолел наместника.

Затем Лессингем промолвил:

— Пойми меня правильно. Если я и не боюсь тебя, то я все же не так уж глуп, и не считаю тебя недостойным того, чтобы тебя боялись. Но, угрожая мне расправой, ты уподобляешься маленькому мальчику, который сидел на суку и хотел этот самый сук с дерева срубить. Полагаю, у тебя хватит ума так не поступать.

В гробовой тишине, широко расставив ноги, наместник стоял подобно колоссу, взирая на Лессингема сверху вниз. Лицо наместника находилось сей-

час в тени, потому, когда Лессингем вновь заговорил, казалось, будто он обращается к самому нависшему над ним мраку:

— Знаю, это нелегкий выбор для тебя, кузен. С одной стороны, у тебя нет ни одного настоящего друга в этом мире, кроме меня; потеряй меня, и ты останешься один на один с целым миром, и спина твоя будет не защищена от врагов. И все же, несмотря на это, ты нанес мне грубое оскорбление, а меня ты знаешь за человека, который, хоть и взирал на этот мир вдвое меньше лет, чем ты, уже убил людей в поединках в защиту чести не менее, чем загубил или замучил ты сам. Думаю, за последние восемь лет, с тех пор, как мне исполнилось семнадцать, я прикончил с дюжину, не считая тех, что я сразил в битвах. Так что, если ты судишь обо мне по себе, то наверняка видишь, как опасно для тебя освободить меня. Нелегкий выбор. В обоих случаях ты рискуешь меня потерять. Однако если поступишь по-моему, у тебя еще будут какие-то шансы сохранить меня при себе; если по-своему — никаких.

Когда он замолчал, наступила тишина. Затем наместник заговорил, хотя лицо его по-прежнему оставалось во тьме:

— Странный ты человек. Тебя, что, не пугает смерть?

Лессингем ответил:

— Страх смерти хуже самой смерти.

Наместник сказал:

— Неужели тебе все едино, жить или умереть? Тебе все равно?

— О нет, — промолвил Лессингем. — Мне не все равно. Но выбор этот, кузен, теперь находится в руках судьбы, и зависит от него не только моя жизнь, но и твоя. Что касается меня, то если на костях выпадет смерть... что ж, я всегда делаю все, что в моих силах.

Когда звуки его голоса замерли в тишине, казалось, будто в этом склепе под Лаймаком, что не знал ни дня, ни ночи, заколебались весы, клонясь то в одну сторону, то в другую. Затем, медленно, словно придя к некоему решению, которое давалось ему весьма непросто, наместник повернулся к двери. Тень взметнулась позади него и застыла в неподвижности крылатой мрачной фигурой, погрузив во тьму половину камеры от стены до потолка. Потом он исчез, дверь закрылась, и стало темно; и в темноте этой Лессингем разглядел глаза Пайвакет, плававшие, словно два угля. Он протянул к ней руку, ладонью вниз. Ее саму он видеть не мог, только ее глаза, но почувствовал, как она осторожно обнюхала, а затем легонько дотронулась до тыльной стороны его ладони своим холодным носом.

Наместник поднялся до середины лестницы, когда хватился ее. Он окликнул ее, затем замер, прислушиваясь. Ругаясь себе в бороду, он уже было повернул обратно, но, спустившись на несколько ступеней, снова остановился, помахивая ключами. Потом, очень медленно, он продолжил подниматься по лестнице.

Рано утром наместник распорядился привести Амори из камеры, куда того заточили, приказал Габриелю и шестерым верным людям ждать в передней, отдал Амори, когда они остались одни, ключи от темницы Лессингема и показал ему потайную дверь, несколько раз прошелся по комнате, не поднимая глаз от пола, а затем сказал:

— Ты свободен, лейтенант. Отправляйся к своему хозяину, тебя проведут Габриель и его люди. Снимите с него цепи, вот ключи. Расскажи ему все. Скажи, что я сожалею. Шутка зашла слишком далеко. Мы с ним друзья и между нами полное взаимопонимание. Потому нам надлежит вести себя, как будто ничего этого не было. Скажи ему, мы с ним оба — люди гордые. Я сделал большой шаг ему навстречу; теперь его черед помочь мне.

Амори заговорил, его лицо пылало:

— Покорно благодарю ваше высочество. Я всего лишь солдат, и скажу лишь одно: господин мой — верный и преданный друг вашего высочества. Что весьма странно. И в тысячу раз лучше, нежели вы заслуживаете.

— Ты все запомнил? Повтори, — велел наместник, не замечая — или предпочтя не показывать, будто заметил, — эту вызывающую дерзость.

Когда Амори повторил его послание слово в слово, наместник, по-прежнему расхаживавший по комнате, сказал:

— Поди прочь.

Лессингем проснулся и вышел на волю с беззаботностью и невозмутимостью человека, который встает со своей привычной постели, на которой, ночь за ночью, мирно проспал десять лет. Лишь в глазах его лучилось некое застенчивое выражение; он будто улыбался самому себе, словно скульптор, наблюдающий, как его творение обретает форму в соответствии с его замыслом и воплощением. Амори сидел в его покоях, пока он умывался и облачался в чистое белье.

— Слава благим Богам, — промолвил он, отходя от ушата, в котором смывал с себя мыльную пену, — за то, что мои волосы выются от природы, не то, что у этих щеголей, которые часами сидят у цирюльника, тщась добиться того же искусственно.

Его кожа, там, где ее не опалило солнце и не скрывали его черные волосы, была бела, как слоновою костью. Насухо вытершись полотенцами, он крикнул:

— Слуга! Сиреновой воды для моей бороды! О, я уже ее чувствую.

Он отдал своему слуге рубаху, штаны и воротник; верхнюю же одежду, которая была на нем в тюрьме, он приказал сжечь.

Амори заговорил:

— Во сколько вы намереваетесь уехать?

— Уехать?

— Уехать отсюда, — сказал Амори, — прочь из его лап, прочь из Ререка?

— Не ранее, чем через несколько недель. Предстоит масса дел, о которых сперва нужно позаботиться.

Амори вскочил и принялся расхаживать по комнате.

— В этот раз вы уцелели благодаря невероятному стечению обстоятельств. Если человек пригреет на груди змею... о, он был прав, когда говорил, что между вами полное взаимопонимание. В этом-то и беда: будь ваши глаза закрыты на подстерегающую вас опасность, еще была бы надежда, открыв их, уберечь вас от нее. Но вы знаете, что вам грозит, знаете отлично, — и все же радуетесь этой опасности и смеетесь над нею.

— Ну что ж, так и есть, — сказал Лессингем, прикоснувшись к своему воротнику, — Что уж тут поделаешь?



Над Лаймаком уже пылал летний полдень, когда Лессингем, наконец, вышел к наместнику в сопровождении Амори и двух или трех своих людей по той длинной и прямой мощеной дорожке, что, затеняемая в этот час стеной теннисного корта, ведет вдоль зубчатых стен на северной стороне крепости. Их спутники держались чуть поодаль, наблюдая за выражением их лиц: наместник был несколько не в своей тарелке, Лессингем же под маской великодушной и благородной учтивости скрывал легкую насмешку. После паузы Лессингем протянул руку и они молча обменялись рукопожатием.

— Оставьте нас, — распорядился наместник и отвел его в сторону.

Отмерив несколько шагов в молчании, Лессингем сказал:

— Надеюсь, ты хорошо спал. Было весьма мило оставить мне для компании твою суку.

— Ты о чем? — ответил наместник. — Дьявол меня побери! Я совсем о ней позабыл.

— Я подумал, — сказал Лессингем, — что тебе было тяжело определиться, и предположил, что, оставив ее там, ты решил препоручить дело судьбе. Собака и прикованный узник... пусть все рассудит случай. Восхитительно. А ты, я полагаю, время от времени кормишь их человечиной? Скармливаешь им всяких злодеев и им подобных?

— Клянусь тебе кузен, ты ко мне несправедлив. Всевышними Богами в небесах клянусь, я забыл о ней. Но давай не будем об этом...

— Не придавай этому значения. Я никогда не спал крепче. Может быть, я ей понравился, потому что, как сказал поэт:

*...Всегда кудрявым нам  
У женщин предпочтенье<sup>104</sup>.*

А ты как думаешь?

---

104 Дж. Узбстер, «Белый дьявол», акт IV, с. 2 (пер. И Аксенова).

— Кузен, — произнес наместник, — поговорим о конкордате, — тут он взял его за руку. — Я хочу понять, в чем тут суть. Не сомневаюсь, в нем есть некая польза, ибо, ей-богу, ты всегда только пользу мне и приносил; но чтоб мне лопнуть, если я понимаю, в чем эта польза заключается.

— Ответ, которого столь откровенно просят, — промолвил Лессингем, — должен быть дан столь же откровенно. Но сначала я бы хотел, чтобы ты, как монарх и политик, который основывает свое могущество не на грязи, но на первобытной земной коре, вновь рассмотрел положение, в котором оказался, со всем присущим твоему высочеству благоразумием. Пока был жив старый король, его королевство было нерушимо, устрашая своим величием правителей и простолюдинов вплоть до берегов дальних морей. Основная причина — то, что оно было едино. Да, в последнее время тебя во вновь завоеванном Ререке стала тяготить эта узда; хоть и было это, на мой взгляд, неумно, как я тебе прямо и говорил. Потом король умер, и это все изменило: вместо великого мудреца в седле оказался юный и жестокий дурак, и это сокрушило все изнутри. Тогда, кузен, ты мог убедиться в моем к тебе расположении: разве не выступил я за тебя у Морнагея со своими восьмьюстами конными, будто мальчишка с палкой против своры волков? Вернее, так бы оно и вышло, если бы ты потерпел неудачу, а это было вполне вероятно. Потом ты предпринял нечто такое, чем одновременно и избавился от насущной угрозы, и, поскольку люди обо всем догадались, ослабил сам себя, ибо это подмочило твою репутацию (которая и так-то была подобна гниющему цветку); и тут вдруг небеса расщедрились, и блага посыпались на тебя пригоршнями: ты был назван в завещании лордом-протектором и регентом на время несовершеннолетия юной королевы. И вот, все в твоей власти, кузен, тебе осталось лишь использовать это. Королевство в твоих руках, но оно все раздроблено, будто сломанный меч. И первым делом нужно скрепить обломки, снова превратить его в меч, как это сделал король Мезенций; а затем обнажить его против Аккамы, или кто там еще тебе угрожает, и снести им всем головы.

Они двигались не спеша, шаг за шагом, и лицо наместника отражало тяжелые раздумья. Оба молчали. Лессингем напевал себе под нос мелодичную южную песенку. Когда они добрались до места, где стена примыкала к круглой северо-западной башне, наместник остановился и, навалившись на зубец, принялся осматривать ландшафт, в котором все краски в солнечном свете обратились в пепел. Совсем недалеко, к северу от них, копией Лаймака вздымалась на каких-нибудь пятьдесят футов над болотами одинокая скала; на ее вершине сидела самка сокола-сапсана, резко вертевшая головой, оглядываясь по сторонам. То и дело она ненадолго взлетала, и мелкие птицы стайей вились возле нее. И вот она снова уселась на скалу и замерла там, нахохлившись, с недовольным видом озираясь вокруг. Погруженный в размышления, наместник наблюдал за нею, временами задумчиво сплевывая через парапет.

— Помни, — заговорил Лессингем, — я преподавал им урок, сперва в Зайане, а теперь — острыми мечами — на Зеннере, показав, что здесь есть кое-кто помогущественнее их, кто подчинит их себе, если потребуется. Далее следует приручить их, призвать к ноге, проявить к ним доброту. Таким образом, избавившись от своих нынешних опасений, чтобы твои собственные родичи не выдернули трон из-под тебя, ты сможешь править всем миром.

Через некоторое время наместник распрямился и зашагал вновь. Лессингем шел подле него. Он промолвил:

— Как только ты уяснишь всю картину в целом, смысл моего конкордата станет виден столь же отчетливо, как мухи в горшке молока. Я знаю этого герцога получше твоего, кузен. Он горделив и горяч, и не остановится ни перед чем, если ты загонишь его в угол. Но он подвержен лени и больше всего ценит пышность и роскошь, женщин, чувственность и прочие сумасбродные забавы, и свои изысканные сады, где он рисует и предается размышлениям. А еще он человек честный и будет строго придерживаться справедливого мира, а этот мир справедлив.

— А она не сможет подговорить его на какой-нибудь грязный трюк против меня, эта его женщина?

— Какая женщина? — спросил Лессингем.

— Ну, вроде она сестра канцлера. Говорят, герцог Зайаны любит ее как самого себя; и я слышал, она способна крутить им, как ей заблагорассудится.

— Опять-таки, — произнес Лессингем, не поддержав смену темы, — у тебя есть средства склонить Иеронимия, Бероальда и Родера на свою сторону. Вопрос о законности, как я знаю, стоит у канцлера поперек горла с тех самых пор, как завещание было обнародовано; своим милостивым прощением ты сделаешь свое положение весьма надежным.

— Да, но на этом настаивал герцог зайанский; он и получит за это от них благодарности, а не я. Кстати, а к чему бы ему гарантии от тебя, кузен? Можно подумать, ты мог бы заставить меня придерживаться соглашения. Клянусь волосатыми ушами Сатаны! Ни ты, ни кто-либо другой на земле не способны принудить меня к чему бы то ни было.

— Дело не в принуждении, — ответил тот. — Он знает, что я твой советник, и что ты к моим словам прислушаешься, и только. А вот и еще одна выгода: эти беспорядки в северном Ререке должны будут поутихнуть теперь, когда он прикажет Эркелю с Арамондом прекратить свои интриги. По сути, мы пока что недостаточно могущественны, чтобы силой удерживать что-либо крупнее Внешней Мезрии, да и то с его согласия. Тем большей глупостью было бы после этой победы двинуться с войной дальше на юг, в Южную Мезрию и Зайану.

Они в молчании прошли вдоль парапета всю длину стены, затем наместник остановился и схватил Лессингема за обе руки выше локтей.

— Кузен, — произнес он, и в глазах его заискрилась необычайная и несвойственная ему доброта: —

*Властителя настичь не сможет рок,  
Коль друг клеймит любой его порок...*<sup>105</sup>

Ты спас меня, ты спас все. Клянусь Богом, твои действия не заслуживали такого собачьего обращения. Проси свою награду. Хочешь быть Управителем Ульбской Марки? Я сказал Мандрикарду, что это звание получит он, — оно твое. Или тебе нужна Мегра? Все, чего захочешь, все получишь.

Лессингем улыбнулся ему той сдержанной улыбкой, спокойной и всезнающей, с какой глаз шкипера замечает в синем залитом солнцем море смеющиеся белые барашки бурунов над невидимым рифом.

— Благородное предложение, — сказал он, — и как раз подобает столь великому монарху. Но я не хочу быть земельным лордом, кузен. Как райские птицы летают, бескрылые, питаюсь лишь воздухом<sup>106</sup>, так, на мой взгляд, летаю и я, подобно буревестнику, и не привязан я ни к одному месту, но живу лишь своим мечом. Однако каков бы я ни был, я приму предложение, которое ты мне сделал, и изберу я две вещи: одна из них значительна, другая — мелочь.

— Хорошо. Какова значительная?

— Она такова, — сказал Лессингем, — что, где бы я ни оказался в пределах королевства, я буду носить титул верховного королевского полководца, и в моем подчинении, под твоей верховной властью в качестве лорда-протектора, будут состоять все солдаты королевы, будь то на суше или на море.

Наместник фыркнул.

Лессингем сказал:

— Как видишь, я могу широко раскрыть рот.

— Да уж, — ответил наместник после минутной паузы. — Но я его напую. На сегодняшней день такой должности не существует, хотя, полагаю, полномочия эти по умолчанию лежат на мне, проистекая из моих наместничьих прав. Не знаю, кому это лучше и доверить, как не тебе. Считай, замечано. Что еще?

— Спасибо, благородный кузен, — сказал Лессингем. — После столь существенной уступки почти неучтиво просить тебя о большем. Но одно вытекает из другого. Я желаю, чтобы ты высочайшим декретом провозгласил для меня по всему своему королевству Ререк те же привилегии и личную неприкосновенность, какими пользуешься сам. Тем самым все покушения на мою жизнь, даже по твоему распоряжению, повлекут за собой такую же виновность, как и покушения на тебя, твой трон и твою власть, — и такую же кару.

Наместник язвительно усмехнулся.

<sup>105</sup> Дж. Уэбстер, «Герцогиня Мальфи», акт III, с. 1.

<sup>106</sup> В прежние времена считалось, что у райских птиц нет крыльев и ног, они питаются воздухом и никогда не опускаются на землю.

— Ну вот, ты уже начал острить.

— Я никогда не был более серьезен, — сказал Лессингем.

— Тогда это требование настолько нахально, что ответа не заслуживает.

Лессингем пожал плечами:

— Не будь поспешен, кузен, дело весьма важное. На самом деле это не более чем необходимость.

— Странно, что ты не просишь выдать тебе Габриеля и этих шестерых; даже это едва ли было бы более чудовищно.

— Может и так, — сказал Лессингем. — Но я благоразумен. Это пошатнуло бы твой авторитет; а на такое ты бы никогда не пошел. На это же пойдешь с легкостью. А для меня это ничуть не хуже.

— Благие Боги! — раздраженно расхохотался наместник. — Если бы ты только моими ушами услышал то, что ты сейчас говоришь! Вот, что я тебе скажу, кузен: ты подобен содержанке, цена которой, как я склонен думать, превосходит удовольствие от обладания ею. Да провались ты в ад, на это ты, будучи в здравом уме, не можешь и надеяться.

Самка сокола все еще сидела на скале, одинокая и невеселая. Внезапно откуда-то из поднебесья на нее, как будто она была его добычей, обрушился другой; едва уклонившись в самый последний момент, он взмыл высь и вновь камнем упал вниз. Она, приоткрыв крылья и замерев, словно змея, с втянутой в плечи головой, с разинутым клювом наблюдала за его забавами; и вот, она расправила крылья, и все расширяющимися спиралями они поднялись в небеса над Лаймаком, взмывая все выше и выше. Сложив руки на груди, Лессингем невозмутимо наблюдал за этой игрой. Наместник, проследив за его взглядом, тоже их заметил. Птицы разлетелись порознь, и тут самец, стремительно набрав высоту, ринулся на нее прямо в воздухе, нырнув в сторону в нескольких дюймах от нее, когда та в тот же самый миг перевернулась на спину, чтобы отразить его атаку, встретив его острыми когтями и грозно разинутым клювом. Снова и снова повторялась эта схватка в небесах, затем он устремился на восток, она последовала за ним, и вскоре обе птицы скрылись из виду.

— Просьба моя необычна, — произнес Лессингем спокойным и будничным тоном, — но не следует тебе ожидать от меня, что я удовольствуюсь чем-либо меньшим, ведь речь идет о моей же безопасности. Я не стану вдаваться в рассуждения и будить лихо пока оно тихо, но товарищество наше вряд ли продержится долго, если мне придется постоянно быть начеку и держать наготове меч всякий раз, когда я буду гостить у тебя в Лаймаке.

Наместник заскрежетал зубами и резко повернулся к нему.

— Не знаю, — произнес он, — почему я никак не пойду до конца и не прикончу тебя.

— Как же, все очевидно, — сказал Лессингем. — Разве ты только что не проявил свое доверие, поручив мне столь важный пост, и неужто теперь опять проглотить свои слова? Неужели недостаточно тысячи проявлений моей любви и верности твоему высочеству? Но, словно охваченная ревностью девица, ты постоянно оборачиваешься против меня; таков уж ты есть, таким ты и останешься. Очень жаль. По-моему, удача больше сопутствовала нам, пока мы шли рука об руку.

Птица вернулась и вновь устроилась на своем насесте. Затем появился и ее партнер, тут же кинувшийся на нее; и снова они взвились ввысь и предались своим забавам в небесной синеве. Лессингем промолвил:

— Я пока пройду и оставлю тебя наедине с собой, кузен, дабы ты над всем этим поразмыслил.

Наместник не ответил ни словом, ни взглядом. Оставшись один, он оперся на сложенные руки, глядя с крепостных стен на север; лоб его был гладок и ясен, уста крепко сжаты и мрачны, а челюсть под рыжей щетиной бороды — словно вырезана из неподатливого гранита. Как пленка заволакивает иногда глаза сокола или змеи, так мысли затуманивали его взгляд. Сокол вновь улетел в восточном направлении, а его подруга, вернувшись, наконец, после погони, опять уселась на своей невысокой скале. Она озиралась вокруг, но на этот раз он не прилетел. И она осталась сидеть там одна, нахохлившаяся и невеселая.

В конце концов, Лессингем добился своего и особыми грамотами, подписанными лордом-протектором и скрепленными его печатью, был утвержден в звании верховного королевского полководца; отныне он обладал той же неприкосновенностью, и такая же кара ожидала бы поднявшего на него руку или оружие, или устроившего против него заговор, как если бы на его месте был сам наместник или кто-либо королевской крови и фингисволдского рода. Вот какими почестями и высоким положением пользовался теперь Лессингем в глазах всего мира, и был провозглашен в таковом качестве не только в Лаймаке, но и по всей земле. И теперь он то днями и неделями жил у наместника в Лаймаке, то ездил в Марку, то отправлялся на юг, за Зеннер, приводя в порядок все, что было необходимо для соблюдения заключенного в Илкисе конкордата. И не было ни одного человека, кто бы высказался против этого его назначения, но было оно принято всеми: и верховным адмиралом Иеронимием, и графом Родером, и канцлером. И все они со старательной преданностью поддерживали герцога и Лессингема в этом деле, так, что к середине лета, когда июль уже сменился августом, все было устроено для примирения, и казалось, примирение это должно было продержаться долго, поскольку все были им довольны. Таким образом, уладив все дела, Лессингем снова отправился на север, в Аулда, и все полагали, что он, и раньше-то бывший великим, теперь стал еще более выдающимся мужем.

Лорд Горий Парри устроил для своего кузена Лессингема пир в огромном пиршественном зале Лаймака, и были там все могущественные и видные люди из всех долин и населенных областей Ререка, а также придворные наместника и его военачальники вместе с Амори и прочими соратниками Лессингема. И когда пир был в самом разгаре, наместник под каким-то предлогом поднялся с места и увел Лессингема за собой прочь из пиршественного зала, на крышу башни. Здесь они совещались много раз, как, например, в то утро по возвращении Лессингема из Морнагея, когда он выдал из наместника правду касательно убийства короля Стиллиса, после чего отправился послом в Зайану. В этом укромном местечке на крыше они прогуливались теперь под звездами, что сонно светили мягким немигающим сиянием в оплетенных и затканых лунным светом небесных сферах, где не шелохнулся ни один ветерок. Лишь Антарес, опускаясь за хребет Армарика на западе, мерцал красным, а иногда отблескивал зеленым огнем. Из зала по воздуху плыл приглушенный шум пиршества. Уханье пролетающих по своим делам сов доносилось временами от поросших лесом холмов и спавших вдали лощин. Вдыхая этот воздух, омываемый всеми этими образами и звуками, пропитанный музыкой поры сновидений и умиротворенной летней ночи, Лессингем беседовал с лордом Горием Парри о людях и их альянсах как в стране, так и за ее пределами, об их деяниях и их отваге, об управлении и укреплении своих владений и могущества, рассуждая о том, кого из них стоило бы поощрить, на кого можно положить, с кем лучше прибегнуть к уговорам и проволочкам и, наконец, от кого следовало бы при первой же возможности поскорее избавиться. По зрелом размышлении они договорились между собой, что Лессингему надлежит вскорости отправиться на север, через Волд, в Риалмар, чтобы некоторое время исполнять обязанности полководца там, беседуя с видными людьми и прощупывая их настроения. Наместник не мог сделать этого сам, поскольку в северных краях к нему относились с подозрением и нелегко было бы склонить там кого-либо к верной службе ему или к отказу от того дурного мнения, которое там о нем имели. Но Лессингем им противен не был, после недавних войн к нему скорее испытывали восхищение, причем как солдаты, так и простолюдины, считая его за порядочного человека, неистового воина и храбреца, способного отважиться на что угодно и избежать любой опасности.

И, пока они прогуливались, Лессингем, размышляя обо всем этом, понял, что наместник уже говорит о женщинах, о том, сколь неуместно им наследовать государственный престол, когда необходим скорее монарх одновременно уважаемый и внушающий ужас, а затем и о женщинах вообще:

— На мой взгляд правильно понимал все это тот, кто сказал: «Лишь подливка разнообразит все ту же свинину<sup>107</sup>». Полагаю, ты того же мнения, кузен?

107 Цитата из «Опытов» М. де Монтеня.

— Да, — произнес окутанный звездным сиянием Лессингем таким тоном, каким мужчина разговаривает с ребенком. — Я того же мнения.

— А потому ты и тем более подходящий человек для этого дела. Кузен, мне бы чрезвычайно упростило жизнь, если бы я сумел привезти эту милую пташку, этот символ верховной власти, сюда, в Ререк. Не доверяю я этим людишкам из ее окружения там, на севере. И помни, она уже достигла брачного возраста. Я слышал, вокруг нее уже вьются поклонники: взять хотя бы этого Дерксиса, недавно коронованного в Аккаме, юного красавчика-короля — по достоверным данным он уже в Риалмаре, в эти самые мгновения. Тьфу! Кот, гоняющийся за кошкой. Потому, кузен, я и вверяю тебе эти полномочия и делаю тебя своим посланником. Любыми средствами доставь мне ее сюда, на юг, в Лаймак.

Лессингем подумал и наконец сказал:

— Проще говоря, кузен, не предложение ли это руки и сердца?

— Ерунда! Я об этом и не помышлял.

— Это хорошо. Стоит пройти такому слуху, и ты навлечешь на себя ненависть их всех, и все наши труды опять пойдут насмарку. Что ж, я сделаю это, если только ваше высочество предусмотрительно предоставит мне полную свободу действий, ибо это может принести как беду, так и пользу, но что именно, мы не узнаем, пока я не окажусь там и не попробую.

— Довольно, мое мнение тебе известно, — сказал наместник. — Прощу-пай, как она относится ко мне, и сделай все, что сможешь. А теперь, — продолжил он, — давай спустимся и выпьем вместе со всеми. Кузен, я люблю тебя, но, ей-богу, есть в тебе один изъян: обычно ты пьешь только для проформы. Давай нынче вечером напоим их до бесчувствия.

Лессингем промолвил:

— Приятнее всего, когда вино пьется в меру. Но, чтобы развеселить тебя этим вечером, кузен, я буду пить без всякой меры.

И они спустились обратно к пирующим, в зал с вырезанными из черного обсидиана огромными лицами, чьи глаза отражали свет ламп, и по распоряжению наместника слуги принялись наливать кубок за кубком, и, как только кто-либо опорожнял свою чашу, в тот же миг ее снова наполняли до краев, а наместник то и дело покрикивал, что все должны пить, не мешкая. Потом он приказал виночерпиям смешать вина, а кубки по-прежнему наполнялись, и все быстрее пили они, и вокруг стоял шум прихлебываемого вина и лязг кубков, звучало пение, смех и громкие похвалы одного перед другим. И с течением ночи рассудок большей части из них помрачился от столь обильных возлияний: кто плакал, кто пел, кто обнимался то со своим соседом, то с виночерпием, кто ссорился, кто плясал; некоторые безмолвно сидели в своих креслах, другие валялись под столом, а кое-кто — и на нем. Жара, запах пота и пьяный аромат висели меж столами и стропилами, словно ночной туман над осенним

озером. И постоянно темп задавали наместник с Лессингемом, выпивавшие бокал за бокалом. И вот, небо за высокими окнами, распахнутыми настежь, чтобы впустить немного свежего воздуха, начало бледнеть, один за другим погасли светильники, и не осталось никого, кто был бы еще способен пить, разговаривать или стоять на ногах, но все лежали без чувств на соломе, или в своих креслах, или развалились на столах — все, кроме наместника и Лессингема.

Наместник уже отпустил виночерпиев, а затем они продолжили пить один на один, кубок за кубком. Лицо наместника казалось багровым в неверном свете, а глаза его опухли, словно глаза потревоженной в полдень совы; он уже не разговаривал, грудь его вздымалась, пот ручейками катился со лба по носу и щекам, его шея раздулась сильнее обычного и приобрела цвет свеклы. Теперь он пил медленнее; Лессингем же спокойно опорожнял кубок за кубком. Все возлияния прошедшей ночи лишь легким румянцем окрасили бронзу щек Лессингема, а глаза его еще были ясны и сверкали, когда наместник, дернувшись вбок и выронив из ослабевших пальцев наполовину осушенный кубок, соскользнул под стол и распластался там, словно кабан, храпя и сопя вместе со всеми остальными.

Две или три лампы еще пылали на стенах, но разгоралась заря, и свет их миг за мигом становился все слабее. Лессингем подложил подушек под голову своего кузена и направился к двери, пробираясь среди тел, бесславно павших в звоне кубков. В темном вестибюле его встретила леди с бокалом в руке, неподвижная и одетая во все белое.

— Доброе утро, господин Лессингем, — произнесла она и выпила за его здоровье. — Так вы, наконец, едете на север, в Риалмар?

Было в ее голосе нечто такое, что, будто обнажаемые когти, затронуло арфовые струны его воспоминаний. Его взгляд не мог проникнуть сквозь тени; он лишь узнал ее волосы, которые будто светились в темноте своим собственным светом, глаза, сверкавшие, словно звериные, и блеск зубов.

— Неужто милая владычица снегов? — произнес он и схватил ее. — Позвольте ли вас поцеловать? Ха, позвольте вас поцеловать! И какой же ветер занес вас в Лаймак?

— Фи! — воскликнула она. — Так и будете душить меня своей бородащей? Так я ее откушу. Нет уж, да и к тому же, господин мой, — продолжила она, когда он поцеловал ее в губы, — спешить некуда: я живу здесь, в замке. И я и взаправду устала, дожидаясь вас всю ночь. Я уже шла спать.

Он отпустил ее после того, как она сказала ему, что ее покои находятся в башне в форме полумесяца в западной стене, а также дала ему листок с веточки, которая была у нее за пазухой: листок, подобный тому, что дал ему Ван-дермаст на Зайанском озере в ту майскую ночь.

— Это благодаря таким листкам, как этот, — промолвила она, — свободны мы проникать в крепости и потаенные местечки, когда нам заблагорас-

судится, следуя за тем или иным человеком; однако зачем мы это делаем, по чьему повелению, и каким образом перемещаемся меж отдаленными друг от друга местами за промежуток времени не больший, чем потребовалось бы для этого мысли, — все это вещи, дорогой мой господин, недоступные пониманию таких как вы.

Лессингем вышел в просторный внутренний двор и вдохнул полной грудью. Никто больше не бодрствовал во всей крепости Лаймак, кроме изредка попадававшихся часовых. Он прошел мимо стен пиршественной палаты, мимо сторожки, Врат Хагсбю и главной башни, пересек теннисный корт и добрался до северного вала, где они повстречались в июне. Лессингем шагал вдоль вала с высоко поднятой головой. Даже Магдалена не ступала по дерну нагорий весенней порой столь же твердым или столь же легким шагом. Поднявшийся с началом дня ветерок играл с ним, ероша короткие, густые и кудрявые черные волосы на его голове.

Он стоял, глядя на север. Только что пробило четыре часа утра, и первые лучи озарили из-за Форна пустынный лик небес. Долина еще лежала под покровом ночи, но окаймлявшие ее горы уже встречали день. Лессингем произнес про себя: «Его Фьоринда. Что она такое мне сказала? «Полагаю, там вы найдете то, что ищете. На севере, в Риалмаре». В Риалмаре».

Довольно долго он стоял там, пристально глядя на север. Затем, вытаскив из-за пазухи своего камзола листок сферра кавалло, он сказал себе: «А пока что не будем пренебрегать насущными радостями...»

С этими словами он, улыбнувшись самому себе, направился к башне в форме полумесяца, где, как Антея любезно сообщила ему, находились ее покои.



### ХIII. Королева Антиопа

*КУЗИНЫ — КОРОЛЬ-УХАЖЕР — МОНАРШИЕ НЕВЗГОДЫ —  
УДАЧНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ — КОРОЛЕВА И ЕЕ ВЕРХОВНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ —  
«ИЗДАЛЕКА БЛЕСТИТ, А ЧУТЬ ПОБЛИЖЕ<sup>108</sup>...» — КОРОЛЬ-ПРИСЛУЖНИК —  
ПРИНЦЕССА ЗЕНИАНТА — ЧЕМ ХОРОША ДРУЖБА — ЗАЛ МОРСКИХ КОНЕЙ —  
ХАРАКТЕР И НРАВЫ ДЕРКСИСА — КАМПАСПА ПРИОТКРЫВАЕТ ЗАНАВЕСЬ —  
ПИРШЕСТВО У КОРОЛЕВЫ — АНТЕЯ, ДЕРКСИС, ПАВАНА — ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ —  
ЛЕСТНИЦА МОРСКИХ КОНЕЙ*

**В** КВОЗЬ широко распахнутые створки окон королевской опочивальни во дворце Теремнен в Риалмаре, ворвался новый день, пятнадцатый день августа. Он перешагнул через стоявшую на подоконнике вазу с белыми розами, чьи лепестки были покрыты капельками росы, и вступил в комнату, коснувшись бледными пальцами потолочных балок, ажурных молочно-белых занавесок, бутылей с ангеликовой водой, розовым маслом и брентионским<sup>109</sup> снадобьем из меда гиперборейских цветов на белом ониксовом столе, разложенных подле них драгоценностей, зеркал в рамках филигранной работы из серебра и белого коралла, разбросанных по стульям и мягкому белому бархатному ковру платьев и юбок с фижмами из роскошной тафты, плиса и серебряной ткани; он дотрагивался до всего этого, и оно обретало форму, но пока еще не цвет. И вот он прикоснулся к постели Зенианты, что стояла поперек комнаты между изножьем королевской кровати и окнами, к ее волосам, но не глазам, ибо она лежала на боку, отвернувшись от света, и не проснулась. Но вот день, в миг набравшись силы, поденкой затрепетал над лицом королевы. И появились цвета: щеки окрасились сонным румянцем, а волосы приобрели оттенок юной луны через полчаса после заката солнца, когда бледное сияние лишь чуть тронута золотом. Она шевельнулась, что-то тихо пробормотав во сне, и перевернулась на спину. День поцеловал ее веки утренним поцелуем, каким дитя могло бы будить свою спящую сестру.

Отбросив одеяла, она выскочила из постели и встала у окна в своей ночной рубашке из тончайшего батиста, выглядывая наружу. Семьюдесятью футами ниже стена упиралась в отвесные первозданные скалы, скрывавшиеся из виду внизу. В восьмистах футах под ее окнами растянулось море густых и пушистых как чесаная шерсть облаков, заливавшее речную долину Реварма. На северо-западе, слева от того места, где она стояла, стены и крыши резко уходили вниз, к Месокерасину, где в седловине между пиком Теремны и не столь высокой вершиной Мехисбона простирается город Риалмар; пики же эти вздымаются столь круто, что и королевский дворец Теремнен, и дома и храмы Мехисбона будто нависают над долиной на головокружительной высоте. Справа от нее, на юго-востоке, туманная пелена скрывала из виду гавань, реку и Внутреннее Море. В зените, в безоблачных небесах, ночь еще тянула за собой на

108 Дж. Уэбстер, «Белый дьявол», акт V, с. 2 (пер. И Аксенова).

109 Βρενθίων (греч.) — благовонная мазь, упоминаемая в творчестве Саффо.

запад свой шлейф насыщенной синевы. Кристально-ясные в шафранных лучах рассвета, горизонт обступали очертания тех северных вершин, что выше всех прочих гор на земле. На все это великолепиие взирала королева, видя в нем (хотя и не зная об этом) свое собственное отражение. Заливавшийся песней жаворонок взмывал все выше и выше в небеса, пока не оказался на одной высоте с ее окном.

Помолчав немного, она промолвила, не оборачиваясь:

— Кузина, ты проснулась?

— Нет, — ответила та.

— Ты спишь?

— Нет.

— Вставай, — сказала королева.

— Нет, — повторила та и свернулась калачиком, так что простыни закрыли ее рот, но не нос.

Королева подошла и встала возле нее.

— Ну так мы сами ее разбудим, — произнесла она, беря с изножья своей собственной кровати маленького белого котенка, голубоглазого и очень пушистого, и, держа его за шкурку, поднесла к Зенианте, так что его лапы оказались на простынях у ее подбородка.

— Теперь она в наших руках. Просыпайся, кузина. Поговори со мной.

Зенианта взяла крохотного котенка в руки.

— Ну вот, говорю. Только о чем?

— Придумай что-нибудь, — сказала королева. — Что-нибудь полезное. Например, «как лучше избавиться от непрошенного гостя»; совет на эту тему был бы сейчас не лишним.

— Не тебе у меня учиться, кузина, — ответила Зенианта.

Лицо Антиопы сделалось серьезно.

— Я дала достаточно знаков, — произнесла она, — чтобы показать, в какую сторону дует ветер. Год назад все было бы иначе.

— Возможно, он намерен оставаться до тех пор, пока лорд-протектор не велит ему убраться вон, — сказала Зенианта. — Но ты можешь попробовать сказать ему это и сама. И в то же время, многие были бы рады держать короля, к тому же столь миловидного и молодого, под своим каблуком.

— Можешь забирать его себе, — сказала королева.

— Я весьма признательна вашему высочеству, но, думаю, он не тот человек, который позарится на рябину, оставив персик на блюде.

Антиопа промолвила:

— Нынче утром ты не только непослушна, но и скучна. Пожалуй, я отошлю тебя так же, как и прочих.

Она смотрела на свою лениво распластавшуюся на постели кузину, на

ее каштановые волосы, в беспорядке рассыпавшиеся по подушке, и на ее заспанное лицо.

— Нет, ты нехорошая, — заявила она, садясь на край кровати. — Ты не хочешь мне помочь.

— Явись к нему растрепанная и со спутанными волосами. Возможно, это оттолкнет его.

— Что ж, давай ножницы, — сказала королева. — Я вообще их состригу, если только это поможет. Но нет. Только не это, даже ради такого.

— Это может еще и обернуться против тебя, и ты получишь именно то, от чего пыталась избавиться. У него высокий и писклявый голос; если он (как ты вчера сказала) мужчина только наполовину, то полуженщина может прийтись ему куда больше по душе, чем целая.

Антиопа промолвила:

— Не говори со мной о том, что ему по душе. Достаточно того, что его приходится терпеть поблизости, не хватало еще думать и говорить об этом. Он пялится на меня как на леденец или блюдо с икрой. Не все мужчины, Зенианта, страдают этим недугом.

— Но многие, — ответила Зенианта.

— И у доброго коня случается падучая. Да, было и так... — она задумалась на минуту. — Но не все наши друзья портятся. Вентон, Тиарх, Орвальд, Перопевт, да и еще дюжина других: с ними можно кататься верхом, охотиться, они веселы за столом и умеют вести в коранто, но никогда не портят дружбу этим дурацким вожделением; они столь же разумны, как и ты, кузина, и даже более. Зенианта, — продолжила она после паузы, — почему мы не можем оставаться детьми? И, если это невозможно, почему в следующем месяце, когда мне исполнится восемнадцать, не могу я стать хозяйкой самой себе, как мой брат? Что толку с протектора, который сидит у себя в Ререке в двух неделях пути от нас? А эти местные выдающиеся личности, старик Боденай и другие: сегодня у них есть королева, а завтра они разменяют ее на пару замков, как только завидят собственную выгоду.

Она замолчала, поглаживая мордочку котенка и сводя вместе его крохотные ушки. Затем она произнесла:

— Я уверена, они используют этого короля против наместника. А ты как думаешь, кузина?

Зенианта рассмеялась:

— Будет жалко, если тебе придется выйти за наместника.

— Ну что за глупости ты говоришь! — воскликнула королева, перекатывая котенка рукой туда-сюда, покуда тот не начал брыкаться и отбиваться своими маленькими бархатными лапками и пытаться ее укусить. — Уж ты-то, кузина, могла бы сохранять благоразумие, а то все думаешь да твердишь об

одном лишь замужестве, замужестве, замужестве, как попутай. Поднимайся! — и она рывком стащила на пол одеяла вместе с принцессой.

Солнце было уже высоко и оставался всего час до полудня, когда король Аккамы, утолив голод блюдом омаров и запив все это желтым вином, спустился с двоими или троими своими придворными по задней лестнице из своих покоев в южном крыле дворца Терменен, и по уже исхоженным им тропкам направился в королевский сад, проникнув туда таким образом, чтобы не быть увиденным из окон. Сад бы устроен так, что в него нельзя было заглянуть сверху: с востока и запада он был открыт, а с севера его загораживала высокая глухая стена. Его обступали высеченные из гранита стены шести локтей в высоту, и через каждые несколько шагов в восточной и западной стене были прорублены глубокие и просторные проемы, смотревшие на долину за краем пропасти и отдаленные горы, и на остальную часть сада с его серебристыми березами, прудами, тропинками и беседками, и дальше, на холмы и окаймлявшие горизонт горные цепи, за которыми лежит Аккама. Посреди этого садика сверкал овальный пруд, вокруг которого вела вымощенная гранитом дорожка. К дорожке от двойного ряда террас спускались гранитные ступеньки. Поздние лилии, сливочно-белые и с алыми пыльниками, усыпанные коричневыми пятнышками и золотистой пылью, цвели в клумбах на террасах; вдоль северной стены выстроились в ряд подсолнечники, обратившие свои цветки к полуденному солнцу, а из стыков стен и бульжника дорожки выбивались крохотные растения северных гор, очиток, молодило и гвоздика. У восточной стены были расставлены кресла с шелковыми подушками, а также кресло из слоновой кости для королевы, а на поднимавшемся из воды резном постаменте стояла статуя Афродиты Анадиомены<sup>110</sup> из золота и слоновой кости.

— Посетители начинают появляться, — произнес лорд Алкемен, распахнув ворота в северо-западном углу и неуклюже посторонившись перед королем, — однако богиня запаздывает.

Деркис задумчиво брел по пустынному саду, снеся на ходу своей тростью цветков лилии. Он был несколько выше среднего роста, хорошо сложен и худощав. Его волосы цвета грязи были прямы и зачесаны ото лба назад, его близко посаженные глаза малы и жестки, будто камушки; лицо у него было худощавое и с мелкими чертами, гладко выбритое и похожее на женское, тонкогубое и лишь чуть тронутое румянцем вокруг уст, нос прямой и узок. Несмотря на молодость (а ему было лишь двадцать три года), меж его бровями пролегла глубокая складка. На нем был легкий плащ, камзол с буфами на рукавах по аккамской моде и просторные бриджи с пряжками чуть ниже колен; все это было неброского коричневатого цвета. На его запястьях были ажурные

110 Αναδιομένη (греч.) — одно из прозвищ Афродиты, означает «вынырывающая» и указывает на ее происхождение из волн морских.

золотые браслеты, а на грудь свисало тяжелое золотое ожерелье с украшенными рубинами звеньями.

Дважды прошелся по саду король, и его спутники следовали за ним, столь же безмолвные, как и он сам, будто не решаясь заговорить без разрешения.

— Ты, — произнес он, наконец. — Разве не ты рассказал мне об этом месте?

— Молю ваше высочество проявить лишь еще немного терпения, — сказал Алкемен. — Мне стало достоверно известно (да не вы ли мне это сказали, лорд Эсперверис?), что она приходит сюда по утрам четыре раза из пяти, и как раз примерно в этот час.

— Тебе следовало бы убедиться в точности своих сведений прежде, чем доводить их до меня, — сказал Дерксис.

Голос его был мягок и чересчур высок для голоса мужчины, женский голос. Но Алкемен и остальные лорды, столь могучие и свирепые на вид, съеживались при звуках этого укоризненного голоса, как съеживаются мальчишки, наткнувшись вдруг на ядовитую змею.

Король продолжал прохаживаться, что-то насвистывая себе под нос.

— Что ж, — заговорил он через некоторое время, — компания из вас утомительная. Расскажите какую-нибудь забавную историю, чтобы скоротать время.

Алкемен поведал о поваре, который стал рыбаком: это был рассказ столь отвратительный, что мог осквернить благоухание сада и замарать лепестки лилий. Король рассмеялся. Воздух словно посвежел, и они захохотали вслед за ним.

— Ты напомнил мне, — произнес Дерксис, — о той затее трех дамочек с миногой. Как там было? Оринксис, это ведь ты рассказывал, да?

Оринксис рассказал эту историю. Король вывалил язык и хохотал до тех пор, пока из глаз его не полились слезы.

— Ну вот я и повеселел, — сказал он, когда они шли на запад мимо подсолнечников. — Что это там? Жаба? Дайте-ка мне камень.

Алкемен подобрал с клумбы один из камней. Король бросил и промахнулся. Касмон предложил ему другой. Король уже занес было руку, чтобы бросить повторно, когда в сад вошла Антиопа и, завидев его, замерла у ворот, прямо на линии броска.

Он отшвырнул камень и, опустившись на одно колено, поприветствовал ее.

— Я не оставлял надежд, госпожа моя, — промолвил он елеиным голосом, когда она вошла вместе со своими служанками и несколькими придворными, — что фортуна позволит мне встретиться с вами здесь. Теперь я вижу, этот сад божественен, хотя лишь только что казался мне вполне обыденным.

Нет, право, так оно и есть! Нужно лишь сорвать эти цветы да опрокинуть эту резную безделицу, что торчит вон там из воды, и вы увидите, господа, он покажется еще прекраснее: вы, госпожа моя, украшаете его подобно королевской розе, а эти леди словно листья малины оттеняют вас своей скромной красотой.

— Сударь, я крайне занята, — сказала королева. — Это мой летний зал совещаний. Я отправила передать вам, что нынче утром для вас устроена охота, но мой посыльный сообщил мне, что вы еще не выходили.

— Так это вина моего камергера, — заявил Дерксис. — Как так вышло, Оринксис, что ты не передал мне это послание?

Оринксис, который передал все в точности, сослался на то, что впервые об этом слышит, и уверил, что во всем разберется и позаботится о том, чтобы виновного наказали.

— Да уж, постарайся, — сказал Дерксис. — За такую оплошность и уши отрезать мало. Однако я помню о вашей сострадательной натуре, госпожа моя; лишь попросите меня простить сей недочет, и все будет забыто по одной лишь вашей милостивой просьбе.

— Если совершается что-либо, требующее наказания, прошу докладывать моему юстициару. Вы мой гость здесь, в Риалмаре, сударь, и я придерживаюсь принципа моего отца-короля (да покоится он с миром): никакого самосуда.

— Вы весьма серьезны, госпожа моя. И это вам идет.

Тут королева заметила у своих ног жабу, скрывающуюся под широким листом камнеломки. Она в упор взглянула на Дерксиса, вновь на нее, а затем опять на Дерксиса.

Тот рассмеялся:

— Вы предложили мне поохотиться на вепря, госпожа моя. Хвала моей неприязательности, я довольствуюсь швырянием камней в жабу.

— В жабу? — переспросила она, не улыбаясь. — Зачем?

— Чтобы развлечься в ожидании вас. Это всего лишь жаба. Почему бы ее и не убить?

Он встретился с ее взглядом, полным горечи, холодности и неудовольствия. Затем быстрым и изящным движением она подобрала жабу, убедилась, что та цела и невредима, сделала вид, будто целует ее, и отпустила ее на волю в безопасное место на клумбе.

Она повернулась, чтобы идти, и Дерксис последовал за ней.

— Сколь удивительна ваша жалостливость, — произнес он, шагая подле нее. — Вы проявляете сострадание к мерзким тварям, к жабам и лягушкам, но не к тому, кто более всего нуждается в вашей жалости.

Он говорил тихо, лишь для ее ушей. Их спутники шли позади. Она резко остановилась.

— Простите, сударь, но у меня дела.

— В таком случае, мое дело стоит в списке первым, так что выслушайте его.

Антиопа стояла молча, отвернув лицо. Алкемен говорил принцессе Зенианте:

— Прошу вас понюхать этот цветок; он поведает вашей милости больше, чем я могу осмелиться.

Зенианта пошла прочь. Дерксис заметил, как скривились губы королевы. Он заскрежетал зубами и заговорил сладким голосом:

— Не покажете ли мне свой сад?

— Я полагала, что вы его уже видели, — сказала она.

— Как мог я видеть его, — произнес Дерксис, — если ваша прекрасная персона не показала его мне?

Антиопа повернулась к нему.

— Мне пришла на ум такая игра, — сказала она. — Полчаса я буду показывать вам мой сад, сударь, и в течение этого времени вы не сделаете мне ни одного комплимента. Это и впрямь будет в новинку.

— А какова ставка?

— Это оставьте решать мне.

— Ха! — воскликнул он негромко, и глаза его уставились на нее долгим оценивающим взглядом. — Это пробуждает надежды.

— Пускай не слишком-то пробуждаются, — промолвила она.

Дерксис проглотил маслянистую реплику, что вертелась у него на языке. На мгновение он отстал от нее на шаг, лишь для того, чтобы прошептать на ухо лорду Алкемену:

— Позаботься о том, чтобы нас ненадолго оставили в покое.

Но тут в сад вступил слуга-посыльный и передал королевскому камергеру пакет, прочтя адрес на котором, тот, не открывая, вручил его королеве.

— Прошу извинить меня, сударь, — сказала она Дерксису, — Я прочту письмо.

Король кивнул в знак согласия. Ревнивым взглядом искоса он наблюдал, как лицо ее по мере прочтения прояснилось.

— Но кто же гонец? — спросила она, поднимая глаза. — Кто именно привез это письмо?

— Ваше высочество, — ответил принесший пакет, — его привез тот самый лорд, который его и написал, и теперь он ждет ваших распоряжений.

— О, скорее ведите его сюда, — сказала Антиопа. Лицо Дерксиса потемнело. — Это родич моего родича, великий лорд Лессингем, явившийся с юга по какому-то неотложному делу, — продолжила она, изящным движением повернувшись к Дерксису. — Вы позволите мне, сударь, просить его присоединиться к нашей компании?

Король молчал. Тогда заговорил королевский судья Боденай:

— Ваша светлость, можете быть уверены, он скорее предпочел бы, чтобы вы дали ему время передохнуть и подготовиться, а не являться пред очи вашей милости вымазанным в грязи и глине.

Антиопа рассмеялась:

— О, придворные церемонии! Мы, что, никогда не видели человека в одежде для верховой езды? Нет уж, пускай явится тотчас же.

— Прошу вашего прощения, госпожа моя, — проговорил король. — Вы оказали мне любезность, пообещав показать мне свой сад. Наверняка этот как-е-то-там может подождать, пока вы не исполните данное мне обещание.

— А почему я не могу дарить милость обеими руками? — сказала она. — Он незнакомец, и, хотя его репутация нам известна, лично мы с ним не знакомы. То, что ваш королевский титул превосходит его звание и положение, — еще более весомый повод обходиться с ним почтительно. Нет уж, сударь, сад вы увидите, и он увидит его вместе с нами. Тотчас ведите его сюда, — приказала она, и посыльный тут же скрылся.

Дерксис ничего не сказал, не смотрела на него и королева. Да и в тот момент вид этого молодого короля, которому пошли наперекор пусть даже в такой мелочи, не оказался бы столь уж приятным зрелищем.

— Что это еще за Лессингем? — шепотом спросил граф Оринксис у Алкемена.

— Кузен наместника Ререка, — ответил тот.

— А это не тот ли щеголеватый юнец, что командовал конницей Мезенция шесть лет назад? — поинтересовался Касмон. — Тот, что застал вас врасплох в битве при Эльсмо, когда на кону стояло все, смяв ваши эскадроны и разбив вас в вашем же собственном лагере? Не Лессингем ли то был?

— О, попридержите язык, — сказал Алкемен. — Ты и сам-то после тех событий смотрелся бледно.

— Прискакал настолько быстро, насколько был способен его конь, — сказал Оринксис. — Теперь это называют Касмоновой скачкой: он промчался через внешний Коридор и в конце концов едва не сломал себе шею. Вам двоим лучше держаться вместе, а не то этот малый снова вас выпорет. Нет, а серьезно, вы знаете о нем еще что-нибудь, Алкемен? Я слыхивал, Парри суровый человек.

Алкемен ответил:

— Эти двое — отъявленные плуты, один пуще другого, и оба — кузены самого дьявола.



Королева уселась в свое кресло из слоновой кости, Зенианта сидела справа от нее, а слева стоял Боденай. Равиамна, Пафиррэ и Анаместа вместе с полудюжиной других фрейлин, а также придворные и лорды Фингисводда встали позади нее, образовав полукруг. Дерксис и его спутники стояли чуть

поодаль и справа от нее. Оглянувшись, королева заметила, как он невежливо и нахально повернулся к ней спиной. Словно движимая внезапно пришедшей ей в голову прихотью, она шепнула Зенианте сесть на королевский трон, в то время как сама, несмотря на все протесты старого лорда Боденая и прочих собравшихся вокруг важных персон, заняла место позади трона, среди остальных девушек.

Лессингем, препровожденный через северо-западные ворота, прошел меж подсолнечниками и солнцем, что даже в такой безоблачный полдень палило в этой горной северной стране весьма умеренно. Он шел с непокрытой головой; на нем была его кольчуга из вороненого железа с золотом, черные шелковые штаны и черные кожаные сапоги для верховой езды, запыхавшиеся в дороге. Он подошел к ним, лязгая серебряными шпорами. И по пути, окидывая их взглядом, который ни на ком не останавливался с неучливой пристальностью, он рассмотрел всех собравшихся: с любопытством разглядывавших его степенных стариков, Дерксиса с его людьми, надменных и скованных, словно скот, когда к нему подходит собака, сидевшую на троне Зенианту с ее спутницами, что ласкали взор в этом окруженном каменными стенами саду, как ласкает босые ноги мягкая трава.

Они обменялись приветствиями. Лессингем промолвил:

— Простите меня, благородные леди и вы, лорды Фингисволда, что я явился без всяких церемоний, да еще и не переодевшись с дороги. Но мне сообщили, что королева здесь и желает, чтобы я немедленно предстал перед ней к ее услугам.

— Итак, сударь, — сказала Зенианта, — чем же вы нам послужите? Это и есть королевский трон.

Лессингем поклонился:

— Вы смотрите на нем великолепно, госпожа моя.

— Странные слова, — промолвила та. — А вы, что же, ожидали обнаружить здесь какую-нибудь деревенскую девчонку, которая путается в собственных юбках?

Антиопа, держа за руку Равиамну, наблюдала за ним с притворным спокойствием.

— Ваша милость убедится, что я не настолько прямолинеен и не настолько глуп, — ответил он. — Однако темную лилию от белой я отличить могу. Я не слепец.

Зенианта рассмеялась:

— Вы видели мой портрет? Возможно, краски поблекли?

Взгляды и знаки, которыми они обменивались, не ускользнули от внимания Лессингема.

— Нет, госпожа моя, — ответил он. — Портрета вашего высочества я не видел. Но кое-что слышал.

— Следует ли слово «темная» понимать как «некрасивая»?

— Если бы ваша милость слушали более внимательно, то заметили бы, что я сделал ударение на «лилии».

Антиопа заговорила:

— Интересно, узнаете ли вы королеву, сударь, когда ее увидите.

Он посмотрел на них всех по очереди: на Антиопу, Пафиррэ, Зенианту, Анамнестру, Равиамну, затем вновь на Антиопу.

— Ах, — произнес он, — не раньше, чем она мне позволит. Было бы слишком невежливо обнаружить ее раньше, чем она хочет.

Они расхохотались, и Зенианта, поймав взгляд Антиопы, поднялась на ноги.

— Лис уже почти попался, но в последний момент ускользнул в эту брешь, — сказала она.

— Весьма милый и учтивый ответ, сударь, — промолвила королева. — К тому же от южанина; здесь никто не смог бы так вывернуться. Вы ведь не сердитесь на нас за эту забаву?

— Светлейшая принцесса и моя повелительница, — сказал Лессингем, — позвольте смиренно преклонить колени, дабы поцеловать руку вашей светлости.

Король Дерксис, уже повернувшийся к ним, взирал на происходящее. Дерзким взглядом он снова и снова окидывал Лессингема с головы до ног. Затем он подошел к ним:

— Прошу, представьте меня этому джентльмену, госпожа моя. Не хочу пропустить ни слова в этой беседе, столь приятной она представляется.

— Сударь, — произнесла королева, — это мой кузен, лорд Лессингем, который также является моим полководцем. Ваше высочество наслышаны о нем?

— По совести говоря, нет, — сказал Дерксис. — Однако родство с вами, госпожа моя, способно послужить хорошей рекомендацией любому разине, тем более персоне столь прославленной и благородной, как господин... я позабыл, как там ваше имя, сударь?

— Оно не настолько известно, — отозвался Лессингем, — чтобы незнание его дискредитировало ваше высочество.

Они двинулись по саду, любуясь окружавшими их цветами. Дерксис держался поблизости от королевы и что-то вполголоса ей говорил. Лессингем мало-помалу отстал и теперь шел вместе с королевским судьей, старой графиней Тасмарской и четверыми или пятерыми прочими, беседуя о путешествии из Ререка на север и о других незначительных вещах. И поначалу на него взирали с недоверием и прохладцей, прохладной же была и их беседа, но затем холодность по отношению к нему начала таять, как утренние морозы отступают осенью перед восходящим солнцем, что согревает воздух, рассеивает тучи,

разгоняет туманы, и иней на мириадах веточек и травинок сливается в драгоценные камни. Он вел себя с ними весьма умело, как человек, который, будучи спокойным, и сам воздух вокруг себя наполняет тем же спокойствием.

И все же на душе у него было не так уж спокойно. Все эти три месяца держать в себе такое множество страстей и устремлений, явиться в этот город Риалмар, о котором он так много думал и который столь странным образом предстал перед ним той ночью, убедиться в том, что это лишь обыкновенная обнесенная стенами крепость, стынувшая среди северных гор в обыкновенном свете дня, а обитатели ее, в том числе королева вместе с ее служанками, столь же обыкновенны — все это наполнило его разум полынной горечью и мраком. В королеве он действительно видел девушку веселую и храбрую, разговаривая с которой он, как ему показалось, соприкоснулся с разумом, шедшим в ногу с его, смеявшимся над тем, над чем смеялся и его, стремившийся к тому же, к чему стремился и его разум. Но все это не могло возместить или сравниться с тем, что столь чудесным образом ему было позволено пережить в краткий миг, и что с такой мучительной болью было утрачено и исчезло в ту полночь под сенью величественных крыл в усыпанных драгоценностями чертогах удольствий Барганакса. Более того, до сих пор он мог вспоминать и тешить себя воспоминаниями о том миге, но теперь, при первом же взгляде на подлинный Риалмар, воспоминания улетучились, словно привидевшийся во сне тончайший аромат, когда ощутивший его знает, что способен возродить его, стоит только снова его вдохнуть, но действительность стеной ограждает его от него, как день скрывает сияние звезд.

Шедшая с Деркисом королева остановилась у клумбы желтых пиренейских лилий с покрытыми пятнами цветами.

— Бедные маленькие лилии, — произнесла она. — Я ничем не могу им помочь.

Деркис пожал плечами и, заслышав голос Лессингема, двинулся дальше. Но королева осталась подождать, и ему, пусть и неохотно, пришлось вернуться обратно.

— Господин Лессингем, — спросила она, — вы садовник? Что стряслось с моими лилиями?

Лессингем осмотрел их. Его глаза и уши были заняты не только состоянием лилий этого сада.

— На первый взгляд все в порядке, — ответил он. — Ваша светлость дали им солнце, что согревает их цветы, кустики волчьего лыка, что затеняют их корни, и укрыли их от ветров.

Деркис сказал на ухо Алкемену, таким шепотом, чтобы услышали все:

— У тебя, что не хватает ума держать этого малого подальше от меня? Обязательно позволять ему лезть в наш разговор? А ну, уведи его отсюда.

— Но что насчет почвы? — продолжал Лессингем. — У них весьма прихотливый вкус. Старые перегнившие дубовые листья и...

— На два слова, — проговорил ему на ухо Алкемен.

Глаза Лессингема встретились с глазами королевы.

— Или может быть, ваша светлость столкнулись с полевыми мышами, злобными маленькими созданиями, что подгрызают ваши лилии из-под земли? Я знаю, как справиться с такими как они.

Его спина была обращена к Алкемену, и он не подал и вида, что слышал его слова или вообще знает о его присутствии.

Глядя на сапоги Лессингема, Дерксис обратился к королеве:

— Вероятно, я плохо знаком с обычаями, заведенными при дворе вашей светлости. У вас принято, не так ли, являться на аудиенцию небрежно одетым?

И снова глаза ее и Лессингема встретились: взгляд этот был внезапен и краток, как полет зимородка меж струящимися водами и нависающими над ними деревьями. Он учтиво и с серьезным видом повернулся к Дерксису:

— Господин король Аккамы, я солдат. И так уж принято, что солдат повинуется распоряжениям своего повелителя.

Королева сделала шаг или два вперед.

— Солдат? — переспросил Дерксис. — Да уж, а правда, что женщины солдат любят больше, чем прочих мужчин?

Лессингем поднял бровь.

— Это мне неизвестно. Зато я знаю вот что, — сказал он, будто бы обращаясь к цветам. — Во многих странах мира я встречал осаждаемых неучтивыми личностями женщин, которые находили, что солдат весьма хорош в качестве привратника.

Столь беззаботно и с такой непринужденной серьезностью произнес он эти слова, что король не знал, как себя повести, а когда он все-таки решился, Лессингем вместе с королевой и ее служанками был уже в нескольких шагах от него. Осталась лишь принцесса Зенианта; она резко отвернулась, поднеся платок к устам, поглощенная созерцанием зарослей гладиолуса в ближнем углу пруда. Дерксис изменился в лице, особенно уязвленный видом сотрясающихся плеч Зенианты. Быстро оглянувшись, он убедился, что никто кроме его собственных людей на него не смотрит. Сделав два шага, он оказался возле нее, схватил ее сзади за шею, повернул ее голову и смачно поцеловал ее в губы. Алкемен громогласно расхохотался, задрав подбородок. Лессингем обернулся. Она же, высвободившись, огрела Дерксиса по уху, так что у того зазвенело в голове.

Королева и ее люди ожидали у подсолнечников, пока король подойдет к ним. Он приблизился, на ходу небрежно вертя в руках свою трость; его спут-

ники шли за ним по пятам с каменными лицами. В глазах его застыло ядовитое выражение.

— И вот, сударь, — промолвила королева, — обещанные полчаса истекли, и теперь мне необходимо уединиться в этом саду, дабы держать совет по делам государственной важности.

— Госпожа моя, — сказал Дерксис, — из всех жестоких леди не самая ли вы жестокая? Разве там, куда не достигает взор ваших дарующих жизнь глаз, солнечный свет не оборачивается темнотой, а каждая минута — годом заточения? Что ж, я ваш покорный раб, и прошу лишь о том, чтобы ваши сладостные уста произнесли только одну фразу, которая дала бы мне хоть какую-то надежду на последующие встречи наедине, скажем, сегодня днем?

— Прошу, оставьте нас. Возможно, мои егеря найдут способ сделать вашу жизнь сносной.

Зенианта добавила со сдержанной злостью:

— А вы, господин Лессингем, не тревожьтесь; мы можем предложить вам развлечение прямо в этом саду: охоту на жаб!

Дерксис, целовавший руку королевы, снова побагровел при этих словах. Веселье светилось в глазах королевы, но благоразумие удерживало его там.

Когда король с его спутниками направлялся к воротам, Лессингем догнал их, поравнялся с Алкеменом, который шел последним, и дотронулся до его руки:

— Господин Алкемен, а теперь — на два слова. Действительно ли вы, как мне только что показалось, смеялись, когда с леди обошлись неучтиво?

— Ну а если даже и так? — ответил тот, поворачиваясь на пятках и выпучив глаза прямо в лицо Лессингему. — Понадобится кто-нибудь получше тебя, чтобы мне помешать.

Услышавший эту ссору король Дерксис остановился в воротах и оглянулся. По его приказу Касмон, Оринксис и Эсперверис с угрожающим видом подошли к Лессингему и сердито обступили его. Лессингем обвел их глазами и сложил руки на груди.

— Давайте не будем устраивать драк в этом месте, господа, — произнес он, а у Алкемена спросил: — Вы умеете пользоваться мечом?

Под взрыв их смеха Алкемен ответил с налитым кровью лицом:

— Доселе так считалось.

— Хорошо, — сказал Лессингем. — Тогда вот что. Вы невоспитанная свинья и ответите мне за свой хамский поступок.

Алкемен сказал:

— Слово ранит не хуже удара. Хорошо же. Господин Оринксис будет моим секундантом.

— А моим — мой лейтенант, Амори. Я отправлю его, господин мой, поговорить с вами.



На двадцать четвертый день после событий, о которых только что было рассказано, вскоре после заката, принцесса Зенианта стояла все у того же окна в королевской опочивальне. Комната была вся наполнена отсветами и тенями от пламени, что сверкало и шипело в камине. Слева от камина в глубокой нише навстречу вечеру было распахнуто окно, и вечерний ветерок врвался в него, неся привкус осени, а также привкус гор и моря. Крыши и башни Мехисбона казались темной зубчатой зеленовато-фиолетовой ширмой, отгораживавшей запад, где плыли отблески розового сияния, сливавшегося с дымчатой синевой и пурпуром, и, провожая день к его ложу, простиралось ввысь от горизонта вначале широкое, а затем суживавшееся острие зодиакального света. Возле Зенианты негромко прогудел жук, направляясь по своим ночным делам мимо окна; она представлялась ему некоей застывшей на огненном фоне титанической фигурой, сумрачной и прекрасной. Отсвету пламени она казалась частичкой самого себя, духом его духа, грезой его грез, тем, чем стало бы оно само, лишь облекись он божественной плотью: чем-то спокойным, надежным, радостным, теплым и бесстрастным; и он удостоверился в ее присутствии, мимолетно касаясь своими трепещущими пальцами то ее вздымающейся груди, то колечка каштановых волос, что свернулось на ее плече, то рубинового румянца на коже ее шеи.

Она обернулась, когда двери в стене слева от оконного проема открылись и, окруженная четырьмя несшими свечи служанками, подобная лилии, в спальню после купания вошла королева. Сияние ее глаз затмевало сияние зажженных Равиамной и Пафиррэ свечей: дюжины их у зеркала на столе, справа от камина, и еще дюжины у большого обрамленного серебром и белым кораллом зеркала, стоявшего опять-таки справа, в углу, а тепло от ее присутствия превосходило жар сверкающего пламени. Одно за другим, Зеноклида приносила со стула у огня одеяния тонкие, как паутинка, благоухающие и изысканные, как крыло бабочки, а королева надевала их. Анамнестра принесла ее котарди из роскошной тафты с серебристым отливом, как у лилии, мягкое и облегающее, расширяющееся книзу от бедер. Королева, подняв свои белые руки над головой, наклонилась и нырнула в него, словно пловец, и подобно пловцу же распрямилась, хохоча и отбрасывая волосы с лица. Шелковые рукава заканчивались в паре дюймов ниже плеч, продолжаясь дальше бледно-голубым прозрачным газом с широкими разрезами, мерцавшим золотой пылью и собранным у запястий манжетами с ажурными узорами из серебра и жемчуга. Юбка была расшита на две пяди вдоль нижнего края цветами из мелкого жемчуга, нежно-голубой бирюзы и золотой нити на бледно-розовом шелке. Равиамна принесла ее туфли, вышитые жемчугом и янтарем.

Затем, стоя перед зеркалом, королева вынула шпильки и, встряхнув головой, позволила своим волосам укрыть себя вуалью солнечного света, почти доходившей до вышитых оборок ее платья. Зенианта подошла с маленьким белым котенком и протянула его для поцелуя:

— Со всем почитением кланяюсь вашему высочеству в ваш день рождения и покорно прошу вас полюбоваться моим праздничным ошейником, который подарила мне Зенианта.

Антиопа наклонилась и поцеловала его меж голубых глаз.

— А теперь, — промолвила она, усаживаясь с котенком на коленях на стул из сандалового дерева без спинки и с вышитым сиденьем, что стоял перед столом с зеркалом, — вам лучше пойти и подготовиться самим. Зенианта уже одета, она поможет мне заплести волосы.

— До чего тихо! — произнесла она, оставшись наедине с Зениантой, укладывая и расчесывая свои густые волосы золотым гребнем: волосы, что оттенком напоминали бледное сияние золота в брызгах водопада. — Какое странное спокойствие, кузина. Я о спокойствии при дворе.

— Спокойствие? — переспросила Зенианта, перебирая украшения на столе. — Пожалуй, за последние пару недель, после того, как Лессингем зарубил тех пятерых, вызвав этим немало пересудов, а ты выселила всю их шайку за пределы Теремны, и впрямь стало поспокойнее.

— Ах, да я говорю о наших людях, — возразила Антиопа. — Боденай, старая госпожа Тасмарская, наш лукавый друг Ромир: они, наконец, отстали от меня. Может, они отпускают леску, чтобы потом поймать меня на крючок? Я их слишком хорошо знаю, киска, — продолжала она, поглаживая котенка. — Хитроумные интриги, только смысла в них немного. Нет, я уверена, все дело вот в чем: их внимание всецело поглощено этим человеком; пускай и набираются у него ума-разума, а я буду поступать, как считаю нужным. И за это, — добавила она, посмотрев в зеркало на Зенианту ясным, беззаботным и веселым взглядом, — я весьма ему признательна. Если бы только он приехал раньше.

— А этого Дерксиса обязательно звать на сегодняшнее празднество? — спросила Зенианта. — Уже два месяца, как он тут обосновался; думаю, он скоро пустит в Риалмаре корни. Что ты выберешь к своему платью, кузина: сапфировый гребень или бирюзовый? Или ты предпочитаешь распустить волосы и пойти вообще без гребня?

— Я надену греческий венец из ирисов в форме полумесяца, а еще те нитки жемчуга, что ты мне подарила, дорогая кузина.

Она помолчала, задумавшись; у уголков ее рта то появлялись, то пропадали маленькие ямочки. Затем она сказала:

— Наверное, ему было весьма горько от всей этой истории с Алкеменом.

— Эти жемчужинки запутываются у тебя волосах, кузина, как будто собираются свить коконы, чтобы из них вылупились светлячки, или во что там превращается жемчуг после спячки.

— В белых мотыльков, — промолвила королева. — С круглыми глазами и пушистыми крыльями.

Зенианта сказала:

— Пожалуй, я никогда не видела кого-либо, державшегося с ними столь же искусно, как господин Лессингем, когда ты послала за ним после жалобы Дерксиса. Он так покаянно и вежливо вел себя с королем; кто смог бы ему возразить? Но не сомневайся ни секунды, кузина: он знал, что у тебя на уме, как если бы твои мысли играли с ним в прятки, а он подглядывал за ними сквозь пальцы. По правде говоря, я чуть не расхохоталась: столь благолепно он выглядел. Само сожаление, кузина: Да, когда все встало на свои места, его поступок едва ли можно извинить: убить пятерых людей короля, да всего-то за пять минут. И все же, нельзя ли смилостивиться над ним по причине неведения, ибо до сих пор он и впрямь не понимал, что Дерксис, как королевская особа, гостя здесь, в Риалмаре, пользуется полной свободой расставлять людей в темноте под арками, чтобы прирезать любого, кого ему вздумается.

Антиопа улынулась:

— И тот угодил прямо в ловушку.

— Ага, — отозвалась Зенианта. — «Ей-богу, госпожа моя, я никоим образом к этому не причастен!» А ты тогда и говоришь таким милым и невинным голоском: *«О, понимаю, сударь, так это не по вашему поручению они там находились?»* И пока он нащупывал почву под ногами, Лессингем снова учтиво и смиренно напоминает Дерксису о том давешнем эпизоде с Алкеменом (в котором я была потерпевшей, кузина: эта тварь смеялась, когда Дерксис оскорбил меня). Пресвятые небеса! Я чуть не лопнула, пытаюсь сохранять невозмутимый вид, вспоминая (пока Лессингем разглагольствовал столь серьезным и официальным тоном) то, что произошло на самом деле: как он третьим выпадом поранил запястье этому мерзавцу и выбил меч из его руки с такой же легкостью, как смахивают муху. И это их великий и выдающийся дуэлянт, у которого на счету двадцать смертей. А потом, — она понизила голос, дрожавший от сдерживаемого веселья, — а потом заставил того снять штаны, покромсал их на полоски и отправил его прочь в этом неприглядном виде. Пусть знает теперь, когда смеяться, а когда помолчать...

— О, Зенианта! — воскликнула королева.

— А потом ты говоришь, — продолжала Зенианта: — *«О, весьма сожалею, сударь. Теперь все понятно. Вы не более повинны в этом несчастном случае, нежели я. Я так понимаю, этот ваш Алкемен сорвался с поводка и вышел из-под вашего контроля, и это он, а не вы, подкупил тех злодеев, чтобы те подстерегли и убили моего подданного. Мне покарать его от вашего имени?»* Кузина, я еще никогда не

видела, чтобы кто-либо так злился и ничего не мог поделать. Особенно когда ты под предлогом предотвращения подобных свар в дальнейшем предписала им всем поселиться за пределами Теремны.

Прическа была закончена и Антиопа встала.

— Что мне в Лессингеме нравится, так это его благоразумие, — произнесла она. — А также его разносторонний ум. Если необходимо сделать что-либо, этот человек это делает, и зачастую даже до того, как я пойму, что мне это нужно. И самое главное, он стоит на собственных ногах. Даже с тобой, кузина, никогда не было мне так же легко; я могу разговаривать с ним, как будто он мой брат, и нет между нами ни тени той глупости, которая все портит.

Принцесса молчала. Она подала со стола пояс из дымчато-розовых турмалинов, который Антиопа тут же надела, а затем ее маентию из белого шелковистого газа со сборками, прозрачную, как апрельский ливень. Тут и там на ней были вышиты маленькие голубые пролески и колокольчики с крошечными золотыми крапинками. Мягкой она была и не сковывавшей в движениях, само воплощение изящества. А ее нежную шею окружал отороченный жемчужинами воротник в форме сердца, разрезом спускавшийся меж ее грудей, где его скрепляла брошь в форме цветка из алмазов столь крохотных, что она казалась сотканной из света.

— Что же до этого надоедливого короля, — промолвила она, — то сегодня я намереваюсь от него избавиться, если это вообще возможно.

— Как это?

— О, я собираюсь самым милым и любезным образом продемонстрировать ему, кто есть кто. Увидишь сама.

— А ведь только этим утром, — произнесла Зенианта у нее из-за спины, приглаживая воротник, — ты напрямик отвергла, уже в третий раз, его предложение женитьбы. Бедный король, похоже, он безнадежно запутался в тенетах вашего высочества.

— Бедный король. Ну а что, мне теперь согласиться, Зенианта? Ведь мне и в самом деле его жалко. И в то же время я нахожу его весьма неприятным. Но и весьма печально думать о человеке столь потерянном: он нравится самому себе, а всем остальным — нет. Так что же, мне согласиться?.. Нет уж, кузина, не нужно меня мучить!



Огромный Зал Морских Коней в королевском дворце в Риалмаре имел форму креста и состоял из квадратного центрального зала и примыкавших к нему четырех залов с потолками чуть ниже; и каждая из этих пяти частей была около тридцати шагов в длину и в ширину. Стены были обшиты панелями из зеленой яшмы, что перемежались колоннами из ляпис-лазури. В северном конце, напротив главного входа, находилась лестница, вся из яшмы; ее широкие ступеньки спускались в северный зал, а пролеты справа и слева от

нее уводили на галерею. Окна впятеро выше человеческого роста заполняли всю стену на востоке и западе; в западные серпом серебряного пламени уже заглядывала народившаяся три дня назад луна. Главный вход был сделан в южной стене южного зала; это были двери со стрельчатыми сводами, покрытые прибитой гвоздиками в виде золотых звездочек переливчато-синей кожей и окаймленные розовым хрусталем. Плоские крыши боковых залов были сделаны из темного камня, полного огненных искорок. Потолок подпирали тонкие яшмовые колонны, тянувшиеся в два ряда через середину каждого из залов, деля их на три части. Но в главном, центральном, зале крыша была в форме необъятно высокого купола, а сам этот зал пуст и без колонн. Свод украшали занавеси или гобелены, забранные по углам в петли на уровне фриза и ниспадавшие оттуда на пол колышущимися массаами. Они были сотканы из тусклой материи, которая отливала синевой или зеленью, когда перемещался источник света или человек, их рассматривавший; здесь и там на них струились ультрамариновые полосы, были вытканы розовым шелком розы, а на пересечении лент и полос на утолщениях из черного шелка размера больше, чем человек может охватить руками, золотой нитью были вышиты огромные подсолнечники. Высоко под куполом висел один огромный светильник из серебра, топаза и желтых сапфиров, испускавший теплое золотое сияние. Повсюду были подвешены на железных цепях курильницы из украшенной узорами чеканной бронзы: одни были покрыты зеленой и белой эмалью, другие — красным лаком, а третьи отливали дымчатым бронзовым отливом; в цепи же были вплетены цветы, ползучие растения, листья и фрукты. Курильницы чередовались с множеством небольших подвесных светильников, плававших розовато-красным светом. Пол был выложен редкими и приятно пахнущими сортами дерева, разноцветными, но вместе дававшими красноватый оттенок; голый в главном зале, чтобы там можно было танцевать, а в четырех внешних залах застеленный малиновыми коврами. А перила огромной лестницы там, где она достигала пола (и отсюда зал и получил свое название), оканчивались стоящими на дыбах двумя морскими конями с перепончатыми ногами, похожими на плавники крыльями и покрытыми как у рыб чешуей телами с рыбьими же хвостами. Они были больше самого большого коня, когда-либо ступавшего по земле, вырезанные каждый из цельного куска горного хрусталя цвета морской волны.

В этом роскошном зале собрались сотни гостей, чтобы отпраздновать восемнадцатый день рождения королевы Антиопы. И когда они, переговариваясь, бродили по залу, это выглядело, как будто после долгого проливного дождя выглянуло солнце, в чьих лучах над мокрой оградой из самшита или тиса поднимается дымка, мерцающая всеми цветами радуги, и капельки на листьях при каждом дуновении ветра превращаются из изумрудов в аметисты, из аметистов в рубины, а из рубинов в жидкое золото. Король Деркис,

оглядывавшийся вокруг с видом ощущающего во рту вкус кислой микстуры человека, стоял вместе со своими людьми в главном зале. Некоторые, проходя мимо, салютовали ему в знак почтения, но большинство старались к ним не приближаться, и никто не присоединился к их компании. Время от времени при виде какого-нибудь молодого фингисволдского лорда или любого ладно выглядящего мужчины меж его бровями появлялась складка, но взгляд его все чаще обращался в сторону лестницы.

— Риалмарские манеры, — наконец, пробормотал он себе под нос. — Я сыт по горло этой умышленной неучтивостью. Шлюха! Разве я — ее обезьянка, которую можно водить на поводке? Эсперверис! — воскликнул он.

— Покорнейше ожидаю распоряжений вашего высочества.

— Отправь еще одного посыльного. Скажи, что король Аккамы уже ждет, и не в наших обычаях дожидаться женщины. Погоди. Не отправляй никого. Я передумал.

Вернувшись назад, Эсперверис поклонился. В глазах его застыло испуганное и раболопное выражение (уже посещавшее их в саду), как будто бы он разглядел под маской что-то ужасное.

И тут, повернувшись, чтобы взглянуть на восточный вход, Дерксис впервые за этот вечер устремил взгляд на Лессингема, беседовавшего со старым Боденаем и лордом Ромиром, констеблем Риалмара, с окружавшими их молодыми лордами Орвальдом, Вентоном и Тиархом, а также с графиней Гетерасменой, дочерью адмирала Иеронимия Мириллой и прочими. Веселым и беспечным казался Лессингем, и было ясно, что именно он задает тон в их беседе, которая в его присутствии распустилась подобно цветам под пригревающим солнцем. Одевания его, покрытые узорами в виде серебряных трилистников, были роскошны и мрачны, в них преобладали черный и насыщенный индиго. Он был в тесном кружевном жабо, рукава на запястьях были собраны манжетами из серебристой тесьмы. Лишь одно украшение было на нем: королевский орден гипшогрифа на шее; на большом пальце же его красовалось кольцо в форме червя уробороса, что пожирает собственный хвост.

Ни один мускул, ни один волосок не шелохнулся, выдавая его мысли, на лице Дерксиса, когда тот целую минуту пристально рассматривал Лессингема через весь зал. Затем он обратился к Оринксису своим холодным невозмутимым женским голосом, беря того за руку:

— Посмотри, этот дамский угодник явился безобразничать в обществе людей, которые ему не чета. Наемник; торгует своим мечом, да и телом тоже, за гроши. Как бы ты назвал такого человека, Оринксис?

— Если вашей светлости будет угодно, то вкратце вот так, — ответил Оринксис: — Потаскун?

— О, чудесно, бесподобно! — произнес Дерксис. — Иди и так ему и передай от меня.

Его глаза, словно камушки, усталились на Оринксиса, наблюдая, как кровь отливает от его сделавшегося белым злобного мясистого лица, а затем возвращается снова, будто бичуемая стыдом, как тот нащупывает неуверенными пальцами эфес меча, которого при нем не было, ибо никому не дозволялось являться на аудиенцию вооруженным. Расправив плечи, Оринксис соби­рался уже идти с видом осужденного, поднимающегося на эшафот. Король остановил его касанием руки.

— Ну ты и дуралей, — промолвил он, и в его голосе, жалившем, будто восточный ветер, приглушенной музыкой слышалось злобное веселье. — Неужто мне предстоит лишиться всех своих друзей, помощников и приспешников лишь потому, что все вы уподобляетесь освежеванным кроликам, как только приходится иметь дело с этим чертовым забиякой? Алкемен мог бы съесть за ужином двоих таких как ты, но разве этот малый не проучил его? Так и я проучил бы эту проклятую девчонку, если бы только она попалась мне там и тогда, где и когда мне удобно. Я порол бы ее, пока не хлынет кровь.

Лессингем выступал среди гостей почти как царственная особа, хотя в этом и не было его умысла, ибо он всегда казался человеком, чьи мысли и устремления направлены вовне и не слишком заняты самим собой. Но, как стрелка компаса всегда указывает на полюс, так были направлены на него и взгляды всей этой толпы вельмож, леди в их летних нарядах и прочих знатных людей со всей страны.

— Так вы не все время обретаетесь на гондолах или островах? — послышался веселый и шутливый голос из-за его спины.

Он обернулся и взглянул в глаза-бусинки, чей странный застенчивый взгляд привлекал взгляд любого заглядывавшего в них, не позволяя тому такой вольности, как рассмотреть лицо, которому они принадлежали.

— Сладка та сила, что возлюбленной дарует наслаждение;

Неизмерима сладость силы этой...

Вы все так же иносказательны в своей философии, господин Лессингем?

— Я полагал, госпожа моя, — промолвил тот, склоняясь над ее крохотной ручкой, по локоть обтянутой перчаткой из бархатно-мягкой коричневой кожи, от которой исходил резкий сладкий аромат летних вечеров в заросших камышом сонных водах, — что я продемонстрировал вам полную пригодность этой философии к практическому применению. Могу я иметь честь станцевать с вами, когда начнется музыка?

— Как вам будет угодно, хотя я бы предпочла, чтобы меня спрашивали тогда, когда это время настанет, — ответила она. — Я пока не знаю, какие распоряжения были отданы нынче вечером. Не беспокойтесь, господин мой; однажды заполучив, вы не сможете потерять меня.

При этих словах коричневая лапка выскользнула из его пальцев и она в своем коричневом отороченном мехом платье затерялась в толпе, словно бесшумно скользнула в воду, не оставив после себя даже ряби.

Лессингем, необычайно и необъяснимо оживившись, некоторое время тщетно озирался вокруг в поисках ее, а затем отправился дальше. Казалось, будто яркий свет в зале засиял еще ярче, и будто некие глаза тайно наблюдают за происходящим из светильников, с гобеленов, с золотых капителей колонн, даже с самих стен: тысячи невидимых глаз, ждущих какого-то события. Поглаживая свою черную бороду, Лессингем вспомнил, что еще не пил вина, а затем подумал, что вино не действует таким образом. Ибо теперь его охватило спокойствие, ясность мысли и взора, и, глядя на собравшихся вокруг, он ощутил, что началось нечто грандиозное. Шедшая по залу Зенианта ответила на его приветствие; казалось, он впервые осознал красоту той, которую считал лишь одной принцессой среди многих, той, что воплощала теперь в себе первозданное совершенство, как темнеет цветок гиацинта, втоптаный в землю бредущими по холмам пастухами. Пусть и не такая же, но соизмеримая метаморфоза произошла и с сотнями других прекрасных женщин, на которых он сейчас взирал; они казались вдруг пробужденными к жизни величавыми и холодными мраморными Галатеями, похожими на изваяния нимфами или полубогинями, пожелавшими вновь посетить обычный мир, увидеть этот сентябрьский вечер и закат юной луны. Но изменение это не было сном или видением, скорее этот факт лишь стал отчетливее и очевиднее, будто подувший ветерок прогнал обманчивую мглу и туман, обнажив истинную природу вещей. Нисколько не удивившись, Лессингем встретился с направленным на него из угла южного зала справа от лестницы морских коней немигающим и подобным кошачьему взором своей орады, Антеи. В ней, как и в пламени, что заключенное в пламени же, пламенем и остается, он изменений не увидел. Пробираясь ей навстречу, он миновал то место, где стояли Дерксис и его спутники, пройдя, по сути, прямо сквозь их компанию, не заметив ни их самих, ни того, как в недовольном удивлении они расступились перед ним в стороны. Ибо в свете этих метаморфоз они стали столь незначительными, что он в эти мгновения вообще не ощущал их присутствия.

Но прежде, чем он, поглощенный нахлынувшими воспоминаниями о минувших любовных развлечениях на Амбремерине, а недавно и в Лаймаке, сумел приблизиться к этой леди на расстояние, достаточно малое, чтобы заговорить, затрубили семь серебряных труб, и при первых же звуках все в этом огромном зале застыли, и все взгляды обратились к лестнице. И вот, в тишине, королева Антиопа сошла по лестнице мимо сумрачно-прекрасных гобеленов и замерла на последней ступеньке меж могучими морскими конями.

Тишину нарушили звуки нежной музыки. Знатных гостей подводили и представляли королеве, дабы те могли поцеловать ее руку по случаю ее дня

рождения, и первым из всех — короля Дерксиса. Лессингем со своего места чуть поодаль, слева, у восточной стены, наблюдал за выражением ее лица, когда Дерксис церемонно и напыщенно поднес ее руку к своим губам; она и Лессингем украдкой обменялись понимающими взглядами, слишком быстрыми, чтобы кто-либо посторонний мог их заметить, и в глазах ее в этот момент было шутовское смирение.

Когда с формальностями было покончено, дюжина слуг расстелили в нескольких шагах от подножия лестницы небольшой коврик из черного бархата с серебряной каймой, и поставили на него трон из перламутра и слоновой кости. Туда и направилась королева, все еще облаченная в свою мантию из сверкавшей всеми оттенками серого тускло-серебристой ткани, и четыре маленьких мальчика несли за нею шлейф. Она уселась на трон, а ее фрейлины заняли свои места позади и по бокам. Дерксис подошел и встал справа от нее. Она отвечала ему коротко и в основном говорила со стоявшей слева Зениантой. Собравшиеся начали танцевать сарабанду, и партнершей Лессингема в этом танце была госпожа Кампаспа. Дерксис добивался чести танцевать с королевой. Она ответила, что обычно танцует только павану, ибо это был их королевский танец. Дерксис поинтересовался, когда начнется павана. Она ответила:

— Когда я распоряжусь.

Он попросил ее отдать приказ тотчас же, как только окончится первый танец, тем самым удовлетворив его страстные мольбы.

— Если вам этого так уж сильно хочется, — промолвила она, — то сделать это нетрудно, — и приказала своему охраннику отдать соответствующие распоряжения.

Когда струны взвизгнули в последних величавых созвучиях сарабанды, а танцоры остановились и разошлись в стороны, Лессингем сказал Кампаспе:

— Дорогая повелительница тихих вод, ив и лунного света, не станцевать ли нам с вами еще раз? Как насчет третьего танца, или еще какого-нибудь? Или, поскольку ваша темная красота пленяет и за пределами этого залитого светом места, не погулять ли нам по здешнему садику, где статуя самой благословенной Богини стоит посреди пруда с лилиями?

— Чтобы вы могли вновь заняться исследованием загадок божественной философии? — рассмеялась она. — Как на Амбремерине? Но поговорим об этом попозже. Нет, я не стану играть с вами в кошки-мышки, господин мой. И обиды я на вас не затаю, если, когда придет время, вы найдете себе иное занятие. Ибо на самом деле, — добавила она, весьма серьезно поджав губы, касаясь его локтя своей крохотной мягкой рукой и поправляя обтянутыми перчаткой пальчиками шпильки в начавшей расплетаться косе своих темных волос, — часть, как известно, является лишь проявлением целого.

На величавую павану он пригласил госпожу Антею, поцеловав ее руку

(ногти на которой, как он заметил, были отполированы и заострены, будто когти) и глядя при этом исподлобья прямо в ее желтые рысьи глаза, эти маяки, по которым он уже привык ориентироваться в зачарованных и опасных морях, где по его убеждению она была мореплавателем опытным, смелым и весьма находчивым. Но тут он услышал возле себя мужской голос, произнесший:

— Госпожа, прошу меня извинить. Господин Лессингем, ее высочество желает вас видеть.

— Госпожа моя, — промолвил Лессингем, — здесь правит владычица еще более могущественная, нежели вы, и вам придется позволить вашему слуге уйти, когда она зовет. Вы укрепите мой дух, сказав, что я найду вас здесь, когда вернусь?

— Ну и ну, смертный, сам того не понимая, глаголет истину, — сказала она, и ее лицо приняло несколько презрительное выражение, отчего его бесстрастные черты стали казаться еще холоднее. — Для меня всегда честь быть для вашего превосходительства... как там выразился ученый доктор?.. «приятным эпизодом». Но нынче вечером в воздухе витают перемены, и, будь я вами, господин Лессингем, я бы не стала загадывать слишком далеко наперед. По крайней мере, не сегодня.

Щелки зрачков сузились в ее глазах, что всматривались в него, будто читая его мысли и находя в них нечто забавное. Потом она рассмеялась и отвернулась от него.

Приводя в порядок свои смешавшиеся мысли и подавляя в себе недовольство и разочарование, Лессингем шагал вслед за королевским камергером мимо приготовившихся к паване пар, пока не оказался перед королевой. Та, встав со своего перламутрового трона, сбросила свою мантию, подобранную маленькими пажам, как только она покинула ее плечи, и предстала перед ним в своем прекрасном и роскошном платье туманно-серебристых, розовых и синеватых оттенков, словно небо тихим летним утром. Величавой выглядела она в одеянии, которое из всех женских нарядов наилучшим образом подчеркивает благородную осанку: в шали из бледно-голубого газа, усыпанной крошечными алмазами и отороченной по краям розовым шелком. Вновь вступили струнные. Кланяясь ей, Лессингем прочел в ее глазах пропавшую столь же внезапно, как появилась, быструю подсказку, что он должен что-то сделать для нее, и что ему нужно быть готовым в любой момент начать действовать. Справа к ней повернулся, протянув руку, Дерксис. Она, словно не замечая этого, взглянула на Лессингема.

— Сударь, — промолвила она, — вы представляете здесь лорда-протектора, который служит мне *in loco parentis*<sup>111</sup>. В этом качестве прошу вас занять почетное место в нашей компании и станцевать со мною павану.

111 *In loco parentis* (лат.) — «вместо родителей».

Наблюдая, как они уходят, Дерксис застыл и стоял неподвижно так долго, что можно было бы досчитать до десяти. Амори, в то мгновение как раз проходивший мимо с леди Мириллой под руку, увидел выражение глаз короля и внезапно ощутил ужасную слабость в коленях. Лессингем также заметил этот взгляд; королева же почувствовала, как вдруг напряглась его сильная рука, сжимавшая ее руку. Ибо, как и в мягком голосе этого юного монарха, когда он злился, так и теперь на его бледном как пепел лице, и в его глазах, словно из-под приподнятой маски читалось нечто, некая злость, угроза, от которой даже храбрый человек почувствовал бы дурноту, как если бы завидел самую отвратительную из всех фурий ада, поджидающую его.

Когда Амори, справившись через минуту со своими чувствами, заставил себя взглянуть на короля снова, Дерксиса и его лордов в зале не было.

Под мерный ритм пульсирующих струн виолончелей зазвучала мелодия паваны, будто начало разворачиваться все великолепие зари, когда в небесах тлеют медленно плывущие исполинские облака, отколовшиеся от продуваемого ветрами полога ночи, когда они занимают огнем, и на вымытый дождями сияющий небосвод, что чище росы на пробуждающихся вершинах холмов, выходит опаловое утро; именно такой была музыка этой паваны. Выступая в такт музыке, Лессингем, сжимая руку королевы в своей, смотрел взглядом погруженного в раздумья человека в лицо Антеи, а чуть позже Кампаспы, когда те приближались к ним в танце: одно словно камья, обрамленное яркими как солнце волосами, другое — мордочка некоего полевого создания, чьи черты, не красивые, но сродни красоте, обладали странным обаянием благодаря бусинкам угольно-черных глаз. На обоих лицах он заметил выражение, как будто они, что-то зная, получали удовольствие и от своего тайного знания, и от него самого с его неведением.

Он взглянул на королеву. На ее лице не было этого таинственного выражения. Ее глаза просто улыбались ему. Он вспомнил о леди Фьоринде, возлюбленной Барганакса; ни у одной женщины кроме нее, а теперь и Антиопы, не встречал он в глазах такого взаимопонимания и расположения, столь чистого, незамутненного, бессознательного и спокойного, как если бы ему повстречалось его собственное я.

И тут, все еще погруженный в это ничем не тревожимое созерцание ее, словно покачиваясь на глади спокойного и тихого моря, он внезапно впервые осознал, что вокруг играет музыка. Словно ревуший среди холмов паводок затопила она его чувства, ослепив и поглотив его. Теперь он вспомнил эту музыку с ее медленно пульсирующим ритмом и разливающейся под него мелодией, и то, что следовало за нею по пятам: то, чего он жаждал сильнее всех звезд неба. Он смотрел на Антиопу так же, как тогда, на Амбремерине, взирал на том ночном пиршестве на Фьоринду со светлячками в волосах. На какой-то момент все стало так же, как было и тогда: ее лицо сделалось неподвластным

его взору, он видел лишь поток ярких копий света и огней всех оттенков. Его охватил озноб. Но потом он услышал в своем воспоминании, как если бы это происходило сейчас, тот ленивый и ласковый голос, будто игравший со временем, с миром, с любовью, изменениями и вечностью как с игрушкой: полагаю, там вы найдете то, что ищете; на севере, в Риалмаре; и при этих словах словно окно отворилось вдруг в небесах, и он по-настоящему узрел королеву, как в том сне в Акрозайане, когда он увидел ее впервые, или во второй раз, когда, будто лунатик, едва не наткнулся на острие меча Барганакса. Теперь он видел ее, возможно, почти так же, как видел бы ее Бог, и весь мир словно родился заново в его глазах. Он узнал ее. Паутина воспоминаний, что разорвалась и рассеялась по его прибытии в Риалмар, вдруг снова стала единым целым, и тут он вспомнил и узнал ее голос: тот самый голос, что заговорил с ним той майской ночью в Морнагее, доселе неведомый, но вне всяких сомнений обращавшийся к нему, ставший знакомее и ближе всего на свете, ближе даже, чем его собственные плоть и кровь, и исходивший из пучин его разума, когда, погрузившись в созерцание поднимающихся в золотом вине пузырьков, мысли его замерли, как пустыльга замирает в воздухе: Не тревожься. Я дала обещание, и я его исполню.

В этот критический момент его неожиданно охватило спокойствие, ведомое лишь Богам, что путешествуют меж миров, сжав железными коленями бока молнии, когда все противоположности устремляются к единому центру в безудержном и слепом спиральном полете и замирают в полнейшей неподвижности. И в неподвижности же думал он о происходящем, о своей королеве на заре и в расцвете ее молодости, о ее серых глазах, в которых жило само воплощение утра, беззаботное и свободное. И от взгляда этих устремленных на него глаз он еще сильнее сжал колени, и если королева и почувствовала, как отвердела рука, державшая ее руку, то этого его зора было достаточно, чтобы усыпить в ее разуме любой вопрос прежде, чем он окончательно пробудится. Но в этом незаметном сжатии руки, которое происходило вопреки его воле и за которое он внутренне проклинал себя, выражалась вся мощь его железного духа, что натягивал вожжи, дабы усмирить рвущегося вперед рысака, на котором он восседал, и заставить того везти его по избранному им пути меж головужительными безднами.

Мелодия паваны, вернувшись в своей последней вариации, чтобы еще раз пройти по залу в сиянии всех звезд, в жужжании пчел и доносивом дунувениями ветра медовом аромате цветущих лип, замерла и под две тихие взятые пиццикато ноты вступила в чертоги тишины. Поклонившись королеве, Лессингем отвел ее к трону. По пути они беседовали и, глядя на нее, он заметил, как она обводит взглядом собравшихся, и как трепещет подобно колибри ямочка у уголка ее рта.

— Кузина, — промолвила она, протягивая свободную руку Зенианте, — полюбуйся на воплощение моего замысла. Все получилось просто замечательно: наш враг убрался восвояси и не смеет более показываться. Какую же награду, верховный полководец, попросите вы за свой вклад в это дело? Ибо воистину, до нынешнего вечера не было в Риалмаре монарха, отягощенного таким же бременем как я.

— Существуют вершины, — отозвался Лессингем, — с которых можно лишь спуститься вниз. Если вы все же желаете оказать мне честь, что я изберу вершину пониже и попрошу вот чего: чтобы ваша милость любезно поддержали меня, когда я приглашу леди Зенианту на танец.

— Ну что, кузина, — сказала королева, — соглашаться?

— Это просьба, — ответила та, — которую ваше высочество, полагаю, вполне может удовлетворить. И на ближайший же танец.



На протяжении всего остатка вечера Лессингем держался открыто, как человек, всецело отдающийся происходящему; речь его была полна искрящегося веселья, а когда было необходимо — и серьезных высказываний. Так что и королева, и Зенианта, и любой из присутствующих видели в нем лишь приятного и мудрого собеседника — столь уверенно и незаметно управлял он гиппогрифом в своей душе.

Настала ночь и празднество подошло к концу. И в завершении церемонии королевские фрейлины и придворные выстроились перед лестницей, в то время как она поднималась по ней мимо морских коней одна, сопровождаемая лишь неспшими шлейф мальчиками. Наблюдавший за ней Лессингем подумал, что и сама пенорожденная Богиня могла бы так же ступать по лазурным просторам своего вечного моря меж садящимся солнцем и восходящей луной. А потом ему показалось, будто все сокровища вечности слились воедино в хрупкой жемчужине, и эта драгоценность на его глазах канула в бездну с утесов ночи.



## XIV. Дорийский лад, совершенный каданс

СЛОВА ЛЕССИНГЕМА: «Я СОГЛАСЕН, НО БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ»

**П**ОЖЕЛАВ всем спокойной ночи, королева Антиопа отошла ко сну. Лессингем же, добравшись, наконец, до своей спальни, бродил от окна к кровати, от канделябра к камину, поглощенный борьбой с самим собой, борьбой столь яростной, как если бы правая рука сцепилась с левой, грозя разорвать на куски тело, которому они принадлежали.

— Я не потерплю никаких условий, — наконец, вымолвил он вслух.

Он стоял, всматриваясь в зеркало, пока отражение не затуманилось, и лишь его острые стальные глаза взирали на него из застлавшей и скрывшей все остальное пелены.

— Условия! — воскликнул он и, круто обернувшись, вытащил из-за пазухи своего камзола маленький высохший листок, тот самый, который Антея предоставила в его распоряжение в Лаймаке. Он смотрел на него некоторое время, размышляя, затем открыл дверь и вышел. Коридоры были погружены в дремоту и забвение; ночные часовые сонно отдавали ему салют при его приближении. Он спустился по лестнице, миновал пустые залы и добрался до наружных дверей. От прикосновения этого листка двери отворились. Он вышел в укромный садик. Беззвучно повернувшись на петлях под действием чудесного листка, ворота распахнулись настежь. А он заговорил про себя, шагая неспешным шагом в свете звезд. Он оставался хладнокровен, дыхание его было ровным, а биение сердца размеренным, хотя его мысли, казалось, мчались в звездные выси беспредельной ночи: «Никаких условий. Никакого супружества, королевства, ответственности... нет. Изменить ему, не выполнив его поручения... да нет же, ей-богу! Отказаться от свободы, стать зависимым, вместо того, чтобы следовать собственной воле, как прежде... ха! Нет. Или, как ненасытный обжора, запачкать...» — он осекся, ошеломленный, ослепший, будто его огрели палкой по голове. Затем ненадолго ускорил шаг, круто развернулся и замер, неподвижный, словно статуя, у изваяния Афродиты, что белело меж звезд в небе и более бледных звезд, что отражались в воде, и дремлющих кувшинок, плававших у ее ног. И, когда мысли вернулись к нему, он подумал: «Ты иная. Даже Он, тот, что сотворил Тебя... — ночной ветерок шелухнулся в спящем саду и тут же снова погрузился в сон: — Твое могущество заставило Его создать Тебя, создать то единственное, что по-настоящему желанно».

Слабое благоухание лилий донеслось до ноздрей Лессингема. Его мысли застыли. Так стоит на гребне высокой горы человек, которого накрыла туча: совершенно потерянный, вглядывающийся в просветы в тумане, сквозь которые далеко внизу виднеется отнюдь не знакомые ему края, но странные и неведомые, и все же неуловимым образом принимаемые им вопреки всем дремлющим в нем слепым убеждениям за края знакомые и родные. И с той же отстраненностью, столь ему чуждой, слова, которые несмотря на всю их дико-

винность и старомодность он признал за свои собственные, проплыли в его мозгу:

*А мы, мадонна, не изгой ль мы теперь  
 Когда впервые встретились с тобой,  
 Как будто чей-то голос прозвучал  
 Ему значенья не придал:  
 Был он чуть слышен  
 И тут же затерялся средь бесед, сверкающих огней,  
 Пропал за вальсами и светской суетой.  
 Но в эту ночь ночей  
 Словно неведомая дверь  
 Во мраке распахнулась предо мной,  
 И, новою мечтой маня все выше,  
 Рассвет над миром воссиял.*

Словно пробуждающийся человек, который старается вернуться в сон и от самого этого усилия просыпается, или взор, ищущий звезду, виденную лишь только что, но уже исчезнувшую в залитых светом наступающего дня небесах, пытался Лессингом ухватиться, утратив их в мгновение ока, за эти строки, за слабое воспоминание, словно явившееся вместе с ними из некоей прежней забытой жизни. И, пребывая в этой сонной инертности, пытаясь взлететь там, где нет воздуха и не на что опереться крыльями, пытаясь увидеть некое лицо, там, где видеть нельзя и царит темнота, пытаясь услышать некий голос или ощутить прикосновение там, где все молчаливо и бесплотно, он очнулся лишь тогда, когда оказался, наконец, в своих покоях, стоя там же, где стоял час назад, и глядя в свои собственные глаза. И, как ландшафт постепенно обретает вещественность и четкость с приходом зари, так и он начал вновь различать свое лицо, смотря на него так, как одна гора смотрит на рассвете на другую сквозь воздушные пространства.

— Я согласен... — начал он и замолк. — Но без всяких условий. Условия оскорбительны.

Клочок за клочком разорвал он свой листок сферра кавалло, бросая их один за другим на белеющие угли камина, и с полунасмешливым, полусожаляющим видом стоял, наблюдая как последний обрывок съживается и стора-ет без следа.



## XV. Риалмарский виноградарь<sup>112</sup>

ОБУЗДАНИЕ ГИППОГРИФА — КОРОЛЕВА НА ВОЛЕ —  
ПОЕЗДКА ПО ЛЕСУ; НЕЖДАННЫЙ СВЕТ — ВАНДЕРМАСТОВ САД У ДОРОГИ —  
ДОМ МИРА — НАЯДЫ, ДРИАДЫ И ОРЕАДЫ —  
«ПЕСТРЫМ ТРОНОМ СЛАВНАЯ АФРОДИТА»<sup>113</sup> — ВЕСЕННИЕ АРОМАТЫ АМБРЕМЕРИНА  
— ВОДОВОРОТ И ВНОВЬ ЗАТИШЬЕ —  
«...С ВЕЧНОЙ БОГИНЕЮ... И САМ ТОГО ТОЧНО НЕ ЗНАЯ»<sup>114</sup> —  
«ГОЛУБИНОЙ ВЛЕКОМАЯ СТАЕЙ»<sup>115</sup> — РАЗМЫШЛЕНИЯ С НИМФАМИ У ОГНЯ —  
РОЗА И АДАМАНТ — ЛЕТНЯЯ НОЧЬ: АНТИОПА —  
ОСЕННИЙ ЗАКАТ: РАЗДУМЬЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

**К**ОРОЛЕВА Антиопа устроила на Михайлов день<sup>116</sup> веселый праздник и объявила соколиную охоту. Было свежее и тихое осеннее утро. Стоявший у окна в сапогах для верховой езды Лессингем, втягивал носом воздух. Вошел Амори и пожелал ему доброго утра.

— Ну, — отозвался Лессингем на его укоризненный взгляд, — что на этот раз?

Амори снял со стены зеркало и протянул его ему.

— Что там, у меня грязь на носу? Борода растрепалась? — он склонился к зеркалу в притворном беспокойстве.

Амори положил зеркало на стол.

— О, поверьте, мне бы и дела не было, если бы старый Боденай и дюжина людей в придачу тотчас же отдали богу душу из-за того, что вы не даете им ни передохнуть, ни поспать. Но вы-то сами...

— Знаешь, сколько раз за эту неделю я играл в теннис?

— Теннис! Да прошло уже шесть недель, и последние три вы, как мне кажется, тронулись умом, — промолвил Амори. — Полугодовой труд втиснут в двадцать дней: вся государственная машина королевы здесь, на севере, раскручена на части, а затем вновь собрана воедино; новые полчища разведчиков отправлены присматривать за Аккамой, до сих пор столь неосмотрительно упускавшейся из виду; в городе готовятся запасы, чтобы можно было, если потребуется, переждать двенадцатимесячную осаду; начаты работы по укреплению всех оборонительных сооружений; все учтено, все проверяется; констебль и половина офицеров уволены; отрублено три или четыре головы, а все остальные лично вами приручены и выдрессированы подчиняться вашим командам...

— Что ж, — сказал Лессингем, — душа живет в теле не для того, чтобы сидеть сложа руки, — он взял свою шляпу. — Кто обедает запахом жаркого,

112 В названии главы, возможно, отсылка к «Фастам» Овидия, где содержится легенда об Ампеле. Дионис подарил Ампелу виноградную гроздь, повесив ее высоко на ветку вяза. Забравшись на дерево за виноградом, юноша упал и разбился, после чего был вознесен на небо в виде звезды Виндемиатрикс в созвездии Девы.

113 Цитата из «Гимна Афродите» Сапфо, пер. В. Вересаева.

114 Цитата из гимна «К Афродите» Гомера, пер. В. Вересаева.

115 Цитата из «Метаморфоз» Овидия, пер. С. Шервинского.

116 Церковный праздник в Англии, отмечается 29 сентября.

Амори, не бережет ли грудь добра<sup>117</sup>? Когда я приведу все в порядок, через неделю-другую, тогда с моим поручением будет покончено, и мы уедем прочь отсюда.

Амори вышел из комнаты вслед за ним.

Когда они ехали через рыночную площадь, над Риалмаром сияло яркое солнце. Они двинулись по Квиренской Дороге, миновали старые городские ворота и, спустившись по крутому склону холма, направились на юг, на равнины Реварма. Впереди ехали Орвальд с Тиархом и почетный караул, за ними следовали королева в своей облегающей зеленой амазонке, отороченной жемчугом, Анамнестра, Зенианта, Пафиррэ, Амори, лорд Босра, недавно принятый на должность констебля Риалмара, и сокольничие, числом семь или восемь, со спаниелями и рыжими сеттерами, а замыкал процессию Лессингем на Маддалене, державший на кулаке шахина<sup>118</sup> в колпачке и погруженный в беседу со старым королевским судьей.

Утро они провели на просторах заливных лугов, охотясь за пернатой дичью. Река, петлявшая размашистыми излучинами в милю и более шириной, разливалась усыпанными галькой мелями; время от времени они пересекали ее вброд под плеск и стук копыт по шатким камням. Собакам зачастую приходилось пускаться вплавь, но там было неглубоко и вода нигде не доходила выше лошадиного брюха. С северо-востока, с гор, дул резкий ветер, затруднявший охоту. Светившее в голубом небе солнце озаряло бурные синие речные воды и волны колышимои ветром пожухшей травы. В час пополудни они выехали на лавовое поле, пробираясь среди бугров и гребней, словно между скирдами на поле, и миновав покрытый черным песком обширный склон, где все казалось созданным из угольной пыли, попали в травянистую седловину меж двумя пологими увенчанными кратерами холмами. Здесь, укрытые от ветра нависавшей над ними громадой холма, они остановились перекусить и отдохнуть.

— Что собирается ваше высочество делать теперь? — поинтересовался Тиарх. — Повернем назад? Или поднимемся на перевал и устроим гонки там, на плоскогорье?

— Господин мой Тиарх, — воскликнула Зенианта, — вас и с завязанными глазами ни с кем не спутаешь! Лучше вашему высочеству уступить ему. Его соколенок нынче утром подкачал, так что охотой ему вдруг заниматься расхотелось.

— Будь к нему подобнее, — сказала королева. — Таким уж создал его Бог.

— И поэтому, — промолвила принцесса, — он ничто на свете не ненавидит столь же сильно, как, к примеру, танцы.

<sup>117</sup> Цитата из «Опытов» М. де Монтеня.

<sup>118</sup> Вид сокола (*Falco peregrinoides*).

— По сути дела, — подхватила королева, — он и на моем дне рождения не станцевал ни единого танца.

— На самом деле, — сказал Тиарх, — я несколько разборчив в том, что касается тех, с кем танцую.

Зенианта рассмеялась:

— Да уж. Ведь первым делом вы подошли ко мне. Продемонстрировали осведомленность, если не сообразительность.

— О, Зенианта, неужто ты отказалась танцевать с ним? — спросила королева.

— Предложила ему сначала попробовать с Мириллой. Чтобы, если ему удастся не наступить на ее платье, как год назад на твое, кузина..

— Так нечестно, — сказал Тиарх. — Ее высочество уже все позабыли и простили меня.

За время этой беседы Антиопа устроилась поудобнее на зеленой траве, и теперь не только в ее глазах, но и во всей ее расслабленной позе, казалось, сквозили озорство и насмешка, за которыми было не углядеть глазу.

— Совсем нечестно, — согласилась она. — Не станцевать ли мне с вами в качестве компенсации сегодня?

— Госпожа моя, это было бы весьма любезно с вашей стороны.

— Но в платье без шлейфа, — добавила она и все расхохотались. — Впрочем, я просто размышляла вслух. Нет, пожалуй, если все взвесить, лучше бы станцевать с ним тебе, кузина.

— Это, — промолвила Зенианта, — весьма нелюбезно с твоей стороны.

— Это тебе в наказание, — откликнулась королева, — за то, как нехорошо ты с ним обошлась.

— Наказание? — Тиарх повернулся к принцессе. — Давайте заключим мир, ведь мы оба были оскорблены.

— Я знаю верный способ угодить ему, — сказал Лессингем. — Окажите ему любезность, позволив испытать свою новую лошадку против вашей Тессы.

— И одним махом лишить его чувства собственного достоинства? — сказала Зенианта.

— Тесса? — переспросил Тиарх. — Это не та ли, что была выращена в угодьях за Зеннером, из той породы, которую так лелеял и разводил отец вашего высочества, да покоится он с миром, и которая зародилась много поколений назад в тех добрых краях, что ныне принадлежат герцогу Барганаксу? Хорошо, а если я выиграю, она достанется мне?

— Нет, — рассмеялась в ответ королева, перебирая пальцами локон своих волос. — Если вы победите, то получите дозволение не танцевать ни со мной, ни с Зениантой.

— Ничего себе плата! Так вы обе в любом случае выиграете.

— Как и вы, ведь вы же ненавидите танцы. Что может быть справедливее?

— Если ваша милость настаивает на ответе... тогда вот что: возможность выбора, либо не танцевать ни с одной, либо с обеими.

— Господин Лессингем, — произнесла королева, поднимаясь, и все поднялись вслед за ней, — разве ваша кобыла не той же самой породы? Не пытаете ли с нею счастья?

Лессингем улыбнулся одними глазами.

— Ваше высочество в гонках не участвовали, а я, хотя моей лошади уже семь лет, садясь в седло, не сомневаюсь, что обгоню любого всадника. Но позвольте напомнить, что тем, кто ест с монархами вишни, потом могут косточками вышибить глаза. Мы, рядовые подданные...

— Никаких отговорок, — промолвила королева. — Ставлю на это драгоценный камень. Поехали, кузина, — сказала она Зенианте, — мы с тобой, Лессингем, Орвальд, Амори, Тиарх — итого шестеро, и все на хорошо отдохнувших конях.

С этими словами они вновь уселись в седла и направились на север, через перевал, в рощи серебристых берез с травянистыми полянами, кое-где поросшими пучками осеннего безвременника. На простиравшейся ровной линией почти на милю опушке шестеро всадников остановились. После непродолжительной толкотни и курбетов Пафиррэ взмахом белого платка дала сигнал на старт. Они помчались по влажно благоухающему дерну, то по залитым солнцем прогалинам, то в испещренной пятнами света тени. Умывавшие свои мордочки и пощипывавшие траву кролики разбегались налево и направо под укрытие берез или кустов ежевики и лесного ореха. Стволы и ветви в солнечном свете казались серебристо-серыми, а сучья — красными, будто это медь сверкала на фоне небесной синевы. Через милю королева уже шла впереди, обгоняя Тиарха несмотря на все его понукания. Лесная дорога свернула на запад, а затем на юго-запад, прямо на солнце, и начала постепенно спускаться в поросшую зеленой травой лощину. Солнце слепило Лессингему глаза, и он почти ничего не видел. Он наклонился вперед, шепнула что-то Магдалене и дотронулся до ее шеи; одним стремительным рывком они оставили Тиарха позади. Теперь он мчался, будто ведомый некоей звездой, не чувствуя времени в этой погоне, забыв обо всем кроме скачки наперегонки с ветром и мчавшейся впереди Антипой на ее черной кобыле.

В конце тропы она натянула поводья. Черная кобыла стала, опустив голову; от ее вздымавшихся боков поднимался пар. Лессингем тоже остановился. Магдалена также устала и выдохлась: ее ноша была тяжелее. По обе стороны от них колыхались обширные заросли цветущего утесника с желтыми цветами и резким и жгучим ароматом. Серебристые березы покачивались вокруг на залитых солнцем опушках в своих осенних нарядах.

— Мы обогнали их всех, — сказала немного запыхавшаяся от быстрой езды Антиопа, поворачиваясь в седле к Лессингему, который остановился на расстоянии вытянутой руки от нее. — Ах, мои волосы растрепались от скачки. Не подержите ли поводья, пока я позабочусь об этом?

Она бросила вожжи, стянула перчатки и принялась собирать в пучок свои волосы, чьи тяжелые витки, сверкая, будто бледное горное золото, питонами свернулись на ее шее. Лессингем не ответил, не пошевелился. Та, на кого он смотрел, затмила вдруг собою свет, пошатнув привычный порядок вещей. Ветер внезапно улегся, не было ни дуновения. В тишине захлопали крылья: вихрь уселся на верхушку дерева, невидимый. Королева обернулась и взглянула Лессингему в лицо. Безмолвие и ее коснулось своими пальцами, заставив затаить дыхание. Молчание трепетало, будто струна лютни в воздухе, слишком разреженном, чтобы переносить звук. Уста королевы приоткрылись, но голоса не было.



Заслышав скрип петель слева, Лессингем рывком повернулся в седле и изумленно, будто только что пробудился ото сна, уставился на распахнутую калитку в невысокой стене из красного кирпича, что была вся увита плетями темно-красных роз. За этой калиткой располагался садик, благоухавший ароматами сотен всевозможных цветов, а за садиком — старый приземистый деревянный дом, в меру ухоженный, с покрытой соломой крышей, тонкими трубами и низкими продолговатыми окнами. Виноградная лоза оплела крыльцо своей зеленой листвой, и отовсюду свисали черные гроздья. Вдоль стен по обе стороны крыльца, а также меж окон первого этажа и расположенных выше спален, зрели на аккуратно посаженных деревьях абрикосы, груши и персики; косые солнечные лучи превратили висевшие на ветках плоды в золотые слитки, отбрасывавшие на стену длинные тени, густые и пурпурные на фоне теплых красноватых тонов кирпичной кладки. Угасающий день наполнил осенний воздух прохладой. Прилетевшие голуби переступали своими розовыми лапками по коньку крыши. Из дома доносился запах древесного дыма. А на верхней из трех ведших от калитки ступеней смиренно стоял, встречая их, будто долгожданных гостей, тот самый доктор-мыслитель, которого Лессингем в последний раз видел далеко на юге, в Зайане. Лессингем сразу узнал его, также как и маленького котенка, белого, словно свежевывающий снег, что терся о полу габардинового кафтана старика, не сводя своих голубых глаз с Антиопы. Ярко сиявшее вечернее солнце повисло над дубравами. Они, а также тянувшееся через северный горизонт за домом нагорье, закрывали весь обзор; не было видно ни единой березки, не покачивал желтыми цветами утесник, не слышалось и стука приближающихся копыт. Лишь Тесса с Маддаленой жевали придорожную траву, с крыши доносились тихие жалобы горлицы, с опушки раздавалось мычание коров, а чуть ближе журчала проточная вода. Слева

от них, справа от солнца, величаво застывший каменный дуб простирали свои ветви в уборе листвы, почти черной, но с легчайшим отблеском, будто усыпанной звездной пылью. Доктор Вандермаст обратился к Антиопе, следя за выражением ее лица внимательным взглядом:

— Надеюсь, госпожа моя, я не забыл никаких деталей. Надеюсь, вы найдете все здесь безупречным, как ваша милость и велели мне по моем отбытии.

— Милость? Велела? — переспросила она, глядя на него и на все вокруг с видом той, чьи чувства, едва пробужденные ото сна, еще с трудом отделяют явь от сновидения. — Нет, вы ошибаетесь, сударь. Однако же...

Вандермаст спустился по ступенькам и вложил ей в руки маленького котенка. Тот замурлыкал и свернулся калачиком между ее рукой и грудью.

— Я была здесь прежде, — медленно и изумленно произнесла она. — Это совершенно точно. И этого ученого я знала. Но когда, и где...

Глаза Вандермаста, наблюдавшие за тем, как она озирается вокруг и, в конце концов, отчаявшись разгадать эту загадку, милая в своей растерянности, поворачивается к Лессингему, были остры, словно рысьи. В них шевельнулось какое-то странное, полунасмешливое выражение, как у человека, наслаждающегося своим знанием при виде того, как остальные столь потешно блуждают в лабиринте.

— Если мне будет дозволено, я дам вашему высочеству совет, — промолвил он. — Не мучайте свой разум ни распутыванием головоломок, ни воспоминаниями. Не изволите ли спешиться и проследовать в свой летний домик, устроенный здесь для вас? А вы, господин Лессингем, предоставьте мне разрешить все сомнения. Ибо, доложу я вам, путешествие сюда из Риалмара кратко, но долгим будет нынче вечером путь назад. И ни сегодня, ни через десять дней не доберетесь вы до Риалмара на своей стремительной кобыле. Посему смирите свой дух, господин мой, и будьте терпеливы. Прошу, входите.

Лессингем взглянул на Антиопу. Ее глаза сказали «да». Он спрыгнул с седла и подал ей руку. Ее рука в его была невесомой: прохладный язычок пламени, медвяный аромат цветка; она спешила движением, что заставило бы и крачку показаться неуклюжей. Вандермаст затворил калитку. Лессингем огляделся вокруг:

— А как же лошади?

Вандермаст улыбнулся и ответил:

— Они никуда не уйдут; ни одна лошадь не заблудится здесь.

— Слова, слова, — промолвил Лессингем и принялся расседлывать и распрягать лошадь. — У меня такая привычка: в дороге я стараюсь напоить и накормить ее прежде, чем наемся сам, и не оставлять ее на попечение конюхов. То же самое касается и лошади ее светлости.

— Вода вон там, — ответил старик. — А что касается травы на обочине, то она обладает исключительным достоинством. Земные пастбища восстанавливают лишь кровь и силы животного, тогда как эта моя трава, будучи съеденной, превратится в них не в кровь, но в ихор<sup>119</sup>.

Словно очнувшись от глубокого сна, взирал на него Лессингем. Вандермаст же со своей сдержанной улыбкой обернулся к Антиопе.

— Как ваша милость сказали мне недавно словами поэтессы: ...καθαρός γὰρ ὁ χρῶσος ἴω — «Золото не подвластно рже<sup>120</sup>».

Совершенно растерянная, но слишком очарованная красотой этого места, чтобы доискиваться ответов, она покачала головой. Без дальнейших разговоров они вошли, и этот ученый философ шел перед ними меж люпинов, голубых и желтых, мимо пламенеющего лихниса, роз, пятнистых лилий, лаванды, розмарина, сладкого чабреца и розовых и белых ветрениц, по мощеной дорожке.



Сумрачен был зал с низким потолком, в который они вошли из залитого солнцем сада; слева, вдоль южных окон тянулся длинный и узкий стол из светлого дуба, отполированного временем, на котором был накрыт ужин, возле него стояли кресла с подушками из темного бархата, а на ближнем его конце — букет белых роз в хрустальной вазе. На потолке ребрами выступали почерневшие от времени балки; под огромным дымоходом напротив двери пылал сложенный из поленьев огонь, а перед очагом размещались скамья и глубокие удобные кресла. В западном конце зала было сделано окно, и еще одно, поменьше, слева от огня. В углу между окнами стоял какой-то музыкальный инструмент, спинет или клавикорды, а также стульчик для музыканта. На стенах висели картины, а на окнах — тяжелые парчовые шторы. Простая дубовая лестница справа от очага вела в комнаты верхнего этажа.

— Не будет ли вашей милости угодно переодеться перед ужином? — предложил доктор. — А вы, господин мой? Ибо для вас я подготовил покои, глядящие на запад, тогда как для вашей милости — на юг и восток.

Королева поднялась наверх, и вскоре Лессингем услышал оттуда тихие изумленные возгласы: вне всяких сомнений там звучал и голос Зенианты, смеявшейся и радовавшейся вместе с Антиопой. Он протянул руку к огню, ощутив его тепло, затем подошел к клавикордам, открыл крышку из бобовника и пробежался по клавишам. В воздухе повисли тонкие, словно лезвия, звуки струн, подобные первым бесцветным лучам зари, что разгорается в безветрии над замершим в сером безмолвии морем. Он обернулся и оказался лицом к лицу с Вандермастом. Они молча смотрели друг другу в глаза. Затем Лессингем промолвил с сарказмом в голосе:

119 В др. греч. мифологии кровь богов.

120 Фраза, приписываемая Сапфо.

— А вы, сударь, со всем вашим внешним смирением, но (или я глубоко заблуждаюсь) без какого-либо внутреннего благоговения, из которого это смирение и должно бы проистекать, — кто же вы на самом деле?

— Я, — отвечал тот, — ничем не отличаюсь от вас: двуногое существо, прямоходящее, без перьев. Желаете, чтобы я проводил вас в ваши покои?

Мгновение Лессингем смотрел на него сквозь полуопущенные ресницы, затем, расплывшись в улыбке, произнес:

— Если вас не затруднит. А что это за дом? — поинтересовался он, когда они поднялись вверх и он увидел эти прекрасные покои и изумленно воззрился на свою собственную одежду и вещи, выложенные на сундук и кровать.

— С вашего позволения, — промолвил ученый доктор, беря дощечку для снятия сапог, — чтобы не отягощать вас покуда присутствием слуг, позвольте мне помочь вашему превосходительству снять сапоги.

Лессингем уселся, погрузившись во вздымающиеся волны мягких пышных подушек из шелка цвета закатного неба. Он протянул ногу Вандермасту.

— Что ж, это, как я полагаю, дом мира, — сказал старик. — И кому-то может показаться странным, что именно этот дом решило посетить ваше сиятельство, ведь вас почитают за одного из первейших воителей и последователей могучего Ареса.

— Понимаю, это тоже проявление вашей мудрости, — сказал Лессингем. — Горячему человеку — прохладное питье.

Когда они снова спустились вниз и по приглашению хозяина уселись за стол, чтобы отужинать, весьма странные создания прислуживали им за столом, принося и убирая блюда. Солнце зашло. Вдоль всего стола пылали свечи, также как и на стоявших рядом других столиках и сундуках и в серебряных бра на стенах. Антиопа разместилась посередине, лицом к комнате и очагу; напротив нее сидели прочие леди, справа от нее доктор Вандермаст, а слева некто, чье лицо было трудно разглядеть, но чьи глаза казались необычайно большими, а Лессингем заметил также, что уши его были заострены и волосы. Каждое его движение было исполнено гибкости и мягкой грации: то, как он настраивал уши, поворачивал голову или поводил плечами, протягивал к блюду или винному кубку руки, столь же худые и темные, как у Кампасы. И видно было, что руки его поросли шерстью или волосом, а ногти на изящных пальцах были темны, словно черепаховый панцирь. Иногда он что-то шептал на ухо королеве, и всякий раз, когда она прислушивалась к его шепоту, лицо ее принимало задумчивое выражение, словно некое крылатое существо реяло над нею, загораживая солнечный свет ее мыслей; и всякий раз, когда такое происходило, ее взор встречался с взором Лессингема.

Лессингем спросил:

— Что это за гость?

Доктор проследил за его взглядом.

— Это, — ответил он, — мой ученик.

Лессингем сказал:

— Я так и подумал.

Сидя во главе стола, откуда ему были видны в свете свечей лица всех собравшихся, а за их спинами — западное окно, за которым день исчезал под покровом ночи, как лодыжки под подолом юбки, придерживаемой прекрасной рукой проходящей мимо их обладательницы. Лессингем почувствовал, что его охватывает полное спокойствие. Странные и чудовищные фигуры, начавшие заполнять эти покои, более не поражали его разум. Он видел, что носившими тарелки слугами были ежи в маленьких мундирчиках; леопарды, лисы, паукообразные обезьяны, барсуки, водяные крысы бродили вокруг, беседуя и прислуживая ужинавшим гостям; стоявшие на задних лапах усатые тюлени с кроткими глазами, облаченные в шелковые одеяния, приносили на плоских серебряных блюдах всевозможные засахаренные фрукты, миндальное печенье, финики, приправы и изысканные сладости; были здесь и женщины-бабочки, и люди с оленьими головами, крылатые шумерские львы, гамадриады<sup>121</sup> и все прочие виды нимф, что живут в ручьях, болотах и лесах, в запустевших ледяных горах и в синих океанских безднах: наяды, дриады и ореады, и зеленоволосые дочери Амфитриты<sup>122</sup> в венках из водорослей, державшие в руках гребни из затонувших в море золотых сокровищ. Когда сфинкс со стрекозиными крыльями уселся меж свечей возле Зенианты и воззрился на Лессингема своими тусклыми каменными глазами, тот едва обратил на него внимание; когда сирена распахнула свои покровы цвета морской волны, отложив их в сторону, и осталась сидеть, обнаженная до талии, а ниже благопристойно укрытая рыбьей чешуей, это казалось в порядке вещей; когда виверна<sup>123</sup> наливала ему вино, он принял это с той же бездумной легкостью, с какой воспитанный человек благодарит обыкновенного виночерпия. Он пригубил, и вино, хранившее в себе красноватое сияние золота, что плавилось в винограде под лучами череды беспрестанно восходивших, шествовавших по небу и закатывавшихся солнц, бархатистое и жгучее, мягко окутало его разум воспоминаниями. Оно напевало свою колыбельную всем сомнениям и предательским мыслям — колыбельную, которая, когда они погрузились в сон, превратилась для них сначала в похоронный звон, потом в погребальную песнь и, наконец, когда они канули в забвение, полилась совершенно новой, чистой музыкой.

— В чем же тогда здесь могущество? — услышал он голос Кампаспы.  
— Быть схваченной, съеденной, проглоченной?

---

121 В др. греч. мифологии вид нимф деревьев, которые умирают при гибели дерева.

122 Амфитрита — в др. греч. мифологии богиня океана, одна из nereid — морских нимф.

123 Виверн (виверна) — вид дракона, имеет вместо передней пары конечностей перепончатые крылья.

— Если он и в самом деле ее убьет, — сказала Антея, — это будет чудовищное зверство. В этом нет смысла, нет красоты, нет истины. Это ничего не дает, лишь отнимает. Да я и сама могу убивать. Уж я-то знаю, — ее зубы сверкнули.

— Хорошо сказано, — промолвил доктор, словно отвечая Лессингему на невысказанный вопрос. — Выпускница моей школы. Мне нечему ее учить.

Взгляд Лессингема встретился с взглядом Антеи. Казалось, огонь вспыхнул и тут же погас в щелях зрачков ее желтых глаз.

— Я уже начал понимать, — проговорил он, — но понимание ускользнуло от меня прежде, чем я...

Он заметил, что комната внезапно опустела, остались только те семеро, что сидели за столом. Но легкие дуновения воздуха, словно от взмахов крохотных крылышек, касались то века, то шеи, да трепетали огоньки свечей.

— В ней весь смысл, — произнес он, обратив взгляд на Антиопу. — Она влечет нас. Мы — творцы, Боги ли мы или люди, и во имя Нее все наши творения. И если в этом — в действии, в созидании — и заключается наше бытие (а, клянусь небесами, я думаю, так оно и есть), то бытие наше — в Ней. Она облачает наши действия смыслом, наполняя их красотой.

Из полумрака, что подобно крыльям мотылька придавал ее эльфийскому личику мягкое, застенчивое и ускользящее очарование, Кампаспа тихо промолвила:

— Как ножны для клинка?

— Неплохо, — сказал Вандермаст, — но недостаточно точно. Ибо ножны олицетворяют собой рецептивность<sup>124</sup> *simpliciter*<sup>125</sup>, являются метафорой чего-то такого, что само по себе ничего не значит.

— Кубок для вина — так было бы точнее, — промолвил Лессингем, все еще глядя на Антиопу.

— Или глаза для внутреннего огня, — сказала Антея, наклонившись вперед и упершись в стол обоими локтями. Лессингем обернулся на ее голос и встретился со щелями зрачков, польхавшими и сверкавшими зеленым и желтым жаром. Мягкая красноватая теплота вина убаюкивала его, словно возлюбленная в перерыве между сновидениями в глухой ночной час.

— Или, — произнесла возле него Кампаспа, — слабость для силы, на нее опирающейся?

Он ощутил прикосновение ее одетых в перчатки пальцев к его предплечью: трепещущая покрытая перьями птичья грудка, которой может повредить даже резкий вздох.

— Кубок и вино были ближе, — сказал ученый доктор.

124 Рецептивность — по Канту, чувственность или способность созерцания вследствие внешних воздействий, в противоположность интеллектуальному созерцанию.

125 *Simpliciter* (лат.) — «просто», «безусловно», «в чистом виде».

Лессингем повернулся к нему; лицо Вандермаста было невозмутимо, словно лучезарное солнечное сияние за северными горами летней ночью у рубежей арктического полюса.

Затем Лессингем снова взглянул на Антиопу. И по мере того, как он смотрел, постепенно, как закаты сменяют рассветы, без свойственной более мелким переменам резкости, эти трое слились воедино. Слились не физически — они по-прежнему сидели втроем, одна слева, а двое других справа, по другую сторону стола; и все же теперь он разглядел в Антиопе светящиеся глаза своей леди-ореады, ледяные зубы, свежие и страстные уста, белоснежные груди; разглядел в Антиопе легкие сказочные черты своей Кампаспы, словно розовый листок, что висит на последней, едва не разорвавшейся, ниточке паутины, в которой сверкает утренняя роса; разглядел в Антиопе и нечто, им не принадлежавшее: ее саму, прелестную, свободную, беззаботную, с тенью улыбки на манящих губах. Ее устремленные на него глаза, казалось, замерли между верой и выдумкой, а затем обернулись кристальными пропастями, в неистощимых сокровищницах которых утопают солнечные лучи.

— Странная беседа, — услышал он ее голос. — Однако я припоминаю что-то, вот только когда и где это было — не знаю... разве не идет беседа эта рука об руку с вашими словами, господин Лессингем?

*Силы покинули меня. Один  
Гляжу на сумрак, слышу грохот молний,  
Сжигающих полудень. Вижу их  
За громкими валами; вдруг затишье,  
Виденье мира в грохоте копья.*

*Гранит к земле с угрозою склонился;  
В тени трепещут бабочкины крылья;  
И горько-сладостная музыка Богов.  
Звучит ночью песней. Всех миров  
Она старее...<sup>126</sup>*

Разве это не о Ней?

Молчание сомкнулось над ними, как только затихли ее слова. Лессингем наблюдал, как остроухий ученик доктора берет ее белую руку в свою, такую худую и звериную в своей рыжеватой шерсти, и прижимает ее, будто в немом восхищении, к своему склоненному лбу. Этот поступок показался ему уместным и почтительным, а вид его был ему столь же приятен, как, должно быть, приятна была ей привязанность к ней ее маленького котенка, что протекает из подобного же простодушия. Лишь странность этого поступка, а также странность слышать из ее уст слова, которые, как он знал, словно бы из ее воспоминаний, явились к ним из каких-то чудесных и давно ушедших времен,

---

126 Пер. А. Вироховского.

и которые он признал за свои собственные (хотя когда они были произнесены, вспомнить не мог) — все это собралось воедино, как, безупречно круглая, собирается и висит на кончике листка дождевая капля, в воспоминаниях о золотистых пузырьках, подымавшихся в золотом вине прошлой весной в Морнагее, и о ее незабываемом голосе.



Доктор Вандермаст поднялся со своего кресла.

— Ночь; холодает. Не желаете ли, госпожа моя, представить, будто сейчас сочельник и мы сидим перед рождественским поленом? Ведь, как мне помнится, старинные обычаи всегда были вам по душе.

Вандермаст и Лессингем поклонились и отодвинулись в стороны перед проходившей мимо стола Антиопой, а та протянула руку Кампаспе:

— А вы, дорогая, не споете ли для нас?

— Да, милая певунья дремлющих ив, споите свою майскую песенку, — попросил Лессингем. — Как той ночью на Амбремерине. Эта песня поведала мне больше, чем вы хотели сказать, — добавил он, обращаясь к ней, но глядя на Антиопу, а потому не увидев ее насмешливых глаз-бусинок, будто говоривших: «Так уж и больше!»

Кампаспа со стремительным изяществом наяды скользнула к клавикордам. Она подняла крышку и спросила:

— Можно мне самой выбрать песню?

Она получила ответ в глазах, чья полусонная безбрежность была подобна беспредельности небес, прежде чем губы королевы произнесли:

— Выбирайте; мой выбор — ваш выбор.

Кампаспа сыграла вступление. Затем тишина, прорезанная этими сладостными лезвиями, сомкнулась снова.

— Может быть, песню госпожи Фьоринды? — промолвила она, — «Соловей мой отец»?

Вандермаст повернулся в своем кресле, чтобы со своей загадочной улыбкой смакующего вино человека устремить свой взор на Антиопу. Лессингем также смотрел на нее от очага, из своего глубокого кресла; ее лицо, освещаемое двумя свечами висевшего поблизости бра, было прекрасно и четко очерчено на фоне теплой темноты. Душа его погрузилась в ее умиротворение, как дневное светило закатывается за западный горизонт.

Кампаспа запела птичьим голоском, столь тонким и бесплотным, что даже хрупкие созвучия клавикордов проступали сквозь его волшебную ткань:

*Li rosignox est mon pere,  
Qui chante sor la ramee  
El plus haut boscage.  
La seraine ele est ma mere,*

*Qui chante en la mere sale  
El plus haut rivage*<sup>127</sup>.

Слева от того места, где сидел Лессингем, на стене висело заключенное в черепаховую раму зеркало; и случилось так, что в самый разгар ее пения, когда его жилы охватило пламя от воспоминаний об этом имени и этой песне, воспоминаний об Амбремерине, он заглянул в это зеркало. Он всматривался в него столь долго, что можно было бы досчитать до семи, не зная, пребывает ли он все еще в своем теле или вне его; оттуда на него смотрело лицо не Лессингема, но герцога. Грозные созвучия струн обрушились на него, заставив кровь закипеть, а он сидел, ослепленный.

Когда биение его крови успокоилось, ему почудилось, будто во всей этой неразберихе приобрела, наконец, ясные и четкие очертания звучавшая контрапунктом новая мелодия. И все же целую минуту не решался он поднять глаза на ту, что сидела у очага, слушая эту песню. Ибо его обуяли сомнения, не увидит ли он нечто такое, чего увидеть не ожидает — столь живо было воспоминание о лице, в которое он вглядывался лишь только что, когда началась эта песня, теперь подходящая к концу; увидит не ее, но другую. Он сидел, снова (как ранее в Акрозайане) охваченный близким предчувствием столь любимых им перемен и осознанием мимолетности сущего, словно ожидая, что молния ударит не где-то вдали, явив собой прекрасное зрелище, но прямо сюда, чтобы выжечь глаза его, смотрящего на нее. Он прикоснулся к выбритому и твердому подбородку, словно желая убедиться в его реальности, взглянул в зеркало, а затем осторожно посмотрел через ковер на нее. Это была ее нога; никто не сумел бы подменить ее; она была знакома ему лучше, чем своя собственная. «Тьфу!» — воскликнул он про себя, — «*Не отпускай вожжи*» — и позволил взгляду скользнуть выше. Звездой в мятущейся тьме грозовой ночи сидела она в слабом свете свечей. Обернувшись к нему боком, чуть отвернув в сторону подбородок, будто, зная о своей красоте, желала немного потешить его глаза серебряным великолепием своей шеи, ее силой и изяществом, она взирала на огонь из-под полуопущенных черных ресниц. Ее голова лениво, почти незаметно, покачивалась в такт знакомому ритму песни Кампаспы. В остальном она была неподвижна; во всем, кроме этого покачивания, а также движений груди, что вздымалась и опадала при каждом легком вздохе.

Сидя и наблюдая за ней, герцог ощутил, как паруса наполняются, и его дух вновь отправляется в этот опасный, неизведанный и не нанесенный ни на одну карту океан.

127 Старофранцузский романс:

*«Соловей мой отец  
Сладких песен певец —  
На дубу высоком.  
И сирена моя мать  
Слаще песен не слышать —  
На берегу далеком».* (пер. А. Вироховского).

Он встал и взял с серванта блюдо фруктов. Вандермаст привстал, чтобы взять его у него из рук, словно не желая, чтобы столь могущественный властитель исполнял обязанности служанки, но герцог остановил его взглядом и подошел с блюдом к месту, где она сидела.

— Не угодно ли вашей милости чем-нибудь закусить после ужина, например, мушмулой, орехами или грушами?

Весьма грациозно посмотрела она на фрукты, взяв один и, обратив к нему не глаза, но сверкающие и подобные змеям кольца своих черных волос и изгиб белой шеи и плеча, протянула фрукт ему, чтобы тот очистил его для нее. Он молча сделал это и вернул его ей; она откусывала от него аккуратно и сосредоточенно, будто резчик или скульптор, и весь процесс более напоминал акт созидания, нежели простое принятие пищи. Герцог наблюдал за ней некоторое время, затем, стоя за ней, перегнулся через спинку ее кресла и тихим голосом проговорил:

— Что это за причуды такие?

Она откинула голову, обратив к нему перевернутое вверх тормашками лицо, пока, склонившись над ней, он не смог заглянуть ей прямо в глаза. Он посмотрел в них, потом в уголок ее рта, где замер начеку тот самый бес, потом окинул взглядом все ее горделивое и безжалостное лицо, в котором дюжина противоборствующих изъянов в некоем потаенном огне преобразились в нечто, неподвластное лести и алхимии, потом взглянул в то теплое пространство, где ее малиновое платье обтягивало грудь, а потом вновь в глаза.

— Интересно, — промолвил он, — способен ли сам Дьявол перехитрить вас, мадонна?

— Откуда мне знать, — произнесла она невинным тоном, и бесенок спрятал свое лицо. — А что? Вам нужна его помощь против меня?

— Да. Правда, мне представляется несколько недостойным подкупать вашего слугу.

— А он мой слуга? — спросила она, будто говорила о чем-то отвлеченном. — А Вандермаст — ваш помощник? А Кампаспа — няяда?

— Или я давным-давно пребываю в заблуждении, — ответил герцог. — Ну же, сколько вы ему платите? Хотя, боюсь, все мои богатства вряд ли позволят мне перекрыть ваше предложение.

— Что до меня, то я ничего не плачу, — сказала леди. — И мне не платят. Однако слуги у меня есть; возможно, это тот, о ком мы говорили... во всяком случае, мог бы быть, если бы я того захотела. И все же, я ваша возлюбленная. Разве это не странно?

Она подняла свою унизанную драгоценностями руку, взяла его руку, что покоилась на спинке кресла, тайком поднесла ее к своей шее и тут же быстро оттолкнула.

— После той ночи в прошлом мае вы поклялись мне никогда больше так не делать, — произнес он ей на ухо. — А теперь вы опять за свое. Ей-богу, я грезил, и я был... Лессингемом.

Фьоринда промолвила:

— Я слыхала и о более удивительных грезах, чем эта.

— А та, другая? — спросил он еще тише. — Кто она?

Фьоринда выпрямилась и расправила свое платье. Барганакс обошел кресло и сделал пару шагов к огню, чтобы снова заглянуть ей в лицо.

— О, эта большеглазая невинность вашей милости не идет, — сказал он. — Ведь именно вы и распоряжаетесь всем этим. Кто она, одно из ваших одеяний?

— Я думала, вы уже уяснили, — промолвила она, изящным, будто лебединым, движением рук поправляя гребни в своих волосах, — что все сущее есть мои одеяния. С самого начала времен, — добавила она так тихо, что он не мог этого слышать, однако смотревший на нее крохотный белый котенок, казалось, услышал все.

Герцог осмотрелся. Кампаспа наигрывала на клавикордах какой-то короткий мелодичный канон. Зенианта пододвинула свое кресло к ней и наблюдала за ней, как стройное дубовое дерево могло бы наблюдать за пищухой, что мечется и замирает на его могучих ветвях. Старик тихо переговаривался с Антеей; его странный ученик свернулся калачиком на ковре, как будто уснув, обнимая одной рукой маленького белого котенка, что, медленно помаргивая, уставился издали на Фьоринду.

— Знайте же, — сказал герцог. — Я любил ее пуще жизни.

С едва заметным насмешливым движением головы она рассмеялась:

— О, как трогательно. Вы произносите это, господин мой, как обыкновенный лицедей.

— А вы, госпожа моя, катитесь к черту.

— Ну кто откажется от такого возлюбленного, — промолвила она и, подобная цветку, грациозно поднялась, хотя было в ее грации что-то, напоминавшее выглядывающую из цветов смертельно ядовитую гадюку.

— У меня воистину ангельское терпение, — надменно произнесла она. — Однако боюсь, господин мой, вы становитесь скучны. Зенианта, мою мантию.

— Оставайтесь, — попросил герцог. — Язык мой меня не слушается, как и ваш. А тем, кто влюблен, не по душе, когда возлюбленных для них выбирают другие. Это была лишь греза.

— Это было на самом деле, — ответила она. Ее зеленые, чуть раскосые, бездонные глаза удерживали его на месте, а каждое ее движение, которым она облачалась в свою мантию, отдавалось в его чувствах ударом ножа. — Первое (насчет любви) было на самом деле, но отнюдь не второе; второе было сказано

в браве, чтобы досадить мне. Вдумайтесь, и вы вспомните, друг мой, что я всегда говорю правду.

Он не ответил.

— Более того, — продолжала она, — вы даже теперь, даже в этот миг не пошлете к чертям и ее. Нет, не отмахивайтесь, господин мой, думайте. Вы поймете, я говорю правду.

Герцог встретил взгляд леди скованным молчанием.

— Думайте, — повторила она, и он, не сводя теперь глаз с ее уст, словно хранивших тайное старинное воспоминание о первоизданном и неизменном положении вещей, когда все сущее едино и одновременно, в чем и заключается специфическое свойство бесконечности, после паузы медленно ответил:

— Да, но любовь здесь ни при чем. Ибо никто не способен любить и боготворить самого себя.

— То, что вы только что сказали, — промолвила леди, и медленно произносимые ею слова были словно розовый мед, — я как будто бы уже слышала прежде. Впрочем нет, не слышала, — добавила она, чуть удивленно подняв брови и глядя на перчатки, которые натягивала, — ибо это была лишь мысль, так и не высказанная, но прочитанная в глазах: в его глазах, не в ваших, в Акрозайане.

— В его глазах? — повторил герцог.

Тишина простерла над ними трепещущие крылья, подобные крылам, что осеняли камень грез.

— Скажем так, бывают братья и сестры, — промолвила она.

Казалось при звуках ее ироничного, ленивого и обольстительного голоса крылья запульсировали столь отчаянно, будто в следующее мгновение рассыплются, сокрушенные и уничтоженные собственным напряжением. Затем, то ли по обычному капризу или прихоти, то ли из своей божественной пронизательности и благосклонности, *bis dat quæ tarde*<sup>128</sup>, то ли из-за своего апрельского настроения (когда то светит ласковое солнце, то обрушивается с нахмуренных небес град, а потом градины вновь тают в лучах солнца, превращаясь на желтых нарциссах и чистотеле в драгоценные капли, полураспустившиеся листочки ивы, березы и боярышника становятся в солнечном свете крохотными язычками зеленого пламени, небеса сияют голубишной, да бродят среди искрящегося терна и дикой вишни новорожденные ягнята): то ли по всем этим причинам, то ли ни по одной из них, она ослабила хватку.

— Достопочтенный сударь, мои лошади готовы?

— Да я же никогда не видел своего... — произнес герцог, словно пробудившись ото сна, потом глаза его вдруг затуманились. — Если только...

В дверях показался Вандермаст:

<sup>128</sup> *Bis dat quæ tarde* (лат.) — «вдвойне дает та, кто дает медленно» (ср. с лат. поговоркой «*Bis dat, qui cito dat*» — «Вдвойне дает, кто дает скоро»).

— Госпожа моя, они готовы и стоят у ворот.

Барганакс встрепенулся.

— Что это за место? Госпожа моя, умоляю, не уходите. Или тогда я пойду с вами.

Однако она исчезла за дверью, которую придерживал для нее этот старик. Барганакс, будто человек, который пытается кинуться во сне в погоню, но ноги, связанные мягкими путами сновидения не повинуются ему, стоял как вкопанный. Дверь закрылась.

Он увидел устремленный на него взгляд Антеи: лишенный выражения взгляд сфинкса. Не обращая на нее внимания, он встал спиной к огню, погруженный в раздумья, распрямив спину, широко расставив ноги, засунув одну руку за свой усыпанный драгоценностями пояс, а другой подкручивая и приглаживая усы. Мрачные огни угасали и разгорались, разгорались и угасали в его полузакрытых глазах. Он произнес про себя: «Но нет, о милая воительница, кознодейка, неопикуемая, ты сказала не все. То, что в нем есть нечто от тебя, не столь уж невероятно, ведь я привык к чудесам. Нет, я верю; твои слова — как лампа, осветившая многое из того, что доселе было погружено во мрак. Но это не все. О! да помогай тебе хоть все дьяволы ада, столь неполным ответом я не удовольствуюсь».



Доктор Вандермаст проводил леди через сад, мимо голых заиндевших клумб, в сиянии висевшей высоко в морозно-чистом небосводе зимней луны.

— Госпожа моя, пока вы в настроении понимать и наставлять меня, — произнес он, — могу ли я, дабы не испортить все, узнать, верно ли я играл до сих пор свою роль и сообразно ли желаниям вашей милости?

— Желаниям? — повторила она. — Разве у меня есть желания?

— Нет, — ответил он, — я лишь изъясняюсь языком людей. Мне хорошо известно, что *Dea expert est passionum, nec ullo laetitiae aut tristitiae affectu afficitur* — Богиня свободна от пассивных состояний и не подвержена никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия<sup>129</sup>.

— Сколь очаровательна божественная философия, — сказала она. — С какой трогательной простотой звучат из ваших уст, мудрейший доктор, категоричные «да» и «нет» в вопросах, которые, как я полагала, являются материальными спорными и субъективными.

— О, Вы, что, изменяясь, остаетесь собой! — воскликнул старик. — Это всего лишь язык людей. Скажите же, не было ли что-либо упущено?

Она подхватила вожжи и позволила своей красоте сверкнуть на мгновение, будто яркая вспышка пламени, тут же угаснувшая. Глаза его зажглись от этой вспышки.

129 Б. Спиноза, «Этика», ч. V, «О могуществе разума, или о человеческой свободе», теорема XVII.

— Не было упущено ничего, — ответила она. — Все безупречно.

И скакуны в упряжке сорвались с места и, наполнив чистый морозный воздух шумом бесчисленных взмахов крыльев, помчали ее в подзвездные выси в сиянии замерзшей серебристой луны. А ученый доктор, вглядываясь и прислушиваясь к небесам, следил за их полетом, то поднимающимся, то кружащим, то снижающимся, и наконец увидел их парящими у верхнего из восточных окон, чтобы их хозяйка могла сойти; и словно во сне наблюдал он, как Она входит через балкон, будто бледный лунный луч. Ибо видел он, что Она явилась на этот раз в образе не Воительницы, но Миротворицы, как и прежде.

Потом он повернулся и сам, и вошел, и затворил дверь, и вернулся к очагу и собравшейся там компании.

С его приходом часы (как если бы Она в своем голубином полете меж землей и звездами увлекла время за собой, привязанное к своей колеснице, ускорив его сверх привычной меры) пробили час до полуночи. Старик подошел к Лессингему, что по-прежнему стоял в раздумьях спиной к огню.

— Сон, господин Лессингем, есть отдохновение всех чувств. Ее милость, что явились сюда вместе с вами, уже час как удалилась в свои покои. Позвольте же мне и вас проводить в ваши.

Остановившись в дверях комнаты пожелать спокойной ночи, Лессингем наконец заговорил.

— Поведайте мне еще раз, — попросил он, — что это за дом?

Вандермаст отвечал:

— Я уже говорил вашему превосходительству, это дом мира.

— А еще, — обращаясь, как свойственно старикам, к самому себе, добавил он, спустившись обратно и стоя в открытых дверях, вдыхая апрельский ветерок, что доносил теперь из сада весенние ароматы, — это дом зова сердца.



Может быть, именно из-за того глубокого спокойствия, что окутало этот спящий дом, даже его собственное дыхание и учащенное биение сердца мешали Лессингему, и заснуть он не мог. Через час после полуночи он встал, оделся и тихо отворил дверь своих покоев. У лестницы он остановился, увидев, что в зале все еще горят свечи и мерцает пламя в очаге. Бесшумно спустился он на пару ступенек и замер. На придвинутой к огню большой скамье на подушках сидел доктор Вандермаст. Антея растянулась на той же скамье во весь рост воплощением дремлющей угрозы, весьма милая во сне, положив голову на колени ученому доктору. Зенианта сидела на полу, опершись спиной о его ноги и глядя в огонь. Кампаспа устроилась, поджав под себя ноги, спиной к огню и лицом к остальным; Лессингем заметил, что она играет на полу в какую-то картежную игру, играет весьма сосредоточенно, но вместе с тем прислушивается к словам доктора, который размышлял вслух.

— Главное — осознать и понять, — говорил Вандермаст, — что *sub specie aeternitatis* это никогда не может являться сугубо материальным, но никогда и сугубо духовным.

Зенианта, все еще глядя на пламя и улыбаясь, медленно покачала головой.

— Изобилие никчемных слов, — сказала она.

— Нет-нет, милая леди, уж вам-то это должно быть известно *per experientiam*<sup>130</sup>, изнутри. Ибо что станется с гамадриадой, если ее дерево срубят? Что останется ей, кроме как умереть?

— Способно ли что-либо умереть? — промолвила она. — Во всяком случае мы, что не принадлежим к племени смертных?

— Я, — произнес он, — изъясняюсь языком людей. Но мне подумалось, что это, быть может, и есть своего рода смерть, когда глупцы восклицают: «Пф, нет никакого духа», а другие: «Пф, нет никакой материи». Да и разве не превращаются старики в мертвецов до своего часа, забыв, что зима их жизнью — лишь перегонный куб, в котором Она закаляет их веру и преданность, как плавят и очищают в огне серебро с золотом? Да и отчего б им не хромать, коль ноги нет? А ведь могли бы держаться и верить в Нее, в то, что Она исцелит их и воскресит, и вновь одарит их впредь.

— Разве вы в некотором смысле не стары? — спросила Кампаспа, выкладывая марьяж из дамы пик и короля червей.

Вандермаст улыбнулся:

— Я, во всяком случае, уже не гожусь для юношеских проделок.

— Совсем нет?

— Я веду речь, — произнес он, — о том, что имеет место здесь и сейчас.

— А есть что-то еще? — спросила она.

Вандермаст погладил свою белую бороду:

— Возможно, ничего.

— Но вы лишь только что говорили, — заметила Зенианта, очень осторожно подкладывая в огонь новое полено, отчего пламя затрещало и леди-ореада, чья голова покоилась на коленях доктора, перевернулась во сне. — Вы говорили о том, что будет «впредь».

— Возможно, — промолвил Вандермаст, — это «впредь» (а также, путем аналогичного умозаключения, и «доселе») и есть здесь и сейчас.

Кампаспа перевернула семерку бубен:

— Что есть старость?

— Что есть молодость, маленькая моя сирена тинистых трясин, весенних лесных ветрениц и ивовых сережек, где вьется на закате дня бабочка гарпия?

— Ну, это мы, — сказала та.

<sup>130</sup> *Per experientiam* (лат.) — «из опыта».

— Что касается старости, — проговорила Зенианта, то поэт сказал:  
За мною — радость, впереди — печаль<sup>131</sup>.

Это и есть старость. А для молодости я бы просто вывернула это изречение наизнанку:

Впереди — радость.

— Кто научил вас этому? — спросил ученый доктор.

— Мои дубравы, — ответила та.

Некоторое время он молчал, пребывая в раздумье, затем сказал:

— Это свойственно божественной философии — искать в темных глубинах, где спускаются эти антиномии, что служат корнями всех вещей. Я стар.

Он окинул взглядом прелестную Антею, что спала, вытянувшись по-кошачьи. Едва касаясь, провел он пальцем по ее волосам, что золотистыми волнами обрамляли ее лицо, прижатые щекой к его коленям, где покоилась во сне ее голова

— Я стар, и все же, как сказала поэтесса,

Ἐγὼ δὲ  
φίλημι' ἀβροσύναν, καὶ μοι τὸ λάμπρον  
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλουχεν. —

«Я роскошь люблю; блеск, красота, словно сияние солнца, чаруют меня<sup>132</sup>».

Зенианта сказала:

— Мы знаем, сударь, кто вас этому научил.

А Лессингем, по-прежнему замерев на лестнице, все стоял и слушал. Их спины были повернуты к нему. Вандермаст ответил:

— Да, Она, неповторимая и непорочная. Не игрушки ли для Нее молодость и старость? А как же иначе? Ведь Она играет со всем на свете. И старость, как я всегда говорил, — также одна из Ее уловок и хитростей, призванная обмануть нас, заставив презирать и поносить то, чем мы уже не можем наслаждаться. А потом, заманив нас в болото своими блуждающими огоньками, после долгих скитаний в Ее глазах является нам благодать, и она смеется над нами.

— Иначе любовь была бы чересчур серьезным занятием, — сказала Кампаспа. Она положила к даме червей короля трепф. — Антиопа... Лессингем.

— Кто есть Лессингем? — спросила у огня Зенианта. — Кто есть Баргнакс?

— Кто есть я? — подхватил Вандермаст. — Поведайте мне, мечтательница и охотница из древних дубрав, разве противоречило бы природе вещей, если бы молодой человек обладал мудростью старика, ни о чем не жалея, не в

131 У. Шекспир, сонет L (пер. С. Маршака).

132 Сапфо, 79, пер. В. Вересаева.

чем не разочаровавшись? Речь идет не о мнимом математичном *esse formale*<sup>133</sup>, о котором грезят всякие фантазеры, но о реальном, имеющем место здесь и сейчас? Ибо в трезвом уме, обратившись к поискам в самом себе, я не однажды, но многократно... — он умолк.

— Что есть здесь и сейчас? — промолвила Зенианта, взглядывая в сердце огня задумчивыми карими глазами.

Вандермаст откинулся назад, положив голову на подушку, опустив свои худые руки ладонями вниз на сиденье по обе стороны от себя. Он также смотрел в огонь, и, то ли от его жара, то ли оттого, что час был уже поздний, блеск его глаз смягчился.

— Частица Ее покоя? — произнес он. — Частица Ее воли?.. О, великая и блистательная Богиня, Ты, что все на свете подчиняешь своим чарам... Разве все радости мира не есть лишь искры, ниспосланные Богом? Разве не для Нее все существующее, *omnia quæ existunt*, сохраняется *a sola vi Dei*, лишь силою Бога?

Зенианта проговорила:

— А как же любовь? Разве вам не кажется, что и любящий обладает силой?

— Любовь, — сказал старец, — есть *vis Dei*<sup>134</sup>. Иной силы помимо этой не существует.

— А помимо служения Ей (как, я слышала, вы утверждали), — добавила Кампаспа, все еще игравшая в карты на полу, — нет и иной мудрости.

— Подобно сияющим в бесконечности звездам, — сказала принцесса-гамадриада, глядя в огонь.

Несколько минут никто ничего не говорил, никто не шевелился, кроме одной только Кампаспы, игравшей в свою игру. Стоявший на лестнице Лессингем увидел, что ученый доктор уснул на месте, как это случается со стариками. Кампаспа, также это заметив, осторожно собрала карты. Мгновение она стояла, глядя на спящего, затем на цыпочках подошла, наклонилась и очень ласково и нежно поцеловала его в лоб. Антея, повернувшись во сне, протянула руку и коснулась его лица. Очень тихо Лессингем спустился по лестнице за их спинами и направился от ее подножия к дверям. Лишь Зенианта, молча повернув голову, следила за его уходом.



Лессингем вышел, закрыв за собой дверь, и остановился наедине с садом и летней ночью. На небе высыпали июньские звезды, и он стоял с тем самым ощущением, которое испытывал однажды, той праздничной ночью в Риалмаре, когда перед паваной материальная реальность сделалась четче, а ил-

133 *Esse formale* (лат.) — «формальное бытие», отдельное от материи существование формы (эйдоса) вещи.

134 *Vis Dei* (лат.) — «божественная сила», «воля божья».

люзии рассеялись. Но не было четкости в этой благоухающей лилиями ночи, хоть и по-своему совершенной; и дом, и спящий сад, и звездное небо, и сияние на юго-востоке, где, невидимая, только-только взошла над дубравами Зенианты луна, казалось, расцвели очарованием, жившим в них с начала времен. Медленно прошел он меж спящих клумб к восточному краю сада и остановился, наблюдая, как листья на верхушках дубов наливаются лунным светом. Среди всего этого спокойствия он вспомнил о ком-то, не о Кампаспе, что точно так же сидела ночами на коленях у огня, одновременно играя, разговаривая и слушая, и эта ее способность казалась ему сейчас, как и тогда, необычайной; но на вопрос о том, когда это было или кто она, тихая ночь, будто знавшая, но не желавшая отвечать, хранила молчание, и дремали в небе потускневшие от лунного света звезды.

Он снова взглянул на ее окна. Минуту назад они были пусты, и не было в них ни огонька, но теперь он увидел на балконе ее, обратившую к луне свое лицо. Из глубокой тени под тисовым деревом следил он за нею, за облаченной во все белое Антиопой. Казалось, она стоит не на твердой поверхности, но на морской волне, прекраснейшая на всем белом свете. Едва веря своим ушам он услышал ее голос, как будто заговорила сама ночь:

— Вы, господин мой? Это вы?

Он медленно пошел к ней. Словно донесшийся из глубин блаженной тишины, прозвучал поблизости протяжный мурлыкающий крик козодоя и замер подобно звуку заводимых вдали часов.

— Я не мог уснуть, — ответил он из-под ее окон.

— И я, — сказала она.

Все вокруг будто устремилось к ней, как иголка компаса указывает на полярную звезду, или как кружащиеся в водовороте воды мчатся к его спокойному центру, неся с собой живую и мертвую материю без разбора.

— И вы тоже? — промолвил Лессингем. — Что же такое тревожит ваш разум?

Ее ответ прозвучал, словно выдох:

— Думаю, глубина вод.

Цветы глицинии свисали с ее балкона как тяжелые гроздья винограда; сучковатые ветви дерева, увитые и задушенные ее молодыми побегами, словно скорчились в свете луны.

— А я, — произнес Лессингем, — наверное, я так и не оправился от падения, ибо взобрался слишком высоко.

Трель козодоя зазвучала снова. Внезапно и бесшумно сорвался он с ветки, на которой лежал, слева от Лессингема. Он ощутил, как тот кружит над его головой, услышал его странный громкий клик: Фт! Фт!, проследил за тем, как он устремляется вниз, выпрямившись в полете, раскинув крылья подобно гигантскому садящемуся мотыльку или летучей мыши, услышал хлопанье этих

крыльев, услышал и голос Антиопы, звучавший как во сне, или как дуновение ветерка, что колыхал в летней ночи висячие соцветия глицинии:

— От этого есть средство: взобраться еще выше.

Он шагнул вперед и остановился, весь дрожа, будто воткнутый в стол кинжал.

— Ха! — воскликнул он. — Только что держал себя в руках, а вот размяк.

Затем он добавил внезапно изменившимся тоном:

— Не искушайте меня, мадонна. Когда доходит до дела, я подобен барсуку: если я укушу, то заставлю свои зубы сомкнуться.

Он услышал ее слова, будто звезда канула в море:

— И что мне проку быть королевой? О, не забывайте, — ее голос замер, — ...сколь бы рискованной ни казалась эта игра... так предначертано Богом.

Тяжелые качающиеся соцветия, касавшиеся его лица и бороды, слепили его, когда он карабкался наверх. Стоя перед нею на этом балконе, заглянув в ее глаза, в которых ничего нельзя было прочесть в теплой и пропитанной звездным светом темноте, он выдохнул:

— Кто вы?

— Иногда я сама не знаю, — промолвила она, опершись на оконную раму, будто охваченная головокружением, и обхватив себя руками. — Правда, внутри кольца написано слово, НМЕТЕРА... Увы, — добавила она, — я помнила, а теперь забыла.

— А я помню, — сказал Лессингем. — Это значит «наша»: ἡμετέρα вы, наша владычица; ἡμέτερα — наши жизни, и все на свете, наше, наше с вами, вопреки всем прихотям фортуны.

Так иногда в разгар лета внезапное дуновение ветра колышет цветущее липовое дерево, приоткрывая неверную завесу и являя на краткий миг нечто незбылемое: горную вершину, освещенное лампой крыльцо, пристань на озере или ложе любви, где время, видоизменяясь, превращается в вечность.

— Забыл! — воскликнул он. — Но вы...

Ее тело в его руках было подобно нежному цветку рано распускающегося ириса, который можно сокрушить даже резким вздохом. Он ощутил, как ее руки гладят его голову и услышал, как она, запинаясь, говорит у самых его губ:

— Я не могу дать вам себя... у меня, наверное, и нет «себя». Я могу дать вам Всё.



Сквозь проемы широко распахнутых окон в спальне Антиопы в этом домике у дороги ворвалась обутая в золотые сандалии заря. Золотое небо было безоблачно, а солнце посреди него сверкало пуще золота. Королева промолвила над ухом у Лессингема:

— Благодарю, господин мой. Теперь я снова возьмусь за вожжи.

Она взяла поводья, и по благоухавшему утесником воздуху из-за их спин донесся стук копыт. Колено к колену из-за поворота, из закрывавшей обзор березовой рощи, показались Тиарх и Зенианта, а по пятам за ними грохотали подковы коня Амори.

Они уже приближались к Риалмару, когда Лессингем улучил возможность побеседовать с ней наедине. Было уже за полдень, когда они повернули к дому, и теперь солнце уже садилось, ибо осенний день короток. Справа от них двурогий Риалмар, темный и неприступный, вздымался под плывшими на запад облаками. Воздух полнился криками морских чаек. С юга им отвечал шум прибоя в морских заливах. Над домами города вились голубые дымки, в окнах мигали огни. Так далеко, насколько хватало глаз, от восточных взгорий до самого Риалмара, облака расслоились вдоль горизонта на две полосы. Нижний, темный слой был словно увенчан синева-пурпурными бурунами, а в просвете проглядывало розовое, золотое, багровое, яблочно-зеленое небо. Розовый румянец затопил западные небеса над облаками до самого зенита, где смешивался под сводом наступающей ночи с сумеречными красками. Трава, по которой они ехали, была тусклого серо-зеленого цвета, а кусты утесника и боярышника черны и смазаны. Лессингем смотрел на ехавшую подле него королеву, следя за ее взглядом, наблюдая за греческим профилем ее лица, задумчивого, не осознающего собственной красоты. Он произнес:

— Я видел сон.

Но в глазах ее словно забрезжил рассвет, и она очень серьезно взглянула на него.

— Я не приучена разбираться в подобных вещах, но это был не сон, — сказала она. — Я была там, друг мой.



## XVI. Наместник и Барганакс

«ПОД ПЕРИНОЙ НАКОВАЛЬНЯ<sup>135</sup>» — КЕССАРЕЙСКИЕ ОПАСЕНИЯ —  
НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ — ЛЕН ДЛЯ ГРАФА МАНДРИКАРДА —  
«БЫК РАСТОПТАЛ ПАНТЕРУ»

**У**ЕМ временем наместник, сидевший тем же утром, когда Лессингем выехал в Риалмар, в своем кабинете наедине со своими ужасными собаками, послал за Габриелем Флором:

— Бери чернила и перо, пиши.

Слово за словом продиктовал он ему письма; затем, когда все было закончено, просмотрел их, подписал и запечатал своей наместничьей печатью. В тот же час он велел гонцу втайне отправляться с ними к верховному адмиралу, что стоял со своим флотом в заливе Пераз, и к канцлеру в Зайану. Еще одно он послал в Кутармиш графу Родеру. Покончив с этим, он призвал к себе графа Мандрикарда из Аргянны, а также Даймана, Трасилина и Россильона с рекских рубежей, и, кроме того, Аркаста, который уже был под рукой. С этими пятерыми, его креатурами и ставленниками, а также с Габриелем, он тайно беседовал целый день до ужина, открыв им те из своих замыслов, какие посчитал нужным.

Тут пришли и ответы от тех троих высокопоставленных лиц; ответы, которые не могли быть плодом сговора, так как времени посоветоваться у них не было, но все в целом сводившиеся к одному и тому же: в них выражалась готовность встретиться с ним, при этом не уподобляясь коровам, встречающимся со львом в лвином логове, в Аудале. В ответ на это он, поразмыслив, отослал новые письма. Первое из них предназначалось Иеронимию как регенту Внешней Мезрии, и говорилось в нем о том, что он в залог своей дружбы с адмиралом и в соответствии со своей должностью и положением передает ему Кессарейский замок, прилежащее к нему селение и земли, а также гавань и пристань Кессарея, который, хотя и входит в состав Ульбской Марки, благодаря своему местоположению отбрасывает тень своего могущества далеко вглубь Мезрии; также в нем предлагалось провести переговоры именно там, в Кессарее, а не в Аудале. И в подтверждение своих дружественных намерений он явится туда в сопровождении одной только личной гвардии, и пусть в такой обстановке открытости, честности и доверия и состоится их совет во благо королевства и их самих.

И вот, эти четверо — Бεροальд с Иеронимием и Родером и наместник — прибыли в середине августа в Кессарей. Все держалось в секрете, дабы в народе не прознали, что за птица вылупится из этой кладки. Канцлер через пару дней отправился домой в Зайану, а граф в Кутармиш; адмирал обосновался

135 Дж. Уэбстер, «Герцогиня Мальфи», акт III, с. 2:

*Плетущий кознь — что под периной наковальня;  
Сколько по ней ни бей, не слышится ни звука.*

вместе с флотом в Кессарее, имея большое количество людей как на суше, так и на судах. Они расстались, выразив доверие и уважение друг к другу, и наместник двинулся через Марку и Внешнюю Мезрию собирать клятвы в лояльности в городах и крепостях тех краев, подчинявшихся регенту Иеронимию; такие же клятвы были принесены ему в Кессарее и самим регентом, признававшим и принимавшим его в качестве наместника, лорда-протектора и их сюзерена в мире и в войне. Не осталось незамеченным то, что, если во времена великого короля все формальности и присяги в подобных же случаях приносились его королевскому высочеству через вице-королей, управляющих и им подобных, то теперь все они принимались в этой поездке наместником лично, как если бы их приносили ему самому, безо всякого упоминания о королеве, верховной властительнице, суверене и источнике его могущества. Известия эти, обрастая всевозможными подробностями, как это бывает, когда дело сулит сплетникам награду, достигли ушей регента в Кессарее. К таким разговорам Иеронимий внимательно прислушивался, но помалкивал.

Наместник же, вернувшись в Лаймак, приказал Габриелю написать герцогу Барганаксу письмо настолько любезное и дружелюбное, насколько это было возможно. Прошло не так уж много времени, и герцог ответил на него столь же учтиво, извиняясь, что не может пригласить наместника погостить у него в Зайане (да и будь это ему предложено, наместник из опасения за собственную жизнь ни под каким видом не принял бы это приглашение), и предлагая вместо этого встретиться в Салимате. Там, на границе между Внешней и Южной Мезрией он как-нибудь в октябре официально признает наместника и принесет ему свою присягу как вице-регенту королевы в Южной Мезрии в соответствии с Илкисским конкордатом и на тех условиях сюзеренитета, которые герцог по нему принял.

Прошла осень, и все было тихо.



В первые дни ноября канцлер вновь отправился на север. В полдень они с адмиралом прогуливались по корме королевского судна, стоявшего на якоре в Кессарейской гавани. Было ветрено и облачно, в воздухе висели чайки, описывали пересекающиеся окружности крачки да иногда высоко в серых зимних небесах пролетала стая выстроившихся в линию подобно кораблям олуш, гонимых ветрами, мчавшимися на восток из открытого моря. Бок о бок вышагивали эти двое лордов, закутавшись от холода в плащи, надев шляпы, обув тяжелые морские башмаки и из-за ветра и брызг стараясь держаться подветренного борта.

— В Аудале, — промолвил адмирал. — В Аудале... Не думал, что вы с ним настолько дружны, чтобы принять его приглашение посетить его в Аудале.

— Это и не так. Однако он продемонстрировал определенное благородство, доверившись нам здесь, в Кессарее.

— Мера его доверия является лишь мерой его презрения.

— Что до меня, — сказал Бероальд, — то в наши дни я не стану доверять ни одному человеку. За исключением присутствующих.

Они прошли вдоль кормы еще пару раз. Затем адмирал заговорил:

— По правде говоря, взор мой проясняется, и я в некотором роде ощущаю свое могущество только когда ноздри мои вдыхают запах смолы, а под ногами моими добрые дубовые доски да соленая вода; на берегу все иначе. Помните, — добавил он после паузы, — он всегда наносит удар в темноте. Взять хоть то сентябрьское покушение на Эркеля, что сорвалось по чистой случайности, да и на вас самих прошлой весной в Зайане.

Бероальд сказал:

— О, я принял меры предосторожности.

Иеронимий бросил на него косою взгляд:

— А он любитель забрасывать наживку.

— И что?

— И то. Сайл Анинма.

Губы канцлера искривились:

— Так вашей светлости уже об этом известно? Это предложение было сделано мне тайно, и я убеждал его в тайне все и оставить. Однако через десять дней я обнаружил, что моя сестра уже все знает и заморочила герцогу голову, подговорив его устроить с наместником из-за этого открытую ссору. Но тот не поддался, посмеявшись над этим и заявив, что я ни за что на это не пойду.

— И, полагаю, попал пальцем в небо?

— Такому коню, — сказал канцлер, — в зубы не смотрят.

— Опасный план. Возьмите Кессарей: да, это щедро, но меня не проведешь. Господин мой, это же в некотором роде написано большими буквами нам в назидание, ведь он, пожалуй, еще с августа думает про себя: «*Ну вот, все помехи устранены, теперь, в отсутствие этого Лессингема, divide et impera*<sup>136</sup>». Да подоплека его действий очевидна, и от них столь гнусно разит мнимым искушением, что желудок выворачивается наизнанку. Сначала он обращается ко мне с топорной лестью, выставляя себя незаинтересованным блюстителем прав ее высочества, затем очерняет передо мной герцога, неприкрыто лжет, искажая истину... Тьфу! — воскликнул он, замерев на месте. — Замысел его состоит в том, чтобы, одурачив нас и вволю потешив наше тщеславие, сокрушить герцога, а покончив с ним, сокрушить и нас. Ветер дует оттуда же, откуда дул и в прошлом мае; мы снова в плавании вдоль того же берега, в ту же погоду, и снова петляем между теми же шхерами. Пока на нашей стороне и гер-

---

136 Divide et impera (лат.) — «разделяй и властвуй».

цог, и право, все в порядке, но лишись мы любого из этих условий — до свидания! Не забывайте об этом, господин канцлер.

— Я ни о чем не забываю, — сказал Бероальд. — Я знаю герцога. Более того, я знаю свою сестру.

— А помогло ли это ваше знание вам, ваша светлость, предвидеть (и, ей-богу, немногие могли о таком и помыслить) то, с каким смирением и преданностью он принесет ему присягу, при их встрече в Салимате в прошлом месяце? — осведомился адмирал. — То, как он перед всеми собравшимися признает его и поклянется в верности? Дойдя в этой церемонии до того даже, чтобы взять коня наместника под уздцы и смиренно перевести его в знак покорности через ручей сначала на север, а потом на юг, в то время как тот сидит в седле, раздуваясь от чванства? Разве это не являет собой в наше время свободных нравов беспримерный образец верности, благородства и умения держать слово? Но я считаю, все определяет кровь. Королевская кровь... и она еще прольется.

— Это был поступок дисциплинированного и законопослушного человека, — ответил лорд Бероальд.

— Ха, если уж говорить о законопослушании, то как насчет происшедшего в моих владениях недавно, с месяц назад, когда о ее королевском высочестве не было и упомянуто, в то время как гнусный убийца, по завещанию назначенный управляющим нашего государства, вел себя так, будто его уже короновали на королевский престол?

— И об этом тоже забывать не следует, — сказал канцлер.

— Я бы хотел, — помолчав, произнес адмирал, — чтобы ваша светлость в некотором роде категорически отвергли его предложение насчет Сайл Анинмы; это может его приостановить, ведь до сих пор все у него шло гладко.

— Как любезно с вашей стороны, господин адмирал, заполучив в свои руки Кессарей и пол-Мезрии, учить меня самопожертвованию.

— О, не нужно воспринимать все в столь искаженном свете. Вы же знаете, что я имел в виду не это. Чем больше будет у вас власти, тем лучше для нас всех. Но этот лен в Южной Мезрии, это как наступить Барганаксу на большую мозоль; к тому же, это незаконно и напрямую противоречит конкордату...

— Не так быстро, — сказал канцлер. — Статус Сайл Анинмы является предметом полемики на протяжении вот уже трех поколений: то ли это часть Мезрии, то ли заморское владение, то ли независимая территория. Окажите мне любезность: не думайте, будто я хоть на йоту отступлю от закона.

— Тогда пускай все определяет благоразумие и эффект, оказанный на герцога, терпение которого и так уже на исходе. Ваш человек правит Аргьянской в качестве губернатора, а это ключ к южному Ререку, также как Кутармиш и Кессарей — к Мезрийской Марке. Но в Кутармише Родер, а в Кессарее

— я... хотя Родер, как мне временами кажется, чересчур падок на эти подачки с лаймакского стола...

— Дорогой господин адмирал, — сказал канцлер, — боюсь, взор ваш, столь бдительно следящий за Лаймаком, слишком мало внимания уделяет Зайане.

Они остановились. Верховный адмирал, опершись на фальшборт, смотрел на берег, сцепляя и расцепляя пальцы.

— Ваша светлость, — промолвил он, — слывет в наши дни лучшим из правоведов. И я одобряю ваш стиль. Но помните, господин мой, что и вам не дано видеть все и никогда не ошибаться.

Начинался прилив. Словно преодолевающие барьер кони то в одном, то в другом месте вздыбливались над молом буруны, вскидывая на высоту мачт гривы брызг. Замок, выстроенный из массивных глыб песчаника, испещренного пятнами лишайника и водорослей, одиноко высился на оконечности невысокого, длинного и каменистого мыса, от которого сложенный из того же камня мол простирался сначала на запад, а затем на юг, вдоль линии рифов, огораживая собою тихое пространство около морской мили шириной, где можно было бросить якорь или в безопасности стоять на рейде в любую погоду. Корабли флота, пара десятков судов поменьше и несколько больших галеонов, груженных богатыми товарами, находились мористее адмиральского судна, которое стояло на якоре в каких-нибудь трехстах шагах от суши. И тут эти двое лордов, глядевшие на берег за шквалами ветра, увидели, как от причала у стен замка отходит восьмивесельная шлюпка и начинает грести по направлению к ним. Она плыла быстро, как будто дело было спешное.

— Да это же друг его светлости, юный Барриан, — сказал Иеронимий наконец, когда шлюпка приблизилась, и распорядился приготовиться принять того на борт.

Когда с приветствиями было покончено и они остались на корме втроем, Барриан сказал:

— Господин Адмирал, меня отправили к вашему сиятельству, поскольку дело принимает опасный оборот. И чрезвычайно удачно то, что я обнаружил здесь также и вашу светлость, — добавил он, обращаясь к канцлеру. — К вам отправился Медор, и было неясно, где вас искать. Однако, что касается дела, то быстрее всего будет прочесть это письмо, которое господин герцог получил только в субботу вечером от всем нам известного субъекта из Ререка. Подделка исключена: печать подлинна; письму можно доверять, хотя нам от этого не легче. Что же до мнения о нем его светлости, то вы узнаете о нем по состоянию письма: оно разорвано пополам.

— Почитаем, — произнес адмирал, ища свое увеличительное стекло. Они с Бероальдом принялись читать письмо вместе, положив его на нактоуз. — Начинается очень учтиво, да и почерк я знаю (и знаю уже слишком хоро-

шо) — писал Габриель Флор. Елейно-приторное начало, которое, как водится, обернется в конце асафетидой<sup>137</sup>. Ага, а вот и первые дуновения, — сказал он, подчеркивая это место ногтем большого пальца. — Мандрикарду дается в неограниченное пользование Алзулма. Но Алзулма же в Южной Мезрии, она широка как амбарные двери, там целая дюжина миль! Будь я его светлостью, я бы ответил: хорошо, а в обмен на эту любезность я бы пожаловал господину Барриану Морнагей, Сторбю или вообще Ангуринг. Нет, в самом деле, это равноценные вещи; тот, кто владеет Алзулмой, может решать, кого пропустить, а кого нет, по Руйарской дороге из Румалы в Зайану, и ценою его решение — не пустые слова, но могущество и власть.

Они дочитали до конца:

*«И да пребудет с вами Бог и всевышний Отец. Дано на основании всех дарованных мне прав и полномочий Мною, наместником и лордом-протектором Ее Королевского Высочества, ГОРИЕМ ПАРРИ, в Лаймаке, vij ноября, Anno Z. C. 777<sup>138</sup>».*

Далее шел адрес:

*«Его Светлости и Сиятельнейшему Лорду Барганаксу, именуемому Герцогом Зайанским, регентом Мезрии Полуденной подо мною. Повелеваю повиноваться и исполнять. Г.П.»*

Прочтя письмо, канцлер еще с минуту разглядывал его с несколько омраченным лицом, надменные черты которого были чуть угрюмее обычного, то и дело сжимая губы и раздувая ноздри. Адмирал улыбнулся безрадостной улыбкой, затем надул щеки:

— Бык в некотором роде растоптал пантеру. Неужто мы опоздали?

— Его светлость, — ответил Барриан, — повел себя в этом тупиковом положении с беспримерным — нет, не благородством: когда он вел себя иначе? — с беспримерным спокойствием. И дело не в том, что его никто не подзуживал, ибо и я, и ближайшие его друзья, считаем, что лучше пускай бы ему завидовали, нежели испытывали к нему жалость. Когда он получил эти известия, он был в радостном и веселом расположении духа; когда первая волна гнева схлынула, он послал за вами, и за вами, господин канцлер, чтобы вы оба лично послужили посредниками при заключении мира с наместником; и если тот не отступится от этих своих наглых и издевательских притязаний, то все королевство вскоре утонет в кровопролитных войнах, ибо это его светлость не проглотит, но засунет наместнику обратно в глотку.

Адмирал промолвил:

— Уговорите его во что бы то ни стало проявить еще чуточку вот этого своего благородного терпения. Скажите, что я приеду к нему.

137 Асафетида или ферула вонючая — многолетнее растение семейства зонтичных (*Ferula assafoetida*), также изготавливаемая из этого растения пряность, обладающая неприятным запахом и вьедливым вкусом.

138 Anno Z. C. (*Zayanæ Conditæ*) (лат.) — «со дня основания Зайаны».

— Он велел мне предложить вам встретиться на полпути, в Перазе.

— Через пять дней, начиная с завтрашнего, — ответил адмирал. — Это будет среда. Ожидайте меня в Перазе, где мы с его светлостью обсудим, что будет лучше всего предпринять.

— Могу ли я верить его в вашей дружественности? — спросил Барриан. — Вы легко можете представить, господа мои, сколь шатко сейчас равновесие в Зайане и сколь многое зависит от того, что я доложу. «Скажите им, — приказал он мне (и это были его последние слова перед расставанием), — скажите им, что я буду играть честно; но скажите и вот что: клянусь Богами на небесах, не стоит играть со мной».

Взгляд Иеронимия был устремлен на канцлера. Канцлер сказал:

— Все это напрямую противоречит Илкисскому конкордату. Я придерживаюсь закона, то бишь конкордата. Так и передайте герцогу от меня, господин мой.

Адмирал сказал:

— И от меня то же самое, лорд Барриан.

— В таком случае он будет чрезвычайно благодарен вашим сиятельствам. Но теперь, когда мы с этим разобрались... разве это не наилучший выход из положения? Проявим слабость — потерпим неудачу во всех наших начинаниях. Будем действовать быстро — можем покончить со всем этим.

Канцлер улыбнулся.

— Сначала мы укажем ему на закон, — сказал он. — И лишь когда это не поможет, прибегнем к открытому насилию.

— Да, я и прежде терпел неудачу в подобных междоусобицах, — промолвил адмирал, — и всякий раз это являлось следствием незрелых и безрассудных действий, — в его честных собачьих глазах, направленных на Барриана, мелькнул огонек. — И передайте ему также, что, если он в своей горячности опрокинет котел прежде, чем мы с ним встретимся в Перазе, то я свободен от всех обязательств и буду поступать так, как сочту нужным.

Барриан, несколько обескураженный, переводил взгляд с одного на другого, затем по очереди пожал им руки:

— Я сей же час отправляюсь обратно. Переночую в Ульбе, оттуда — в Салимат. Я могу быть в Зайане уже вечером в воскресенье. Умоляю, господин адмирал, не подведите.

Когда он ушел, лорд Бероальд спросил:

— Когда вы собираетесь выехать в Пераз?

— Пожалуй, завтра, не спеша и по суше, дабы не задерживаться из-за этого бешеного ветра. А вы разве не поедете? Потребуется мастерство, чтобы править им, когда у него в некотором роде подняты все паруса, а вокруг только юные советчики с заячьими мозгами наподобие этого, которые только выбросят его на рифы.

Канцлер поджал губы и улыбнулся.

— Если бы мое личное присутствие и мои слова были весомы настолько, насколько им и положено быть при моем возрасте, — промолвил он, — то лучше бы мне направиться напрямиком в Зайану. Ибо там она будет опутывать его своей красотой и изысканными и обольстительными речами, пока он не заведется до такой степени, что отправится штурмовать и небеса, не то что Лаймак — так, будто в него вселился смерч или сам дьявол.

## XVII. Поездка в Кутармиш

*ПЕРАЗ И ЯСНОЕ СОЛНЦЕ — КРОВАВАЯ ВСТРЕЧА — ГАЛЕРЕЯ РОЗОВЫХ  
ЛЕПЕСТКОВ В ЗАЙАНЕ — МЕДОР И ВАНДЕРМАСТ — ЕЕ МИЛОСТЬ ПОЗИРУЕТ —  
ОТСВЕТЫ ПЛАМЕНИ ИЗ НЕВИДИМЫХ УСТ — МЕМИЗОНСКИЕ НОЧИ —  
«КОГДА В ЛЮБВИ СОШЛАСЬ ТАКАЯ ПАРА»<sup>139</sup> — ПАФОССКАЯ<sup>140</sup> ТИШИНА —  
ВОИТЕЛЬНИЦА — BIS DAT QUÆ TARDE —  
ГЕРЦОГ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ НАКОВАЛЬНОЙ — НАМЕСТНИК БЕЗ СОЮЗНИКА*

**У**ОЧНО в назначенный день в Перазе состоялась встреча герцога, адмирала и канцлера. Там они обо всем договорились, как и подобает союзникам, а на следующий день распрощались и расстались, и герцог поехал домой неспешно, длинной дорогой, через Мемизон, а с ним Медор и дюжина его слуг. Ехал он беззаботно и весело, ибо все его сомнения разрешились, когда Иеронимий с Бероальдом приняли его сторону вопреки недавней самонадеянной выходке наместника, незаконно пожаловавшего кусок земли во владениях герцога графу Мандрикарду.

На второй день, около трех часов пополудни, проезжая по большаку мимо лощины, там, где дорога спускается к броду неподалеку от полей и пустошей Алзулмы, они увидели ехавших от реки всадников и среди них крупного человека в красном. Барганакс натянул поводья. Они были недостаточно близко, чтобы разглядеть лица.

— Вот была бы потеха, — промолвил он, — если бы это оказался Мандрикард, явившийся, чтобы вступить во владение земель.

— Давайте пообедем стороной, — сказал Медор. — По верхней дороге. Вашей светлости ни к чему сейчас с ними переругиваться.

— Их больше, чем нас, — ответил герцог. — Кто бы они ни были, я не желаю с ними разговаривать, но, клянусь Богом, из-за них я с дороги не сверну.

— Верхняя дорога лучше, — заметил Медор.

— Надо было подумать об этом минутой ранее. Если мы сейчас свернем, а это и впрямь окажется Мандрикард, то они скажут, что мы испугались встречи с ними.

Они поехали дальше, и Медор промолвил:

<sup>139</sup> Цитата из трагедии У. Шекспира «Антоний и Клеопатра», акт I, сцена I, пер. Д. Михаловского.

<sup>140</sup> Пафос — город на о. Кипр, посвященный Афродите.

— Прошу вас, вспомните о словах господина канцлера, сказанных им на прощание, о том, что вашей светлости следует повременить и не заниматься самоуправством, и, если это условие будет выполнено, то в течение нескольких недель все придет к благоприятному для вашей чести и достоинства исходу.

Герцог рассмеялся:

— Отлично. Повелеваю никак не выказывать презрения. Приготовьте мечи, но под страхом объявления вне закона пусть ни один человек не заговаривает, пока не заговорю я. Мы позволим им проехать, если они того захотят.

Они начали спускаться к броду, и когда те это увидели, то, словно поняв, что это был герцог, и желая избежать встречи с ним, свернули с дороги и не спеша направились на север, к Алзулме. Однако Барганакс, уже признав в человеке в красном Мандрикарда, невзирая ни на какие протесты отправил за ними слугу попросить графа повернуть обратно, дабы они могли побеседовать в стороне от своих спутников. Они подождали, наблюдая, как посланец догоняет эту группу и снимает шляпу перед Мандрикардом, как они разговаривают, указывая на них, как Мандрикард будто бы отказывается, а посланец настаивает, и Мандрикард, наконец, соглашается, отдает какой-то приказ, разворачивает коня и вместе с человеком Барганакса и своим человеком едет обратно к дороге.

— Искушаем судьбу, — промолвил Медор.

Радостный, словно сорока, герцог отозвался:

— Это чрезвычайно удачная случайность, ниспосланный небесами шанс показать ему: я знаю, что он в моих владениях и вынохивает что-то близ Алзулмы, знаю, что права быть здесь у него нет, но я настолько милостивый и рассудительный монарх, что, даже столкнувшись с таким нахальством как это, буду во всем следовать закону и не стану прибегать к насилию. Наконец, я покажу ему, что он для меня яйца выеденного не стоит, также как и его хозяин.

— Приготовьтесь, господа, — сказал Медор, когда герцог поехал прочь. — Когда его охватывает такая вот веселость, его не остановить. Но приготовьтесь и посмотрим, что они будут делать.

Когда они съехались, герцог пожелал тому доброго утра и сказал:

— Не знал, что ваша светлость окажет нам честь, почтив нас своим присутствием здесь, на юге.

Мандрикард ответил:

— Встреча эта, господин герцог, может избавить нас от многих хлопот. Как мне известно, его высочество ознакомил вас со своими намерениями касательно меня. Здесь у меня, — и он вытащил пергамент, — разрешение вступить во владение помещьем Алзулмы. Посмотрите, если желаете: «верительные грамоты, выданные означенному Мандрикарду». Они подлинны, можете не сомневаться. Если вкратце, то я нахожусь здесь с тем, чтобы осмотреть местность; вам же следует распорядиться тотчас же передать мне ключи.

— Мы и впрямь весьма удачно повстречались, — сказал герцог. — И я избавлю вас от ваших хлопот. То, что вы держите в руках, господин мой, вы можете порвать: эта грамота не стоит пергамента, на которой она написана. Поместье это мое, передается только по наследству, и к сожалению у меня нет намерения передать его вам.

— Это мне безразлично, — ответил тот. — Наместник пожаловал его мне и приказал мне занять его, — он сплюнул на землю и, набывчившись, устремил полный тупой наглости взгляд на Барганакса.

— Не пристало мне, — холодно промолвил Барганакс, — вступать со служками его высочества в споры о том, что касается только меня и его, пребывающих в полном согласии друг с другом — в согласии, которое зиждется на законе. И, дабы покончить с этим делом, знайте, что, отказывая вашей светлости в Алзулме, я придерживаюсь закона, и это может подтвердить господин верховный канцлер.

Мандрикард кисло посмотрел на него и промолчал, жуя губы и сплевывая.

— Так что доброго вам пути, — сказал герцог. — А поскольку ваша светлость не является моим другом и к тому же не имеет здесь никаких дел, кроме тех, которые, как мы с вами знаем, не согласуются с договором о перемирии, я бы хотел, чтобы вы отправлялись обратно на север как можно скорее.

— Может быть, я найду способ остаться здесь, на юге.

— Вы останетесь здесь на свой страх и риск. Помните, вы сейчас в Мезрии; не полагайтесь здесь на тень Лаймака.

— Болвана можно было распознать и издали, — сказал Мандрикард, когда герцог уже было тронулся прочь.

Барганакс повернулся в седле и натянул поводья.

— Научитесь вести себя как следует, — сказал он, — а не дерзить, петушиться и задираться со мной, что вам не ровня.

Мандрикард пробормотал какое-то бранное слово. Меч Барганакса выскочил из ножен, а лицо его потемнело от прилившей к нему крови.

— Лен по наследству? — завидев это, произнес Мандрикард. — Будь я проклят, ну и законы, и это зайанскому-то ублюдку!

— Слазь и сражайся, — приказал герцог. — Ты слынешь человеком весьма искушенным в фехтовании, иначе я побрезговал бы скрестить мечи с таким мерзавцем и скотиной.

Они спешили и обменялись ударами: *stoccata*, *mandritta*, *imbrocata*<sup>141</sup>. Герцог поскользнулся на камне, и это позволило Мандрикарду пробить его защиту, оцарапав ему мышцы державшей меч руки повыше локтя. Они остановились перевязать рану и остановить кровотечение. Спутники герцога упра-

141 *Stoccata*, *mandritta*, *imbrocata*, *montanto* — виды ударов в фехтовании.

шивали его отказаться от схватки, но тот, как будто ранение лишь усилило его бешенство и ярость, ринулся в бой, сжимая меч в левой руке.

— На, получи, — пыхтел Мандрикард, ощущая, как горячится его противник, когда клинки с лязгом столкнулись и замерли, сдерживая друг друга. — Ты уже мертвец. Я выпотрошу тебя.

Третьим выпадом Барганак закончил схватку, неожиданным и внезапным *montanto* вонзив Мандрикарду меч в кадык.



В четверг в середине декабря, через пять недель после этих событий, граф Медор с письмами в руках стоял в длинной галерее у западной башни в Акрозайане в нетерпеливом ожидании аудиенции у герцога. Мезрийский ветер с южных морей, который даже на святки еще пах летом, врвался сквозь глубокие проемы окон в переплетах со средниками. Окон было по двенадцать в каждой стене, во всю длину галереи. Розалура сидела у окна в западной стене, читая книгу и временами кладя ее на колени, чтобы полюбоваться видом: голыми ветвями деревьев в садах внизу, лежавшим за ними Зайанским озером, чья гладь то становилась зеркальной, то покрывалась рябью там, где ее тревожил ветер, а также лесами и цепями холмов за ним, что окружали Мемизон. Все в этой галерее было белым: и стены, и пол, и потолок, и мраморный фриз. На полу перед западными окнами заходящее солнце уже начинало чертить свои узоры, а за восточными царило холодное серое безмолвие многоярусных колонн внутреннего двора, каменных балконов и крыши, что прямой линией протянулась на фоне неба.

— И все же самое лучшее в летней поре, — промолвила она, соприкоснувшись руками с Медором, когда тот остановился у ее кресла, — это когда по полу разбросано множество розовых лепестков, и прохладный ветерок шуршит ими даже в самую знойную погоду.

Туда-сюда, от дверей к дверям расхаживал мимо окон доктор Вандермаст, на каждом третьем шаге уходя в тень, а затем вновь выходя на солнце.

— В четыре часа? — воскликнул Медор. — А еще только два?

— Таково было строжайшее распоряжение.

— Если бы вы только знали, насколько это срочно! Не зайдете ли в переднюю и не постучитесь ли? Ибо ярость его светлости, когда он узнает, что мы промедлили с этим, навредит нам больше, чем если мы в силу необходимости осмелимся в своей преданности послушаться его.

— Это дело жизни и смерти? Если нет, изменят ли что-нибудь два часа? А если да, можно ли за два часа все исправить?

Медор отвернулся.

— Госпожа Фьоринда, — проговорил ученый доктор, — явилась ко двору только вчера. Его светлость изволит все утро и до четырех часов дня оставаться с ней наедине, рисуя ее портрет. Вашей светлости хорошо известно, что,

когда отдается подобный приказ, ни нам, ни кому-либо иному не дозволено нарушать его.

— Что ж, — сказал Медор, вновь нетерпеливо зашагав по галерее взад и вперед, — в этом и заключается его величие: даже под столь кровавыми и хмурыми небесами, томясь в бездействии, быть способным отринуть все, отдыхая, плавая, играя в теннис, рисуя, а не предаваясь унынию в ожидании молний, которые, ударят они или нет, никак более от него не зависят.

— Итак? — произнес он через минуту. — Неужто и вам не хочется узнать мои вести? Когда он их услышит, они-то уж во всяком случае выведут его из этой его фатальной безмятежности.

— Нетерпение, — ответил Вандермаст, — причуда великих людей; в людях же невысокого положения оно неуместно. Что до меня, то, достигнув моего уже немалого возраста, я давно стараюсь избегать проявлений нетерпения. А вести столь важные советь не позволила бы ни мне выслушать, ни вам — сообщить, до тех пор, пока они не будут переданы герцогу.

Медор взглянул на него.

— Господин Вандермаст, урок ваш пошел мне впрок. Если бы только все его друзья на словах были столь же благоразумны... к черту тех, что вертятся подобно флюгеру, стремясь во что бы то ни стало сохранить свой пост! Да, вы мудры, поспешность нас до добра не доведет. Если бы он только ехал домой из Пераза чуть помедленнее, тем утром, месяц назад, когда состоялась та встреча, когда все еще было спокойно...

Вандермаст улыбнулся. Он стоял у окна и, сцепив за спиной руки, подняв подбородок и прикрыв глаза, взирал оттуда на залитый солнцем небосвод и мерцающие просторы озера.

— Однако, — произнес он, — этот Мандрикард был личинкой, которая со временем могла бы превратиться в жука, если бы герцог не раздавил его. И вместе с тем, когда так предрешено судьбой, разве, даже раздавив такого вот ползучего гада, этим самым поступком не позволяем мы кому-то иному занять в свой час его место и исполнить предназначение? Те известия, что собираетесь вы сейчас передать его светлости, разве не служат они примером в подтверждение этому? Нет, Медор, очевидно и доказуемо, что не в поспешности вся беда, но в смешении различных противоречивых действий и стратегий, хоть все они и подчиняются закону, в соответствии с которым *quæquæ res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur*: всякая вещь, насколько от нее зависит, стремится пребывать в своем бытии<sup>142</sup>. *«То удивительное соответствие, что существует меж воплощенной волей Господа и тайной волей Его, — говорит философ, — простому человеку недоступно»*<sup>143</sup>. Я допускаю, что, если бы вы ехали из Пераза не спеша, Мандрикарда, вероятно, уже не было бы у Алзулмы, когда

142 Б. Спиноза, «Этика», ч. III, «О происхождении и природе аффектов», теорема VI.

143 Цитата из трактата Ф. Бэкона «О значении и успехе знания, божественного и человеческого».

вы там появились. Но если бы вы, напротив, за лигу или около того пустились бы галопом, то уже вас бы там и след простыл, когда туда явился он. Если бы наместник был честен... да что там, я мог бы строить для вас гипотезы и предположения, пока у вас голова не закружится, но с какой целью? Ведь все происходит именно так, как происходит, а не так, как могло бы произойти.

Медор рассмеялся, затем вновь посерьезнел.

— Ах, — промолвил он, — как ни крутите, кровопролитие это и есть источник всех бед, тогда как, проявив терпение, мы остались бы чисты перед всеми. Если бы вы только знали, как все теперь запуталось...

— Чтобы скоротать время, — сказал доктор, придвигая стулья к столу между окнами, — я сыграю с вами в шахматы. А чтобы не осторожничать в гамбите, выпьем старого вина.

Медор расставлял фигуры, пока доктор Вандермаст наливал вино из старой афинской амфоры в кубки резного хрустала. Он наполнил их только до половины, чтобы пьющему легче было насладиться ароматом этого вина на стенках бокалов. Первый кубок доктор поднес графине, но та вежливо отказалась.

— Это вино, — произнес он, садясь за шахматную доску и поднимая кубок за здоровье Медора, — может, как мне иногда мнится, быть в чем-то сродни тому, что пьется брачными ночами в круте Богов, когда невесту укладывают на брачное ложе и поется эпिताламий<sup>144</sup>, а бродящие по золотым полам гости едят и пьют, веселя свои сердца и возрождая свой дух вином, подобным этому.

— И, бродя так, предвкушают чье-то знаменательное рождение? — спросил Медор, вдыхая из кубка пьянящий аромат.

— Да, — промолвил старик, коснувшись вина губами, а затем поднимая бокал, чтобы полюбоваться им на свет:

*Вещий взор*

*Вселенной всей, глядящий вдаль прилежно<sup>145</sup>.*

За внутренними дверями, перед которыми стояли в передней гвардейцы Медора, готовые преградить путь даже своему собственному начальнику, герцог Барганакс отложил кисть. Облаченный, словно в тогу, в обнажавшие правую руку и плечо просторные ниспадающие одеяния из парчи коричнево-кремового цвета, отороченные черным мехом, откинулся он в глубоком кресле. Перед ним на молберте стоял будущий портрет; туда и обратно, с него на нее, беспокойно метался его взгляд, будто чем-то не удовлетворенный.

— γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρετον, — промолвил он. — Это вы. «Горько-сладостная». Вы такая и есть.

144 Эпиталамий — в Древней Греции песнь, исполнявшаяся перед входом в брачный покой.

145 У. Шекспир, сонет CVII (пер. С. Маршака).

Обнаженная выше талии, она лежала на животе среди подушек на застеленном белым шелком ложе в лившемся из северного окна прохладном свете, опершись подбородком на сложенные руки. Ее спина и плечи были подобны цветку с бледными гладкими лепестками теплых оттенков старой слоновой кости, распустившемуся в темной чашечке ее усыпанной блестками кружевной юбки из черного шелка. Безупречна была линия ее согнутой правой руки от подмышки до локтя. В этот ленивый изгиб, чуть ниже бицепса, она задумчиво и изящно уткнулась носом. Из-под плеча подобно четверем змеям, вытянувшим навстречу дню свои шеи из какого-нибудь темного и заплетенного лозами логова, выглядывали пальцы ее левой руки, на одном из которых тускло поблескивало кольцо с окруженным звездочками крохотных изумрудов кошачьим глазом медового хризоберилла. Уст ее не было видно. Лишь глаза поблескивали белками, когда она искоса посматривала на него.

— Да, — произнесла она. — Я такая и есть.

— ἄλυκῦλκρον, — прошептал он, потом вдруг нахмурился и дернулся, будто намереваясь уничтожить свою работу.

— «Post».., — сказала она. — В какой из древних книг это было?.. «omne animal triste<sup>146</sup>».

— Это было, — ответил он, — в книге лжи.

Словно сапфировая стрекоза, что трепещет в полете, видимая лишь краем глаза, под гнетом невыносимого зноя безоблачного летнего полдня, был ее безмятежный взгляд, устремлявшийся то на него, то на картину, и заставлявший позабыть обо всем, что было или будет. Герцог поднялся, подошел к стоявшему слева у окна столу, выдвинул ящик, достал оттуда иглы и медную пластинку и вернулся на место.

— Стало быть, вы решили отказаться от работы с золотом и слоновой костью? — промолвила она своими невидимыми устами. — Весьма разумно, должна сказать.

Он отпихнул мольберт.

— Почему я в конечном итоге уничтожаю каждый ваш портрет, что я написал?

— Откуда мне знать? Возможно, проще уничтожить, чем довести до конца? А вот вопрос посложнее: зачем их вообще рисовать, имея оригинал?

В ее зеленых глазах сверкали огоньки, подобные переменчивым отблескам света на речной глади.

— Вы можете побыть неподвижной хотя бы минутку? — воскликнул он и, помолчав, добавил: — Наверное, я пытаюсь познать оригинал.

Сжимая подбородок, опершись локтем о колено, в напряженной позе припавшей к земле пантеры наблюдал он за ней.

146 Post coitum omne animal triste (лат.) — «после соития всякая тварь тоскует».

— Познавать? — переспросила она после продолжительного молчания.  
— Разве возможно (если вы, конечно, доверяете мнению доктора Вандермаста) познать что-либо, не являющееся мертвым?

Барганакс не шелохнулся, как будто и тело и разум его были полностью поглощены созерцанием. Через некоторое время его лицо смягчилось:

— Вандермаста? Пф! Он рассуждал о мертвых знаниях. Это не мой способ познания природы вещей.

— И когда же вы познаете мою природу посредством своего способа? Сегодня? Через неделю? Следующей осенью?

— Никогда.

— О, в таком случае, чем ваше познание меня лучше вашего рисования? Так и полоумный согревает кусок льда свечкой, чтобы приготовить себе на нем горячий ужин, как на тарелке.

— То, чего можно достичь, не стоит трудов, потраченных на его достижение.

— Попытка превыше всего, — промолвила она.

В таинственной музыке ее голоса светлячками засверкали новые тона.

— Вы весьма изменились по сравнению с вашей прежней манерой, — сказала она. — За последние год или два превратились почему-то в арфиста, играющего на одной струне. Говорят, в прежние времена ни одна находившаяся при дворе особа нашего пола, если только она не была уродиной или недотрогой...

— Болтовня, — сказал герцог.

— О, а сколько пикантностей они могут порассказать! Например, то, что у вас в пятнадцать лет выросла борода. Это правда?

Он поднял бровь:

— Когда-нибудь из этого выйдет неплохая подколка.

— Позвольте мне только представить себя в вашей шкуре, — продолжала она. — Нет, ну конечно. Я бы сказала себе: «Что ж, она весьма недурна, это звительная Фьоринда. Но... есть ведь и другие». И что? И почему нет? Загадка... Мне этого не понять. Возьмите хоть Розалуру: она рядом с вами в такой же безопасности, как если бы муж отдал ее в какую-нибудь семинарию. Хотя следует отдать вам должное, — промолвила она, легонько дотронувшись кончиком носа гладкой кожи предплечья и вновь приняв прежнюю позу, — вы никогда не промышляете в чужих владениях. За исключением одного лишь раза, — добавила она, снова уткнувшись в эту обитель лилий. — Хотя я этот раз не считаю, ибо это не было ни владение, ни... — она умолкла.

Барганакс поймал ее взгляд и улыбнулся.

— К чему свеча, когда светит солнце? — сказал он.

— Довольно любезно, но не ново. Нет уж, я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему.

— Пф! — воскликнул он. — Это настолько очевидно, что никаких объяснений не требует.

Он взял пластинку, будто собираясь начать рисовать, затем снова медленно ее отложил.

— Позвольте мне представить себя в вашей шкуре, — произнес он, все еще блуждая взором в поисках образа для картины. — «Этот герцог, — сказал бы я, — совсем как в этой моей песне, желает

*por la bele estoile avoir  
k'il voit haut et cler seoir*<sup>147</sup>.

И, чтобы показать, что и у меня есть эта самая звезда, если я и захочу ее кому-то подарить, то, когда иные целуют устами, я подставляю щеку».

— Так вот как я поступаю? Неблагодарный!

— Может быть, моя неблагодарность и скупость вашей милости...

— О, чудовищно! И из всех дней вы выбрали этот!

После паузы она сказала:

— И во мне многое странным образом изменилось после того, как вы освободили меня, разрубив силки, в которые я попала. Как жаль, теперь слугам Дьявола некого принести в жертву. Для меня это необычно, ведь я уже успела немного поднатореть в этих делах. Однако, — произнесла она с некоторым презрением, — не так уж это и необычно, ведь меня, юную, дважды выдавали замуж за того-то и того-то, по чистому расчету. Плюнуть собаке в пасть для леди не предосудительно, да и собака останется довольна<sup>148</sup>.

От звуков ее голоса подобные отблескам солнца на воде огоньки замерцали в устремленных на нее из-под кустистых бровей глазах Барганакса, как будто он пытался запечатлеть в своем восприятии ту ускользающую простоту, в которой коренились и укрывались острые и сладкие ароматы, неуловимые формы и оттенки ее мыслей.

— Да и ваш царственный отец (да покоится он с миром), — сказала она, — знал толк в женщинах. Разве не он избрал моего усопшего супруга на должность управляющего Рейсмь? А потом заставил вашу мать, герцогиню, вопреки всем ее доводам (ведь я никогда ей не нравилась) взять меня фрейлиной в Мемизоне? Если бы не эта случайность, мы с вами, возможно, никогда бы и не встретились. Это было три года назад. Мне было девятнадцать, вам, полагаю, двадцать два.

— Подобные вещи, — сказал герцог, — от случайностей не зависят.

Настушило продолжительное молчание. Затем она заговорила:

— Кажется, я пришла к вам не слишком-то по душе при первой встре-

---

147

«Прекрасною звездою обладать,  
что в небе высоко пылает» (Шателен де Куси).

148 В прежние времена считалось, что таким образом (плюя в собачью пасть) можно приручить собаку.

че, на террасах летнего дворца ее светлости, летней ночью, в перерыве между заключительными танцами, уже после полуночи; я была с ним, а вы с Мелатом прогуливались взад-вперед в лунном свете, то и дело проходя мимо нас. А тогда шла только десятая неделя моего замужества, — она помолчала. — Помните, как он сорвался с места (вы как раз обернулись и видели это) и побежал к парашету, будто намереваясь сигануть оттуда в ров? И, проходя мимо в очередной раз, вы тогда сказали ему в шутку, что вы рады, что он передумал топиться. А он рассмеялся и ответил: «Если бы вы только знали, господин герцог, о чем я в тот момент думал!» Помните?

— Да будет вам известно, — отозвался Барганакс, — когда мы отошли, я высказал Мелату все то, о чем, вне всяких сомнений, этот человек на самом деле думал.

— Ну а вам, — сказала она, — да будет известно то, что я прочла эту догадку в глазах вашей светлости. Но вы не догадывались, о чем думала я. Ибо глаза мои — слуги мои; они верны мне, но болтать не умеют.

Все это время взгляд герцога блуждал в поисках, пытаясь распутать клубок достоверного и кажущегося. Словно пузырек, медленно всплыл из тинистых вод его раздумий воспоминания, и, хотя взор его оставался затуманен, с его губ слетел тот старый сонет, что даже с книжной страницы звучит нотами лиры, потрясшей Митилену:

*От берега к берегу и из лесу в лес  
Мечусь, мечтой непрочною пронзенный,  
Колблемой траве уподобленный  
Или листу, что ветер прочь понес.*

*Два бога руководят мной с небес:  
Один — младенец, зрения лишенный,  
Другой — жена, рожденная из пены,  
Гульлива, как дельфин, сей водорез.*

*Несчастлив муж, взрывающий песок  
В надежде насадить живой росток.  
Но вдвое тот несчастливей, мы знаем,  
Кто сердцем кормит полоумну страсть  
И за женой идет, отринув власть,  
Слепцом введом, дитятею внушаем<sup>149</sup>.*

Их глаза встретились — веселые, радостные.

— По-моему, вы позабыли о том хорошем, что есть в переменах, — сказала она после паузы. — Что до меня, то мне у женщин весьма по душе светлые волосы. Как, например, у Антеи.

---

149 М. А. Бойд, «Сонет» (пер. В Симанкова).

Герцог скривился.

— Отлично, я решилась, нарисуйте мне желтые волосы.

— Если вы только посмеете сделать со своими волосами что-нибудь...

— медленно проговорил он, будто погруженный в созерцание, всецело занятый рисованием, а не беседой.

— В таком случае я их обрежу, — сказала она.

Его алчущий взгляд, казалось, несколько прояснился. Он выдохнул:

— Тогда я вас убью.

— Это будет не так-то просто сделать, — промолвила леди; ее уста по-прежнему прятались за лилейно-гладкой поверхностью ее неподвижной руки. — Неужто вы забыли тот первый раз, когда церемонии были отброшены, через месяц после нашей первой встречи? Следующим летом исполнится три года с того дня. Я вам тогда показала, друг мой, вам изрядно от меня досталось.

— Только две минутки, любимая!

Он вдруг принялся рисовать неистово, стремительно и твердо нанося штрих за штрихом. Линия за линией бороздами ложились на полированную медь, повторяя очертания этой замершей неподвижно женщины, и неподвижность ее была подобна солнечному сиянию над озером, в котором повисли перевернутые отражения гор, леса и неба, и ничто не шелохнется, кроме (наверное, от прикосновений крохотных крылатых созданий) пляшущих отблесков, что прозрачными золотыми звездами появляются и исчезают, один здесь, другой там, по семь или восемь за раз, на зеркальной поверхности воды.

Герцог вскочил на ноги и подошел к столу, чтобы втереть в линии ламповую сажу. Когда он обернулся, она уже одела свой лиф, подобный сотканной из тысяч крошечных голубоватых жемчужин кольчуге с рукавами, облегаящей тело, словно перчатка, и сидела, выпрямившись, на софе, спиной к нему. Минуту он рассматривал свое творение, затем подошел и сел позади нее, держа пластину так, чтобы ее могли видеть оба. Часы пробили три.

— Насчет рисования вы верно подметили той ночью в разговоре с Лессингемом.

— С Лессингемом? — переспросила она.

— О том, что влюбленному тяжело запечатлеть истинную сущность.

— Ах, припоминаю, это было у камня грез.

— Ту Одну, которую я искал среди Множества, пока не встретил вас, а теперь это Множество заключено в вас.

Ее лицо было повернуто к нему в профиль, она смотрела на гравировальную иглу. Взгляд ее обернулся взглядом Медузы, а неподвижные уста стали безжалостны, будто змеиные.

— Картины, — проговорил он. — Все они — хлам. Они дают мне всего

лишь бесполезную Одну из Множества вас, но никогда — ту Одну, которая это Множество порождает, как порождает цвета солнце.

— Но эта, по-вашему, вышла лучше?

— Она несравнимо лучше. Это лучшая из моих работ.

— И изображено на ней то, что беспрестанно изменяется, всегда оставаясь собой?

В голосе леди появилась новая удивительная нота, как будто в ленивых, задумчивых, пропитанных солнцем звуках его воплотились все враждующие начала ее божественной сущности: затаившаяся среди кроваво-красных пионов смертельная угроза, зелень морских вод, спокойных и глубоких, на ложе из белого ракушечного песка, или огни в глазах львицы, черные волны стигийского потока, когда через него переправляется нежная душа кого-то безвременно усопшего, уголь, снег, лунный свет, зарево пылающих городов, затмения, зловещие кометы, благословенная вечерняя звезда; и проступавшая за всем этим неведомая тьма — ждущая, бдящая, потаенная и недвижная, заключавшая в своем чреве и наполовину стершееся из памяти прошедшее, и пока еще до конца не осознанное настоящее, и то, что еще только произойдет — или, возможно, не произойдет, — колеблющееся на грани между рождением и пустотой небытия.

— Множественность — да, изображена, — промолвил он после паузы.

— Но от вашей Единственности здесь только тень; Персефона в сырой земле.

Она снова посмотрела на картину.

— Вы, как я вижу, нарисовали и мой рот?

— Ах, так вы заметили? Ведь ваша рука его закрывает?

— Вы передали это в выражении глаз, в положении пальцев.

— Я рад, — ответил он. — Так и было задумано.

— Я бы сказала, это вышло само собой. Рот весьма важен, особенно мой.

Он встал, положил пластину на стол, повернулся и посмотрел на нее.

— *Omne animal triste?* — спросила она, и язвительный бес виперой выглянул из уголков ее уст.

— Я же сказал, что все это ложь, — произнес Барганакс, не сводя глаз с нее.

Она чуть откинулась назад, наблюдая за ним, и глаза ее, казалось, потемнели и расширились.

— Не всякий мужчина, — сказал он, — сумеет составить вам пару. То вы уподобляетесь лебеди, что плывет, расправив крылья, то — раз — и в один миг сбрасываете это белое оперение, взмываете в небеса, выпускаете когти, набрасываетесь на глушцов, убиваете. Не всякому это по силам.

— Но вы-то не устаете рисовать.

— О, так и нужно, — сказал он. — Так и нужно, чтобы орлам летать вместе, в противном случае...

— В противном случае, — подхватила она, — Фьоринде оставалось бы лишь править в аду обезьянами? Или, того хуже, превратиться в домохозяйку в Рейсме? Мне нравится мужчина, у которого, даже когда он заберется нестерпимо высоко, хватает духу удерживаться там.

Герцог сделал шаг по направлению к ней.

— С вами нельзя придерживаться середины, — промолвил он. — Вы и ночь, и день: сверкающая ночь и невыносимый день.

— И еще розы, — казалось, говорила не она, но сама неподвижность ее уст. — Красные, розовые.

— И подобные морю глаза. Я тону в них, — резко выдохнул он. — Когда я целую вас, кажется, будто язык мой в плену у львицы.

Она легла на спину, сцепив руки на затылке, словно валькирия, чьи груди вздымались под расшитой жемчугом кольчугой, явив взору великолепие и гибкую мощь своей шеи.

— Моря — для тех, кто умеет плавать, — проговорила она, и в ее ленивом голосе пели лиры. — Ясный полдень нужен, чтобы зажечь орлу глаза, нежность розы — чтобы придавить ее, смять, вдохнуть ее благоухание, чудесная темнота — чтобы вы не отчаялись и, перечислив все проявления совершенства, не сказали: вот она, сумма, вот оно, все. Ибо разве я не есть все, друг мой? Я более чем все. И, когда вы все познаете, перечислите, приумножьте и пересчитаете вновь, я скажу вам: Во тьме моей есть еще. Придите. Убедитесь. Давайте же.



Когда пробило четыре, доктор Вандермаст постучал в украшенную топазами кедровую дверь студии и вошел, заслышав слова герцога «Входите». Герцог, теперь уже облаченный не в то отделанное мехом парчовое одеяние, но в камзол, жабо и рейтузы, будучи извещен о настойчивом желании Медора получить аудиенцию, вышел к нему в галерею. Леди Фьоринда, все еще несколько растрепанная и с незаплетенными волосами, полулежала на софе, обмахиваясь веером из белых павлиньих перьев, перевитым серебряными нитями и усеянным вдоль ребер яблочно-зелеными хризопразами.

— Боюсь, продвинулся он недалеко, — поведала она Вандермасту, разглядывавшему картину на мольберте. — Но чего еще можно ожидать, если два часа уходит лишь на то, чтобы запечатлеть мою позу?

В звуках ее голоса сквозила исполненная самолюбования и насмешки над собой сонная грация, в которой внимательное и вдумчивое ухо улавливало нотки серебристого смеха, которым еще грезят вековечные всепомнящие воды, неустанно пенящиеся на мелях Пафоса.

Доктор улыбнулся, глядя на незаконченную картину, а затем, заметив на столе гравировальную иглу, взял ее в руки и некоторое время молча рассматривал.

— Судя по этой работе, — наконец промолвил он, — ваша милость преподали ему урок философии. Это уже лучше. Нет-нет, рассматривая ее в рамках заданной и predetermined для нее цели, более ничего не нужно делать: она совершенна.

— Так вы хотите сказать, «кончен труд Отелло<sup>150</sup>»? Грустное умозаключение.

— Этого я не скажу, разве только после вашей милости, — ответил ученый.

— Ну, для начала поработайте у меня служанкой (так уж неустроенно мы живем): принесите мне зеркало, чтобы я привела в порядок волосы. Благодарю, многоуважаемый сударь.

С этими словами она села, в миг сбросив с себя эту томную праздность и преисполнившись энергии и стремительности, в то время как ее ловкие и искусные пальцы собирали, закалывали и заплетали в строгую придворную прическу массы ее роскошных волос, черных как смоль, волнистых и отливающих там, где на них падал свет, синевой, подобной стально-голубому сиянию некоторых звезд, наподобие Веги, безлунной осенней ночью. Ее руки еще расправляли непослушный воротник, когда она повернулась навстречу Барганаксу, который вошел в комнату так, будто в груди его бушевал смерч. Медор, залившись краской, следовал за ним по пятам.

— Есть новости, и адово пламя пылает у них на хвосте, — заявил герцог, большими шагами прошагав к окну и бросившись в кресло. — Трусоватые плуты — да, я говорю о вашем чопорном и напыщенном братце, госпожа моя, со всеми его педантизмом и дотошностью, — сказал он, раскачиваясь из стороны в сторону. — Он принял Сайл Аниму, дарованную ему этим ужасным деспотом, совсем как Мандрикард предложенную ему подобным же образом Алзулму. А Иеронимий лебезит и слюнявит руку цареубийцы... если и есть человек хуже этого Бераольда, так это этот малодушный адмирал с его чахлой бородашкой, все время норовящий угодить и нашим и вашим. Он уже заново поклялся в верности и послушании, по причине убийства Мандрикарда отбросив все, что было между ними и мной, весь наш недавно заключенный союз. Будь они прокляты! Целый месяц пережевывали, а теперь снова отрыгивают. Будь они прокляты! — воскликнул он, вскочив и принявшись расхаживать по комнате, будто зверь в клетке. — Только и делают, что цепляются за каждую возможность пожитья, грязным ли способом или честным, а у самих сердце уходит в пятки при малейшем дуновении из Ререка. Я просто взбешен! — он поймал взгляд Фьоринды. — Ну как, не изволит ли ваша милость

150 Цитата из трагедии У. Шекспира «Отелло», акт III, сцена III.

присоединиться к своему братцу в Сайл Анинме? Разве все вы, все как один, не стремитесь разделаться со мной, раз уж я иду ко дну?

Фьоринда, неподвижная словно статуя, следила за ним одним взглядом.

— Что ваша светлость намеревается делать теперь? — спросила она.  
— Продолжать рисовать, а весь мир пускай катится к чертям?

Герцог внезапно остановился и круто развернулся к ней, будто укушенный. Мало утешения нашел он в глазах леди и в каменной складке ее губ. Однако пока он глядел на нее, взглядом отвечая на дерзкий взгляд, гнев его, будто расплавленный металл в горне, казалось, излился в некую изложницу и, остывая, обрел форму и смысл. Его челюсти сжались. Его глаза, уже не сверкая, неотрывно всматривались в ее глаза. И тут вся его поза и осанка исполнились непринужденного величия, которое более всего ему шло, и тоном, контрастировавшим с ее, — шутливым, беззаботным, гордым — он заговорил.

— За этими стенами вы узнаете одну тайну, — сказал он и обернулся к Медору с Вандермастом. — Через три дня я либо останусь мужчиной, либо окажусь мышью.

С кошачьей грацией леди Фьоринда поднялась, подобрав белой рукой мерцающие черные оборки своей юбки, чтобы они не волочились по полу, и подошла к окну. Там она остановилась, опершись одним коленом о кушетку и повернувшись к комнате спиной, однако глаза герцога, как глаза моряка — на полярную звезду среди несущихся облаков, были устремлены на нее.

— Медор, — промолвил он, — вы одновременно и мезрийский граф, и начальник моей гвардии. Вам придется некоторое время побыть моим местоблюстителем и управляющим делами герцогства здесь, на юге, делая все от моего имени, а что именно — я тотчас же вам расскажу. Напишите доверенность, Вандермаст, я подпишу. Что до вас, Медор, то вам надлежит быстро собрать армию: Мелата, Зафеля, всех здешних южных лордов. Я по-прежнему останусь верховным властителем Мезрии. Но действовать нужно внезапно, армию так быстро не выдвинешь; нужно схватить добычу быстро, прежде чем они успеют вновь собраться вместе, словно рассекаемая мечом вода. Родер держит Кутармиш; исчезни эта препопа, и все охраняемые им земли Внешней Мезрии, а может быть, и Марки, будут сданы без сопротивления. Разобраться с этим быстрее всего будет мне лично, нежели через каких-либо посредников. Я возьму с собой Дионео, Бернабо, Ансальдо, этого, с бельмом... Фрискобальдо, Фонтинеля, остальных выберите сами — двадцать пять наиболее неистовых, опытных и умелых гвардейцев. Я выеду завтра.

— Двадцать пять воинов? — переспросил Медор. — Вы, что, выжили из вашего монаршего ума?

— Если все выгорит, больше мне для этого сброда и не потребуется. Если нет, не поможет и большее количество.

Медор горько усмехнулся:

— Негоже мне подвергать сомнению распоряжения вашей светлости. Но если уж вы столь твердо вознамерились распрощаться с жизнью, позвольте мне поставить на кон и мою, ибо, если вы потерпите неудачу, я не оценю ее и в грош.

— Нет, Медор. Если меня ударят в спину, вы должны будете отомстить за меня. Но я как свои пять пальцев знаю, что за люди собрались в этом городе. Думаю, это будет сущее развлечение.

Он встретился взглядом с Вандермастом. В глазах старика лучилось то самое слабое прозрачное сияние, что заливает беззвездный восточный небосвод на безветренном рассвете, прежде чем забудет родник солнца. Фьоринда обернулась. Она держала голову высоко, будто самка леопарда, принюхивающаяся к дуновениям ветра.

— Слишком долго был я наковальной, — сказал герцог. — Теперь стану молотом. Пусть все подготовят, ибо я передумал: я не останусь до завтра, но выеду сегодня же вечером. А теперь оставьте нас.

Когда они остались одни, наступила тишина. Наконец, Барганакс заговорил:

— Вот такие дела. Ну а что если это прощание навсегда?

Она протянула унизанную кольцами руку, он взял ее в свои, склонился над ней, поднес к губам, затем, словно кровь его внезапно воспламенилась, принялся осыпать ее страстными поцелуями от ладони к запястью, от запястья вверх по руке, отодвинув в сторону рукав и достигнув нежной кожи на внутреннем сгибе локтя, а потом, шагнув вперед, притянул ее к себе.

— Нет, — промолвила она, уклоняясь от его уст. — Когда вернетесь.

— Этого может не случиться никогда.

Он пересилил ее, но губы под его поцелуями оставались безжизненными, а тело застыло и затвердело.

— Найдется ли еще где-нибудь столь же злобный тиран как вы? — произнес он наконец, отпустив ее. — Один только лед. Вы и меня превратили в лед.

— Поделом вам, — ответила она, — за вашу ненасытность. Чем больше вас кормишь, тем более прожорливым вы становитесь. Сначала это нескончаемое утро, потом этот день. Ну так женитесь на Мирре или на Пантасилее, они будут послушны вашему приказу. Меня вам на таких условиях не заполучить.

Опершись о косяк, положив руку на хрустальную дверную ручку, она наблюдала за ним из-под опущенной завесы длинных черных ресниц, а в изящных обводах ее рук, шеи и щек, и в свободно ниспадавших оборках, кружевах и многочисленных просвечивающих складках ее юбки, подобно летним молниям проскальзывали отблески клыков и когтей.

— Не знаю, — промолвила она, — почему я вообще дарю вам свою благосклонность. Разве только потому, что и вы тоже, несмотря на всю вашу

леность и назойливость, столь же неумны, беспокойны и непредсказуемы. И поэтому, — она вдруг замолкла, и все ее черты чудесным образом смягчились; дыхание, словно парус, наполнило грудь с ее греческими обводами; замер, будто потонуло в меду пчелиное жало, ее голос; затрепетали веки; и зефиром наполнило весь воздух вокруг нее дурмящее благоухание темных роз. — Поэтому... я люблю вас.

После такого божественного прощания, увернувшись от поцелуя или какой бы-то ни было ласки, она исчезла.



Барганакс уехал той же ночью. Проезжая мимо на следующий день, он отправил своей матери в Мемизонский замок сообщение, что собирается на недельную охоту на ориксов и медведей в Гуронских горах. Ехал он столь быстро, что к ночи субботы достиг Румалы. Там он позволил коням и людям отдохнуть до позднего вечера воскресенья, а на закате двинулся вниз по Завеси. Они ехали всю ночь, избегая оживленных дорог, и в миле или около того к югу от Кутармиша, в раскинувшемся на холмах буковом лесу, остались дожидаться рассвета. Двадцать человек он маленькими отрядами по двое-трое отправил вперед, к воротам. На заре ворота отворились, и с наступлением дня на дороге началось движение. Герцог с пятерыми спутниками подъехал в открытую; на них были синие плащи и обыкновенные крестьянские шапки, скрывающие их доспехи и воинственный вид. Когда они приблизились к воротам, к ним присоединились остальные двадцать. В миг они перебили стражу и стремительно двинулись через город к дому Родера. Родер как раз выезжал куда-то с несколькими людьми и именно в этот момент ссадился в седло. Было еще рано и потому малоллюдно, а герцог со своими спутниками перемещался быстрее, чем подымавшая позади них суматоха. Он взял Родера за руку:

— Как дела нынче утром у вашего сиятельства?

В левой руке он сжимал кинжал, держа его так, чтобы Родер голой кожей ощутил остроту его клинка сквозь камзол; герцог при этом чувствовал по дрожи рукоятки в своей руке, как колотится сердце Родера. Лицо Родера потемнело от прилившей к нему крови, затем посерело, будто засаленный пергамент. Челюсть его отвалилась, и он сидел в седле тихо как мышь, глядя своими остекленевшими и налитыми кровью бычьими глазами на герцога. Люди герцога, проворно сбросив плащи, образовали вокруг этих двоих кольцо, стоя лицом наружу с обнаженными мечами. Заслышав, как голоса находившиеся на улице, из домов толпами высыпали люди.

— Если вам дорога жизнь, не мешкайте, — сказал герцог. — Провозгласите меня повелителем. Вот вам мой довод: он острый и колется. Если нам предстоит погибнуть и отправиться в преисподнюю, будьте уверены, господин мой, вы умрете в самом начале этой резни. Я отправлю вас вперед, чтобы вы

указали мне путь. Если же вам этого не хотелось бы, поторапливайтесь, пока не стало поздно.

— Я служу вашей светлости, — прокаркал граф, — что бы там ни бормотали мои уста прежде. Слушайте, люди, — выкрикнул он, — и расступитесь, трубите в трубы, пусть каждый добропорядочный человек принесет присягу господину герцогу Зайанскому, от чьего имени и по чьему распоряжению управляю я этим городом.

Герцог приказал:

— Объявите меня наместником королевы в Мезрии.

Заиграли трубы, и все было объявлено так, как он сказал.

К вечеру все в городе успокоилось и власть герцога упрочилась. Ибо те из его приверженцев, что вынуждены были скрываться, когда Родер принял сторону наместника, после этого объявления выступили открыто и напали на представителей противной стороны. Эти беспорядки герцог пресек твердой рукой, не проявляя ни страха, ни поблажек, при помощи солдат, числом четыре или пять сотен, благодаря которым Родер удерживал город; это не были его собственные люди, но воины королевской армии, что размещалась на юге вот уже многие годы, и герцог принял от них клятву верности именем королевы, а те после событий этой осени подчинились ему, служителю дома Фингисволда, куда охотнее, чем наместнику. Наместник же был объявлен глашатаями по всему городу изменником, узурпатором и цареубийцей, и было сказано, что всякий лояльный подданный должен отречься и отвергнуть его, взамен признав лордом-протектором и вице-регентом королевы герцога Зайанского. И по мере того, как день клонился к закату, люди смелели, и жители города начали приходить с целыми возами жалоб на Родера, ходатайствуя о том, чтобы герцог выдал его им или же покарал самолично. Барганакс, обнаружив, что Родер не может и двух слов связать в свою защиту, а также, заполучив бумаги графа и найдя прямые доказательства разрабатывавшихся им заодно с наместником гнусных планов вторжения в Мезрию в нарушение конкордата в обмен на Кутармиш, а также заговора с целью убийства герцога; учитывая то, что они (и это подтверждалось документами) начали плести эти кровожадные интриги еще с октября, с той встречи в Салимате, на следующее утро он велел вывести Родера на базарную площадь и там, обнаружив эти доказательства при помощи глашатая, отрубить ему голову. Это проявление суровости, также как и вчерашний обидный, безумный, неистовый, бесстрашный и стремительный захват города столь небольшим отрядом смельчаков, чудесным образом отрезвили умы людей, заставив их поостеречься плести против него козни или выставлять его дураком.

Потом он отправил с приехавшими с ним из Зайаны надежными людьми послания на север, принцам Эркелю и Арамонду, прося у них помощи и поддержки. Подобные же письма он послал и Иеронимию с Бероальдом,

сдержанно пожурился им за непрочность их дружбы и посоветовав им повиноваться и стать на его сторону вместо того, чтобы, несмотря на проявленное им в ответ на вероломную провокацию благородство, нарушить свои клятвы и превратиться в презренные орудия наместника.

Он не знал покоя в эти дни, ибо, надеясь поймать пескаря, вытащил из воды шуку. Двадцатого декабря, лишь на второй день после молниеносного взятия Кутармиша, туда явился сам наместник вместе с двумя отрядами конных, поскольку там находились его потайные запасники со всевозможной амуницией, оружием, лошадьми и прочими вещами, необходимыми для задуманного им нападения на Зайану. Он уже приблизился к городу на расстояние оклика, двигаясь, как было ему свойственно, когда он не хотел, чтобы кто-либо знал о его приезде, в стороне от больших дорог и людского жилья. Но в этот раз по предначертанию Богов до него дошли известия о мятеже и о том, что Кутармиш потерян, а ведь он мог бы заявиться туда, ни о чем не подозревая, как волк попадает в капкан. У него не было бы даже пятиминутной форы, и его ждала бы скорая гибель, ибо Барганакс, поняв, что перед ним, галопом помчался вместе с сотней конников схватить его и преследовал его на протяжении двадцати миль до самых ворот Аргьянны, где тот в самый последний момент укрылся, будто в норе, хотя лошади его едва не околели, а сам он чуть не лопнул от ярости и неистовой скачки. На следующий день, вероятно, не желая быть запертым в крепости, где он посредством своих запутанных махинаций недавно назначил губернатором ставленника Бероальда, а в подобной ситуации отношения между ним и Бероальдом могли стать непредсказуемыми, он отправился обратно на север, в Аулдаал. Теперь стало очевидно, что после этой внезапной попытки развязать войну герцог вполне может отважиться на захват Внешней Мезрии, а также Марки, ибо сторонники королевы в Ульбской Марке, что уже несколько месяцев назад стали считать наместника опасным узурпатором, теперь начали открыто поддерживать Барганакса.

Через неделю по Руйарскому ущелью прибыли, чтобы присоединиться к герцогу, Мелат и Барриан с почти тысячей людей. Ни от адмирала, ни от канцлера герцог пока ответа не получил. Но вскоре после нового года появились известия о том, что канцлер двинулся с войсками на восток и занял Аргьянну, откуда, поскольку место это неприступно и господствует над дорогой из Мезрии на север, словно выжидающий ястреб, способен был нагнать страху на куропаток с порубежья и утихомирить их, заставив к тому же Барганакса не слишком-то далеко высовываться за пределы кутармишских укреплений. Вскоре герцог оказался меж двух огней, когда регент Иеронимий, выступивший со своей армией в поход с запада через мезрийские границы, и далее вдоль Зеннера, будто бы предложил ему бой, а если и нет, то угрожал снабжению с юга. Однако оказалось, что Иеронимий, приблизившись на заре следующего дня к Кутармишу и представ, наконец, перед простым выбором между

«да» и «нет», не смог заставить себя обнажить меч против монарха из рода короля Мезенция. Он отправил к герцогу гонца, и они заключили между собой мир.

И вот, пока наместник собирался в Ререке с силами, а вся Мезрия (даже такие как Зафель, который в своем недовольстве начал было склоняться на сторону наместника) сплотившись вокруг Барганакса, своего законного властителя, лишь Бероальд оставался в Аргьянне, сохраняя загадочность. Большинство думало, что в этой недавней атаке герцога он усмотрел ту угрозу, которой опасался и прежде. Кроме того, по их мнению, руку его, возможно, удержало и то, что (как он с самого начала и был склонен считать) с точки зрения закона притязания наместника едва ли можно было оспорить.

## **XVIII. Риалмар в звездном свете**

*ГАЛЕРЕЯ МАНТИКОР — ЗАМЫСЕЛ ПРОТИВ АККАМЫ —  
НЕДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ РЕРЕКА — СВОИ ПОТАЕННЫЕ ПОКОИ —  
АНТИОПА: БОГИНЯ ПРОБУЖДАЕТСЯ — ДВА ВИДА ЛЮБВИ —  
УОСТДЕЙЛ, ВОПЛОТИВШИЙСЯ В ЗИМИАМВИИ — ВЫБОР ПРИ ЗВЕЗДАХ —  
TERROR ANTIQUUS<sup>151</sup> — РАССТАВАНИЕ НАУТРО*

**В** ночь равноденствия Антиопа объявила в своем королевском дворце в Теремне торжественный пир в честь начала весны. Празднество было устроено в галерее Мантикор, в самой старинной части дворца, что была выстроена, когда древние короли только воздвигали на двуглавом Риалмаре первые стены, превращая его в колыбель своего господства и оплот своего могущества. Минули сотни лет, прежде чем они впервые покинули свои плодородные долины меж южных пустошей и недоступных даже орлам замерзших северных гор, и обратили свои взоры к южным землям Ререка и Мезрии. Высоки были потолки этой галереи, целиком выстроенной из камня теплых серых тонов с тусклым мраморным отливом, испещренного черными крапинками и прожилками. Длинные столы и стоявшие подле них кресла были из этого же камня; на креслах лежали шелковые подушки, чтобы пирующим было удобнее сидеть и веселиться. Сорок четыре светильника, сделанные из серебра, меди и орихалка и свисавшие на цепях из-под сводчатой крыши, тянулись в два ряда из конца в конец этой просторной галереи. Под ними, на столах, горели в золотых подсвечниках свечи из зеленого воска, по свече на каждого пирующего. На первый взгляд крыша и стены казались гладкими и лишенными каких-либо украшений, однако если присмотреться поближе, становилось видно, что они изборозжены тонкими канавками, словно от резца или чекана. Воспользовавшись свойствами этих покрытых неувимой резьбой глянцевых поверхностей, создавший в прежние времена эту галерею своим удивительным искусством устроил так, что любой, кто пробыв в ней некоторое время, постепенно, по мере того, как

---

151 *Terror antiquus* (лат.) — «древний ужас».

картины на стенах преображались в меняющемся свете, начинал угадывать в этих неясных узорах очертания зверя, именуемого манतिकорой: тут львиная лапа или львиная же косматая грива, здесь иглистая спина дикобраза, там скорпионий хвост или ужасное подобное человеческому лицу с острыми клыками и огромными выпученными глазами. Считалось, что эти безобразные создания водились встарь на песчаных и каменистых пустошах у рубежей Волда, на ближних склонах аккамских гор.

Королева в своем платье, украшенном кружевами и золотой сеточкой на шелковой основе, мрачного оттенка ало-оранжевого нартеция в посевную пору, с волосами, заколотыми большим черепаховым гребнем, окаймленным шариками желтого сапфира, и в изысканном кремово-белом воротнике на серебряных спицах, восседала на троне, Лессингем — справа от нее, как представитель лорда-протектора, а слева — старый королевский судья. За Лессингемом было место Зенианты, а за Боденаем — графини Тасмарской. Лишь они да еще несколько человек занимали почетные места на поперечной скамье, остальные же сидели за длинными столами, спинами к стенам. Пространство между столами было освобождено для прислуживающих на пиршестве.

— Так значит, еще две недели или три, верховный полководец, — промолвила королева, — и вы отбудете на юг?

— Через две недели, начиная с завтрашнего дня, с позволения вашего сиятельного высочества, — отозвался Лессингем. — Мы с господином Боденаем, — добавил он, чуть наклонившись вперед, чтобы включить в разговор королевского судью, но говоря тихо, чтобы не услышал генерал, — испекли отличный пирог, и просим вас, госпожа моя, снизойти к нашей просьбе созвать завтра закрытый совет, дабы взглянуть, что у нас получилось.

— И что же окажется в пироге, когда мы его разрежем?

— Моя поездка на юг, а потом, скажем, через три месяца, — обратно на север, чтобы вновь заняться делами вашего высочества, — он беззаботно огляделся вокруг, чтобы убедиться, что их не подслушивают. — Если вкратце, госпожа моя, то мы считаем, что тот, чьи дерзости вы столь мудро и благоразумно сносили прошлым летом, заслуживает веревки, и потому...

— О, если этого дворового пса и стоило выпороть, — сказала королева, — то я выпорола его еще в прошлом сентябре.

Боденай покачал головой.

— Ах, госпожа моя, дело не только в этом юнце, но в самом государстве и народе, которые он представляет. От них исходит угроза. И господин Лессингем подтвердит вашей светлости, первейший принцип великих полководцев и влиятельных людей таков: лучшая оборона — это нападение.

— Мы побеседуем об этом с вашим высочеством завтра, — сказал Лессингем. — Надеюсь, вы дадите делу ход. Это люди, чересчур быстро забывшие преподанный им урок, питающие к нам исконную вражду, возглавляемые

скорпионом и неутомонные как саранча; просто благоразумно будет нанести им упреждающий удар этим же летом, усмирив их и подчинив собственной власти. Миссия же моя теперь будет заключаться в том, чтобы собрать вам на юге огромную армию, которой будет командовать (и будет хорошо, если мне удастся этого добиться) сам лорд-протектор.

— Вот вам и весь срок, Мирилла, — проговорила графиня Гетерасмена, держа руки надзолотой чашей, чтобы слуга полил на них розовой водой. — Если господин Лессингем заберет своего лейтенанта в Ререк, у вас остается лишь десять дней, чтобы утомиться от своего только-только обретенного супруга.

— Вот именно, и это показывает, госпожа моя, — подхватил Амори, — сколь удачно все устроила для меня судьба. Ибо я, пожалуй, никогда прежде не поддерживал отношений с леди более одного месяца, и, с учетом моей сдержанности, осмелюсь полагать, не успею порвать с леди Мириллою за эти десять дней, хотя еще одна лишняя неделя уже может и вызвать напряженность.

— Я заткну вам рот... нет, не так, как вам хочется, а вот как, — сказала сидевшая подле него Мирилла и ткнула ему в губы марципаном.

Все расхохотались, а Лессингем тихо сказал королеве:

— Вашему высочеству следует поддержать этот брак. Адмирал — человек надежный. Узы родства между ним и Амори помогут укрепить дружбу.

— Лейтенант, — промолвила королева, — устроим вашу свадьбу через день или два; посмотрим, не расстанетесь ли вы за эти два дня.

Амори, несколько опешив под множеством устремленных на него взоров, приумолк, вежливо хохотнул, покраснел и принялся поглаживать свои усы. Из смущения его вывел подзывающий жест Лессингема; он тут же поднялся, извинился перед своей леди и подошел к нему. За спинкой кресла Лессингема стоял королевский пристав:

— ...ждет снаружи и желает немедленно переговорить с вашим сиятельством.

— Что еще за дурацкие секреты? — произнес Лессингем. — Что ж, если это не терпит отлагательства, отправляйся к нему, Амори. Будь моими глазами, ушами и совестью, скажи ему, что он может тебе довериться.

Через несколько минут Амори вернулся.

— Господин мой, ключ не подходит к замку. Он не желает ничего мне говорить, за исключением того, что дело чрезвычайно срочное, и предназначено исключительно для ваших ушей. У него также письма, полагаю, от наместника, но и их он согласен вручить только лично в ваши руки.

— Из Лаймака? — спросила королева. — А почему бы нам не потесниться и не принять его?

— При всем моем уважении, нет, — сказал Лессингем. — Я знаю этого

человека; это прислужник моего благородного кузена, которого тот частенько использует в важных и значимых делах, некто Габриель Флор. Если вашей светлости так угодно, пускай ему подадут ужин в кладовую, я же тотчас разберусь с его поручением.

— Так и сделаем, — сказала она, и пиршество продолжилось.

Когда пир был в самом разгаре, когда принесли наполненные рианским вином кубки, миндальное печенье на золотых блюдах, салаты из фиалковых лепестков и изысканный джем, приготовленный из цветков бархатцев, Лессингем с позволения королевы вышел из-за стола и направился в одну из комнат наверху, предварительно передав Габриелю, чтобы тот следовал за ним, если желает с ним переговорить.

— Заметила ли ты эту странную игру света, кузина? — спросила королева. — Когда верховный полководец проходил между столом и стеной, создания на стене, казалось, взмахнули лапами и оскалились, будто намереваясь его сожрать.

— Просто игра света, — ответила принцесса-гамадриада. — Ваше высочество и раньше такое видели.

Королева вернулась к оживленной беседе с сидевшим слева королевским судьей, Тиархом, Гетерасменной и старой госпожой Тасмарской.



— Как обстояли дела, когда ты расставался с его высочеством? — спросил Лессингем, принимая у Габриеля депешу, садясь в большое дубовое кресло возле лампы и ломая печать.

Габриель стоял перед ним с озабоченным видом.

— Прощу, сначала прочитайте, — сказал он.

Лессингем быстро пробежал письмо, затем вернулся к началу и перечитал его не спеша, будто желая обдумать и взвесить каждое слово; затем аккуратно и решительно сложил его, резким движением швырнул на стол подле себя и с минуту сидел неподвижно, наклонившись вперед, положив правую руку на бедро, а левой облокотившись на колено и выстукивая ногтями по зубам какой-то ритм. В отсветах, отбрасываемых лампой на лицо Лессингема, Габриель мог видеть его застывший взгляд, взгляд непроницаемый, словно разум его погрузился в глубины самосозерцания. И вдруг в серых с крапинками глазах Лессингема, словно в предвкушении триумфа, девичьим хороводом заплясали огоньки.

Он выпрямился в кресле. Во всем его облике читалось постоянство, какое живет в неизменном блеске и противоборстве неподвижно сверкающих камней и неутомимо бегущих и пенящихся волн и водоворотов у слияния двух рек, что струятся под зеленой сенью дубов, ясеней и ольх, там, где лежат на берегах обкатанные водою валуны и шепчут под лучами солнца белые гранитные голыши и галька.

— Ну что ж, верный мой слуга, — промолвил он, — ты сам-то это читал?

— Это было продиктовано устами его высочества и записано моей рукой, чей почерк, полагаю, вашей светлости знаком.

— Как же вышло, что ты ни о чем из этого не доложил ранее? Дешечи прибывали как часы, по две за месяц, и все будто бы было хорошо, ветер дул попутный, море было спокойно, и тут вдруг такой поворот, лодка опрокинута, Мезрия потеряна, а с нею и Марка, со всех концов страны якобы собрались все видные люди, чтобы из-за какого-то лживого слуха о смерти ее высочества (да хранят нас от дурного Боги!) усадить на трон ее брата Барганакса, Лаймак в плотном окружении, а наместника, по всей видимости, скоро выкурят оттуда, как мальчишки выкуривают ос из гнезда. Кто слышал о чем-либо подобном? А теперь он взывает ко мне, чтобы я вытащил его из этого чана с патокой, куда только ему да Дьяволу известно как он угодил. Ей-богу, я не прочь там его и оставить.

— Все из-за его великой гордыни, — сказал Габриель. — Он не хотел просить вашей помощи, пока его не заставила это сделать нужда. Он действительно потчевал вас домыслами, враками и ложью, чтобы удержать здесь, в Фингисволде. Вы подорвете свое величие, если теперь, в час крайней нужды, под подобными предложениями ему откажете.

— Не льсти ни себе, ни своему хозяину, — сказал Лессингем, — предполагая, будто я дитя, неспособное разузнать ничего, кроме того, что он сам сочтет нужным мне поведать. И впрямь, новости мои устарели недели на три, а может, и на месяц, по сравнению с твоими: боюсь, в последний раз гонец досюда не добрался, по всей видимости попав в лапы принцу Эркелю под Эльдиром. Как бы там ни было, прошло несколько недель, так что выкладывай. И не забывай вот что, милый мой, — добавил он, когда Габриель метнул на него робкий взгляд. — Если я поймаю тебя на лжи или сокрытии чего-либо, то пострадаешь от этого не ты один.

— Ну, насколько я могу судить, вашему сиятельству уже известно, — начал Габриель, — о кровопролитном нападении на Кутармиш этого проклятого ублюдка...

— Говоря при мне о великих людях, — сказал Лессингем, — выражайся уважительно, будь то друг или недруг, и используй соответствующие почетные титулы. В противном случае я велю тебя высечь.

— О кровопролитном нападении на Кутармиш его светлости герцога Зайанского, — досадливо поправился Габриель, ослабив зубы. — И там такое было! Господина Родера схватили, привязали к огромному студу, а верзила с хорошо наточенным мечом, раз, и снес ему голову словно свинье, на виду у всех зевак, — и поделом, что ж он как следует не смотрел за воротами и за

всем добром и богатствами, которых его высочество там лишился? Тот и сам мог бы попасться, направляясь в Кутармиш...

— Избавь меня от подробностей. Я все это знаю.

— А Адмирал переметнулся к противнику, об этом вы слышали? Станулся с герцогом (еще в январе) и присягнул ему в верности.

— Об этом я не знал, пока не прочел письмо, — сказал Лессингем. — Также как и о канцлере; судя по последним известиям, он все еще колебался.

— Данные вашей светлости касательно первого устарели на восемь недель, а касательно второго — на три. Что до господина канцлера, то, похоже, как только он укрылся в безопасности в Аргьянне, тут же послал за своими заумными книгами в Зайану, созвал к себе со всех трех королевств дюжину законников, правоведов, мыслителей, да как их там ни назови, и усадил их за работу, чтобы ты отыскали для него правдоподобный повод для того, что, можете не сомневаться, ведь лисицу видно по ее пушистому хвосту, он все это время и намеревался устроить. Держу пари, их доводы текут как старое корыто и развалятся прежде, чем доплывут до берега. Так или иначе, он нашел то, что искал. Тут он является и начинает гладко стелить, будто гулящая девка, то да се, все красиво и мило, а вывод такой: Барганакс по праву именуется королем как наследник мужского пола, и — для пущей верности, если этот лживый слух о кончине королевы распущен, как полагают, самим этим Барганаксом...

— Разве не предупреждал я тебя? — перебил его Лессингем

— ...этим герцогом, чтобы под таким вот соусом узурпировать трон; стало быть, для верности, на тот случай, если этот слух окажется непровержимо ложным, — он якобы откопал в двухсотлетних кучах пыли какой-то закон, по которому женщины не могут наследовать фингисволдский престол, так что его узурпация теперь узаконена, а кровь этого ублюдка перевешивает ее благородное происхождение.

Лессингем поднялся из кресла и прошелся взад-вперед по комнате, поглаживая бороду. Габриель напряженно наблюдал за ним маленькими свинными глазками.

— Нелегко мне было добраться до вашего сиятельства, — сказал он, помолчав. — Сначала эти обложившие Лаймак армии, потом эти северные принцы, которым герцог подбрасывает золотишка, дабы те чинили препоны его высочеству и его приближенным, — и они тоже подтянули кое-какие войска. Аркаст не осмеливается и носа высунуть за стены Мегры. Даже не знаю, господин мой, достанет ли у вас сил припутнуть этих дворян, пробиваясь мимо них?

Лессингем остановился у стола, взял письмо наместника, внимательно перечитал его еще раз и отложил, затем уставился на Габриеля сверху вниз с улыбкой, от которой тому стало не по себе:

— Твои цыплята, малыш Габриель, еще не вылупились. Что до моих намерений применительно к той переделке, в которую угодил твой господин, то тебе было бы проще их угадать, будь тебе дана способность смотреть людям в глаза.

— Нет, — сказал тот, бросив на него взгляд и тут же отвернувшись. — У вашей чести такой взгляд, что и василиска свалит. Мне его не вынести.

Лессингем расхохотался. Кажалось, орлан бросился на добычу со своего насеста над водой, сделал ложный выпад и вернулся на свое место.

Габриель выпятил подбородок и приблизился на один шаг, глядя себе под ноги и выписывая пальцем на краю стола круги и кресты.

— Если бы только ваше сиятельство могли видеть то, что повидал за эти шесть недель я, — сказал он. — С теплыми отношениями покончено, голову даю на отсечение. Доводилось мне видывать великих людей, когда у неприятеля был большой численный перевес, но не до такой степени. Чем больше людей он теряет из-за непочтительного и вероломного поступка этих лордов, чем сильнее редеют его войска и нарушаются его планы, тем больше желает он отплатить им тем же. На это стоит посмотреть. Всего с тысячей человек нанес он сокрушительный удар по западной Марке, а затем, когда этот канцлер уже думал, что загнал его в угол между Пятипутьем и Зеннером, неожиданно обошел того с фланга, потом двинулся ночью на север, застиг Мелата за набегом на Ререк и задал тому взбучку. А потом укрылся в Лаймаке с остатками своей армии, и вшестеро больше врагов тявкали под его дверями, будто дворняжки на мусорной куче, но так и не решились сразиться; и дня не проходит, чтобы он не сделал вылазку, и всякий раз ведет ее сам, нанося им какой-никакой ущерб, захватывая провизию, кое-кого и убивая, ну и так далее.

Он замолк, по-прежнему вода пальцем по краю стола. Вдруг он поднял глаза, встретился взглядом с Лессингемом, отвел глаза, неуклюже ухватился за руку Лессингема и поцеловал ее. Лессингем, странно взволнованный и смущенный почтением, оказанным ему подобным просителем, отдернула руку.

— Получишь ответ завтра, — сказал он, и, отпустив его, вернулся в пиршественный зал.

И, когда Лессингем проходил между столом и стеной, любясь тронутым польниной горечью очарованием той, что сидела и столь мило беседовала, ему показалось, что он видит краем глаза чудовищные распростертые лапы и полные ужасных смертоносных зубов пасти, надвигающиеся на нее.

Когда он садился на свое место, они с нею обменялись взглядами. Все были поглощены беседой и потому никто, кроме, разве что, Зенианты и Амори, не заметил, что ни Лессингем, ни королева не заговаривали целую минуту. И никто не догадался (кроме тех двоих), что они с Лессингемом, проведя эту минуту за пиршественным столом в молчании и раздумьях, на самом деле удалились в свои потаенные покои, где за тот период, что постороннему пока-

жется лишь мгновением, дни, недели, месяцы и времена года неспешно сменяют друг друга подобно распускающейся белой розе; и много раз с той самой первой ночи на Михайлов день ускользали туда Лессингем с королевой, следуя своим возвышенным устремлениям, и жили там вместе в любви и согласии.



Ученый доктор, стоявший вместе с Зениантой в поросшей травой ложбине между холмами, где встречали полдень деревья на опушке ее дубрав, заслонил рукой глаза. Солнце склонилось к самым вершинам елей, что теснились на склоне холма, у подножия которого, на расстоянии броска камня от доктора, лежал пруд. Черны были очертания этого ельника на фоне небес, но ближний склон зеленого холма, куда не доставала его тень, был залит ослепительным светом. Холм и пруд за этой сияющей полосой были словно укрыты затуманивавшей все золотистой завесой, однако, если смотрящий заслонял от солнца глаза, она становилась проницаемой для взора травяную поросль и неподвижную и спокойную гладь пруда в мельчайших подробностях. Фигуры вышедших из тени елей в полосу света Лессингема и Антиопы тлели по краям золотым сиянием, словно пылая на фоне черного леса. Звуки их, ставшего теперь слышным, разговора казались музыкальным переводом этого тлеющего сияния и окружавших их солнечного света, вездесущих теней, воды и зеленого склона холма; переводом не на язык слов, ибо слов было пока не разобрать, и не на язык смеха, ибо они не смеялись, а скорее в ноты и ритмы голосов, в которых этот смех таится, украшая собой диалог двух умов, столь тесно переплетшихся друг с другом, что в своей взаимной преданности забывают о самих себе.

Они приблизились. Лессингем кивком ответил на приветствие доктора, усаживаясь на каменный выступ и, казалось, погружившись в размышления. Антея, прямая и неподвижная как статуя, сцепив руки за спиной, смотрела на солнце. Кампаспа в своем легком облегающем платье из муара, походившего своим цветом на некоторые грибы, что растут на мертвых деревьях, тончайшего бледно-розового оттенка с примесью маренового коричневого, а также в белом кружевном чепце, выбивавшиеся из-под которого темные кудри заслоняли ее шею и щеки, слева ниспадающая на грудь, была занята поиском плоских камушков для игры в утки-селезни. Время от времени неподвижность пруда нарушали ее летящие и подсакивающие камушки. Быстрыми и изящными, как у мышки, были все ее движения; так чернозобик бродит среди отражающих небо луж по обнаженному отливом морскому берегу солнечным осенним вечером.

Антиопа стала рядом с доктором и Зениантой. Взгляды их были устремлены на Лессингема, сидевшего и наблюдавшего за солнечной дорожкой. Вандермаст заговорил:

— Так вы все всесторонне обсудили и что-нибудь решили?

Антиопа ответила:

— Мы ничего не обсуждали, но решили все.

— Это еще лучше, — промолвил древний старец.

Некоторое время они хранили молчание. Вандермаст заметил, что ее взгляд по-прежнему направлен на Лессингема. Казалось, она уснула прямо на месте. Негромко, голосом, полным теплоты, что обитает в недоступных солнцу тенях высившихся позади нее дубрав, купавшихся в его сиянии, приобретая восхитительный золотисто-зеленый оттенок, Вандермаст произнес:

— В свое время я упомянул вашей милости, что существует лишь одна мудрость. И лишь одна сила.

Антиопа не двигалась, будто ожидая продолжения.

— Как это? — спросила она наконец.

Вандермаст сказал:

— Все это — ваше собственное творение, Ваше одеяние. Вы избрали его. Он избирает его вслед за Вами, сознательно или нет, и жаждет его ради Вас. Ее, лучшую из всех Ваших роз, жаждет он сорвать для Вас.

Она сказала:

— Я знаю.

Вандермаст сказал:

— Что до меня, то я лучше умру рядом с вашей милостью, чем обрету бессмертие рядом с...

Она сказала:

— Итак? Кто же моя соперница?

Вандермаст сказал:

— У Вас их нет, нет ни одной. Никому не сравниться с Вашей звездной красотой.

Она ждала. Книдская загадочность тенями легла у ее губ.

— От начала дней, — промолвила она.

Повисла трепещущая тишина.

Вандермаст сказал:

— Вы выбираете иначе, нежели мы, которые из множества вещей берем какую-то одну, а не все прочие, потому что считаем, что она лучше. Ваш же выбор делает вещь лучше, возвышает избранное Вами, будь это изначально самый что ни на есть пустяк, вознося его превыше любых восхвалений.

Она сказала:

— Однако всякий раз я расплачиваюсь за это. Само бытие, бытие его и ее — разве не я его выбрала? Разве не мог Он, будучи всемогущим, с тою же легкостью, если бы я только так решила, создать Меня самодостаточной и самодовлеющей? Но я предпочла существовать лишь при условии того, чтобы быть любимой, делеемой, создаваемой и воссоздаваемой им, что является Моим слугой. В чем же иначе заключался бы смысл любви?

Вандермаст сказал:

— Смерть — ложь, детская страшилка. Что она такое sub specie aeternitatis, как не vox inanis, пустой звук, ничто?

Она сказала:

— Однако как можно любить кого-либо, кто не проводит дни в ужасе под сенью этих крыл? Иначе зачем ему любовь?

Вандермаст сказал:

— Ну а время? Разве все зло, какое только есть, не посеяно временем, не во времени ли оно коренится и разрастается?

Она сказала:

— Однако не будь времени, что останется?.. Бессмысленные, ослепленные в экстазе взгляды, устремленные на меня, музыка сфер, обернувшаяся кошачьим воплем. Как иначе отмеряла бы свои дни красота? Как отличил бы он уста мои от бровей, если не благодаря времени?

Вандермаст сказал:

— Что еще способно осознать вечность, как не то, что умирает и исчезает?

Она сказала:

— Какое обманчивое могущество... иные, презирая то несомненное, незыблемое... — ее голос замер, как исчезает из виду, когда заходит солнце, летящая над морем крачка.

Зенианта с венком из дубовых листьев в прекрасных волосах промолвила, положив руку на предплечье Вандермаста:

— И вы — часть Ее? Так же как и я?

Вандермаст сказал:

— Нет, милая повелительница листвы и безмолвных беличьих полей. Я принадлежу к тем самым иным.

Зенианта сказала:

— Но разве дом — часть того, кто в нем живет? Разве леса — часть меня?

Вандермаст покачал головой и ничего не ответил.

Словно только что проснувшись, Антиопа встрепенулась и промолвила:

— В чем дело, кухня? О чем я говорила? Ты свидетельница, я ведь никогда прежде не ходила во сне?

Ее глаза были полны беспокойства. Она заговорила, и слова вылетали из ее уст медленно, будто двигаясь в потемках наощупь:

— Темная леди. Я никогда не видела ее.

Вандермаст сказал:

— Возможно ли увидеть самое Себя?

Антиопа сказала:

— Лучше ответьте вы, это ведь вы философ.

Вандермаст сказал:

— Я способен задавать вопросы, но на некоторые из них ответить не могу.

Антиопа спросила:

— Она видела меня?

Вандермаст сказал:

— Так мне было поведено.

Антиопа спросила:

— Кто поведал вам?

Вандермаст сказал:

— Мое искусство.

Антиопа спросила:

— А оно говорит правду?

Вандермаст сказал:

— Откуда мне знать? Оно зажигает свет. Я иду на него, по шагу за раз, наблюдаю и выжидаю, помня при этом, что в науке о сверхъестественном, во всем, что касается Богов, определение того, что Есть, неопровержимо и неизбежно проистекает из того, чему Должно быть. Доселе я с пути не сбивался.

Антиопа спросила:

— Почему же она может видеть меня, если я ее — не могу?

Вандермаст хранил молчание. Звуки ее голоса были подобны стущавшимся теням. Ее голубиные глаза устремились к Лессингему, но тот смотрел не на нее, а на солнце.

Антея сказала:

*Я есть любовь,  
Люблю я его,  
Люблю и себя,  
Ту, что им любима.  
Люблю беззаветно,  
Смеюсь, торжествуя.  
Я — кровь, что стучит  
В его жилах, когда  
Воедино сольемся  
В самосозерцанье.  
Любовь такова.*

Кампаспа сказала:

*Я есть любовь,  
Люблю я его,  
Люблю лишь любовь.  
Любовь — мой наряд,  
Оплот мой и ложе.  
В лучах его греюсь,*

*Рукою хранима  
Того, перед кем  
Лепестки своей розы  
Покорно раскрою.  
Любовь такова.*

Лессингем сказал:

— Вы сидите там, молчаливая. Я — во главе стола, вы, сеньорита Мария, — сбоку, как и подобает почетной гостье, но с боку левого, как и подобает вам. Ибо с этой стороны мое сердце. Больше некуда торопиться. Да пребудет мир, *requiescat in pace*<sup>152</sup>, мир Богов, что превосходит всякое понимание. Даже там улавливал я время от времени намеки на него, и лишь благодаря вам, *madonna mia*<sup>153</sup>. Помните?

*О Владычица Мира, лишь ты мне приносишь покой,  
И в тебе лишь — любви обещание вечной и искренней.  
Изменяясь всегда, ты всегда остаешься собой.  
Все, что истиной ты назовешь, для меня — также истина.*

Помните? Но вот, все туманит пелена грез, иллюзия перемены, и...

— Тише! — воскликнула Мэри и вздрогнула. — Даже самое длительное блаженство когда-нибудь кончается. Что это, сон? Что если мы проснемся?

Лессингем сказал:

— Это был сон. К нему не вернуться. Ибо что это было, как не искаженный образ данной действительности, грядущей или минувшей? Подернутое рябью отражение всего этого: тебя, меня, вон тех персиков, темного вина и золотого, венецианских чаш; лишь едва осознаваемая тень букета «Славы Дижона» на окне, его аромата, подобного твоему дыханию, о царица нежных, аромата любви. Аромата, а также летнего вечера, длинных прохладных теней, что тянутся к лужайке, как я к тебе, и этого сапфира, теплого на ощупь, который сверкает в моих пальцах, затаившись в этом благословенном месте, что сулит бессонную ночь, что открывает и ослепляет, что подобно лотосу, плывущему по водам Леты таится в этой драгоценной ложбинке меж твоих груди.

— Подожди, — произнесла она едва слышно. — Подожди. Еще не время.

Он откинулся в своем кресле. Сидя там, он молчаливо взирал на нее. Затем заговорил:

— Помнишь слова поэтессы, мадонна?..

*Γέσπερε, πάντα φέρων, ὅσα φαίνολις ἐσκέδαο' αἴως,  
φέρεις δῖν, φέρες αἴγα, φέρεις ἀπὸ μάτερι παιδα.*

Словно зачарованная, не шевелясь, слушала она его. Очень тихо, мечтательно, столь мягко, что слова, казалось, только обретали беззвучную форму в ее сладостном дыхании, она ответила, будто эхо:

152 *Requiescat in pace* (лат.) — «да упокоится в мире».

153 *Madonna mia* (ит.) — «госпожа моя».

*Вечерняя звезда, ты собираешь все, что свет дневной по миру разбросал.  
Овцу приводишь в хлев, козу ведешь под кров и возвращаешь матери  
дитя<sup>154</sup>.*

Косые солнечные лучи коснулись их бокалов, и похожие на бусы цепочки пузырьков превратились в струящиеся вверх огоньки.

— Пропало, — промолвил он после минутного молчания, — именно то, что казалось нам наиболее существенным. Даже если все остальное хорошо, без этого все зачало.

— Все, — сказала она. — Даже я. Даже я в конце концов зачала.

Лессингем встрепенулся и застыл, будто окаменев. Потом положил на стол руку ладонью вверх. Ее рука с мерцающими кольцами на пальцах острожно приблизилась, будто ручная белая цапля к предложенному угощению, коснулась средним пальцем центра его раскрытой ладони и ускользнула, прежде чем ее можно было бы поймать.

— Что ж, это был сон, — промолвила она. — Что касается меня, то я ничего не чувствовала. Никакой боли. Никакого страха перед бегом времени. Это было даже менее, чем сон. Потому что о сне мы говорим: он был. А этого не было, да и сейчас нет.

— Сон, — повторил Лессингем. — Кому же он привиделся?

— Наверное, глупцу.

Лучи садящегося солнца в этой обшитой панелями комнате странным образом преобразили червонное золото ее волос, превратив их в черные. Нечто от выражения лица Медузы, твердое как алмаз, промелькнуло в уголках ее рта.

— Ах, — промолвил он, — мы можем спорить о снах и истине, пока не проглотим друг друга, будто два питона, и не останется ничего. Однако что касается того прежнего мира... это ведь ты, Мэри, сказала мне как-то, что это было, как будто Единая села перед шахматными фигурками и сказала им: «Живите. А теперь посмотрим, сумеют ли они научиться игре». А потом стала ждать и наблюдать. Времени полно, впереди вечность. Но необходимо терпение. Больше терпения, чем чтобы приручить сокола, мадонна. Больше терпения, чем у меня есть, клянусь небесами!

— Терпение Богов, — сказала она.

— Думаешь, это один из Ее экспериментов? Просто забавы ради? Чтобы скоротать утро, что-то вроде охоты на цаплю? — он посидел молча, глядя на нее. Затем сказал: — Я думаю, это еще одна картина.

— Картина? Бесплодная, как та Одна? Или игла, способная, как ты утверждаешь, дать тебе то неосязаемое и бестелесное Множество?

Они замолчали, как будто каждый услышал или увидел нечто такое, что только что было здесь и тут же исчезло. На ее пальце поблескивал камень

154 Сапфо, 95 (пер. неизв.).

александрит, водянисто-зеленый в этом вечернем освещении, но в зелени его будто тлеи угли, готовые вспыхнуть красным, как только зажгутся лампы.

— Эксперимент, — заговорил Лессингем, продолжая свои рассуждения.

— Только дохнуть, и не касаться потом ничего, лишь сидеть и смотреть, не станет ли какой-нибудь незначительный, ничтожный пустяк, будучи одарен бытием, в конечном счете чем-то таким, что Она изберет для себя. Бесконечное терпение Богов. Медленное совершенствование. Бесконечное улучшение Образа... Ты так сказала, Мэри. Ты помнишь?

— Почему ты говоришь о «Ней»?

Лессингем улыбнулся:

— А почему ты — о «Нем»?

— Ну а что если мне так нравится?

Они смотрели друг на друга с едва заметным, чуть насмешливым вызовом в наклоне голов, с грацией увенчанного короной рогов оленя.

— Очень хороший ответ, — сказал Лессингем. — Лучшего мне и не придумать. Разве только... — вдруг проговорил он, и голос его замер, когда он склонился ближе, облокотившись правой рукой на стол, а левую положив на спинку ее кресла, но не касаясь ее. Казалось, снаружи донеслась отдаленная музыка, как было однажды на Амбремерине, прозвучавшая облигато к звукам его слов, что было подобно приглушенным раскатам грома. — Разве только это было со мною с самого начала, как у Анхиза<sup>155</sup>, смертного, и не однажды, но много раз... много раз:

*ἀθανάτη παρέλεκτο Θεᾶ βροτός, οὐ σάφα εἰδώς.*

*с вечной богинею... и сам того точно не зная.*

Музыка звучного голоса Лессингема, произносившего эти слова, затихла на трепещущей глади тишины, в глубинах которой стремительными арпеджио приглушенных струн шевелилась темнота. Мэри кивнула дважды, трижды, очень тихо, опустив глаза. Видимые в профиль очертания ее шеи и подбородка были безупречнее цветов обдуваемых ветрами горных снегов.

— Сам того точно не зная, — повторила она, и в уголках ее рта крошечный бес, манящий и неуловимый, казалось, заворочался и потянулся во сне.

Они сидели молча. Освещение странным образом изменило цвет ее волос, превратив их в выбеленное лунным светом бледное золото вместо красного, как ее платье, оттенка цветущего нартеция. И глаза ее, мгновение назад зеленые, теперь казались серыми, словно дальние морские горизонты. Лессингем ощутил, как ее безмятежность охватывает его подобно безмятежности оставленного отливом и изобилующего птицами топкого берега июньским утром, когда солнце находится за спиной: теней нет, небо серое, как грудка голубя, местами голубоватое, по нему плывут легкие, размытые и неясные облачка; ландшафт окрашен в зеленые и тепло-серые тона, будто окутанный су-

155 Анхиз — в др. греч. мифологии возлюбленный Афродиты.

мерками, которые приглушают разливающееся сияние солнца, делаю его столь же мягким, как и они сами; тут и там виднеется ломтик синевы, где вода в ручейках меж илистых берегов отражает небо, а также лодки, желтые как зерно, белые, шоколадно-коричневые, четко очерченные (вместе с мачтами) на фоне неба в этих отражениях, а на фоне земли, в реальном мире — не так четко; и воздух полнится, будто тончайшими мыслями, голосами жаворонков, бело-черными просверками скользящих мимо ласточек и белыми бабочками; стада лошадей, овец и коров, все уменьшающихся с расстоянием, заполняют буйные пастбища справа, где лютики превращают зелень в золото; и все это преисполнено задумчивого очарования, на которое боязно даже дохнуть из страха пробудить нечто спящее, нечто, чему надлежит спать и дальше: столь благостно оно и мило, и потому заслуживает таким и оставаться.

Кампаспа сказала, сидя за клавирами:

— Хотите еще?

Бестелесный звон заигравших прелюдию лезвий звука вкрался в тишину подобно полоске облаков.

— Что мне вам спеть? — спросила она. — Еще одну из песен госпожи Фьоринды?

И голос наяды — легкий, бесстрастный, бестелесный, мелодичный — запел:

*Se j'avoie ameit un jor,  
je diroie a tous:  
bones sont amors<sup>156</sup>.*

Лессингем наклонился над столом, сжав кулаками виски. Вдруг он поднял голову, уставившись в пространство.

— Я забыл, — произнес он. — Что же я забыл?

После минутной паузы он вскочил на ноги.

— Пойдемте в сад, — сказал он Антиопе. — Решим все там. Мне пора на юг. Я бы не хотел, чтобы вы возвращались в Риалмар до тех пор, пока эта буря не схлынет. Здесь вы в безопасности, и мой разум будет спокоен.

Антея обменялась взглядами с Кампаспой и рассмеялась таким смехом, как будто рассыпались копы.

Лессингем последовал за королевой к дверям, которые отворил для них тот безымянный ученик. Они вышли, но не в тот придорожный сад Вандермаста, а, как ни странно, в сад, напоминавший теремненский: над плавающими лилейными листьями грациозно застыла статуя, от пруда террасами поднимались гранитные дорожки и ступени, вдоль них дремали цветы, виднелась тропинка, где Дерксис швырял свой камень, и все это окутывала тусклозвезд-

ная весенняя ночь. Дверь закрылась за ними, отгородив их от сияния свечей. Антиопа вложила свою руку в его.

— Почему вы дрожите? — спросил Лессингем. — Не бойтесь, теперь вы свободны от него.

Антиопа сказала:

— Ничто не связывает вас в вашем выборе. Ничто не связывает и меня. Разные дороги мы с вами избрать не можем. Если ваша ведет через опасные места и высокие вершины или проходит у края головокружительной пропасти, то и моя тоже. Если вы выберете безопасный путь, то и я тоже. А потому, если вы сдержите свое слово и отправитесь на юг, то я должна вернуться на королевский трон в Риалмаре.

Они смотрели друг на друга. Лессингем тяжело вздохнул. Он повернулся к статуе Афродиты, холодной, величавой и прекрасной, облеченной одиночеством и звездным светом.

— Пускай Она выберет за нас, — сказал он.

— Да будет так, — промолвила Антиопа. — Нет более мудрого способа выбрать.

— Позвольте взглянуть на ваше лицо, — попросил он.

Она повернулась к нему, озаренная звездами.

После паузы он прошептал:

— Что это была за загадка? Глядя сейчас в ваше лицо, я был своей собственной возлюбленной, любил себя, будучи в тот миг вами, мадонна, выбирал за вас, и за себя, ощущал вашу любовь в себе. Был вашей любовью. Был... — он осекся. — Это и был порог? Там, на Амбремерине, когда в ее волосах сияли светлячки?

— Я не знаю, — сказала Антиопа, уткнувшись лицом в его плечо. — Но то, что видели вы, видела и я. Я тоже сделала выбор, была в то мгновение вами, тем, кто любит меня. Всего миг, и все прошло.

Минуту они оставались неподвижны, будто слившись в единое целое, потом отодвинулись друг от друга и взяли за руки, как двое братьев перед битвой.

— Так вот каков наш выбор, — сказал он. — Лучше будет, мадонна, вам остаться в Риалмаре, вместо того, чтобы ехать на юг со мной. Ибо весь Ререк и вся Мезрия охвачены сейчас войной, и своей поездкой я ставлю на кон все: мы будем либо спасены, либо погибнем. И, хотя я отвечаю за своего кузена, куда сию в седле, если мне предстоит упасть, я не хочу, чтобы мои обязательства перед вами исполнял он, не хочу и давать ему возможности добраться до вас. Я оставляю вам огромное войско во главе с господином королевским судьей, полководцем опытным и надежным. Я беру с собой лишь восемьсот своих конников, и, может быть, еще три сотни сверху. Риалмар же неприступен от природы. Клянусь небесами, они увидят молнию из Фингисволда, и

гром заставит содрогнуться Мезрию и Ререк прежде, чем они вспомнят обо мне.

Он поцеловал ее освещенную звездами руку; Антиопа сказала:

— Мы сделали выбор, друг мой... ἴομεν.

Он поднял голову, все еще сжимая ее руку:

— ὦ πέπρον, εἰ μὲν γάρ...

Казалось, звезды, и окружавшая их безбрежная тьма вспомнили и откликнулись на обращение царя Ликии к своему любимому родичу у стен ветристого Илиона:

*Друг благородный! когда бы теперь, отказавшись от брани,  
Были с тобой навсегда нестареющи мы и бессмертны,  
Я бы и сам не летел впереди перед воинством биться,  
Я и тебя бы не влек на опасности славного боя;  
Но и теперь, как всегда, неисчетные случаи смерти  
Нас окружают, и смертному их ни минут, ни избежать.  
Вместе вперед! иль на славу кому, иль за славою сами!<sup>157</sup>*

Ноздри Лессингема раздувались, как у слышавшего трубы боевого коня. Потом ему внезапно показалось, будто он видит в этом загадочном саду под звездами, как с прекрасным лицом его королевы происходит метаморфоза, подобная затмению или набежавшему на луну облаку, как будто ночь вдруг окутала ее мантией, и она стала неумолима и безжалостна, древняя, словно Астарта<sup>158</sup> или иное, еще более жестокое из низвергнутых божеств минувших эпох: Terror Antiquus, шагающий по мертвым разлагающимся лицам и лишенным плоти скелетам безмянных забытых людей. А потом эта кровавая тень исчезла и ее красота засияла вновь, как серебристая луна.

Ужас этого зрелища омрачил его голос, когда он заговорил:

— Кто вы?

Антиопа вздрогнула.

— Иногда, в таких местах, как это, — промолвила она, — я не знаю.



В домике доктора Вандермаста у дороги наступило утро. Лессингем, обувшись и прицепив шпоры, готовый к отъезду, стоял у ее ложа, будто раздумывая, разбудить ли ее или позволить этой сцене быть последней перед тем, как они вернуться к веселью у пиршественного стола. Антиопа спала на боку, спиной к тому месту, где он стоял, и ему были частично видны очертания ее щеки и лба, согретые розоватым румянцем сна. Лессингем проговорил про себя:

157 Гомер, «Илиада», песнь XII, 322-328 (пер. Н. Гнедича). Реплики на греческом языке выше содержат цитаты из этого же отрывка.

158 Астарта — греческое звучание имени Иштар, в аккадской мифологии богини плодородия и плотской любви, войны и распри.

— Забвение. Какая разница? Пожалуй, старик сказал правильно: это Ее драгоценный дар, способность забывать. Чтобы Она могла следующим утром дарить снова. Каждый мимолетный взгляд, каждая едва слышимая нотка ее голоса, то, как мило она натягивает одеяло, как и всегда, на эти принадлежащие мне уста, девственно-чистые обводы своих век и длинные опущенные ресницы, смеженные сном, бледное рассветное золото этих принадлежащих мне волос, завязанных этими лентами — я все забыл, и все это также будет забыто. Что ж, Она подарит все это вновь. Что ж, все так, как Она сказала: «Все это обrazy — Мои, они принадлежат мне, я их храню. Со временем они уйдут, но они Мои навечно».

Он нежно подоткнул одеяло под ее плечи. В ответ на прикосновение она повернулась, лениво пробормотав что-то нечленораздельное, и взглянула на него, едва приподняв веки, будто проснувшись только наполовину.

— Те два стихотворения, — произнесла она, мгновение помолчав. Голос ее был приглушен покровом сна.

— Прочла ли вам малютка-ласточка свое? — спросил Лессингем.

Антиопа промолвила:

— Прочтите мне его еще раз.

Лессингем проговорил:

*Я есть любовь,  
Люблю я его,  
Люблю лишь любовь.  
Любовь — мой наряд,  
Оплот мой и ложе.  
В лучах его греюсь,  
Рукою хранима  
Того, перед кем  
Лепестки своей розы  
Покорно раскрою.  
Любовь такова.*

Антиопа сказала:

— Это мне нравится больше, чем первое. Скажите, что и вам оно тоже нравится больше.

— Мне оно нравится больше всего.

— Почему?

Его усы шевельнулись в мимолетной улыбке. Он помолчал, задумчиво поглаживая свою бороду.

— Нравится, потому что я не такой, — промолвил он. — Если бы я каким-нибудь волшебством превратился в... Нравится, потому что незнакомо. Я не Барганакс.

— Мой брат, — сказала она. — Я никогда не видела его. А вы видели... ту леди?

— В той мере, в какой ее могут видеть все, кроме него, — ответил Лессингем. — Я ее видел.

— Как далеко это было?

Он произнес, будто подыскивая слова:

— Возможно, не дальше чем... но нет, вы никогда не видели его. Что такое братья и сестры? В целом, было так. Сначала был один раз, и я не увидел ничего. Потом еще один, и я увидел вас.

— Скажите еще раз, что стихотворение Кампаспы вам нравится больше.

Лессингем сказал:

— Оно нравится мне больше всего.

— Это хорошо, — казалось, в ее выдохе слились две тени: усмешки и всхлипа. — Я не смогла бы... так, как в другом стихотворении.

— Потому что такая уж вы есть. И мне это нравится, — промолвил он. — Я люблю вас, — добавил он, — вне времени и обстоятельств.

Она протянула руку и, обвив ее вокруг его шеи, притянула его лицо к своему, согретому сном на подушке.



## ХІХ. Молния из Фингисволда

ПЕРВАЯ ВСПЫШКА — ПОКОРЕНИЕ СВОБОДНЫХ ГОРОДОВ —  
 ЛЕССИНГЕМ В КЛЕЩАХ — БИТВА ПРИ ЛЕВЕРИНГЕЕ —  
 ПОХОД ЛОРДА ИЕРОНИМИЯ — БИТВА У ЛОШАДИНОЙ СОПКИ —  
 АДМИРАЛУ ДАРОВАН МИР — БУРЯ В ПРИРЕЧЬЕ —  
 ВТОРАЯ ВСПЫШКА — ЗАТМЕНИЕ И МРАК

**Л**ЕССИНГЕМ длинными переходами двинулся на юг через Волд и на пятый день апреля миновал межевой знак на границе Ререка. С ним была лишь тысяча конных, но не нашлось бы среди них ни одного, кто не был испытан в бою: все они были бойцами стойкими, свирепыми и неистовыми, давно привыкшими во всем слушаться его, не как спаниель слушается хозяина, но как рука подчиняется разуму; большинство из них бились вместе с ним шесть или семь лет назад, когда великий король воевал с Аккамой. Подобного же нрава были и его сотники: Брандремарт, Гайярд, Гортензий, Безард — все, как и верховный полководец, в самом цвету молодости, ценившие человеческую жизнь не в большей степени, чем жизни куропаток и перепелов в охотничий сезон. Амори он оставил в Риалмаре, дабы тот был его глазами, ушами и руками в тех северных краях. Габриель Флор уехал один (по всей вероятности, в Лаймак), заранее, на следующее же утро после того пира. Лессингем же остановился в крепости Метра, чтобы держать военный совет.

Поскольку свободные города в этих отдаленных краях следовало припугнуть, дабы те не слишком-то полагались на северных принцев, Эркеля и Арамонда, которые взяли их под свое крыло, а также желая хотя бы отчасти оградить свой тыл и левый фланг, прежде чем пускаться далеко на юг со столь малочисленным войском, он первым делом предпринял внезапный набег на лежавшую на юге Абарайму. Там Эркель прошлым летом сверг управляющего и прочих его приспешников, что блюли в городе интересы наместника, и усадил на их места своих ставленников. Но жители города, которым не было дела до принца Эркеля, а до наместника и подавно, и которые желали лишь одного: быть оставленными в покое и жить в своих милых домиках среди садов и рыбных прудов вместе со своими женами, детьми, смиренными собаками и прочими домашними любимцами, ручными и содержавшимися *in deliciis*<sup>159</sup>, завидев перед своими воротами эту взявшуюся откуда ни возьмись армию, зная, что укрепления их ненадежны, и услышав заявление Лессингема, что, если их придется брать силой, то все они умрут, а город будет сожжен и разорен без всякой пощады, перепугались и отворили ему ворота. Лессингем, все прошедшие месяцы имевший здесь, как и в других местах, своих осведомителей, руководствуясь как их донесениями, так и собственными суждениями, а также видя и слыша, какие настроения царят среди людей, строго-настрого запретил своим солдатам проявлять какую бы-то ни было жестокость по отно-

159 *In deliciis* (лат.) — здесь: «в довольстве».

шению к ним и приказал, чтобы ни один житель не потерпел ни физического, ни материального ущерба. Лишь несколько башен сровнял он с землей, да схватил нескольких наиболее знатных лиц, людей неутомонных, деятельных и гордых, принявших сторону Эркеля. Этих людей, числом семь, он велел вывести на огромную вымощенную булыжником площадь перед зданием суда, где, закованный в вороненую броню с головы до пят, он при полном вооружении расположился вместе со своими солдатами. Затем, после того, как их прегрешения были обнародованы во всех деталях, этих семерых по его приказу швырнули наземь, обезглавили ударами топоров и повесили на стене этого здания в предостережение тем, кто склонен был к такому прислушаться. Когда с этим было покончено, а олдермен и прочие чиновники поклялись именем лорда Гория Парри в верности королеве, Лессингем избавился от своего устрашающего снаряжения и держался столь весело, что уже через несколько дней все в этом городе были только рады видеть его. Здесь к нему присоединились около сотни конников, собравшихся по собственной воле из Абараймы и окрестных селений.

Однако лишь семь дней оставался Лессингем в Абарайме; затем он внезапно направился на восток, дабы, постучавшись железной рукавицей в двери Арамонда, дать тому понять, что пришел верховный королевский полководец и с ним теперь следует считаться, после дня напряженной скачки перевалил через Мортельфские холмы и спустился к богатому городу Багорт. Это было сердце Арамондовых владений, укромная и удаленная от водных путей долина, куда в течение двадцати лет до того дня не ступала нога неприятеля, и потому тамошние жители без опаски внимали всем слухам о наступившем немирье. Здесь, близ соленых озер Метмарска, принц Арамонд устроил себе уютное жилище. И здесь, не подготовившись к обороне, пребывая в праздности и имея при себе весьма незначительные силы, принц успел лишь сесть в лодку и уплыть по озеру прочь, прежде чем черные всадники Лессингема вошли в город. Лессингем захватил большое количество чеканных монет, драгоценных камней и прочих ценностей, а также забрал все оружие и амуницию, какие только смог найти; город же он пощадил, и, поскольку ему не было оказано никакого сопротивления, никто не лишился там жизни. В Багорте он оставался три ночи, давая своему войску передохнуть, а затем, в среду, восемнадцатого апреля, той же дорогой двинулся обратно в Абарайму.

Субботним вечером он стоял со своей армией перед воротами Вейринга. Здесь уже почти двенадцать месяцев правил Рокез, посаженный на главный пост Эркелем после ожесточенной борьбы и кровопролития. Жена его была мезрийкой, кузиной лорда Мелата. Это была жестокая женщина, в последнее время настропалившая Рокеза, а через него и остальных сторонников принца, так, что те готовы были устроить резню неудобных, вновь залив улицы кровью. Лессингем отправил на переговоры у стен герольда с белым флагом, стро-

жайшим образом предписав им под страхом смерти, конфискации имущества и объявления врагами ее королевского высочества сдать город ему, верховному полководцу, и сделать это в течение одного часа после завтрашнего восхода солнца. Произнеся напыщенную речь, Рокез отказался, и в городе начались беспорядки, бушевавшие всю ночь: сторонники наместника подняли мятеж против Рокеза и незадолго до рассвета, когда исход борьбы еще был неясен, несколько мятежников застали охранников в сторожке врасплох и отворили Лессингему ворота. Но когда Лессингем и его люди явились к ним на помощь, им уже почти никто не противостоял. В этом сражении Рокез пал, а когда его приспешники узнали об этом, то сломя голову бросились в отступление к центральной башне, запершись там и осыпая осаждавших стрелами со стен и из бойниц. Лессингем приказал набрать дров и хвороста, чтобы сжечь их, и, когда огонь занялся и те увидели, что кроме капитуляции им ничего не остается, они вышли из башни и сдались на милость победителя.

В те дни Вейринг считался хорошо укрепленным городом благодаря своим стенам, будучи к тому же изначально удачно расположенным в излучине реки, так что с трех сторон к нему было нелегко подобраться. Но в том, что касалось длины и ширины заключенного меж стенами пространства, а также числа населявших его жителей, он был словно блюдце на столе в сравнении с Теллой или Абараймой. После взятия башни Лессингему оставалось сделать для полного подчинения города себе самую малость. Те, что недавно находились у власти, беспокойств ему не причинили, охотно отправились по домам и сидели там тише воды и ниже травы, не желая привлекать к себе ничего взора и подвергнуться возмездию. Те же, кто поддерживал наместника, видя перед собой урожай, какого они не мечтали и не надеялись пожать, обнаглели и начали наводнять улицы, готовые избивать или убивать любого, кто им не понравится или скажет хоть слово поперек. Даже по отношению к самому верховному полководцу и его воинам вели они себя вызывающе, сквернословя и дерзя, как шелудивые дворняжки, что облаивают крупных псов. Чтобы покончить с этим, Лессингем объявил по всему городу через глашатаев, что любой, кроме его собственных солдат, кого завидят на улицах после третьего часа пополуночи с оружием, будь это даже маленький кинжал, будет предан смерти. К полудню за это нарушение повесили пару десятков человек, до вечера к ним добавились еще двое. На этом все закончилось. Из массовых же беспорядков не случилось ни одного со времени завтрака, когда перед домом Рокеза собралась толпа, намеревавшаяся схватить его жену, искавшую там убежища вместе с несколькими домочадцами, дабы призвать ее к ответу за все то, что, как они думали, она против них затевала. Но Лессингем, развезжавший по городу с конным отрядом, стремясь своими глазами увидеть и затоптать любую разгорающуюся искру волнений, явился туда по соизволению Богов в тот самый момент, когда они высадили дверь и выгаскивали ту наружу. При виде

столь скотского обращения с леди его охватило бешенство берсерка; в дикой ярости обрушился он на них, будто волк или лев, и отплатил им столь дорогой монетой, что семеро вскоре лежали мертвыми или истекали кровью у его ног, в то время как сам он одной рукой поддерживал эту невредимую, но лишившуюся чувств женщину, а в другой сжимал обгаренный меч, несший смерть всякому, кто к нему приближался. На следующее утро Лессингем отправил ее с сопровождающими в Мегру, где та могла оставаться в безопасности, пока не представится возможность поехать на юг, в Мезрию, к своим родичам. На место Рокеза, вейрингского управляющего, он усадил Мерона, и из-за пылавших там раздоров оставил тому пятьдесят конников для охраны и усмирения смутьянов. Тридцать трех из горожан, что были приспешниками Эркеля, Лессингем приговорил к пожизненному изгнанию с полной конфискацией имущества, еще две сотни подверг подобной же каре, позволив, правда, забрать с собой свои вещи. Пятерым по его распоряжению на базарной площади отрубили головы; двое из них были казнены не за измену наместнику, но за всевозможные смуты и зверства, учиненные ими в злобе после прихода Лессингема в Вейринг и под прикрытием оказываемой ему поддержки. В народе поговаривали, что своим поведением в Вейринге Лессингем проявил себя господином справедливым и бесстрашным, мудрым и милосердным, а временами и ужасным. И в Вейринге воцарился мир, какого там не видывали много лет.

Уже почти окончилась четвертая неделя с тех пор, как он пересек Волд, новости обо всех этих событиях распространились по окрестностям, и он поспешил уехать из Вейринга, двинувшись по большой дороге на юг. Второго мая он прибыл в Лайлму, отворившую перед ним свои ворота, и здесь до него дошли известия, что из Эльдира явился сам Эркель и занял проход вдоль берега Стрелового Залива через Болотный Гребень. На следующий день Лессингем выехал на юг, двигаясь осторожно и выслав перед собой разведчиков, дабы прощупать дорогу, и остановился на ночлег неподалеку от Меммеринга, где крутые каменистые холмы, сплошь покрытые густыми непроходимыми лесами, подходят близко к морскому побережью на западе. Там он получил наутро достоверные сведения о том, что принц отступил на юг. Однако пока он выжидал, чтобы убедиться в этом наверняка, из Теллы примчался прослышавший о движении Лессингема на юг Дайман, принеся такие вести: лорд адмирал приплыл морем из Кессарея в Кайму и высадился там неделю назад с огромной армией, насчитывавшей, как говорили одни, три, а другие — четыре тысячи человек. Получив эти известия, Лессингем решил теперь, когда путь через Болотный Гребень был для него открыт, рискнуть и без промедления направиться туда, поскольку, если они окружают его со столь значительными силами, он с тем же успехом мог бы отправляться обратно в Риалмар. Приняв это решение, он свернул лагерь и, незамеченный неприятелем, проехал по до-

роге мимо вершины залива, поставив свои шатры на открытом пространстве среди полей, в подходящем для конницы месте примерно в пяти милях к западу от Эльдира.

Положение его теперь было таково. Эркель возглавлявший не горстку всадников, как донесли сперва, но целое войско числом более двух тысяч, отступил не в свою горную крепость Эльдир, но в Леверингей, в семи или более лигах южнее, где, заняв главную дорогу на юг, поджидал Лессингема, попутно совершая поджоги и опустошая местность, в которой народ все еще поддерживал наместника. С другой, западной, стороны, как докладывала разведка, неспешно двигался по привольным низменностям Фитерийской Поймы адмирал. Между этими армиями, каждая из которых превосходила численностью его собственную, Лессингем рисковал теперь быть зажатым, будто орех в щипцах; если же, избежав встречи с Эркелем, ему удалось бы ускользнуть на юг, то он оказался бы окружен их объединенными силами и войсками канцлера, державшими в осаде Лаймак. Взвесив все, он решил дать бой обоим, и в первую очередь Эркелю. Причин тому было две; во-первых, Эркель находился ближе, а во-вторых, те, кто жил в окрестностях Леверингея и Морнагея, были людьми верными и испытанными; там однажды уже была одержана победа, и было вполне вероятно, что им достанет храбрости встать под знамена королевы. Однако, готовясь сразиться с Эркелем, он решил, что выбор времени, места и способа их сражения должен остаться не за Эркелем, но за ним самим.

Свернув лагерь ранним туманным утром в пятницу, Лессингем проехал около мили по дороге на юг, а затем внезапно свернул на северо-восток, за Великий Эльдир, невысокий черный утес, что возвышается на последнем отроге тянущейся на две или более лиги на юго-запад от самого Эльдира горной цепи, проник в скалистую высокогорную долину Ниварарнадала и попал вместе со своим войском в голую и безлюдную гористую местность, что простирается до самого водораздела Болотного Гребня. Весна пришла поздно, и на северных склонах ущелий еще лежали снежные сугробы, а на перевалах иногда попадался лед. С северо-востока налетел ветер, принесший град и мокрый снег. Дыхание людей и коней дымкой повисало в ледяном воздухе, а бороды и усы Лессингема и его людей заиндевели. До полудня они двигались строго на восток, а затем свернули по дуге на юго-восток, юг, юго-запад, спустившись по Горбатой Круче. На закате дня они въехали в ельник, что опоясывает пастбища Леверингея. Лес и стущающаяся тьма скрыли их присутствие; холодным и скудным был их ужин, в холоде они и улеглись спать.

Дозоры Эркеля не обнаружили врагов по эту сторону Эльдира. Тем не менее, с течением ночи Эркель начал догадываться, что происходит. Около трех часов пополуночи он созвал своих военачальников и, посоветовавшись с ними, распорядился на всякий случай изготовиться к битве на самом рассвете. Лессингем бодрствовал всю ночь, постоянно устраивая стычки с заставами Эр-

келя, более всего боясь, что он уведет свою армию на запад прежде, чем начнется бой, и соединится с Иеронимием, ибо, если сражение с любым из них, Эркелем или Иеронимием, при таком их численном перевесе уже можно было бы назвать безрассудством, то биться с обоими сразу оказалось бы чистым безумием. Но Эркель и его спутники держали дорогу на северо-запад под наблюдением и знали об этих передвижениях в лесах справа, к северо-востоку от них, хотя, по-видимому (поскольку ночью все кошки серы), решили, что это всего лишь местные рекруты, набранные для того, чтобы препятствовать передвижению принца и захватывать всех отставших, если таковые им попадутся. Ни одному человеку и в голову не пришло ожидать с той стороны появления Лессингема, в последний раз виденного у вершины Стрелового Залива, или вообразить, будто его войско могло, будто стая журавлей, с такой скоростью, в такую погоду и столь ранней весенней порой преодолеть такую дикую гористую местность и неожиданно ударить армии принца во фланг.

На рассвете дня Лессингем собрал своих людей у леса и приказал трубить боевой сигнал. Эркель насколько мог поспешно выстроил свои боевые порядки, поставив основное войско в центре, а новобранцев из свободных родов по флангам. Основное войско, включавшее в себя его личную гвардию в составе двухсот отборных воинов, целиком состояло из старых опытных солдат, и даже само по себе превосходило численностью всю армию наместника под командованием Лессингема, что подобно налетевшей с северо-востока грозе неистово обрушилась на них. Под этим натиском лишь главное войско Эркеля и держалось; валившиеся снопам новобранцы вскоре сломали строй. В течение часа битва была выиграна. Лессингем возглавлял погоню вплоть до окрестностей Морнагея, и далее до Шоттенской Роши, реки Висячей и долины Риддеринга. Одни бежали на восток, во взгорья, преследуемые по пятам Брандремартом, другие рассеялись на западе, третьи укрылись в башне Леверингея. Сам принц ускользнул в Эльдир. По прикидкам в этой битве и последовавшем за ней отступлении в его армии погибло семь или восемь сотен человек; даже если бы каждый солдат Лессингема сразил своего противника, едва ли это число оказалось бы большим. Со стороны Лессингема жизни лишились только трое, но одним из них был Гортензий, человек преданный и высоко ценимый королевой.

Двенадцать дней позволил отдыхать своему войску Лессингем после этой битвы. Люди подтягивались к нему из округи, и теперь у него набралось четырнадцать или пятнадцать сотен солдат. Последние имевшиеся у него известия об Адмирале гласили, что тот, имея в сумме чуть менее трех тысяч человек, остановился на ночлег этой ночью, восемнадцатого мая, лишь в десяти милях от них, в Рангбю. На следующее утро Лессингем сказал своим людям:

— Вы пошли за мной на юг с целью свергнуть тех, кто пытался нарушить древние порядки в ререкской земле, и чтобы вернуть этой земле мир

под властью королевы, как это было, когда мы прошлым летом ехали на север, в Риалмар. Тех, кто поддерживал и подчинялся принцу Эркелю, пока тот грабил и обирал королевских подданных здесь, в окрестностях Леверингея и Морнагея, мы разгромили наголову. У многих сотен человек из сражающихся вместе со мной между этими местами и побережьем есть свои владения. Им, тем, кто преданно служил мне в любую передрагу, не хочу я теперь приказывать отправляться на юг, оставив свои дома и семьи адмиралу и его фингисволдским или мезрийским наемникам, которые вам не друзья и не доброжелатели. Не по душе мне и поворачиваться к этим шаромыжникам спиной; оставь их в покое, и они, забрав наше добро, потом дадут нам сзади по голове. Пусть перевес на их стороне, мне все равно; достаточно вспомнить произошедшее в субботу две недели назад. Но сейчас не время мямлить или валять дурака. Нам надо идти вперед, надо биться и биться во всю силу, обрушивая на них удар за ударом. И посему, если кто-то предпочитает повернуть назад и не ходить со мной на битву с адмиралом, пусть он выйдет вперед. Я отпущу его с миром.

Но все войско взревело, крича, что они последуют за ним и загонят адмирала в море.

Лорд Иеронимий полагал, что у него достаточно людей, чтобы сокрушить Лессингема, что Лессингем, тем не менее, рвется в бой и движется на Рангбю, дабы схлестнуться с ним, что терпеливое ожидание и проволочки охладят подобную поспешность и опрометчивость, что народ на западе менее предан дому Парри, нежели люди из внутренних областей, что, будучи завлечен на запад, Лессингем с меньшей вероятностью сумеет набрать более-менее значительные силы, и что тамошняя местность, изобилующая болотами и топями и изрезанная ручьями, менее пригодна для конницы, которая являлась главным козырем Лессингема и слабым местом адмирала; взвесив все это, лорд Иеронимий мудро отказался от боя и отступил на северо-запад, заманивая Лессингема за собой к Телле. Сразу за Армини он повернул налево и провёл ту ночь на Гряде. Лессингем, желая навязать битву прежде, чем адмирал доберется до Каймы, стремительно выдвинулся к береговой дороге у Минирнесса, что лежал в трех или четырех лигах к востоку от Каймского замка между ним и Иеронимием; однако Иеронимий, по-прежнему не подпуская к себе противника, вновь свернул на юго-восток, в Фитерийскую Пойму, в низменные поозерные и поречные края. Лессингем, ведомый по кругу по этим малонаселенным и недружелюбным местам, получал теперь лишь скудные сведения, собранные его собственными людьми. Вечером двадцать второго мая он добрался до хутора у Лошадиной Сопки, что расположен на возвышенности между низинами рек Западной и Фитери. Вечер был непривычно сырой и туманный. Хутор оказался заброшен, и никаких новостей получить не удалось. С наступлением темноты начался проливной дождь, шедший всю ночь. Лессин-

гем полагал, что адмирал направлялся сейчас к Ручьевинам, куда на следующее утро он намеревался за ним последовать. Но, не желая быть застигнутым врасплох в столь непроглядную и занавешенную пеленами воды ночь, он выставил со всех сторон часовых и заставы с приказом нести караул до самого утра, сменяясь каждый час.

Лорд адмирал со своим войском перешел мост и остановился на Восточном Береговище. Но когда наступил вечер и погода ухудшилась, он созвал своих военачальников на совет относительно того, не подходящий ли это момент, чтобы сняться с лагеря и снова двинуться на запад, навстречу Лессингему, неожиданно обрушиться на него под покровом ночи и, пользуясь неблагоприятной промозглой погодой, сокрушить его. Это предложение было всеми признано дельным и тут же приведено в исполнение, однако цели своей они не добились, так как часовые Лессингема вовремя известили того о приближении неприятеля, и тот успел выстроить свою армию.

Пока Лессингем расставлял своих людей к битве, занялся день, серый и сырой. Пехоту, числом между пятью и шестью сотнями человек, он разместил справа, где возвышенность за строениями хутора сходит к югу и востоку на нет. Этими воинами командовал Брандремарт, но Лессингем велел ему поднять королевское знамя Фингисволда, чтобы противник думал, будто там находится сам верховный полководец и его главное войско, и туда и обрушил основную мощь своего натиска. Хуторские строения и пристройки вдоль цепи холмов он лишь слегка укрепил горсткой людей, приказав тем, однако, создавать много шума и видимости, будто там их куда больше, дабы адмирал решил, что там находится сильный отряд, и счел войско Лессингема более многочисленным, чем оно было на самом деле. Основную часть конницы Лессингем нарочно оставил вне поля зрения, за гребнем небольшого холмика к северу и слева от хутора. Местность там имеет небольшой уклон к Фитерийской Пойме, переходя в топкую болотистую низину с тянущимся за нею неглубоким оврагом на расстоянии примерно полумили от хутора. За постройками на востоке простирается заросшая вереском и восковницей бугристая пустошь с карликовыми березками, разбросанными здесь и там среди кустов черники и пучков жесткой травы.

Лорд адмирал выстроил свои боевые порядки к востоку от оврага и перешел в наступление; по центру шла основная масса пехотинцев, числом чуть менее трех тысяч, а с флангов — по двести пятьдесят конных. Однако Брандремарт, видя, что находившийся перед ним неприятель (и в первую очередь конница) вязнет в мягкой почве, преодолевая овраг, забыл в горячке об отданных ему Лессингемом распоряжениях, забыл о преимуществе, даваемом ему его позицией на холме, и о том, что уступает противнику в численности в пропорции семь к одному, вдруг, не дождавшись, пока те атакуют его вверх по склону, ринулся на них вместе со своими пятьюстами воинами с пашками на-

голо. Гайярд и Безард стояли рядом с Лессингемом у северной стены самого северного из коровников, откуда могли наблюдать весь ход битвы: неистовый натиск Брандремарта, кровопролитное столкновение в сырой и топкой низине, затем его отступление на юг и запад, на более возвышенную местность, под давлением превосходящих сил противника, и грандиозное побоище, произошедшее вслед за этим. Оба в один голос убеждали Лессингема пожалеть Брандремарта и его людей, приказав коннице идти в наступление им на подмогу.

Лессингем стоял, выпрямившись и застыв, будто стрела, воткнувшаяся в землю после дальнего выстрела. Его ноздри трепетали, его глаза взирали на сечу, словно мерцающие на ветру звезды.

— Еще не сейчас; не смеет двигаться, — ответил он.

Те, узнав это его выражение лица, с минуту не решались заговорить с ним снова.

— Господин мой, — сказал, наконец, Гайярд, — это невозможно более выносить. Давайте поможем им. Смотрите, их отбросили к свинарникам и санным сараям. Неужто ваши люди так и будут умирать, будто овцы? А мой брат Брандремарт? Да половину из них уже зарубили! О, это невыносимо!

Лессингем, не отводя глаз, сжал своей рукой могучее запястье Гайярда, будто стальными тисками.

— Вы, что, хотите проиграть эту битву? — промолвил он. — Вы с Брандремартом?

Некоторое время он в молчании смотрел на поле боя, затем сказал:

— Он хотя бы занимается работой, подобающей мужу... Ха! Смотрите, головы летят под его ударами, будто кочаны капусты! Но он кинулся вперед раньше времени, вот пусть теперь и пожинает то, что посеял. Вам же с Безардом, — после паузы процедил он сквозь зубы, — лучше утихомириться. Покажите мне своим спокойствием, что вы мужчины и способны управлять... Ха! Неплохо, клянусь небесами!.. Способны управлять армией. Выждите время. Потом бейте. А вот медлить и пасовать, когда исход сражения балансирует на лезвии бритвы, ни к чему...

Его голос вдруг замер и наступило зачарованное затишье, затишье, что в суете и суматохе происходившего проявлялось лишь во внезапно застывшем взоре Лессингема, устремленном на эту неравную битву, в том внутреннем напряжении его разума, которое сковывает мышцы огромного зверя, приготовившегося к прыжку.

— Сейчас! — произнес он, отпуская запястье Гайярда.

Слово прозвучало сигналом трубы, а лицо его, вдруг повернувшееся к ним, походило на грозую тучу на заре.

Лорд адмирал Иеронимий, уже уверенный в полной победе, наблюдал за битвой с холмика на другой, восточной, стороне поля, глядя (не без некоторого дискомфорта, как будто вся его плоть восставала против одного этого

вида), как королевское знамя Фингисволда, качаясь, колеблясь и резко наклоняясь, рывками движется назад, к хуторским постройкам. Из этого созерцания его вывели внезапно раздавшиеся звуки труб, крики и грохот копыт конницы Лессингема, что, обогнув плечо невысокого холма с запада, обрушилась на его правый фланг подобно камнепаду. Двести пятьдесят конников адмирала были сметены этим натиском, словно стадо коз, и фланг его основного пехотного войска оказался обнажен. Те, не успев развернуться навстречу столь сплоченному отряду всадников в момент, когда они уже полагали дело сделанным и думали, будто им остается только добивать остатки армии Лессингема среди свинарников, некоторое время не могли в этой сумятице ни передохнуть, ни перестроиться. Получивший передышку Брандремарт собрал своих усталых и окровавленных солдат там, где над строениями реяло королевское знамя, и, несмотря на неравенство сил, ударил снова. Это было последним ударом топора по дереву, которое доселе скрипело и качалось, а теперь рухнуло. Огромная армия адмирала обратилась в бегство, продолжавшееся на много миль по ту сторону Фитерийской Поймы. Погибло около шестисот человек. Перопевт, бившийся в центре против Брандремарта, был сражен, также как и все, кто с ним был. Сам Лессингем был ранен во время атаки на фланг адмирала во главе своего отряда; что же касается потерь в его армии, то, если не считать войска Брандремарта, их было немного. Из тех пятисот солдат, что вместе с Брандремартом приняли на себя первый натиск, пало более сотни, и едва ли нашелся бы хоть один из оставшихся четырехсот, кто не получил бы какого-либо ранения.

Лорд адмирал, видя, что близится поражение, и считая неприемлемым убежать, когда битва проиграна, спокойно ждал на месте с обнаженным мечом в руке, окруженный теми немногими, кто был готов умереть прежде, чем умрет он. Когда началось это переходящее в бегство отступление, Лессингем остановился лишь затем, чтобы перевязать свои раны, после чего поскакал вместе со своей гвардией через все поле к адмиралу, чтобы предложить тому мир. Поняв это, адмирал направился Лессингему навстречу и в величавом молчании подал тому свой меч рукоятью вперед.

— Что за бешеная собака навьла вам этот дурной совет, господин адмирал, — промолвил Лессингем: — явиться сюда и выступить врагом ее светлости? Или Бог застил ваши глаза, и вы не узнали знамя ее сиятельнейшего высочества, королевы Фингисволда, вашей владычицы и повелительницы? И когда я по ее приказу ехал на юг, направляясь из Риалмара в Лаймак, то не ожидал обнаружить вашу светлость здесь преграждающим мне путь со своей армией, ибо воистину не знал я, что вы нарушите перемирие и отступитесь от подписанных вами слов.

Адмирал покраснел и сказал:

— Нехорошо с вашей стороны, господин Лессингем, обвинять меня в

подобных грехах. И отвечу я вам вот что: обычно я не смотрю на знамена, которые суть вещи в некотором роде поверхностные и незначительные, но зрю пониже, в корень. И против ее королевского высочества (да делеют и оберегают ее Боги) я никогда меча не обнажал; никогда не нарушал я и слова, тем более, закрепленного в официальном документе. Лишь против узурпатора, кузена вашей светлости, источника бед и приспешника Сатаны, погрязшего во зле, против него, и на основании сотни подтверждений, обнажил я этот меч, а также против вас, ибо вы поддерживаете и помогаете ему. И так я буду поступать и впредь, если представится мне способ и достанет сил. Посему, если за это мне надлежит расплатиться жизнью, пусть так и будет. Ибо я сызмальства рос при доме короля Мезенция и его царственного отца (да покоятся они с миром), и в некотором роде уже слишком стар, чтобы обучаться новым трюкам.

Лессингем некоторое время взирал на него молча, затем промолвил в ответ:

— Разве по Илкисскому конкордату не взял я на себя обязательство отвечать за поступки его высочества? До сих пор лишь я один из всех сторон конкордата не нарушил своего обязательства. Ей богу, у меня, думается, есть повод враждовать с вашим сиятельством, ведь вы пытались ударить меня в живот, когда я направлялся на юг по своим делам, и делам правым.

Иеронимий, не дрогнув и не отводя от него взора, ничего не ответил.

— Заберите свой меч, господин адмирал, — вдруг произнес Лессингем, отдавая его обратно рукоятью вперед. — Худо, если в эти трудные времена верные слуги ее королевского высочества не смогут договориться в ее собственных владениях. Прошу, поезжайте со мной не как узник, но повинуйсь лишь узам слова чести. Безард, прекратите погоню; объявите во всеуслышание, что между мной и господином верховным адмиралом заключен мир. Что до войска, разместитесь на ночь в Приречье. А что до мелочей, — добавил он, обращаясь к Иеронимию, — то мы поговорим о них вечером.

— Ваше сиятельство весьма бледны, — сказал адмирал, когда они пожали друг другу руки.

— Пф, пролил несколько лишних капель крови. Я и забыл. Кто-нибудь, пошлите за лекарем, — Лессингем покачнулся в седле. — Нет, это просто царапина, пройдет.

Он выпрямился, но спешиваться не стал. Двое или трое ускакали прочь, а адмирал налил из притороченной к седельной дуге фляги лекарственного напитка.

— Слишком торопитесь, — сказал он.

Лессингем, залпом осушив кружку, в то время как ему расстегивали латный воротник и останавливали кровь, мог прочесть в собачьих глазах адми-

рала нечто такое, что намного лучше и выражается таким вот взглядом, а отнюдь не возвышенными многословными речами.



В эту ночь среды, двадцать третьего мая, Лессингем расположился на старой обнесенной рвом усадьбе в Приречье, в лиге или более к востоку от Лощадиной Сопки, на заливных лугах Фитери. Все они очень устали после этой битвы. Лессингем с Иеронимием отужинали наедине в верхних покоях в юго-западном углу дома, а после ужина приступили к беседе, насколько возможно было говорить и слышать друг друга под шум ветра, задувшего после того промокшего от дождя дня с удивительным неистовством. Лессингем в камзоле из бычьей кожи и парчовых тапочках растянулся на скамье, пододвинутой к столу справа от огня. Адмирал еще сидел с вином за столом, глядя в огонь и на Лессингема.

— Нет, — промолвил Лессингем между порывами ветра, — сначала ему придется отречься от короны; до тех пор никаких переговоров. Когда это будет сделано, пусть голова моя будет порукой моему обещанию, но я верну ему все, что причитается ему по конкордату, также как и плату за все причиненное ему ущемление в правах: Сайл Анинму и так далее. Но на сегодняшний день он является узурпатором чистой воды, и в этом качестве я не стану иметь с ним дело иначе, нежели посредством оружия.

— Сомневаюсь, что вашей светлости удастся убедить в этом господина канцлера, — проговорил адмирал, — даже если я вас поддержу. Многие станут утверждать, будто вся беда в том, что узурпаторов двое, и, предпочтя Барганакса, мы лишь выберем меньшее из зол.

— Те, кто так скажет, — ответил Лессингем, — и на солнце искали бы пятна. Между ним и наместником нет ничего общего, а даже если и есть, то скоро я это исправлю, вот увидите.

— Жаль, — сказал адмирал, — что ваша светлость не остались здесь, дабы позаботиться об этом, вместо того, чтобы ехать на север, в Риалмар.

Ветер взревел в трубе, дув в комнату огромное облако дыма. Лессингем усмехнулся, рассматривая свой кубок на свет.

— Вы так думаете? — промолвил он и не спеша пригубил, будто смакуя некие тайные воспоминания. Однако вино было красным. И не было пузырьков, что вдохнули бы в него жизнь.

Он поднялся, подошел к находившемуся позади его сидения западному окну и, прикрыв глаза руками от отражений и света лампы, уставился через стекло в темноту. Ветер налетал шквалами, длившимися по две или три минуты за раз, обрушиваясь на дом так, что содрогалась надежная каменная кладка, лязгая оконными переплетами, завывая под свесом крыши и за обшивкой, колыхая шпалеры и заставляя огонь в лампе трепетать и вспыхивать; снаружи

гнулись деревья и трава; ветер скакал, прыгал и бушевал на склоне холма; затем внезапно воцарились тишина и спокойствие.

За всем этим шумом Лессингем не слышал, как дверь отворилась за его спиной. Отвернувшись от окна, он увидел стоявшего на пороге гвардейца, который, отдав салют, доложил:

— Господин, ваших распоряжений ожидает некто, именующий себя лордом Ромиром из Фингисволда. Он только что приехал с севера и просит вас принять его. И он велел мне сказать, что вести худые, как будто бы он охотнее уступил другому право принести их вашей светлости.

Лессингем приказал впустить его:

— Нет, не уходите, господин адмирал. Это наш недавно смещенный констебль; что бы он ни сказал, он может с тем же успехом поведать нам обоим. Я едва ему доверяю, также как и его новостям.

— Не нравятся мне новости, принесенные бурей, — сказал Иеронимий. Лессингем погладил бороду и усмехнулся.

— Знаменья никогда не лгут, господин мой. Если событие соответствует пророчеству, мы восклицаем: «Смотрите, так было предсказано!» Если нет, говорим: «Подобные предзнаменования истолковываются наоборот».

Громыхнули окна, и дверь распахнулась настежь под сильным порывом ветра. Лессингем, стоявший со скрещенными руками и безмятежным лицом в позе ленивого изящества, опираясь плечом на одну из обрамляющих камин колонн, спокойно ждал, не шевельнувшись и тогда, когда показался Ромир, если не считать учтивого слова приветствия и кивка головы.

Ромир вошел, и дверь за ним закрылась. Минуту они в молчании взирали друг на друга: Иеронимий, Лессингем и он.

Ромир был весь заляпан грязью от шпор до груди. Он выглядел так, будто много ночей не смыкал глаз. На его щеках была десятидневная щетина, лицо его казалось пожелтевшим и сморщенным, словно лицо трупа, выкопанного из свежей могилы, а в глазах его, как у преследуемой лисицы, затаился ужас. Лессингем взял его за руку, усадил, наполнил до краев вином огромный бокал и заставил опорожнить его:

— Откуда вы явились?

Тот отвечал:

— Из Риалмара.

— Но почему? Ее высочество послала вас?

Тот покачал головой. Его глаза, устремленные на Лессингема, обведенные кругами, будто совиные, походили на глаза мертвой рыбы, выпученные и налитые кровью.

— В чем же дело?

Снаружи ветер продолжал жалобно завывать над водами Фитери, словно раненный зверь.

— Говорите же, вы, — приказал Лессингем.

Ромир сказал:

— Дерксис занял Риалмар.

С каким-то стоном он повалился на стол, спрятав лицо в ладонях.

Тишина сгущалась, будто кровь. В ней раздался голос Лессингема:

— Что с королевой?

Тот ответил, по-прежнему уткнувшись лицом в стол:

— Она мертва.

Иеронимий, прослушавший эти слова, увидел, как Лессингем пошатнулся, привалившись к камину, и ужасно побледнел.

— Ваша рана, ваше сиятельство, — воскликнул он, вскакивая.

Удары ветра обрушивались на дом. Лессингем, весь подобрившись, подобно свернувшейся змее, выхватил кинжал и подскочил к Ромиру, крича страшным голосом:

— Ложь! Так умри же за это!

Адмирал с проворством, сделавшим бы честь и человеку вполонину младше него, бросился на занесенную с кинжалом руку Лессингема, отведя удар, который, тем не менее, оцарапал плечо Ромира, дойдя до самой подвздошной кости. Лессингем отшвырнул его и, уронив кинжал, осел на скамью. Ромир со вскриком соскользнул с кресла на пол. Адмирал подошел к нему, поднял, осмотрел рану. Лессингем ухватился за привязанную к колокольчику веревку и дернул; когда вбежали солдаты, он приказал им позаботиться о Ромире, вынести его и позвать хирурга, а затем вновь рухнул на диван и остался сидеть там, прямой как стрела, уставившись перед собой, как человек с ужасом всматривается во тьму.

Вновь налетел ветер, попеременно то свирепевший, то замиравший; сначала лишь легкий шелест доносился с юго-запада, да отдаленный свист, затем он повернул вспять, как будто рывками мчался к дому тролль или иное злобное существо, все приближаясь и приближаясь, пока, взыв, захлопав исполинскими крыльями и хлестнув дождем, не обрушился на дом снова, будто землетрясение, бушующая и кружа вокруг дома в диком хороводе, оседлав конек крыши, так что сама она, казалось, вот-вот рухнет; затем, дохнув в последний раз, опять унялся.

Поздней ночью Амори, изможденный долгой скачкой с севера и едва не загнавший свою лошадь, приехал в Приречье.



Всю ночь Лессингем лежал на своем ложе с открытыми глазами.

И тьма внутри него сказала: Я поглотила и пожрала все, что было внутри. Вот лоб, да, но за ним не теплится разум. Глаза, но внутри не осталось ничего, что могло бы воспринять их сигналы. Уши — одна видимость, они слу-

жат глухоте. Это горло теперь лишь отверстие в бездну, которая и есть я, что внутри тебя, ведь я проглотила все.

И тьма слева от него сказала: Руки, способные на столь благородные деяния. Да, хватайся за кровать — нравится? Руки, привечаемые за посланников твоей души при столь высоких дворах; теперь уж этого не будет никогда.

И тьма справа от него ухмыльнулась, словно череп, и сказала: Как же, благородные деяния, такие как, например, нынче вечером! Направить клинок на того, кто прибежал к тебе, как раненый бекас к горностаю, чтобы принести тебе правдивые вести, а ты обагрил свои руки его кровью.

И тьма внутри него заговорила снова: Я расту. Я разорву эту оболочку, которая была тобою. Я, которой нет, распухну, будто посиневший от яда труп, лопну и уничтожу все вокруг.

И тьма, что была над ним и под ним, сказала: Я тяжела, я обрушилась на тебя, я тяну тебя вниз, я останусь в тебе навеки грузом скорби, грузом того, чему никогда не родиться.

И тьма, что стояла у его ног, сказала: А потом пришел Амори (Лессингем устремил взгляд во мрак, туда, где Амори лежал без сна на другом ложе); Амори, который готов был умереть в Риалмаре сотней смертей, чтобы спасти ее, но когда она испила из кубка...

Тьма внутри, и тьма над ним, и тьма под ним сомкнулись вокруг него, утягивая его за собой, вонзив в него свои крючья, причиняя неведомые смертным муки.

Ущербная луна в серый предрассветный час сказала: Я прибываю и убываю: я то серп, то полна, то скрываюсь во тьме. Я изменяюсь и остаюсь собой. Ты сам сказал: Вне времени и обстоятельств. Ты сказал: Без всяких условий.

И столь же тускло, как свет ущербной луны по сравнению с лунной полной, было сияние заливавшей эти спальные покои лунной радуи рядом с воспоминаниями о ночи на Амбремерине, год назад; о словах Вандермаста: «Старый глупец, который, однако, достаточно мудр, чтобы служить вашей милости»; его же: «Иной мудрости нет», а также: «Нет и иной силы». И слова леди, глядевшей на луну: «А для этого необходима мудрость?».



## XX. Гром над Ререком

*ЛАЙ В РАГНАРЁКЕ — ЛЕССИНГЕМ НАСАЖДАЕТ МИР —  
ПРЕДСКАЗАНИЕ БЕРОАЛЬДА — НАМЕСТНИК ПРОДОЛЖАЕТ ВЕРОЛОМСТВОВАТЬ —  
НО КАК БУДТО БЫ ПОДДАЕТСЯ НА УГОВОРЫ — ПРИБЫТИЕ ПАРРИ В АРГЪЯННУ —  
ПРИСЯГА, ПРИНЕСЕННАЯ ИМ БАРГАНАКСУ — ГЕРЦОГ И ЕГО НАМЕСТНИК —  
СТРАННОЕ БРАТСТВО — БАРГАНАКС И ФЬОРИНДА*

**Н**АУТРО после этой ночи Лессингем вместе со своим войском неспешно отправился на запад, на Морнагей, послав перед собой гонцов, чтобы по всему Ререку, через Мезрию и до самой Зайаны прокатилась молва о нагрянувшем несчастье, и о том, что пришло время отложить в сторону все междоусобицы и подумать о настоящем враге. Теперь он узнал от Амори все в подробностях: то, как Дерксис при помощи шпионов, или хорошо подмазанных им предателей, или каким-либо иным способом пробрался вместе с несколькими своими людьми в Риалмар, где благодаря удачному стечению нескольких обстоятельств, которые он сумел использовать к своей выщей выгоде, ему удалось одним махом устроить убийство Боденая и еще дюжины человек. Когда это произошло, королевские силы остались без предводителя и вскоре разделились и рассеялись, предоставив Дерксису возможность действовать на свое усмотрение, что тот и сделал, проявив себя безжалостным зверем.

Уже два дня Лессингем почти ничего не ел. Спал ли он, не знал никто; известно было лишь, что не проходило ночью и часа, когда бы его не видели в том или ином месте лагеря во всеоружии и в костюме для верховой езды. Помимо приказов ни один человек не слышал от него ни слова, и никто не осмеливался заговорить с ним. Казалось, в эти дни он превратился лишь в подобие человека, чье тело расхаживало, будто закованное в свинец; все же остальное в нем умерло, и лишь в его горячем сердце теплилась жизнь. И поползли сплетни о вещах, которые за все эти прошедшие месяцы в Риалмаре не упоминались в разговорах и даже не приходили на ум никому кроме Дерксиса, — столь мудро и осмотрительно вели себя Лессингем с королевой; однако же, теперь в открытую говорилось: Что за горе способно так потрясти человека, потерявшего всего лишь свою королеву? И на это отвечали: Вне сомнений, она была его возлюбленной и не кем иным. Когда это дошло до ушей Амори, тот был чрезвычайно раздражен, и сказал проронившему эти слова:

— Будешь болтать — язык отрежу, — после чего всеми благоразумными способами постарался прекратить эти разговоры.

Но слухи, единожды посеянные, будто ползучий пырей в саду, пустили свои корни глубоко в землю, хотя вреда от них и не было; напротив, они только сплотили людей вокруг него, человека не просто великого, но к тому же и несчастного. Ибо таково было большинство из следовавших за Лессингемом: любовь их росла как водяной кресс, медленно, но хорошо укореняясь, не

столько склонная славить поднимающееся солнце, сколько преклоняться перед ним, угасающим.

На третий день они приехали в Морнагей. Лессингем не пожелал останавливаться там, но продолжил путь на Киллари, мимо Тивотов и Скоррадальской Пустоши, чтобы до ночи оказаться в Бардардале. Амори ехал с ним, и, когда тягловый скот еще пересекал брод, эти двое уехали вперед. На холмистых просторах пустоши Лессингем, натянув вожжи, остановил Мадалену, и, повернувшись в седле, посмотрел назад, на север. Солнце в ясном небе закатилось, пустошь темнела всеми оттенками черновато-зеленого, бледное небо было окрашено в серые, сродни голубизне, тона; поблескивавшие, будто освещенные изнутри, озера стоячей воды казались светлее самого неба. С востока подобно щупальцам простились справа налево над темным вереском маленькие белые завитки тумана.

Лессингем заговорил:

— Ты был со мною той ночью, тринадцать месяцев назад, в Морнагее.

— Да.

— Никогда не упоминай ее снова. Никогда не упоминай мне о том, что из этого вышло.

— Хорошо, господин мой.

— Как ты думаешь, Амори, действительно ли все на свете живет, достигает своего предела, заболевает и гибнет?

— Все на свете?

— Да, все.

— Не все, господин мой.

— Что же это? Что не гибнет?

— Вы приказали мне никогда не упоминать это.

— А я говорю, все на свете, Амори. Не спорь, иначе, клянусь Богом, я могу тебя убить. Я в эти дни превратился в дикого зверя, сперва ожесточившись от пуга, а затем отпущенного на свободу. И не только я один; все стало таким.

— Надеюсь, меня-то вы не убьете, меня, кто всегда любил вас превыше всего на свете.

— И тебя, и всех остальных. А потом помчусь сломя голову к своей гибели.

— О, это безумие.

— Нет, — сказал Лессингем, и его голос был подобен рокоту отдаленного грома, — это как Сумерки Богов: лай адского пса у пещеры Гнипы, карканье воронья во всех трех мирах — не станешь же ты называть их соловьями?

*Geyr nú Garmr mjök fyrir Gniphelli:  
Festr mun slitna, enn Freki renna!*<sup>160</sup>

Да, Амори, «привязь не выдержит — вырвется Жадный».

Амори сидел молча, сжав челюсти. Щупальца тумана подернули своей пеленой всю пустошь, укрыв собою землю. На бугорке, где остановились Лессингем с Амори, ноги их лошадей были погружены в туман, но головы всадников оставались в чистом воздухе, и сияли над ними ясные и яркие звезды.

Лессингем рассмеялся.

— Повтори мне еще раз те слова, которые он произнес. Ибо, клянусь Богом, я грезил и пробуждался, и грезил вновь, и теперь я не знаю, что сон, а что явь.

— Я не смею повторить их.

— Говори, — ужасным голосом приказал Лессингем.

Амори подчинился:

— Он сказал: «Если не быть тебе моей королевой, то не будешь ты больше и шлюхой у наемника».

Целую минуту Лессингем молчал и не шевелился. Профиль его лица, гордого и непроницаемого, казался на фоне майской ночи изваянным из камня или из железа. Со стороны Скоррадала донеслось звяканье уздечек: к холму приближался авангард. Лессингем дернул вожжи и поехал прочь, к Бардардаду. Амори, следовавший за Мадаленой чуть поодаль, услышал, как он произнес сквозь зубы:

— Хватит с меня всего этого.

Затем, внезапно натянув поводья и уставившись сквозь сумрак прямо в глаза Амори, он сказал:

— Но запомни, даже крылатые кони не позволят ему избежать моего мщения. Так что, Амори, за дело.



Пока Лессингем с адмиралом оставались в Бардардале, от них к канцлеру отправились гонцы. В итоге через несколько дней состоялась их встреча, и между ними и Лессингемом было заключено мирное соглашение с условием, что перемирие продлится до четырнадцатого июня, а тем временем все это будет обсуждено с герцогом, недавно приехавшим в Аргьянну после непродолжительного пребывания дома в Зайане. Десятого июня лорды Лессингем, Бероальд и Иеронимий вместе с Амори прибыли в Аргьянну. Герцога здесь сопровождали граф Зафель, лорды Мелат и Барриан, а также дюжина других видных людей. Медор, уполномоченный править от лица герцога, пока оставался в Зайане.

---

160 «Старшая Эдда», «Прорицание вёльвы» (пер. А. Корсуна):  
*Гарм лает громко у Гнипахеллира,  
привязь не выдержит — вырвется Жадный.*

Лессингема приняли великолепно, устроив роскошный пир, а когда они перешли к делу, стремясь достичь соглашения, твердую почву под ногами они обрели очень скоро: во-первых, сокрушить Дерксиса и отомстить за мерзости, учиненные им в Риалмаре, было их общим желанием, а во-вторых, поскольку оба законных потомка короля Мезенция к великому прискорбию в результате двух совершенных за этот короткий срок убийств были мертвы, не осталось ни одного подходящего претендента на трон, кроме герцога, чьи притязания теперь выглядели непоколебимыми. Но как только речь зашла о лорде Гории Парри и о том, на каких условиях герцог и его соратники заключат с ним мир, в течение минуты они потеряли (в смысле взаимного согласия) больше, чем добились за день: с одной стороны Лессингем, а с другой — все остальные, выступавшие против него. Герцог потребовал сдачи без каких-либо условий:

— И как бы там ни сложилось, через месяц или даже меньше он все равно будет вынужден избрать этот путь. Клянусь Богом, ум ваш меня не впечатляет, господин Лессингем, если вы думаете, что я не узнаю лисицу по ее хвосту, или полагаете, будто теперь, когда я загнал его в нору в Лаймаке, я позволю ему уйти по вашей просьбе, чтобы он устроил мне еще одну такую же выходку, как этой зимой.

— Он ни за что не сдастся без условий, — сказал Лессингем. — С чего бы? А вы или я сдались бы?

— Что ж, — сказал герцог, — довольно рассуждений вслепую. Ясно только одно: как только он попадетс я мне, не носить ему головы.

Лессингем ответил:

— Мы все согласны, что пора приступить к искоренению наших врагов; так давайте же начнем с Дерксиса, совершившего такие злодеяния, о которых язык не поворачивается сказать, да еще и угрожающего самому нашему существованию. Ради этого мы должны отложить в сторону даже законные споры между нами, иначе никогда ничего не добьемся. А наместник — прославленный полководец, которого нельзя сбрасывать со счетов, ведя войну столь великую, как эта. К тому же, наш ререкский народ упрям и строптив, и нелегко ему будет смириться с тем, что им управляет чужак.

— Многие сотни уже взбунтовались против него, — заметил Барганакс.

— Это, — отозвался Лессингем, — произошло, когда меня там не было.

— Вам они повинуются скорее, чем ему. Оставьте его.

Лессингем погладил бороду:

— Нет. Если ваша светлость избрет этот путь, я пас.

Два дня они спорили. На второй день канцлер, отведя Лессингема в сторону, сказал:

— Господин Лессингем, его светлость хорошо к вам относится, но в этом вы его не поколеблете. Эти ваши чахлые всходы, как вы их ни согревали и по-

ливали, теперь засохли. Просто подумайте: с какой стати, если не из-за одного только этого человека, было герцогу стремиться захватить власть в Ререке, а косвенно и в Фингисволде? Против своей сестры узурпатором он бы ни за что не выступил, лишь против этого человека, который ее именем прикрывал свои непомерные амбиции. Ваша светлость слышали, как я сам в поддержку этого предприятия ссылался на закон, который запрещает женщинам наследовать престол, чтобы королевство не попало в руки чужого принца или народа. Это сомнительный закон; я придаю ему веса своей ссылкой на него, но не из желания разжечь вражду с ее королевским высочеством (да покоится она с миром), а потому, что я не доверяю этому человеку. Вы с ним не подходите друг другу. Если совесть не позволяет вам выступить против него, исчезните ненадолго, предоставьте его нам. Мы быстро с ним разделаемся.

— События, — ответил Лессингем, — которые главным образом ставятся в вину его высочеству, моему кузену, произошли, когда я был по ту сторону Волда, служа королеве. За весь ущерб, что был тогда причинен, я от его лица предложил возмещение.

— Я вижу, ваша светлость не желает прислушиваться к голосу разума, — сказал Бероальд. — Что ж, возможно, вам придется дорого заплатить за свою привязанность.

— Это как будет угодно Богам, — ответил тот. — Но помните, я пользуюсь здесь, в Аргьянне, неприкосновенностью; имею я право и без помех вернуться к войску, которое возглавляю, а с ним, хоть оно и невелико числом, я уже кое-чего добился. Помните и то, что господин адмирал обязан под честное слово возвратиться со мной, если мир не будет заключен. И если его светлость не желает мира (а мир, который я предлагаю вам, будет и тяжел для его противника, и благоприятен для его светлости), но хочет, как недавно сказал, убить наместника, то вот, что я вам обещаю: расплата за это будет такой, что о ней будут говорить еще сотню лет.

Бероальд сказал:

— Не будем обмениваться громогласными утверждениями.

— Лессингем, — произнес герцог, подходя к ним, — не годится человеку с таким благородным сердцем как ваше, поддерживать и защищать подобного ему. Неужто наша дружба разлетится вдребезги из-за такого негодяя?

— Если дружбе нашей, господин герцог (да хранят нас от этого Боги), предстоит разлететься вдребезги, то произойдет это потому, что, желая покончить с его доблестной и героической обороной, столь долгое время сдерживавшей вас и ваши армии, вы хладнокровно прибегнете к той самой жестокости, которую я так часто обуздывал в себе: к жестокости палача. Но если моя дружба что-то для вас значит, докажите это, ибо я уже сказал вашей светлости: лишь предоставьте его мне, и, отвечая своей честью и своей жизнью, он расплатится с вами за все и более не будет вам досаждать.

— Но что за безумный замысел..? — начал Барганак и осекся, глядя Лессингему в глаза. В них сквозило шутливо-насмешливое выражение, знакомое ему, но не по этим глазам: не по серым с крапинками глазам Лессингема, но по глазам зеленым, сверкавшим из тревожной, неясной и исполненной опасностей мглы, и все это, причастившись очарования этих глаз, вспыхнуло ярче всех огней, желаннее всех желаний.

— Каждому свое, — сказал Лессингем. — Я привел вам достаточно разумных доводов. Если вам нужны еще — допустим, он норвистая лошадка, допустим, я нахожу удовольствие в подобной езде.

— Допустим, вы сломаете себе шею, господин Лессингем, — сказал канцлер.

Но Барганак и Лессингем, как прежде за столом совещаний в Илкисе, взирали друг на друга, как будто бы, несмотря на собравшихся вокруг людей, стояли одни в присутствии кого-то третьего; третьего, которого не видел никто кроме них, которого едва ли можно было бы и называть третьим, ибо тот странным образом воплотился для герцога в обличье Лессингема, а для Лессингема — в герцоге.



Двумя днями позже, незадолго до полудня, Лессингем отправился в Лаймак. Погода была пасмурная, туманная, предвещавшая грозу. Армии канцлера все еще держали осаду перед замком, ибо союзники не хотели, чтобы наместник воспользовался этим перемирием для добычи провизии, позволив ему сопротивляться и дальше. Лессингема и его спутников пропустили без задержек, так как у него были при себе верительные грамоты, скрепленные печатью Зайаны. Вся долина на милю вокруг замка была опустошена и выжжена огнем. Наместник поприветствовал Лессингема, как приветствуют давно пропавшего без вести сына. Он отвел его в свой кабинет в башне, и туда был подан обед, состоявший, правда, из скудного походного рациона: пирогов с беконом, черного ржаного хлеба, сыра и копченой рыбы, а также бочонка мускатного, чтобы запить все это и чуть развеселиться.

— Ты явился с заключенным соглашением в сумке? — спросил наместник, когда прислуга расставила все блюда и по его приказу оставила их трапезничать наедине.

Лессингем улыбнулся:

— Больше никаких соглашений от моего лица, кузен. Кое-что у меня есть, но если оно придется тебе по душе, подпишешь ты это сам, чтобы не было потом поводов для придирок.

— Потерпит, пока мы не пообедаем.

— Да. До тех пор потерпит, но не дольше.

Наместник быстро посмотрел на него. Лицо Лессингема было спокойно и непроницаемо, взгляд отведен в сторону.

— Не слишком-то ты торопился, — сказал тогда наместник, набивая рот. — Провианта осталось на семь дней. Из голодных людей получаются лучшие бойцы, но это не то испытание, которому их можно подвергать слишком долго; хотя это и хорошо, если они озвереют, но плохо то, что, протяни мы лишний день или два, их животные реакции замедлятся и ослабнут. Потому на девятый день от сегодняшнего наметил я грандиозное веселье с теплым мясом и кровяной колбасой там, внизу, на поле, да и воронью найдется, чем поживиться.

— Не хорохорься тут передо мной, как будто бы я женщина, — промолвил Лессингем. — У тебя неостанет сил противостоять их войскам на открытой местности даже час.

— Ну что ж, тогда все и закончится, — он наблюдал за Лессингемом из-под полуопущенных век. — Лучше так, чем проглотить еще одно соглашение наподобие того, которое ты в прошлый раз записал мне в глотку, кузен.

— Ваше высочество — прославленный воин, — сказал Лессингем, — но как политик ты не столь хорош. Как можешь ты ожидать столь выгодного соглашения теперь? Оно было справедливым и равноправным, но ты нарушил каждый пункт, и о каждом своем нарушении растрюбил на весь мир. Будь благодарен, что я сохранил тебе твою жизнь и несколько тусклых лучиков твоей воображаемой чести.

— Да уж!

Долгое время они ели и пили в тишине, не спуская глаз друг с друга. Шея наместника раздулась, как у африканской гадюки. Наконец он сказал:

— Ты заставил себя ждать; медлил на пороге целых две недели. Якшался с этими дьяволами (сколько хлопот и трудов они мне доставили!) Мог бы сперва поговорить со мной, разве нет?

Лессингем ничего не сказал, только изящным движением поднял кубок и осушил его, все это время глядя на своего кузена спокойным и задумчивым взглядом. Наместник выковырял из зубов кусочек бекона и наклонился в сторону, чтобы дать его Пайвакет. Игра света обнаружила, словно кисть какого-нибудь великого художника, то своеобразие его необычайного лица, столь редко проявлявшееся так же живо, как сейчас: тяжелые веки, выдающийся нос с широкими крыльями, узкие как у змеи губы, аккуратные уши, щеки, поросшие, словно у бандита, рыжеватой щетиной, гладкий и ровный лоб, маленькие бегающие глазки; союз звериной жестокости со своеобразным благородством, в котором ни одно из этих качеств не уступало до конца другому, но существовало нераздельно, так что разрыв между этими двумя началами в чем-то повредил бы обоим, как хорошему, так и плохому. А с Лессингема, взиравшего на эту столь хорошо знакомую ему картину, словно спала мантия, явив все великолепие и грацию пантеры в его теле, мышцах, осанке и наклоне шеи и головы. И греческие черты лица Лессингема, и наслаждавшиеся зрели-

щем своего кузена глаза, казалось, полнились не величием стремительного зверя или орла; сила и властность скорее облеклись воздушным изяществом колибри, паря на невидимых крыльях, как эта птица, что, невесомая, трепещет в воздухе возле цветка, не зная, под какой из медоносных лепестков устремить свой длинный и тонкий клюв.

— Ты всегда проявлял себя наилучшим образом, — сказал он, помолчав, — будучи припертым к стенке. Беда в том, что, оставь тебя в покое, и ты начинаешь думать. А идет тебе во вред.

— Не знаю, кузен, что по-твоему идет во благо. Ремень мой со святок стал на фут короче.

— Что за блажь вступила тебе в голову, — промолвил Лессингем, — когда ты, стоило мне отвернуться, принялся обращаться с этим герцогом, будто с трусоватым увальнем? Разве я не говорил тебе, какой он есть на самом деле? Разве ты не мог вести себя с ним соответственно?

— Что есть, то есть, — сказал наместник, отпивая и сплевывая. — Что было, то было. Нас с тобой касается то, что будет. Этот новый поворот событий в Риалмаре, — быстро как гадюка сверкнул он на Лессингема взглядом и тут же отвел глаза, — перевернул все вверх ногами, а? Как сам думаешь? Слушай, — произнес он после паузы и наклонился вперед, упершись локтями в стол, — я скажу тебе, что надумал я; может, это хорошо придумано, а может, ерунда, но это часто приходит мне на ум с тех самых пор, как после Кутармиша все здесь запылало. Этот Дерксис. Можно было бы его использовать, а? Простой брак, если подойти с умом, — он замолчал, изучая сквозь рыжие ресницы лицо Лессингема, сделавшееся непроницаемым и застывшее, будто мраморное изваяние Бога. — А потом, использовав Аккаму, чтобы усмирить Зайану... что ж, способы и методы найдутся.

Лессингем вертел в руках свой винный кубок.

— Способы и методы! — он одним глотком выпил вино, вскочил и подошел к окну, взирая на него оттуда в крайнем раздражении. — Прошу, говори со мной о делах военных, ибо в них я могу только восхищаться, даже преклоняться перед тобой. Но над этими хитроумными уловками можно только посмеяться.

— Да нет же, все сходится. Мое попечительство потеряно. Ну так нужно переместить вес на более удобную ногу.

Он помолчал, откинувшись в кресле. Их глаза встретились.

— Не знаю, что может быть в этой бумаге, которая лежит у тебя в кошельке, кузен; но лучше тебе было сперва поговорить со мной, прежде чем с зайанцами. Ты ведь с этой стороны на дело и не смотрел, а? Но теперь-то ты видишь: мы можем использовать Дерксиса как орудие? Да и еще совсем не поздно, если только подойти с умом.

— Кто ты есть, — промолвил Лессингем, — как не круглый дурак? Разве я давным-давно не говорил тебе, что нет пути короче прямой? Пути Мезенция, а не этих гадючьих поползновений? Сплотиться воедино под началом Барганакса и раздавить эту аккамскую гадину. Благие Боги небесные, кузен, разве они не твои родичи (пускай и отдаленные, признаю)? Что до использования Дерксиса, то я скорее использую сгнивший череп какой-нибудь ядовитой змеи вместо винного кубка.

— Ну-ну, — сказал наместник, и по его устремленному на Лессингема взгляду было видно, что он взвешивает все «за» и «против». — Вот как ты заговорил.

Лессингем достал из своего камзола два пергамента и швырнул их среди блюд на стол перед наместником.

— Принимать или не принимать — выбирать тебе, кузен; но если да, то сегодня последний день: подписывай или прощай. Можешь благодарить милостивых Богов и меня, который вытащил тебя из той трясины, куда ты угодил из-за своего проклятого ослиного упрямства и застрял намертво. Возможно, поскольку ты, похоже, и впрямь ополоумел, ты с большей охотой устроишь через неделю это свое пиршество на костях в полях Лаймака, или изберешь иной путь, приняв условия герцога. Три долгих как жизнь дня трудился я ради тебя, и не много благодарности вижу я за то, что убедил его предложить тебе такую выгодную сделку вместо того, чтобы поступить, как хотел он: заполучить тебя живым или мертвым — а это произойдет в течение месяца или меньше, и ни одной силе на земле не дано предотвратить этого, — обезглавить тебя и прибить труп на лаймакских стенах на поживу воронью.

Но наместник, схватив пергамент, уже читал его, водя по строкам своим толстым пальцем. Дойдя до конца, он перечитал еще раз, на этот раз дубликат, а потом, не говоря ни слова, достал из шкафа перо и чернила, подписался и поставил печать. Затем он встал, подошел к стоявшему у окна Лессингему и взял того за обе руки.

— Не беспокойся, кузен, я не забуду, это плод твоего великого ума и отваги, которые, как я хорошо знаю, много раз служили мне добрую службу, и сослужат и впредь.

— Отлично, тогда мы друзья, — сказал Лессингем. — Ты воспринял все благоразумно, как и подобает мудрому монарху. И на шестой день от сегодняшнего, как там написано, ваше высочество отправится к герцогу в Аргьянну, чтобы исполнить эту церемонию? И принесет ему полноценную присягу?

— Да, пускай подавится.

— Неплохо, кузен, — он взял одну из копий конкордата, просмотрев подписи и печати: герцога, Бероальда, Иеронимия, а теперь и наместника. — Осада будет снята сегодня же. Я уеду с этой бумагой, а в среду мы встретимся в Аргьянне. Но помни, кузен, — сказал он на прощание, — я ожидаю от

тебя действий в соответствии с этим соглашением; никаких больше фальшивых пунктов, прикрывающих истинную цель.

— Иди, ты прочел мне отличную лекцию, — ответил тот. — Не думай, будто я запнусь о соломинку, перепрыгнув через чурбан. Доброго пути.



На двадцатый день июня было намечено грандиозное торжество и пир в честь заключения мира, в соответствии с которым Барганакс был объявлен королем Ререка и Мезрии, а лорды этих стран должны были по его распоряжению вскоре отправиться на север через Волд с огромными армиями, отвоевать Риалмар и, перенеся войну в Аккаму, разорить и уничтожить все ее города вместе с жителями, подчинив их своей власти, но прежде всего — захватить короля Дерксиса, которого предполагалось покарать и умертвить отнюдь не так, как подобает поступать с благородными людьми.

Рано утром прибывшая с Рогового Озера, из Ристбю и окрестностей армия канцлера, а также двухтысячное войско герцога, которое тот разместил близ Аргьянны, трижды промаршировали со знаменами под звуки военных песен и музыку труб и барабанов вокруг утеса с наружной стороны рва. Герцог в окружении пятидесяти краснобородых гвардейцев с огромными двуручными мечами занял почетное место перед разводным мостом. Он ехал на горячем белом скакуне с развевающимися гривой и хвостом, с черной сбруей и в попоне и чепраке из черного шелка. Подобного же траурного оттенка были и мантия герцога, и его шапка с черными страусиными перьями, и вся его броня: черны были рукавицы на руках, черен был воротник вокруг шеи, которому полагалось быть белым, — все выражало собой траур и скорбь. У лордов Бероальда и Иеронимия были траурные плюмажи на шляпах и черные траурные плащи; подобным же образом были одеты и все остальные, люди высших и низших сословий, мужчины и женщины, солдаты и горожане; но один только герцог в знак своего королевского сана и близкого родства был облачен во все черное.

И вот, точно в назначенный час, на вымощенной гранитом дамбе, что, опираясь на многие тысячи мощных дубовых свай, тянется на десять миль через зыбкие топи, посреди которых расположена Аргьянна, показались наместник и его спутники. Двадцать сидевших верхом трубачей возглавляли процессию; ослепительно блистали их шлемы и трубы, целиком сделанные из серебра; рубахи и рейтузы их были окрашены шафраном; у них были черные траурные чепраки и черные плащи; и через каждые двадцать шагов они играли ухающий сигнал дома Парри. Позади, окруженное четырьмя десятками черных всадников Лессингема, реяло королевское знамя Фингисволда, победоносно пронесенное им с севера через множество смертельных опасностей и кровавых битв при Лошадиной Сопке и Леверингее. Далее следовала лаймакская сова, черная, с красными когтями и клювом, на золотом поле; девиз ее

был Noctu poxiis посео, «Ночью караю негодяев». За нею, в четыре ряда по четверо, шел отряд ререкских ветеранов-копейщиков, в шлемах и кольчугах и с большими прямоугольными щитами. Сам наместник ехал вместе с Лессингем в паре десятков шагов позади этих пехотинцев и в паре десятков шагов впереди остальных из их сопровождения: Амори, Брандремарта, Безарда, Трасилина, Даймана и прочих, конных и пеших, числом пятьсот или более, замыкавших колонну.

Когда они приблизились к Аргьянне, подъехав к воротам и разводному мосту, граф Россильон, несший знамя наместника, выехал вперед с двумя трубами, протрубившими фанфары. И Россильон, сняв шляпу перед герцогом, начал читать зажатую в руках грамоту, выкрикивая слова зычным голосом, чтобы услышали все:

— От лица его светлейшего сиятельства, Гория Парри, приветствую лорда Барганакса, герцога Зайанского, и признаю означенного герцога великим королем Фингисволда и всех принадлежащих ему областей и владений, в частности: всей Мезрии и Марки, а также всей территории страны Ререк и входящих в нее местностей, в том числе, крепостей или цитаделей Лаймак, Кессарей, Мегра, Кайма и Аргьянна, а также Ульбской Марки. И говорит лорд Горий Парри: Настоящим передаю, о король, в руки вашего королевского высочества все владения и полномочия, которыми пользовался как вассал и подданный, либо как королевский наместник, либо как лорд-протектор distinguished королевы Антиопы (да покоится она с миром), надеясь, что ваша светлость найдет, что я управлял и распоряжался ими с преданностью и усердием, радея о народном благе и вящей славе короны трех королевств. Смирненно преклоняю колени и целую руку вашей светлости, предлагая вам свою любовь и верную службу и с благоговением ожидая ваших королевских приказаний.

Между тем наместник, спешившись и стоя примерно в десяти шагах позади Россильона, слушал того и смотрел вокруг, ничем не проявляя своих эмоций, если не считать тяжелого дыхания и побаргровевшей шеи. Он был весь закован в латы: в кольчугу из полированной стали, окаймленную вокруг горла, запястий и подола золотыми звеньями, в набедренники, наголенники и башмаки с золотыми шпорами. При нем не было никакого оружия, лишь в правой руке держал он жезл наместника. Два мальчика, одетых в коричневатопурпурные ливреи его личной гвардии, поддерживали полы его огромной черной мантии.

— Только посмотрите на него, — прошептал Зафель на ухо канцлеру. — Сможете ли вы сочинить такое мирное соглашение, которое этот дьявол не нарушил бы?

Бероальд пожал плечами.

— Ну, теперь-то, когда он засунул голову льву в пасть, — сказал Мелат, когда Россильон закончил, — неужели никто не сподобится натравить короля на него? Оттяпать ее и все дела.

— Лишь вон тот человек, Лессингем, стоит на пути, — сказал Барриан. — И это непостижимо человеческому разуму.

— То, что он стоит на пути? Или то, что его светлость учитывает его мнение?

— И то и другое, — произнес канцлер с ядовитой улыбкой.

Лессингем проговорил наместнику на ухо:

— Вашему высочеству лучше бы снять головной убор; если мне рассказывали верно, он сделал для тебя то же самое в Салимате прошлой осенью. К тому же, у тебя на голове диадема, которую ты можешь надеть снова только по его дозволению.

— Пускай останется. Уж больно солнце палит. Конкордат или не нет, а мозги я поджаривать не собираюсь.

Все обратили внимание, что, принося присягу, Парри так и не снял корону вице-короля, усыпанную драгоценными камнями и отборным жемчугом. Некоторые зароптали; герцог, от чьих глаз не ускользала ни одна мелочь, не мог не заметить этого тоже, но виду не подал. После поцелуя королевской руки трубы с обеих сторон заиграли фанфары. При этом наместник, сняв с головы венец, преподнес его герцогу, который тут же воздел его ввысь всем на обозрение, а затем вновь водрузил его на голову наместника, промолвив, чтобы всем было слышно:

— Да будут мне свидетелями все, кого это касается, а также благие Боги в необъятных небесах, что по принесении мне присяги как властителю всех этих королевств и в соответствии с параграфами недавно заключенного и скрепленного меж нами мира, я настоящим передаю тебе, Горий Парри, цитадели и владения Лаймак, Кайма и Кессарей, а также все земли и титул правителя старого Ререка, но не Мегру и земли к северу от Болотного Гребня, а также не Аргьянну и Ульбскую Марку, дабы ты распоряжался ими как наместник или вице-регент, не будучи ответственным ни перед одним человеком, помимо меня, но передо мной отвечая головою. В подтверждение чего прими этот венец и титул наместника Ререка.

После этого, под оглушительные звуки труб и барабанов, под крики всех собравшихся там солдат и простого народа, торжества подошли к концу. Но сначала по распоряжению герцога всем было приказано затихнуть, а герцог велел лорду Бероальду объявить от его лица громким голосом, чтобы слышали все:

— Так говорит самый прославленный и могущественный монарх и повелитель, великий герцог Зайанский, наш властитель и король: ему угодно не снимать этих траурных цветов, пока он не изгонит из страны инородного узур-

патора и с Божьей помощью не покарает его смертью, и потому считает он неприемлемым и неподобающим его монаршей гордости принять титул короля, но желает, как и прочие короли Фингисволда, быть коронованным в Риал-маре. Так объявлено по его приказу. Да хранит Бог его светлое и сиятельнейшее высочество Барганакса, герцога Зайанского, верховного правителя трех наших королевств.

Они двинулись процессией вокруг крепости, окруженные своей гвардией. Наместник и Барганакс ехали посередине, несколько порознь, вместе принимая приветствия от людей на стенах и в поле и от всех войск, что выстроились вдоль пути двойной шеренгой, и все могли своими глазами убедиться во вновь заключенном мире и дружбе, и в завершении войны и раздоров, столь долго стоявших между ними.

— Большая гордость с вашей стороны, господин герцог, — не принять титул короля, — произнес наместник.

Барганакс улыбнулся:

— Я полагал это большой скромностью.

— Это было сделано, чтобы пристыдить меня, — сказал наместник.

— Не просто подрезать крылья моему наместничеству — это я снес с честью, — но заставить меня приносить присягу герцогскому венцу.

— Увы, — отозвался герцог, — боюсь, я думал о своих делах и совсем не задумывался о вас, господин мой.

— Меня одурачили, — сказал наместник.

В глазах его, когда герцог на мгновение отвернулся, чтобы ответить на приветствия справа, засветилась лютая, смертельная, беспощадная ненависть.

— Поверьте, это даже не приходило мне в голову, — сказал герцог.

— Но по большому счету вас можно только похвалить за вашу учтивость и любезность, ведь, Бог помнит безо всяких напоминаний, я и сам кланялся столь же низко, и по подобному же случаю, не более гола назад, в Салимате.

— Это несущественно, — сказал наместник. — Я счел нужным заговорить об этом с вашей светлостью затем лишь, чтобы впредь мы мудро избегали всего, что может подорвать мой престиж и авторитет, дабы укрепить узы между нами, когда придет пора работать сообща ради одной цели.

Герцог промолвил:

— Я не забуду этого. Я устраиваю около полудня пир, который, как я надеюсь, ваше высочество и те из ваших спутников, кого вы пожелаете взять с собой, окажут мне честь с нами разделить. После этого будем держать военный совет. Уже середина лета, и нужно многое сделать, прежде чем мы сможем выступить в поход всеми силами. И глупостью было бы намереваться вести большую армию через Волд после наступления сентября.



Той же ночью, когда не осталось никого из бодрствующих, кроме часовых на стенах и у ворот, Барганакс с Лессингем вышли прогуляться вдвоем и прошли с милю или более по дамбе на юг от Аргьянны, беседуя на ходу. Последние отсветы заката, тусклые, рыжегато-коричневые, медленно ползли вдоль горизонта на север. Над их головами проносились летучие мыши.

— Значит, через месяц, — сказал Лессингем. — Это будет двадцатое. В Морнагее.

— В Морнагее, — повторил герцог. — Сколько нас будет? Семь тысяч?

— Это не считая принцев и свободные города.

— Нас будет чересчур много.

— Этот удар должен попасть в цель, — сказал Лессингем, и они замолчали.

Через полчаса они остановились. Барганакс поднял камень и бросил его в заросли тростника, разбудив тут же защелбавших камышовок. Он промолвил:

— Как вы думаете, что это за отблеск, там, в темноте, среди топей? Заводь? Разбитый кубок, в котором отражается небо? Сломанный меч? Целый сонм заплутавших светлячков? Щель под крышкой кастрюли, чтобы мы поняли, что именно здесь варят болотные огоньки?

— Думаю, подойдя ближе, вы обнаружите, что это всего лишь стоячая вода, — сказал Лессингем. — Отсюда же это может казаться любым из перечисленного.

— Свет, уснувший во тьме, — произнес герцог. — Хотел бы я нарисовать эту ночь, — добавил он после паузы. — Прошлое, которое прошло. Будущее, что притаилось там, во мраке, среди тины и камышей, готовое к прыжку. Настоящее: нас с вами. И, что самое странное, ничего из этого не нарисуете, как и большинство вещей, которые стоит рисовать.

Лессингем молчал.

— Если бы вы заботились лишь о собственной безопасности, то теперь оставили бы меня, — промолвил герцог. — Вот так всецело поддержав меня, заставив его принять это мирное соглашение, вы теперь отправляетесь в его когти голым. Не осталось ни одной причины, наподобие столь помогавшего прежде преследования собственной выгоды, чтобы ему не уничтожить вас.

— Теперь у меня есть определенная свобода, — сказал Лессингем. — Я не оставляю вас, но не оставляю и его.

— Жаль, что вам не достаточно этой вашей дикой кобылы, которая кусает и лягает всех, кроме вас.

— А вашей светлости было бы достаточно, если бы вы были на моем месте?

Храня молчание, они медленно побрели обратно к Аргьянне, чьи приземистые и массивные очертания чернели на фоне северного неба. Они прошли уже полдороги, когда герцог заговорил, шепотом, как будто слова были не словами, а лишь эхо, что вторили мерному звуку его задумчивых шагов по дамбе:

*Возьму синее море, бездонный возьму небосвод,  
Воцарюсь над землею, пройду сквозь преграды и беды я,  
А закатной порой, от мирских утомившись забот,  
За тобою на жаркий костер погребальный последую.*

Лессингем, который слушал, затаив дыхание и боясь пропустить хоть слово, когда стихотворение вдруг закончилось, замер на полушаге. Они остановились, глядя друг на друга в темноте.

— Кто вы? — наконец, выговорил Лессингем, всматриваясь сквозь сумрак в лицо Барганакса, настолько похожее на лицо его сестры, если не считать разницы в поле, что у Лессингема при виде такого сходства все внутри смешалось.

Барганакс не ответил. Тишина наполнилась отдаленными голосами болотных птиц, которые никогда не умолкают: то вскрик красноножки, то зуйка. Лессингем спросил:

— Кто сочинил это стихотворение?

— Это? Я.

— Вы?

В ночной тишине издалека донесся свист кроншнепа.

— Мне оно нравится, — сказал Барганакс, — хотя бы из-за своей бессмысленности.

— Бессмысленности! — воскликнул Лессингем, и они замолчали.

— Зачем, — произнес он тогда, — вы пригласили меня на свой праздник любви на Амбремерине? Почему той ночью она повлекла меня сквозь запертые двери? Что изменилось тогда в вашем тронном зале? Почему она послала меня в Риалмар? Кто она? — спросил он наконец.

Барганакс покачал головой.

— Увы, — сказал он, — я не могу разгадать ни одну из этих загадок.

Он посмотрел в темноте Лессингему в глаза. Дюйм в дюйм совпадал их с Лессингемом рост. Казалось, он не может решиться произнести то, что вертелось у него на языке. Наконец он заговорил:

— Лессингем, как я сказал, я не могу разгадать ни одну из ваших загадок. Но вот, что я вам скажу: ночью на Михайлов день, отдыхая в одном из домов Вандермаста, я взглянул в зеркало и увидел в нем не мое лицо, но ваше.

Лессингем не ответил, не шелохнулся.

— Ну? — спросил Барганакс. — Что же это было? Вам знаком этот дом?

— А я увидел, — сказал Лессингем, взглядом отвечая на взгляд, — ваше лицо, а не мое. В том доме. Ночью на Михайлов день.

Он круто развернулся и снова зашагал к городу. Следовавший за ним по пятам Барганакс слышал скрежет зубов и приглушенный стон; так скрежещет зубами человек, в ране которого поворачивают клинок. Но они все шли, и постепенно, погрузившись в то общение между разумами, в котором речь лишь нарушает течение кристально чистого потока, Лессингем вновь ощутил, как и на Амбремерине, как душа Барганакса тянется к этой воображаемой женщине в нем; и ощущение это странным образом послужило бальзамом для его смертельной раны, а его собственная душа вознеслась ввысь, будто огромный жаркий язык пламени, готовая к последнему деянию.



Той ночью герцог написал письмо и отослал его с надежным человеком на юг ранним утром следующего дня:

*«Прекрасная и Желанная Леди, целую Ваши руки и сообщаю вам, что неотложные дела задерживают меня на севере до самой осени. Посему я бы хотел, чтобы Ваша милость распорядилась моим личным дворцом в АкроЗайане как своим собственным, пока эти неприятности не будут исчерпаны. Сегодня я и Парри вновь заключили нерушимый пакт доверия, но, боюсь, я никогда не полюблю его, также как и Вы, ибо не отличается он ни честностью в беседе, ни красотой внешней, но крупен и толст. Он из тех, что заползут туда, куда нельзя зайти, и, как я думаю, враг всякому, кроме тех, кто подчинится ему. Что до Л., то, полагаю, Вашей милости известно о его делах больше, нежели мне; и речь не о моей сестре, чьи дела столь благоразумно держались в тайне, что о них не просочилось ни слова; я говорю о вещах куда более глубинных, нежели эти. Мысли мои заняты тем, что в некотором роде нас ит, а в некотором — лишь ии. О кознодейка, приоткрывающая свои одежды, обнажающая на миг свою Красоту, в какие же сети я угодил! Но довольно, это как кориандр в сладком вине. Если я начну, то уж никогда не закончу, и писанина не заменит мне беседы с Вами. О Черная Лилия, единственная и неповторимая, презирующая и чтящая все сущее, ослепительная, воплощение дракона и голубя, вершина и венец моих желаний, моя Полярная Звезда при свете дня, хочу быть с Вами, вкушаю Вас во снах, не находя нежных слов, чтобы назвать Вас Моей, а меня — Вашим».*



## XXI. Enn Freki Renna

СГОВОР С ДЕРКСИСОМ — ОБО ВСЕМ СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНО ЛЕССИНГЕМУ —  
ПОСЛЕДНИЙ УДАР КРЕМНЯ О КРЕМЬ — *INSULTANS TYRANNUS*<sup>161</sup> —  
ВЫРВЕТСЯ ЖАДНЫЙ — АНТИОПА В МОРНАГЕЕ

**Л**ЕССИНГЕМ, утвержденный герцогом в звании верховного полководца, на следующий день отбыл из Аргьянны, чтобы ко времени назначенной в Морнагее встречи собрать еще больше войск и военного снаряжения. Ради этого важного дела он неделями разъезжал без остановок или передышки по Ререку, по Марке и Внешней Мезрии, скрепляя союзы и разрешая мелкие споры. Верховный адмирал вернулся обратно в Кессарей, чтобы оттуда морем перебраться в Кайму, Зафель и Мелат уехали на юг, в Мезрию, а лорд Горий Парри — домой в Лаймак. Барриана герцог отправил послом к принцам Эркелю и Арамонду, дабы смягчить боль от их ран, пожаловав им северные владения и земли из того огромного ломтя, который был отхвачен у наместника по Аргьяннскому миру. Сам герцог вместе с канцлером и тысячей конников Лессингема пока оставался в Аргьянне, собираясь в надлежащее время двинуться на север с крупными силами; было уговорено, что все их армии соберутся вместе двадцатого июля в Морнагее, дабы оттуда выступить на север, в Волд, откуда начали поступать известия о продвижении Дерксиса на юг, как будто бы тот собирался вторгнуться в Ререк прежде, чем лето будет на исходе.

Однако, только вернувшись обратно в Лаймак, наместник тут же удался в свои личные покои и, достав из железного сундука, где он хранил подобные вещи, новый конкордат, просидел в раздумьях час или два, а затем послал за Габриелем Флором.

— Иди сюда, верный мой слуга, давай займемся нашими делами. Тебе надо снова ехать на север, скажем, «в Мегру», к примеру, «к Аркасту».

Габриель выжидающе молчал.

— Я не стану ничего записывать, как и прежде. От этого, — наместник щелкнул пальцем по краю пергамента, — уже и так разит канцелярщиной. Перед отправлением заучишь эту писульку наизусть и перескажешь ее ему слово в слово. Потом скажи ему, что они двинутся на север и сокрушат его прежде, чем он успеет вторгнуться сюда; что теперь, когда королева по какой-то несчастливой случайности скончалась — как это произошло, мне не известно, не забудь об этом упомянуть, — и королевский род Фингисволда тем самым оборвался, этот узурпатор, герцог Зайанский, пользуется любовью и поддержкой всех в королевстве: дворян, правителей и прочих, помимо одного лишь меня, я же поддерживаю его только на словах. Передай ему все это, покажи ему, что полнейшей глупостью с его стороны будет попытаться захватить королевство без соратника, который бы принял в этом деле его сторону, и

161 *Insultans tyrannus* (лат.) — «глумящийся тиран».

в качестве такового он может избрать меня, чья помощь дороже десяти армий, ну и так далее. Говори убедительно, пускай у него слюни потекут. Обязательно дай ему понять, что ты был послан как ради моего, так и ради его блага. Потом изложи ему мои несложные условия: снабженные его королевской подписью и печатью грамоты, закрепляющие за мной, как при нем, так и при его наследниках и преемниках, титул наместника надо всей Мезрией и всем Ререкком; по получении каковых через тебя я в знак преданности, как и надлежит его верному подданному, вскорости вышлю ему головы или другие доказательства гибели наиболее неудобных личностей, как то: Барганакса, Бераальда, Иеронимия. Я найду случай выполнить это еще до того, как лето будет в разгаре, убаюкав и погрузив их в летаргический сон при помощи вот этого, — он снова щелкнул по пергаменту, — и улучив подходящую возможность.

— Ваше высочество, — сказал Габриель, — забыли упомянуть одно имя, которое, учитывая королевскую ревность, ненависть и злобу, по сравнению с прочими будет как золото рядом с перьями.

— И что же это за имя, дорогуша?

— Ваше высочество не захочет, чтобы я его называл.

Глаза наместника сузились:

— Да, иначе я могу тебе и язык вырвать.

В столь внезапном приступе ярости швырнул он чернильницу, что Габриель едва успел уберечь свои зубы, а возможно, и глаза, быстро заслонившись рукой.

— Не вздумай лезть, куда не прошено, — сказал наместник.

Габриель промокнул чернильные пятна своим носовым платком и устался на свою ушибленную руку.

— Сядь. Учи свои слова. Перескажешь мне перед тем, как уехать.

Вечером Габриель был готов к отъезду. Чтобы не привлекать к себе внимания, он решил прикинуться мелким бродячим торговцем: взял запасную лошадь и товар, надел грубую синюю крестьянскую одежду, подрезал волосы и выкрасил их, а также бороду и брови, хной. Он уже садился в седло, когда его снова позвали в покои наместника.

— Ну что, мерзавец, готов?

— С позволения вашего высочества.

— Давай, выпей немного мальвазии на посошок, — наместник налил вина и самолично подал ему кубок. Когда Габриель поставил кубок на стол, тот обхватил его своей могучей рукой за шею, притянув его к себе, и заглянул в его хитрые глазки. — Я нехорошо поступил, ударив тебя. Ну вот, — сказал он, отодвинув того от себя на расстояние вытянутой руки, — разве я хоть когда-нибудь говорил тебе или кому-либо еще, что сожалею о сделанном? Вообще-то, твое предложение было вполне разумно, верный ты мой слуга. Но вместе с тем, в этом конкретном вопросе я не могу руководствоваться одним

лишь разумом, ибо не могу я искоренить в себе расположение, которое питаю к этому человеку; при его помощи я уже извлек немало выгоды, хочу извлекать и впредь; хотя при нынешнем положении вещей особой пользы я в нем не вижу. И все же, — промолвил он, — я испытываю к этому человеку своеобразную любовь.

Габриель стоял в замешательстве, выслушивая эти слова, что казались отголосками сражения, ведшегося глубоко в душе его великого хозяина.

— Так что до свидания, — сказал наместник.

— До свидания, ваше высочество, — сказал Габриель. — Что до любви, — добавил он, будто его вдруг прорвало, — поймите, теперь ваше высочество не может позволить себе питать любовь или приязнь к кому бы-то ни было, да-да, даже и ко мне.



Была уже середина июля. Наместник с тысячным тяжеловооруженным ререкским войском прибыл в Морнагей. Там вернувшийся со своей миссии Габриель два дня провел взаперти со своим господином. Никто не знал, никто не догадывался и не пытался узнать, что могло затеваться между ними, ибо во всех делах, как в мирных, так и в военных, в обычаях наместника было много совещаться с этим человеком или с Лессингемом, если тот был поблизости, с остальными же — редко или никогда.

Тринадцатого числа Габриель вновь отправился на север, теперь уже в новом обличье, с начисто сбритыми бородой и усами. В тот же день по соизволению Богов приехал из Бардардала Лессингем. Он пообедал, но задерживаться не стал, несмотря на желание наместника его остановить. Он снова вскочил в седло и двинулся на север, договорившись встретиться с Баррианом и принцем Эркелем за Болотным Гребнем, чтобы согласовать кое-какие действия перед выступлением в великий поход на север на следующей неделе. Таков был предлог; истинной же причиной были слова Барриана, что очень хорошо будет, если Лессингем лично почтит своим присутствием акт примирения, положив конец всем счетам, что принцы по-прежнему к нему имели, за весеннее разорение Багорта и плохой прием, оказанный Эркелю у Леверингея.

Лессингем взял с собой лишь Амори и еще двадцать пять человек. На пятнадцатой миле, на полпути от Леверингея к Эльдиру, они наткнулись на Габриеля, скакавшего во весь опор в двух или трех сотнях шагов впереди. Завидев их, тот свернул с дороги и направился в болотистую лошину, где вьющаяся среди полей и лесов тропа позволяет срезать большую петлю большой северной дороги. Если бы вода не поднялась, это был бы наилучший путь, но сейчас дело обстояло иначе. Его заметили все, но лишь Лессингем узнал его в его новом облике. Лессингем отвел Амори в сторону и сказал:

— Этот подонок нас видел; ясно, что он не хочет попадаться мне на глаза. Мне это не нравится.

Он велел остальным подождать, а сам помчался за Габриелем. Габриель, видя, что его преследуют и что ему не уйти, натянул поводья и стал ждать.

— Если я узнал тебя в этом тряпье, безбородого и похожего на свинью, — сказал Лессингем, — то уж ты-то наверняка меня узнал? Почему тогда убегаешь? Что это еще за неучливость?

— Нет, клянусь Богами, я не узнал вашу светлость.

Взгляд Лессингема был подобен зимнему ветру, что пронизывает насквозь и одежду и тело.

— Значит, будешь врать, Габриель? Тогда побеседуем; посмотрим, почему это правда сегодня столь застенчива.

Поначалу ответы Габриеля были бойкими и звучали к месту, потом он начал спотыкаться в своих собственных силках и наконец, запутавшись в узле противоречий, не мог более продолжать и замолчал; весь клубок его нелепой лжи сделался очевидным. После этого, еще более усугубив свое положение, он вдруг вонзил шпоры в бока своей лошади, чтобы сбежать. Лессингем мгновенно нагнал его и схватил за воротник.

— Чую, что-то тут нечисто; а ну-ка, обобщем тебя.

В этот момент Габриель быстрым и ловким движением запихнул в рот комок смятой бумаги. Лессингем заставил его открыть рот и выплюнуть его, словно собаку, так врезав ему по голове, что тот вывалился из седла, оглушенный. Затем он соскочил на землю, поднял бумагу, расправил ее и прочел. Пришедший в себя Габриель, трясясь, поднялся на ноги и съежился под взглядом Лессингема, ибо, когда тот клал изжеванную бумагу себе за пазуху, будто это был драгоценный камень, глаза Лессингема сверкали тем самым гибельным бледным пламенем дикого гнева, которое Габриель уже однажды видел, и было это, когда Лессингема, беспомощного, закованного в кандалы и удерживаемого шестью стражниками, хлестнул по лицу Илкисским конкордатом наместник.

— Это останется между твоим господином и мной, — сказал Лессингем. — Ни одна живая душа не должна об этом узнать. Так что успокойся.

С этими словами он схватил того за горло и принялся трясти, пока глаза Габриеля на его налитом кровью лице не вылезли из орбит, а затем безжалостно швырнул его наземь.

— Если я сломаю свою розгу, — сказал он, — то об спине пошире твоей. Габриель, вероятно, полагая наиболее благоразумным изобразить смерть, не шевелился, пока Лессингем вновь не уселся на лошадь.

Лессингем проехал лишь десяток шагов, чтобы оказаться на виду у своих спутников, ожидавших в четверти мили позади. Он сделал знак Амори, чтобы тот подъехал один, а затем не спеша вернулся к месту, где поднимался на ноги напуганный Габриель. Амори подскочил к ним, остановился, взглянул на Лессингема, а затем свирепо воззрился на Габриеля.

— Передай им, Амори, что это всего лишь гонец, отправленный за мной и разминувшийся с нами в пути, но столь удачно нагнанный нами, с посланием от господина канцлера, в соответствии с которым мне надлежит на денек вернуться. Ты и остальные, езжайте дальше и принесите мои извинения принцу Эркелю. Ожидайте меня в Меммеринге не позднее чем через два дня.

Амори понял по лицу своего господина под маской беззаботности, что дело предстоит весьма важное, а также, что не стоит ему рисковать с расспросами, и что сейчас ему нужно лишь слушаться и повиноваться. Лессингем весело попрощался с ним и неспешно поехал на юг, один. Когда они скрылись из виду, он тронул поводья и шепнула что-то на ухо Мадалене, и та помчала его на юг, словно ветер.



На вытянутом лугу, что простирался за самым северным из морнагейских пастбищ, когда туда приехал Лессингем, находились Россильон, Трасилин и другие, развлекавшие бросанием копий в цель.

— Ну и цирк, — сказал Россильон. — Одно представление за другим. И часа не прошло, как прибыли известия, что герцог со всей своей огромной армией уже прибыл за семь дней до назначенного срока и еще до заката будет здесь, в Морнагее, а теперь, вот, назад возвращается верховный полководец.

— Орлы собираются, — промолвил Трасилин. — Наверняка что-то случится.

Когда Лессингем спешивался у трактира, к нему вышел наместник. В глазах Лессингема нельзя было прочесть угрозы; не удивило его (так как он был хорошо знаком с этими внезапными поворотами и переменами в его действиях) и то, что, выехав три часа назад на север по делам в сопровождении отряда воинов, Лессингем спешно вернулся обратно на юг.

— Кузен, у меня к тебе есть дело. Не даст ли мне ваше высочество личную аудиенцию?

Пожав плечами, наместник согласился, и они удалились в те самые покои на верхнем этаже, где более года назад Лессингем с Амори ужинали в ночь, когда пришли вести о смерти короля Стиллиса и равновесие всех сил закачалось над безднами случайности, в покои начинаний и воспоминаний.

Три огромных собаки наместника лежали там на циновках. На столе стояло вино и кубки, на сиденье висели латы наместника, на серванте были свалены в кучу гусиные перья, чернила, бумаги, свитки и все письменные принадлежности Габриеля. Лессингем проговорил:

— Кто пишет для тебя все твои письма, кузен, пока твой помощник заключает тайные договоры между тобою и Деркисом?

Могучая рука наместника, потянувшаяся к кувшину с вином и наполнившая кубок, даже не дрогнула.

— Гибкие и подвижные умы вроде твоего просто нуждаются в том, чтобы поболтать о всякой чепухе.

Лессингем выбил кубок у него из рук.

— Слышал, что это там упало? — воскликнул он, когда кубок грянулся об пол и наместник с пылающим взором вскочил на ноги. — Давай-ка я тебе это прочту; вот, за твоей собственной подписью и печатью, — он наблюдал, как наместник при виде доставаемой бумаги меняется в лице. — Да-да, в слюнях и соплях, потому что я вытащил ее прямо из пасти одной твари. Но прочесть можно.

— Ну ты и дурак. Письма поддельные. Тонкий ход, чтобы выманить его.

— Отлично придумано, — промолвил Лессингем. — Еще скажи мне, что ворона бела.

Наместник, отделенный от Лессингема столом, глядя на того исподлобья, начал боком продвигаться налево, к двери. Но Лессингем, стремительный как леопард, оказался там раньше него, держа руку на эфесе меча. Его левая рука задвинула засов за его спиной.

— Если бы ты все это время пил, то и тогда меньше навредил бы своему положению. Замышлять измену? Неужели дошло и до этого? Да еще с этим хлыщом, у которого голос, как у женщины, с этой мразью из мразей, с этим убийцей...

— О, хватит квохтать, — сказал наместник, положив руку на рукоять меча и опустив голову, будто готовый к атаке бык. — Ты думал, пока ты там забавляешься, я буду сидеть сложа руки? Клянусь Богами, последние пять месяцев в Аудале было не до поцелуев и битья баклуш, доложу я тебе!

Меч Лессингема сверкнул языком пламени, также как и меч наместника.

— Взять! Взять! Разорвите его! Пайвакет! Пятнистая Башка! Вырвите ему глаза!

Когда собаки сорвались с места, Пайвакет, будто движимая дружбой, странным образом зародившейся в том подземелье под Лаймаком, вцепилась зубами в зад одной из них, и та, не успев прыгнуть, с визгом боли повернулась к ней. Другую Лессингем заколол насмерть кинжалом, который он выхватил левой рукой из ножен на поясе, однако, поскольку глаза человека могут смотреть только в одну сторону, наместник, сделав выпад, обошел его защиту, но по счастливой случайности нанес лишь царапину на бедре. Под рычание терзавших его собак, под шум ломившихся в дверь солдат, которых наместник зычным голосом снова и снова звал к себе на помощь, Лессингем, смог, наконец, хотя и был ранен, проявить свое мастерство, и несколькими выпадами обезоружил наместника.

Пару мгновений казалось, что наместник, припавший к земле, будто пантера, вот-вот бросится прямо на острие меча Лессингема. Но петли начали

подаваться под громopodobными ударами, и, вновь овладев собой, он отступил и, замерев неподвижно и скрестив руки на груди, уставился на Лессингема, который, окинув того беззаботным и спокойным взглядом, готовый, однако, к любым выходкам, вложил свой меч в ножны. Дверь подалась и рухнула. Дюжина вооруженных людей ворвались вслед за нею. Во внезапно наступившей после этого шума тишине наместник распорядился, указывая пальцем:

— Арестуйте этого человека.

На протяжении двух вдохов они стояли в нерешительности. Затем, по мере того, как их взгляды один за другим обращались на Лессингема, тот словно сковал их воедино своим взглядом.

— Ты выиграл пари, кузен, — промолвил он, со смехом швырнув на стол свой кошелек с золотом. — По правде говоря, я боялся, что так и будет. Даже твои люди, да по твоему собственному велению, не забудут указов вашего величества и не поднимут руку на верховного королевского полководца.

Быстро все поняв, наместник, разразившись громогласным смехом, хлопнул его по спине, взял кошелек, подбросил его в воздух так, что тот зазвенел, поймал его и засунул себе за пазуху.

Когда они снова остались одни, Лессингем заговорил тихим голосом:

— Ну, ядовитая гадюка? Так ты осмеливаешься корчить из себя короля? Спускаешь на меня своих собак, да? — Пайвакет, глядевшая на него, завияла хвостом. — Людей своих спускаешь?

Наместник, сидевший боком к столу, положив левую руку на бедро, а правой подпирая свой подбородок, пристально смотрел на Лессингема.

— Ты позабыл, где твое место, — произнес он, и голос его, тихий и вкрадчивый, был подобен дуновению сырого воздуха из склепа. — И песенка твоя спета.

Лессингему, взиравшему сверху вниз в глаза своему кузену, казалось, будто их твердый и непреклонный блеск и горевший в них злобный огонь были лишь отражениями на неподвижной воде, в глубинах которой, если бы не это скрывавшее их отражение, можно было бы рассмотреть нечто еще более ужасное и неумолимое. И воспоминания порывами зимнего ветра покрыли эту водную гладь рябью, смазав видневшиеся в ней образы: воспоминания о голосе, громком и хриплом, что разнесся над водою год назад, омрачив летнюю ночь и заставив прекрасное белое тело увянуть, сменившись рысью шкуркой, мускулами и когтями.

Наместник словно выжидал. В этом его ожидании сквозило некое довольство, как будто он взвесил все и все решил. Но взгляд постороннего не находил ответов в выражении его лица. С тем же успехом можно было бы, глядя через поля на Лаймак, надеяться увидеть оттуда скрытые в недрах скалы темницы и томившихся в них узников, узнать их имена, кто они такие, как выгля-

дят и как попали туда, а также то, какими смертями некоторые из них умерли там.

— Клянусь Богами, я тебе покажу, — воскликнул Лессингем. — Ей-богу, я втопчу тебя в землю. Давай, будешь у меня писарем. Пиши, — приказал он, смахивая со стола Габриеля писчие принадлежности и поднося к глазам ту самую проклятую бумагу. — Язык-то какой! И менять ничего не придется. «Высочайшему королю...» Тьфу! И сказать противно. Пойдем дальше. Теперь про эту твою затею, записывай, про все свои сладкие посулы, про верность и преданность ему с твоей стороны, поскольку ты от природы склонен к насилию, вероломству и всяческим злодеяниям. И пускай мерзавец даже не сомневается, что ты готов ради него на все и ненавидишь всех нас за все, чего ты лишился; пускай он только, как тут написано, осыплет тебя золотом, наделит титулом наместника и так далее, и *quid pro quo*<sup>162</sup>, ты прирежешь тут всех нас прежде, чем он зайвится сюда, на юг, и сделаешь ты это в Морнагее, на новолуние в августе. Пиши, — повторил он, и, казалось, само чтение этой бумаги вновь раздуло в нем уже было притухшее пламя гнева. — Мы подготовимся. О, это будет двойная измена! Он попадетсЯ, как хорек в капкан.

Пока он говорил, наместник даже не шелохнулся. Лишь его устремленные на Лессингема гадючьи глаза словно подернулись пленкой, скрывавшей ход его мыслей, а губы его кривились, будто змея, чьи чешуйки сверкали всеми цветами насмешки, веселья и презрения. Наконец, взяв перо, он принялся медленно выводить буквы неуклюжими и непривычными к письму пальцами под взором Лессингема. Когда с этим было покончено, он отпихнул бумагу к Лессингему, который взял ее и перечел.

— Годится?

Лессингем закончил читать.

— Сойдет.

— Дай сюда воск, — сказал наместник. — И свечу... Вот так, — он запечатал письмо. — И кто же будет тем верным гонцом, который его доставит? За это можно и головы лишиться, если с ним неосторожно обращаться. Где Габриель?

— Отдай мне, — сказал Лессингем. — Я отвезу оба.

Наместник молча протянул ему бумагу. В тишине их взгляды скрестились. Затем Лессингем поднес к свече сначала новое письмо, затем то, которое выплюнул Габриель, презрительно наблюдая, как они занимаются, съезживаются, вспыхивают, сторают и рассыпаются черным пеплом.

— Ах, кузен, неужели ты так и не понял, — промолвил он, — что я делаю то, что хочу, не повинуюсь тем или иным условиям и не прибегая к твоим неумелым и грязным приемам, делаю по-своему, сохраняя свои руки чистыми?

162 *Quid pro quo* (лат.) — «услуга за услугу».

Он развернулся и вышел. Наместник наблюдал за его уходом, за тем, как развевается его плащ, как гордо поднята его голова, как тверда его походка и как звякают его золотые шпоры, и глаза его сузились, а взгляд стал по-змеиному пронзителен. Оставшись один, в зловещем величии терзаемого бурей морского утеса, на который одна за другой обрушиваются, разбиваясь, огромные волны, он сидел и ждал.



В тот же час явился Габриель Флор. Наместник все еще сидел в своих покоях. Габриель на цыпочках подкрался к столу.

— Ваше высочество, говорил ли вам господин Лессингем что-либо о письме, которое я вез? Ей-богу, я бы скорее умер... — и, рухнув на колени и рыдая, он выложил все.

— Что ж, — промолвил наместник, когда тот закончил, — отдам тебе должное: ты сделал все, что мог. Это лишь служит подтверждением, что лучше бы мне было несмотря ни на что придерживаться своего решения и ничего не записывать.

— Тут такое дело, — заговорил Габриель. — Ни одна душа не знает об этом, кроме нас с вами и его светлости. Даже Амори: они говорили друг с другом только в моем присутствии, клянусь вам, а потом один поехал на север, а другой на юг, к вам. Бумага у вашего высочества?

— Она у меня была, и я ее сжег.

— Пока неплохо, — сказал Габриель, затем замолк. Его вороватый взгляд встретился с взглядом его хозяина. — Господин, молю вас, это говорит во мне моя любовь и преданность, потому не гневайтесь. Но не опасается ли ваше высочество, что он не оставит сведения о вас и вашей роли во всем этом в тайне?

Наместник уставился на него.

— Герцог, — произнес он, — будет здесь до заката солнца с пятью тысячами солдат, — он замолчал. Габриель встретился с ним глазами и вздрогнул. — Так что, дурачок, запасись храбростью и предусмотрительностью. Работенка придется тебе по нраву, но действовать нужно весьма расторопно. Слышишь раскаты грома в небесах? Мой кузен Лессингем... умри, но не дай герцогу или кому-либо из этих встретиться с ним.

Габриель ослабил зубы, будто горностаей.

— Какими средствами можно пользоваться?

— Любыми, при условии, что ни тебя, ни меня на этом не поймают.

Передай мне весть как-нибудь по-тихому, когда все подготовишь.

Габриель хихикнул. Его лицо имело злобный и отталкивающий вид.

— Ну что? — спросил наместник. — Боишься?

— Вашего высочества. Но и только.

— Награда будет достойной.

— Ясно. Полагаю, меня не слишком печалит, если это сделает за меня кто-то другой. Но я бы хотел, чтобы ваше высочество точно сказали, что нужно сделать. Я не смею полагаться лишь на догадки.

— Вздумал играть со мной в кошки-мышки, жалкий заморыш? Твоя жизнь в моих руках, забыл? Забыл, что лишь мое могущество да мое имя стоят между тобой и еще сотней человек, у которых нет более заветного желания, чем сжать в руке твое трепещущее сердце? Вздумал умничать передо мной, мразь?

— Вашему высочеству известны все мои тайные помыслы, — ответил тот. — Я лишь хотел убедиться, что вам известны и ваши тоже, что вы не раскаетесь и не разорвете меня, выполнившего ваше поручение, на куски, когда с ним будет покончено.

— Отправляйся, я сказал, — велел наместник. — Там, в лагере, находится тот, кто вышел из этих самых покоев не более десяти минут назад, кто вылил на меня сегодня столько отвратительных оскорблений и сделал из меня такое посмешище, что, даже вознамерясь он всерьез покончить с собой, то и тогда вряд ли навредил бы себе больше. Мне он более не нужен. Выбери себе подручного; пускай он думает, что это делается по распоряжению герцога, что тот выманил на давешних мирных переговорах ряд обещаний, послуживших ослаблению герцогства, и что герцог обещает награду, если этого человека уберут.

Габриель взглянул на него и провел языком по губам.

— Есть у меня один для этой работы ... парень храбрый, но простак простаком. Как понравится вашему высочеству идея сделать это на глазах у герцога, прежде чем они успеют заговорить? А я буду рядом и, как только удар будет нанесен, изображу негодование и в отместку заколю убийцу, а мертвые языком не треплют..?

— Хватит. Иди и займись делом. И да поможет тебе Дьявол.

Габриель ушел. Садящееся солнце показалось в окне, светя наместнику прямо в глаза, а тот, посидев в задумчивости, положил руку на холодный нос Пайвакет и успокаивающе почесал ее под челюстью и за ухом.

— Да, псина ты моя, — пробормотал он, — Я не виню тебя за то, что ты встала на его сторону, хотя проще было этого не делать. Мертвые, говоришь? — сказал он себе после минутного молчания, и крылья его ноздрей внезапно отвердели. — Возможно, милый мой, совет твой окажется полезнее, чем ты думал.



День почти закончился, когда герцог вместе с передовым отрядом своего войска начал извилистый подъем по килларийской дороге к Морнагею. Наместник вместе с Лессингемом и еще дюжиной знатных спутников выехали на дорогу, чтобы встретить его со всеми почестями. Перед трактиром, где они

остановились, выстроились два десятка трубачей, и волынщики в красно-пурпурных ливреях Парри, и барабанщики, и почетный караул в составе пятидесяти копейщиков, и знаменосцы со стягами Фингисволда и Ререка. Доспехи их сверкали золотом в лучах садящегося солнца, в безветренном летнем безмолвии. Наместник был в своем монаршем облачении и с непокрытой головой, если не считать золотого венца; справа от него стоял Лессингем, по горло закованный в броню, но без шлема. Габриель Флор подобно тени встал чуть позади своего господина, между ним и Лессингемом.

— Выглядишь веселым, кузен, — заявил наместник по дороге.

— Не веселым, — ответил Лессингем. — Удовлетворенным.

— Тем, чего добился? Или тем, на что рассчитываешь?

— Я удовлетворен, — ответил Лессингем, — тем, что все складывается так, как и было задумано: вся мощь собрана там, где, будь она моею, я бы ее и собрал, и меч наш, от которого теперь не убежишь и не укроешься, занесен над нашим врагом.

Произнося эти слова, он будто облекся торжеством, какое излучают проглядывающие меж туч над штормовым морем звезды, когда все опасности ночи и штормов оборачиваются лишь ковром под их пылающей поступью. Взгляд его, полный уверенности и убежденности, встретился с взглядом наместника, доселе ускользавшим от него.

Они остановились. Герцог, восседавший на своем бьющем копытом белом скакуне, с канцлером по правую руку и в сопровождении пышно разодетых мезрийских лордов, был уже на расстоянии двадцати шагов и продолжал приближаться. Трубачи заиграли королевский салют. Внезапно наместник шепнул украдкой на ухо Габриелю:

— Я передумал. Все отменяется.

В это время Барганакс и Лессингем были уже в десяти шагах друг от друга. И, как год назад в Акрозайане, когда Барганакс, бросив на него подобный же взгляд, различил воплотившийся в Лессингеме мужской аспект своей темной леди, королевы своих желаний, так и Лессингем, чье тело и душу медленно охватило изумление, узрел теперь в Барганаксе такое же чудо; на мигновение, как молния прорезает вспышкой ночь, увидел он не его, но ее, совершенство из совершенств, Антиопу, вернувшуюся на миг в этот бесконечный закатный час в Морнагей, в это место начинаний и свершений.

Габриель опоздал. Убийца, прокричав «Вот тебе от великого герцога Зайанского!», вонзил кинжал в Лессингема на целый фут между шеей и латыным воротником. В тот же миг Габриель, нисколько не замешкавшись, избавил исполнителя от необходимости оправдываться, сожалеть или каяться. Во внезапно наступившей суматохе наместник, размахивая направо и налево своей булавой, обрушил ее сначала на убийцу своего родича, уже падавшего после удара Габриелева меча, а потом на последнего из тех, кто мог бы ему угро-

жать, и кому было известно о его измене: на Габриеля Флора, чьи мозги, до последнего служившие его хозяину, которого он так старательно обхаживал и слушался, теперь последней гарантией безопасности этого хозяина разбрызгались, ничемные, по траве.

Но когда наместник, рискнувший во имя этой безопасности столь многим и от столь многого отказавшийся, опуская булаву после этих двух ударов, поднял глаза на Барганакса, словно бездна разверзлась под его ногами. Ибо на лице этом сверкали глаза не Барганакса, но серые и испещренные крапинками — глаза Лессингема.

И Барганакс голосом, подобным оглушительному раскату грома, командовал:

— Взять наместника!



## XXII. Ночь в Зимиамвии

АНТИОПА НА ЗАРЕ — ЕЕ БЕСКОНЕЧНОЕ МНОГООБРАЗИЕ —

«БОЛЕЕ, ЧЕМ БЫЛО ОБЕЩАНО ИЛИ ДОЛЖНО» — ЗАХОД ЛУНЫ МЕЖ МИРАМИ

**В**личных покоях герцога в цитадели, чьи окна выходили на Зайанское озеро, Фьоринда отложила свой кристалл, в который следила за тем, как все закончилось. Покрасневшее дневное око проглядывало сквозь просвет в затянувших вечернее небо облаках к западу от Амбремерина; в этом закатном сиянии все вокруг уподобилось пламени, чьи язычки лизали складки камчатной скатерти, чьи искры умирали и рождались вновь на сверкающей поверхности ножей или вилок, кубков, блюд или фруктов с гладкой кожей, чей дым заполнял полумрак опочивальни Барганакса с ее приоткрытыми раздвижными дверями, пустую и погруженную в грезы и воспоминания о бесчисленных закатах и освещенных лампой вечерах, об удовольствиях и сне, о заре и долгих промежутках дневной пустоты, которая для постелей является ночным временем, временем отдыха. И в горделивой бледности лба и щек этой леди, а также в ее величавой позе, проступала, мерцающая в ее угольно-черных волнистых волосах, неземная красота, отсвет или привкус которой таился и в удивительных и непостижимых глазах ее, что стояла в раздумьях о произошедшем и смотрела в высокое западное окно на пожар заката.

Стущалась ночь, а она все стояла. Цвета начали меркнуть, уступая место теням, как в комнате с ее множеством диковинных прихотливо расшитых золотом гобеленов, богатой и роскошной мебелью, украшенными лилиями капителями колонн и расписанным золотом потолком, так и снаружи, на просторах тускнеющего озера, и в горах, сливающихся с облаками и стылой безбрежностью ночи, и на клумбах Барганаксова сада, чьи цветы, засыпая, сложили свои лепестки.

— Так рушится башня, — промолвила она. На сосновой ветке в саду под окнами пропел козодой. — Себя нет... лишь Всё.

Она взяла свечку, зажгла ее от гаснущего в камине огня, затем зажгла остальные свечи. На столе стояло вино и хрустальные кубки. Она наполнила один и поднесла его, увенчанный пеной, к глазам, глядя, как в свете свечей поднимаются кверху атомами золотого пламени пузырьки в золотой же стихии. Она осушила его и повернулась к зеркалу. Затем быстрыми, но исполненными легкого и степенного величия движениями, подобными колыбели лесных крон на летнем ветру, распустив пояс, отколов броши и булавки, она сбросила свое усеянное рубиновыми блестками красное шелковое платье и все прочие одеяния и замерла в смешанном свете свечей и вечерней зари перед собственным отражением в зеркале. Станным взглядом она смотрела на него, как смотрела в это же самое огромное зеркало и год назад, в прошлом мае, на заре, наутро после его двадцать пятого дня рождения: отстраненным, оценивающим взглядом. Таким взглядом мог бы смотреть ее возлюбленный, но не на

нее, а на один из множества нарисованных им портретов, тут же замазанных или распоротых и преданных забвению за то, что на них не она, или, по крайней мере, не совсем она. Но не с таким выражением лица. Ибо то, что, дремля и бодрствуя, распорядилось устами этой леди, таясь в уголках ее губ, однажды запечатленное им на холсте, но тут же упущенное вновь, теперь произошло и взирало в зеркало на свое живое воплощение, что поглядывало на него оттуда в ответ.

— Фьоринда, — произнесла она. — Мэри. Антиопа.

Имена повисли в тишине, как рябь на неподвижной водной глади. Одну за другой она вытащила шпильки, распустив черные массы своих волос, а затем, по-прежнему глядя в зеркало, устроилась на стоявшей подле него софе, вытянув ноги вдоль нее и положив щеку на правую руку. Веки ее трепетали. Некоторое время она рассматривала в зеркале ту, что сама по себе была зеркалом всех чудес на свете: это облеченное красотою обнаженное тело, величественное, как горы на заре, в своем совершенстве греческой статуи олицетворявшее собой квинтэссенцию ночи и благоухающих садов, сияния солнечного и лунного, и глаза, что были как море. Сцепив руки на затылке, она откинулась на шелковые подушки медового цвета, наблюдая в зеркало за своим отражением, которое начало изменяться. И, глядя на него, она называла все изменения по именам, само звучание которых подобно прекрасному огненному шлейфу во тьме: Пентесилея<sup>163</sup>, Омфала Лидийская<sup>164</sup>, Гипермнестра<sup>165</sup>, Семирамида<sup>166</sup>, Роксана<sup>167</sup>, Вероника<sup>168</sup>, безупречная и несравненная Зенобия<sup>169</sup>, царица Пальмиры, владычица Востока, что столь долгое время противостояла превосходящим силам имперского Рима, и, пусть и потерпела поражение, но не подверглась бесславию, Гудрун из Лососьей Долины<sup>170</sup>, Лаура Петрарки<sup>171</sup>, Фьямметта Боккаччо<sup>172</sup>, Джулия Фарнезе<sup>173</sup>, смертоносная белая лилия дома Борджиа, Виттория Коромбона<sup>174</sup>. И та прекраснейшая, ради которой троян-

163 Пентесилея — в др. греч. мифологии дочь Ареса, царица амазонок.

164 Омфала — в др. греч. мифологии лидийская царица, у которой в течение трех лет находился в услужении Геракл.

165 Гипермнестра — в др. греч. мифологии старшая из дочерей царя Даная, единственная, послушавшая своего отца и оставившая в живых мужа.

166 Семирамида — в армянской и аккадской мифологии легендарная царица Ассирии, супруга легендарного царя Нина, убившая его хитростью и завладевшая властью.

167 Роксана (ок. 342 — 309 года до н. э.) — бактрийская княжна, жена Александра Македонского.

168 Вероника — жена египетского царя Птолемея III Эвергета (III в. до н. э.), отрезавшая свои прекрасные волосы в дар Афродите.

169 Зенобия Септимия (240 — после 274) — вторая жена царя Пальмиры Одената II. В 274 году во время триумфального шествия Аврелиана Зенобия была проведена через Рим в золотых цепях.

170 Гудрун — героиня исландской «Саги о людях из Лососьей Долины».

171 Лаура — возлюбленная поэта раннего Возрождения Ф. Петрарки, воспетая им во множестве стихов.

172 Фьямметта — псевдоним, которым итальянский писатель Дж. Боккаччо именует в ряде произведений, в том числе в одноименной повести, свою возлюбленную.

173 Джулия Фарнезе (1474 — 1524) — любовница папы римского Александра VI (Родриго Борджиа).

174 Виттория Коромбона — знаменитая итальянская куртизанка эпохи Медичи, героиня трагедии Дж. Уэбстера «Белый дьявол».

цы и красивопоножные ахейцы перенесли столь много бед, и мать ее, королева Аргоса, прекраснородыжная Леда<sup>175</sup>, и прочие рожденные на земле возлюбленные Зевса-олимпийца. И при каждом изменении отражение в зеркале казалось ее отражением, или, во всяком случае, его частью.

Ее левая рука, лениво покоившаяся рядом с ее исполненным гибкого и сонного великолепия молочно-белым бедром, наткнулась на софе на книгу, завалившуюся меж подушек и забытую там. Вытащив книгу, она открыла ее и узнала почерк: слева был текст на греческом, а справа перевод Барганакса:

*ποικιλόθρον' ἄθανατ' Ἀφροδίτα,  
παῖ Δίος, δολόπλοκε, λίδδομαι σε*

Она читала тихо, вслух, голосом, обретшим со словами поэтессы неземную красоту, как будто меж временем и вечностью на миг образовался разрыв, сквозь который донеслись отдаленные отзвуки сладостного и неумирающего смеха:

*Пестрым троном славная Афродита,  
Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!  
Я молю тебя — не круши мне горем  
Сердца, благая!*

*Но приди ко мне, как и раньше, часто  
Откликнулась ты на мой зов далекий  
И, дворец покинув отца, всходила  
На колесницу*

*Золотую. Мчала тебя от неба  
Над землей воробушков милых стая;  
Трепетали быстрые крылья птичек  
В далах эфира.*

*И, представ с улыбкой на вечном лице.  
Ты меня, блаженная, вопрошала —  
В чем моя печаль, и зачем богиню  
Я призываю,*

*И чего хочу для души смятенной.  
«В ком должна Пейто, укажи, любовью  
Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою  
Кто, моя Псапфа?»*

---

175 Леда — в др. греч. мифологии дочь этолийского царя Фестия и Евритемиды, жена царя Спарты Тиндарея. Поразившись красотой Леды, Зевс и овладел ею в образе лебедя, она снесла два яйца, и плодом их союза были Полидевк и Елена, в др. греч. мифологии прекраснейшая из женщин, из-за которой началась Троянская война.

*Прочь бежит? — Начнет за тобой гоняться.  
 Не берет даров? — Поспешит с дарами.  
 Нет любви к тебе? — И любовью вспыхнет,  
 Хочет не хочет».*

*О, приди ж ко мне и теперь! От горькой  
 Скорби дух избавь и, чего так страстно  
 Я хочу, сверши и союзницей верной  
 Будь мне, богиня!<sup>176</sup>*

Она встала, затмевая собою саму красоту, и вновь произнесла эти последние слова:

*Σὺ δ' αὖτα  
 σὺμμαχος ἔσσο*

— Да, именно так и следует обращаться ко мне, — промолвила Она. — Да, именно таким пылким и самозабвенным соколом, что падают и гибнут в высшей точке полета. Я даю обещание, и разве я его не исполняю? Разве я не даю более, чем было обещано или должно?

На столе возле софы в золотой вазе стояли розы, увядшие и мертвые. Она взяла одну и прижала, как Клеопатра змею<sup>177</sup>, к цветку своей груди. И, словно в подтверждение тому, что лишь смерть способна оставаться там мертвой, и разрушение, само разрушенное, спадет подобно нечистым одежаниям, обнажив под собой совершенство, все иссохшие лепестки розы, сморщенные и побуревшие, вновь вернулись к жизни, обретя опять гладкость и мягкость очертаний живого цветка, ярко-красной розы, до боли темной и бархатистой, с потаенной синевой в своих темных глубинах и тяжелым ароматом, что окутывает ее подобно туману.

Прохладным ветерком, что шепчет среди яблоневых ветвей, сонно колыша трепещущую листву, зазвучал снова Ее голос:

— Один день в Зимвиамвии, господин Лессингем, один день, господин герцог. Но что такое один день в Моих глазах? Не вы ли говорили: А закатной порой?.. на жаркий костер погребальный? Разве не обещала я этого? Ну вот, время пришло.

— Ибо Ночь уже распростерлась над Зимвиамвией, — продолжала она. — А потом будет зимвиамвийское Завтра, и новое Завтра, и еще одно. И все это во Мне. Все, что пожелаете. Навеки. И, если бы это было возможно, то и после тоже.

Внезапно Она облеклась всею своей красотой, невыносимой, недоступной ни единому взору, красотой, при виде которой сердечки Ее голубей холодеют и они складывают свои крылья. Так бесконечное мгновение созерцает

176 Сапфо, 1, пер. В. Вересаева.

177 По одной из версий царица Египта Клеопатра умерла от укуса ядовитой змеи, доставленной по ее просьбе в горшке с фруктами.

себя самое на берегу вечного моря, что дремлет вокруг божественного Пафоса. Была лишь Она: Она и лишенное красок, замершее перед рассветом море да принадлежавшие Ей ветерки, розы и время, каждый час которого сверкает золотом.

Лучезарное великолепие утасло в высоких западных покоях Акрозайны. Так тьма смыкается за метеором, что бесшумно выскальзывает из межзвездной тьмы, сверканием своим затмевая все небесные светила, столь же бесшумно мчится среди звезд и исчезает.

Леди Фьоринда обернулась к столу за зеркалом. Его полированная поверхность потускнела от пыли забвения. На нем лежал меч Барганакса, пара ее малиновых перчаток, его палитра с высохшими на ней красками, пара кистей, не вымытых, с комками краски на щетинках, и среди всех этих безделиц — две или три грушевидных капельки цветного стекла: одна голубая, другая красная, третья фиолетовая как паслен, размером не крупнее терновых ягод, с длинными и тонкими хвостиками, как у головастиков, называемые также рупертовыми слезами. Вспомнив что-то, она аккуратно взяла одну и унизанными драгоценностями пальцами отломил ее кончик, глядя, как та в тот же миг рассыпалась в пыль. Так же она поступила и с другой, а потом и с третьей, пока все они не оказались уничтожены, а она все стояла, взирая на осколки и будто припоминая слова старика. Наконец она подошла к окну и стала там, а через некоторое время уселась на подоконник, на подушки из золотой ткани. Ее лицо, повернутое в профиль к комнате и ее теплу, было четко очерчено на фоне наваливавшейся непроглядной и сырой ночи. Когда после долгого молчания Она заговорила как во сне, это вполне могла быть и Ее поэтесса, чей голос звучал в погруженных во мрак высях меж мирами:

*Δέδυκε μὲν ἅ σέλαννα  
καὶ Πληϊάδες, μέσαι δὲ  
νύκτες, παρὰ δ' ἔρχεται ὥρα,  
ἔγω δὲ μόνα κατεύδα.*

*Луна и Плеяды скрылись,  
Давно наступила полночь,  
Проходит, проходит время, —  
А я все одна в постели<sup>178</sup>.*

Неподвижная, Она сидела, опустив взгляд; не двигались ее веки и широко раскрытые глаза. Не осталось ни звука помимо того неизменного, нескончаемого ритма, что доносился через открытое окно опочивальни герцога и распахнутые двери: шума морского прибора.

Поскольку мысли Ее неизмеримо выше наших мыслей, глупо было бы надеяться постигнуть их или записать. Однако именно по этой причине не го-

178 Сафо, 52, пер. В. Вересаева.

дится оставлять их без внимания, но следует подмечать те тени, что в ночи, подобные этой, омрачают Ее божественный лик, будто невозможное стало возможным, и сжалась в кулак Его рука, в которой трепещут Ее слабые, но совершенные творения, или будто Его грозное могущество обернулось бессмысленной силой, глаза Его ослепли, любовь в конечном счете показалась просто словом, а Она (хотя лишь в ней и сосредоточен весь смысл и истина) — не столь уж и значимой. И будто от одной мысли о подобных Ее размышлениях — Ее, что своим, как весна неоспоримым, «Я СУЩЕСТВУЮ» возрождает и возносит ввысь Его, чье всемогущество обращено лишь на то, чтобы лелеять Ее и служить Ей, — весь мир содрогнулся в страданиях.

Как угасло великолепие, так прошла и мука, вступив вслед за этим великолепием в Ее ночные чертоги.

*Χαῖρ' ἑλικοβλέφαρε, γλυκυμείλιχε' δός δ' ἐν ἀγῶνι  
νίκην τῶδε φέρεσθαι, ἐμὴν δ' ἐντυνον αἰοιδῆν.  
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ' αἰοιδῆς.*

— К Афродите<sup>179</sup>.



179 Гомер, гимн «К Афродите» (пер. В. Вересаева).

*Славься, с ресницами гнутыми, нежная! Даруй победу  
Мне в состязании этом, явись мне помощницей в пене!  
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.*

## Действующие лица

Действие в главе I начинается 22 апреля, Anno Zayanæ Conditæ 777, примерно через десять месяцев после смерти на 54 году жизни в своей островной крепости Сестола в Мезрии великого короля Мезенция, властителя Фингисволда, Мезрии и Ререка.

В данном списке номер главы, в которой каждое из действующих лиц упоминается впервые, приводится в скобках после его или ее имени.

Барганакс	(I)	Герцог Зайанский, побочный сын короля Мезенция.	
Лессингем	(B.)	Кузен наместника.	
Антиопа	(III)	Дочь короля Мезенция, сестра короля Стиллиса, единокровная сестра Барганакса.	
Фьоринда	(II)	Сестра канцлера (младше него примерно на шестнадцать лет), придворная дама при дворе герцога в Зайане.	
Стиллис	(I)	Король Фингисволда, Мезрии и Ререка, сын короля Мезенция.	
Дерксис	(XII)	Король Аккамы.	
Горий Парри	(I)	Лорд Лаймакский, наместник короля в Ререке.	
Иеронимий	(I)	Верховный адмирал Фингисволда.	Полномочные послы короля в Мезрии.
Бероальд	(II)	Канцлер Фингисволда.	
Родер	(III)	Фингисволдский граф.	
Эркель	(I)		Принцы северного Ререка
Арамонд	(I)		
Аркаст	(IX)		Ререкские лорды и дворяне
Безард	(XIX)		

Действующие лица

Брандремарт	(IX)		
Дайман	(XVI)		
Гайярд	(XIX)		
Мандрикард	(IX)		
Мерон	(XIX)		
Рокез	(XIX)		
Росильон	(XVI)		
Трасилин	(XVI)		
Белин	(IX)		
Боденай	(XIII)	Королевский судья Фингисволда.	
Босра	(XV)	Констебль Риалмара, преемник Ромира.	
Гортензий	(IX)		
Орвальд	(XIII)		
Перопевт	(IX)		
Ромир	(XIII)	Констебль Риалмара.	
Тиарх	(XIII)		
Вентон	(XIII)		
Барриан	(III)		Мезрийские лорды и дворяне
Эган	(III)		
Ибиан	(IX)		
Медор	(II)	Мезрийский граф, предводитель гвардии Барганакса.	
Мелат	(III)		
Зафель	(III)		
Алкемен	(XIII)		
Эсперверис	(XIII)		

Касмон	(XIII)		
Оринксис	(XIII)		
Амори	(I)	Лейтенант Лессингема.	
Габриель Флор	(III)	Помощник наместника.	
Вандермаст	(II)	Ученый, помощник Барганакса.	
Зенианта	(XIII)	Фингисволдская принцесса, племянница короля Мезенция.	
Герцогиня Мемизонская	(II)	Мать Барганакса.	
Анамнестра	(XIII)		Придворные дамы в Ригалмаре
Гетерасмена	(XIII)		
Мирилла	(XIII)	Дочь верховного адмирала.	
Пафиррэ	(XIII)		
Равиамна	(XIII)		
Графиня Тасмарская	(XIII)		
Зеноклида	(XIII)		
Антея	(II)		Придворные дамы в Зайане
Беллафронт	(VII)		
Кампаспа	(VII)		
Мирра	(II)		
Пантасилея	(VII)		
Розалура	(II)	Дочь принца Эркеса, жена Медора.	
Виоланта	(II)		
Леди Мэри Лессингем	(B.)		

## «Властительница из властительниц»

Текст © Dani Zweig (dani@netcom.com)

Пер. с англ. © А. Жулин

Обычно, если речь идет об Эддисоне, то значимыми считаются две его работы: «Червь Уроборос», опубликованный в 1926 (хотя встречалось упоминание о 1922), и трилогия «Зимиамвия», которая была написана за два последующие десятилетия.

«Червь Уроборос» — это эпическое фэнтези, именно так охарактеризовал произведение сам автор. Эддисона пьянила красота английского языка и он писал витиеватым, замысловатым, немного архаичным языком, с большим количеством длинных пассажей и оборотов (он ненавидел, когда предложение подходило к концу). Но это работает. Сначала замечаешь только стиль изложения, потом это перестает раздражать, и в какой-то момент ты понимаешь, что действие уже захватило тебя. Эддисона также манила фантастичность, подвиги ушедших времён, герои с удивительными характерами, способные покорять непокоримое и побеждать непобедимое и заботящиеся о славе больше, чем об урожая в следующем году. И, опять же, это захватывает.

Это захватывает, несмотря на трудные первые страниц 20, которые задают стандарт для зловещего начала повествования. Насколько мрачно может начинаться фэнтези? Действие начинается на планете Меркурий, хотя на это нет видимых причин. Хуже того, история тяжелоесно представляется как сон некоего персонажа. И, без всякого объяснения, враждующие народы называются автором как Демоны, Ведьмы, Гоблины, Феи и др., хотя они не имеют ничего сверхестественного, что должно быть присуще существам с такими названиями (ну разве что у демонов действительно есть рога). Я специально обращаю внимание на эти недостатки в начале книги, чтобы вы были готовы стиснуть зубы и продолжить чтение. После первых двух глав сон забыт, условие, что действие происходит на Меркурии опускается, и имена, ну что ж, вы можете забывать о них.

(Выдавать историю за чей-то сон — старый приём, который годится для использования и сейчас. Эта традиция восходит к тем временам, когда сон воспринимался как дар свыше, а не как продукт подсознания. Таким образом, изображение истории как сна призвано больше подкрепить нереальность происходящего, чем пробудить вас).

Где-то между второй и третьей главой вы перестанете замечать несоответствия и будете втянуты в историю: Длительное противостояние Демонов и Ведьм, оскорбительные действия Ведьм, неудачные попытки решить конфликт и затянувшуюся войну, приключения и подвиги Лорда Джуса, преда-

тельство Лорда Гру (самый обаятельный персонаж истории, несмотря на свои недостатки), колдовство Гориса XII...

Вам кажется, что я даю книге необоснованные комплименты? Книга имеет свои недостатки – больше с точки зрения современного читателя, который привык к более гладким характерам и менее изысканному языку – но, тем не менее, это триумф литературного стиля. Здесь есть отголоски Шекспира и отголоски Гомера (я не имею в виду копирование), но в основном Э.Р. Эддисон самостоятельно нашел способ приятно провести время и приглашает читателей присоединиться. Некоторым читателям не нравится эта книга, некоторые – обожают её. Последних достаточное количество, и если Вы думаете, что сможете присоединиться к ним, эта книга стоит того, чтобы её попробовать.

В трилогии «Зимиамвия» стиль Эддисона менее выражен. Попробуйте эту книгу, если Вам понравился «Червь Уроборос». Действие происходит на земле не столь фантастичной и более средневековой, но это всё равно земля героев и армий, с заговорами и интригами. Язык в этой книге более современный и не такой запутанный, но всё равно более насыщенный деталями, чем мы обычно ожидаем в романах. Главный герой трилогии – Лессингем, который появляется на короткое время в романе «Червь Уроборос», как мечтатель, что видит сны. (Здесь, как и в «Черве Уроборосе», женские характеры, даже самые сильные, имеют вспомогательную и второстепенную роль). Трилогия сначала вышла в виде трех отдельных книг, и позднее была переиздана одним томом. Одна из причуд трилогии в том, что книги выходили (и также должны быть прочитаны) в обратном хронологическом порядке.

«Владычица из владычиц» является первым и лучшим из трех романов – это история интриг и конфликтов, которые следуют за смертью короля Мезентиуса из Зимиамвии. Главным злодеем является Гориус Пэрри, викарий в Рэреке. И что действительно усложняет дело, так это то, что Лессингем, честный и по-настоящему героический, является активным и верным помощником Пэрри. (Хорошие новости: текст, хотя не столь чарующий, как в «Черве Уроборос», более удобен для восприятия. Плохая новость: Здесь всё еще есть такая глава, через которую надо прорваться, в данном случае под названием «Увертюра»).

«Рыбный обед в Мемизоне» наполнен прощением. Зимиамвия находится в правлении короля Мезентиуса, чьи войны и интриги в «Хозяйке владычиц» являются более обдуманными. («Обдуманные» – неточное слово. Персонажи Эддисона часто благородны и прославлены, но некоторая аморальность также характеризует их). Здесь есть некоторая борьба, но гораздо больше заигрываний. В конце концов, в название романа вообще вынесено слово «обед».

Между тем, параллельно, проходит история переживаний Лессингема относительно нашего собственного мира (Здесь есть определенная симметрия. Во «Владычице из владычиц» Зимиамвия открывается как мир, сотворенный Богиней для Лессингема. В «Рыбном обеде...» Земля раскрывается как мир, созданный в соответствии с её воплощением в Зимиамвии).

Эддисон умер, не закончив «Мезенцийские Врата», но мы знаем планы Эддисона на недостающие части, так что история всей жизни Мезентиуса, прослеживается достаточно хорошо.

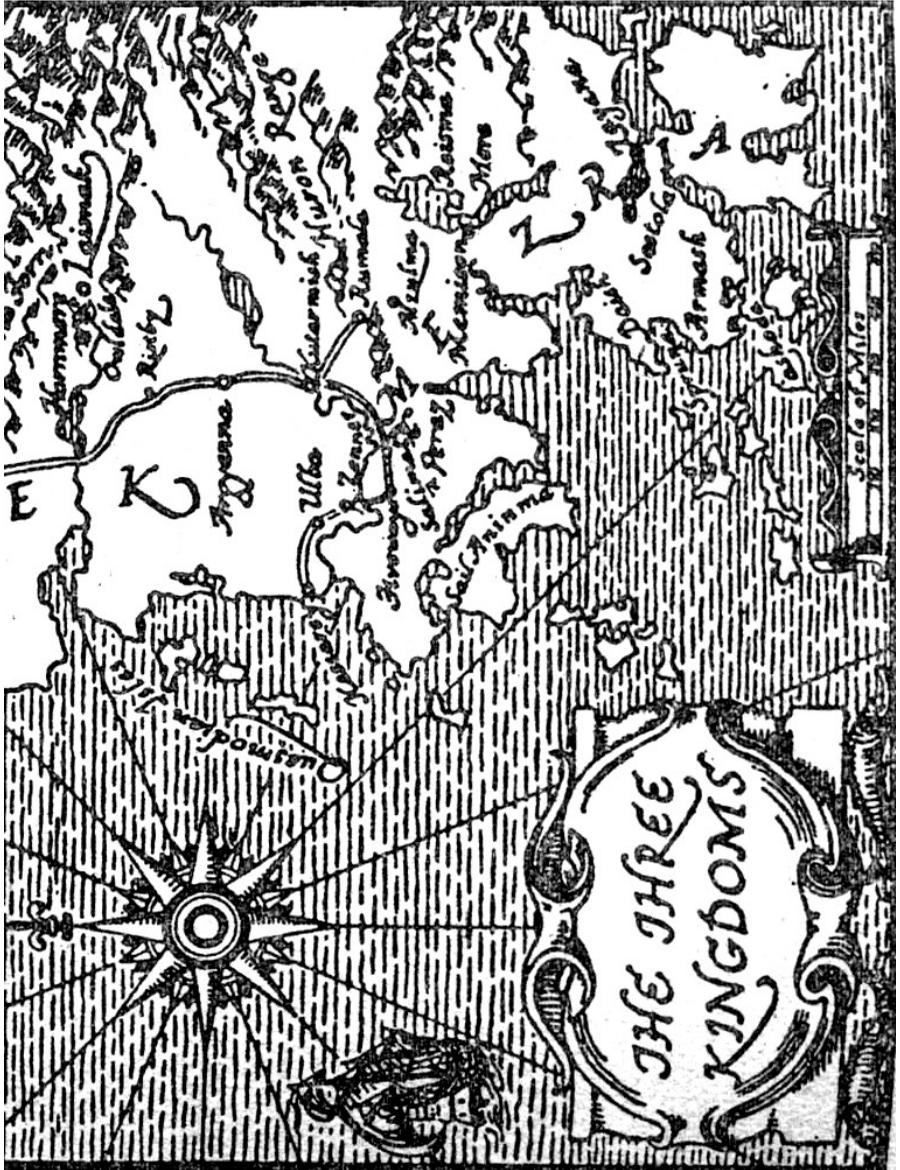
Я неоднозначно отношусь к трилогии «Зимиамвия». Персонажи выдающиеся, но редко симпатичны; написано мастерски, но имеются недостатки. Думаю, если Вам понравился «Червь Уроборос», то Вы сочтете трилогию более слабой, но всё-таки стоящей прочтения. Если же Вам не понравился «Червь Уроборос», то не стоит пытаться.



## Перечень иллюстраций

«Грифон», иллюстрация к «Энциклопедии вымышленных существ» Х. Л. Борхеса (Минск: Старый свет, 1994)	с. 3
Boegeob, Eye of Ouroboros (boegeob.deviantart.com)	с. 5
Г. Доре, иллюстрация к «Неистовому Роланду»	с. 37
А. Дюрер, Портрет Фридриха Мудрого, курфюрста саксонского	с. 54
Неизв., «Развалины замка князя К. Острожского», XIX в.	с. 80
Дж. Пиранези, «Кастель Сант Анджело»	с. 126
Неизв., «Заключённый Ньюгейтской тюрьмы»	с. 148
«Souvent femme varie»	с. 164
А. Брюллов, «Н. Н. Пушкина», акварель	с. 190
Scratchboard Illustration by Michael Halbert	с. 192
Неизв., «Дама верхом на лошади мелкой породы»	с. 216
Charles Dana Gibson, «Gibson girl»	с. 261
А. Юферев, «Луна восходит над Таджикистаном», фото	с. 276
Неизв., «Французские солдаты XVII в»	с. 292
Неизв., «Поединок воинов, вооруженных Гросмессером и Цвайнхандером», гравюра ок. 1500 года	с. 302
В. Старков, «Предчувствие кары»	с. 310
Zarathus, Ouroboros (zarathus.deviantart.com)	с. 316











Эрик Рюкер Эддисон  
**Владычица из владычиц**

Роман  
Статьи  
Приложения

Пер. с английского и примечания  
Nebehr Gudahtt

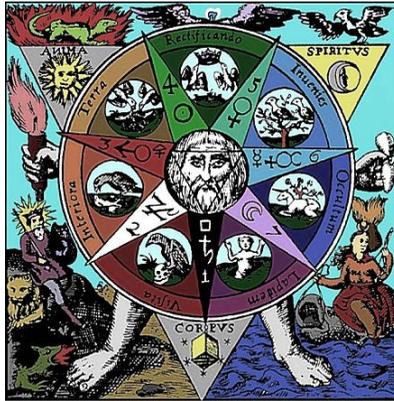
Редактор  
Алексей Бойков



Иваново, 2012

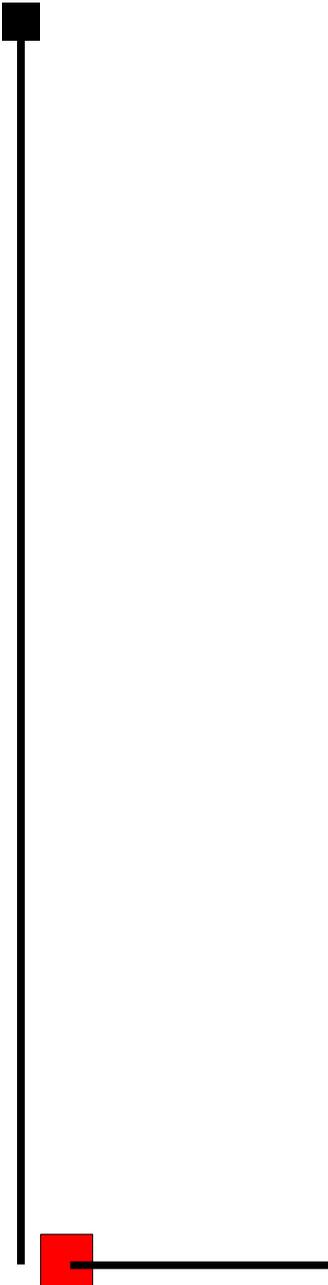


Эрик Рюкер Эддисон



**Владычица из владычиц**  
Роман

Иваново, 2012



В следующих выпусках:

**Джордж Макдональд**

«**Донал Грант. Сказки**»

**Лорд Дансени**

«**Рассказы**»

**Татьяна Тайганова**

«**Роман. Повести. Рассказы**»

**Михаил Пухов**

«**Рассказы**»

**Вальтер Моэрс**

«**Румо и чудеса в темноте**»

**Мирча Элиаде**

«**Шаманизм**»

и многое др.

Иваново, 2012